95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1989, № 10, 1—208

НЕВА 10/1989

10/1989

ISSN 0130—741X

Н. КОНЯЕВ
Пригород
Роман

Н. КАТЕРЛИ
Долг
Повесть

Нева

В. ТУБЛИН
Заключительный период
Роман

Стихи
Г. ГОРБОВСКОГО
И. ФОНЯКОВА
Р. КУТУЯ
В. РЕЦЕПТЕРА

Р. КОНКВЕСТ
Большой террор



«Исаакиевская площадь»
Фотографика А. Пинчевского

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации

Нева

10/1989

Выходит с апреля 1955 года

СОДЕРЖАНИЕ



Ленинград
«Художественная литература».
Ленинградское отделение

Сдано в набор 29.06.89. Подписано к печати 29.08.89. М-25014. Формат бумаги $70 \times 108^1/_{16}$. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,38 усл. кр.-отт. 23,83+2 вкл.=24,07 уч.-изд. л. Тираж 675 000 экз. Заказ 1994. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Глеб
ГОРБОВСКИЙ

В ПОИСКАХ НЕВИДИМКИ

(биоритмы)

Там, в заварушке снегопада,
В поселке возле Ленинграда
мне было ничего не надо —
ни хлеба с солью, ни воды,
ни чьей-то мысли подгорелой,
ни чьей-то ласки оголтелой,
ни прочих благ, что жаждет тело
от «окружающей среды».

Мороз шептал о всяком вздоре,
сидела цифра на заборе.
И в этот миг застыло море,
как будто миска холодца.
И стало тихо, стало мрачно,
и свет не вспыхнул в окнах дачных.
И жизнь текла, но... неудачно:
как бы в предчувствии конца.

Не копошилась в соснах птичка,
не пела песню электричка,
не отпирала дверь отмычка,
и не пылали фонари...
И на столбах истлели знаки.
Померкли дачи и бараки.
Ни пешеходов, ни собаки —
ничто — снаружи и внутри.

Отпали бренные заботы.
Не пролетали самолеты.
Молчали фабрики-заводы.
Лишь подо мной неслись шаги.
И тут же — с сатанинским смехом —
следы мои глушило снегом!
И пахло двадцать первым веком,
как чесноком — из недр пурги.

И так я мчался по дорожке
вдоль жизни, измельченной в крошки,
как вдруг — желанный свет в окошке
возник — улыбкой — меж стволов.
В каком-то дачном мезонине
сквозь зелень штор, как злак в пустыне,
он мне шептал: «Прииде, сыне»...
И я пошел на смутный зов.

Чернела каменная плитка
сквозь сад, куда вела калитка.
И дух кофейного напитка
распространялся от крыльца.
И я ступил из смертной тени,
из мглы студеной — на ступени,
что ввысь — к желанной перемене
вели меня в чертог Творца.

Творец сидел на табурете
в своем убогом кабинете
и пред свечою — в зыбком свете —
писал доклад или трактат.
А рядом — в колбе и пробирке —
на двух штативах — пар из дырки! —
(цифирь мудреная на бирке)
кипел какой-то концентрат...

Ученый был уютен внешне:
он обладал брюшком и плешью,
и на носу его прилежно
сидели круглые очки.
Но, вместе с тем, сквозил у дяди
какой-то грозный штрих во взгляде.
Струились буквы по тетради,
как будто кровь из-под руки.

Отдав поклон, как можно шире —
ему и всей его «хавире»,—
«Что происходит в нашем мире? —
спросил я с ходу старика.—
Там, за окном лишь воет вьюга,
там нет ни недруга, ни друга,
как будто вымерла округа...
И я возжаждал огонька!»

Перо, скрипевшее уныло,
макал он в красные чернила.
И вдруг, как будто осенило,—
сказал: «Случился катаклизм!
Клянусь, хоть я не Мефистофель,
я знаю все о катастрофе!
Однако... прежде выпьем кофе,—
в его флюидах — артистизм».

Как не помыслить тут о черте?
А старичок мне: «Ах, не спорьте!»
И кофе, сваренный в реторте,
разлил по склянкам — на двоих.
И говорит: «Мы сели в лужу!
Добра и зла баланс — нарушен:
сместились центры. Подвиг нужен,
чтоб совместить шарниры их».

Тут я задергался тревожно:
«Неужто все так безнадежно?
Хоть что-нибудь придумать можно?!»
А старичок, подкинув бровь
и оттопырив гневно ухо,
сказал: «В пробирке сей — не муха...
В ней выращен — Зародыш Духа!
В аортах коего — Любовь!

А кровь... залита и в дебила!
В ней нет мечты, в ней мало пыла.
Ее отныне — на чернила!
Для канцелярского стола...
О, мой Зародыш — совершенен:
в нем нету зла, сиречь — нетленен,
а во-вторых, он — обезгенен:
не наследит... без генов зла.

Мир опустел не от чахотки,
не от войны и не от водки —
из-за сердечной злой сухотки,
что Черной Завистью звалась.
Прельщала власть, манило злато...
Немилосердно все, треклято!
Не жизнь — себя в себе утрата!
На кой такая быль сдалась?!»

...Тут и, зевок невольный пряча,
спросил: «А ваша — в чем удача?
Неужто решена задача?
Нельзя ли... на плоды взглянуть?»
Ученый явно дал промашку:
к моим глазам поднес стекляшку,
а в ней — какую-то букашку,
в которой якобы — вся суть...

«И это — Дух?! — спросил я сухо.—
По всем приметам — это муха!»
Вдруг моего коснулся слуха
спиралевидный жуткий смех.
«Мой Дух, хе-хе, отнюдь не разум.
Он — во плоти! Он выше классом!
Он у меня доступен глазу,
как ложь, как блажь, как тайный грех!

Теперь сию частицу Света
прихлопнет запросто газета!
Могу ее лишить обеда!
Могу... Могу... Могу... Могу!»
И тут я дал дедуле по лбу,
да так, что выронил он колбу,
и та — на тысячи осколков
распалась — искрами в мозгу!

Хваля себя (что вот — не трушу),
я растоптал ногой «лжедушу»
и тут же вынесся наружу,
скатившись кубарем с крыльца.
А мне вослед неслись упреки,
как будто стрекот злой сороки,
и запах кофе одинокий,
и запах тухлого яйца!

Но вот, очнувшись от виденья,
я оглядел свои владенья,
и, ощущая тяготенье
к Земле и к сущему на ней,
я, знавший ад, войны окрошку,
тюрьму и дальнюю дорожку,
вдруг различил под елкой... кошку,
зеленый свет ее очей!

Она к моим ногам прижалась.
И в сердце просочилась жалость.
И все живущее сбежалось
опять ко мне — за общий стол!
А в опустевшем мезонине
я побывал случайно ныне.
Там, в ядовитой паутине,
я эту рукопись обрел.

Николай
КОНЯЕВ

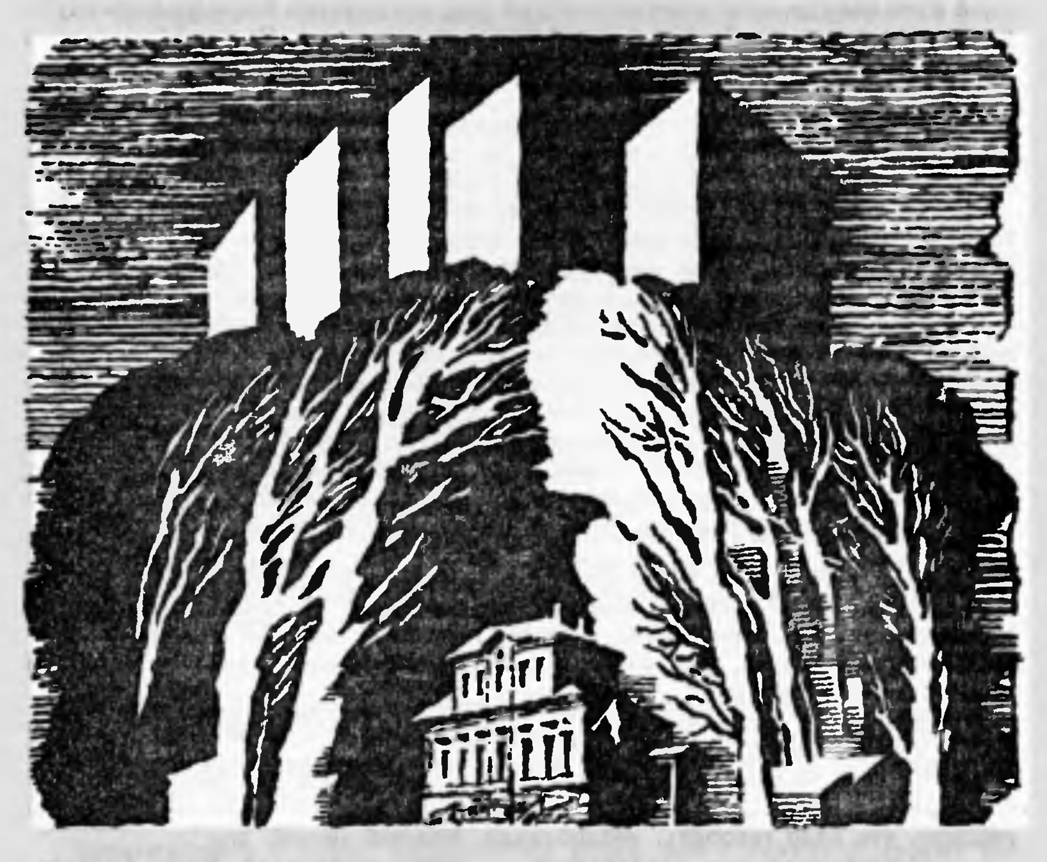


Рис. Д. Плаксина

ПРИГОРОД

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Посреди парка, извиваясь, текла река... Она то прыгала по крутолобым камням, то величаво ширилась и плавно несла свои воды к большому круглому озеру, в зеркале которого отражались розовые стены дворцов.

К четырем часам, когда начинало рассветать, от реки поднимался туман, и казалось, что это вода выплескивается из берегов. Карабкаясь по береговым кручам, туман растекался меж черных стволов деревьев по всему парку, и статуи словно бы парили в воздухе, не касаясь земли.

Прямо к парку подступали кварталы кооперативных домов. Частные деревянные дома, что стояли здесь раньше, снесли лет десять назад, и уцелел

лишь маленький островок, обманчиво кажущийся издали еще одним парком. Густо, соприкасаясь кронами друг с другом, росли тут деревья...

Туман не успевал доползти до этого островка, истаивал под лучами встающего солнца посреди кооперативных кварталов.

А лучи солнца, ярко осветив крайний дом, радужными бликами вспыхнули во всех его окнах, разбудили жильца с верхнего этажа — Якова Абакумовича Кукушкина...

Кашляя и безжалостно скрипя ступенями лестницы, Яков Авдеевич спустился во дворик, чтобы покурить на скамеечке под старой липой (его жена страдала аллергией к табачному дыму).

Щурясь, Яков Авенирович рассматривал улочку с нависшими над нею тополями и тихо и светло улыбался, а тень его, схваченная косыми лучами солнца, тянулась по земле, падала на стены старого дома... Дом был старым. Нижние бревна его прогнили, и дом осел, в стенах появились трещины. На этот старый дом и смотрел Яков Аверкиевич. О чем думал, о чем упрямо вспоминал он, щуря свои добрые старческие глаза?

Может быть, о том далеком предвоенном времени, когда в белой рубашке с комсомольским значком на груди, счастливый и беззаботный, кружился Яков Агафонович под звуки пожарного оркестра с длинноногой девушкой из областной партшколы? Или, может быть, вспоминал Яков Акимович годы студенчества? Или... Впрочем, мало ли о чем может думать человек в тихие минуты зарождающегося дня. Едва заметная улыбка дрожала на его губах...

Яков Алексеевич не успел докурить свою папироску, когда во дворе появился гнилозубый Пузочес, волоча за собой гитару. На ночь дом запирался, и, опаздывая к урочному часу, Пузочес ночевал в лопухах под забором.

— А! — улыбаясь, приветствовал его Яков Ананьевич.— Вот и ангел родины затейливой моей!

И как всегда, Пузочес был хмур и зол от ушедшего хмеля. Кроме того, ночью у него начинали болеть зубы.

— Сам ты больно затейливый, дед! — огрызнулся он, поднимаясь на крыльцо и задевая за ступеньки дребезжащей гитарой.— Сколько раз уже говорил, что надо говорить: незлобливой. Нез-лоб-ли-вой, дед [1].

— Незлобливой так незлобливой...— легко согласился Яков Анатольевич.— Я ведь, глубокоуважаемый ангел, со слуха... А со слуха и перепутать можно, а?

— Ага...— хмуро отозвался Пузочес.— Только ты, дед, чего-то всегда одинаково путаешь...

Он сердито пнул ногой тяжелую темно-коричневую дверь, и она, заскрипев, распахнула перед ним лабиринт коммунального коридора.

Стараясь не шуметь, Пузочес поднялся на второй этаж и — на цыпочках! — вошел в свою комнату. Здесь ему не повезло. Пробираясь к своей раскладушке, он задел гитарой за стул, и гитара тревожно загудела.

— У-у! Дура...— зашипел на нее Пузочес, но было уже поздно. На диване, где спал брат, заскрипели пружины.

— Ты? — поднимая над подушкой тяжелую голову, спросил Васька.— Котуешь?

— Котую! — зло ответил Пузочес и, уже не таясь, швырнул в угол гитару. Не снимая туфель, повалился на раскладушку.

— Да мне-то что...— опершись на локоть, Васька потянулся к пиджаку, в кармане которого лежали сигареты.— Ты там, на столе, посмотри... Повестка тебе пришла.

Словно пружинка из сломанной заводной игрушки, вылетел из раскладушки Пузочес.

— Какая повестка?!

— В военкомат...— Васька уже раскурил сигарету и сейчас пальцами счищал с кончика языка табачные крошки.— Откотовался, елки зеленые...

— Так ведь осенью же набор...— разглядывая казенный военкоматовский бланк, пробормотал Пузочес.— Я же думал, что еще успею куда-нибудь сунуться.

— Досовался! — Васька скомкал пальцами сигарету и швырнул ее в угол.

Разбуженная голосами сыновей, поднялась мать, которую все соседи звали тетей Ниной.

Она раздернула цветастую занавеску и тяжело вздохнула. Сыновья опять ругались. Медленно прошла тетя Нина по комнате, взяла с подоконника коробку со шприцем и вышла. Спускаясь по лестнице на кухню, она тяжело дышала. Опять — от расстройства — у нее начинался приступ астмы.

Робко и незаметно жила на этой земле тетя Нина. Незаметно выросла, незаметно родила сыновей, незаметно вырастила их, и теперь так же незаметно, как незаметно делала все, заболела...

Ей не исполнилось еще и пятидесяти лет, а выглядела она уже дряхлой старухой. Хватаясь за перила лестницы, она не могла выдохнуть из себя воздух, и глаза ее пучились. Она натужно хрипела, но сквозь боль и удушье неотрывно думала о сыновьях. С тех пор, как Васька вернулся из заключения, сыновья ругались чуть ли не каждый день.

Задыхаясь злым кашлем, тетя Нина разожгла газ и поставила на огонь коробку со шприцем. Надо было прокипятить его. Астма мучила ее уже пятый год, и за это время тетя Нина привыкла справляться с приступами болезни собственными силами. Может быть, поэтому никто в доме — даже сыновья — не верили в ее болезнь.

Разбуженная сухим кашлем тети Нины, проснулась Матрена Филипповна, директор текстильной фабрики, проживающая в двухкомнатной квартире с отдельным входом на первом этаже. В квартире был и свой туалет, и своя кухня, но Матрена Филипповна предпочитала пользоваться общей кухней.

Запахнувшись в яркий заграничный халат, она возникла в проеме кухонной двери. На пороге Матрена Филипповна остановилась и удивленно подняла тонкую, подщипанную бровь — ее конфорка была занята. И осмелилась занять ее Нина Могилина, которая исполняла у Матрены Филипповны должность истопника.

— Это что такое, а? — не повышая голоса, медленно проговорила Матрена Филипповна.

— Ой! — вскрикнула тетя Нина.— Ради бога, извините, Матрена Филипповна!

И забыв, а вернее, страхом переборов приступ, она голыми руками схватила металлическую коробку и переставила ее на свою конфорку.

Руку она, конечно, обожгла, но прежде, чем почувствовать боль, обмахнула уголком шерстяного платка конфорку и лишь после осмелилась кашлянуть, прижимая платок к губам.

— Ну что ты, Нина...— Матрена Филипповна величественно вступила в кухню.— Зачем же так? Мы ведь соседи все-таки... Я только амбулатории твоей не люблю.

Задыхаясь от застрявшего в легких воздуха, тетя Нина докипятила шприц и вышла в коридор, чтобы там, на приступочке, возле туалета, сделать себе укол. Матрена Филипповна слегка пожала полноватыми плечами...

В городе, а особенно на фабрике, где директорствовала Матрена Филипповна, ее считали образцом подлинного бескорыстия.

Трудно, почти невозможно в наш ироничный себялюбивый век добиться простому человеку такой репутации, а Матрене Филипповне она далась без труда.

[1] И ангел родины незлобливой моей
Мне в душу слал благословенье.
(К. Фофанов)

Уже несколько раз завком выделял ей благоустроенную квартиру, но каждый раз Матрена Филипповна отказывалась от нее в пользу более нуждающихся в жилье. Вначале она пожертвовала свою квартиру молодому, но уже обремененному большой семьей специалисту. Потом, уже обдумала, как расставит в новой квартире мебель, но накануне переселения увидела в своем рабочем кабинете мать-одиночку из общежития. С двумя близнецами и множеством разноцветных пеленок мать-одиночка прочно расположилась на столе Матрены Филипповны и уходить не собиралась. Ушла она в квартиру, куда Матрена Филипповна еще не успела перевезти мебель.

И постепенно это превратилось в традицию. Матрена Филипповна знала, что и на этот раз, когда получит ордер, что-нибудь да случится, что помешает ей переехать, переселиться из этого прогнившего насквозь дома.

И все-таки никто из многочисленных почитателей Матрены Филипповны, превозносивших на разные лады ее бескорыстие — а что в наше время может быть бескорыстнее, чем пожертвованная другому человеку квартира, в которую ты уже собираешься перевозить вещи? — не догадывался, что помимо бескорыстия была в Матрене Филипповне столь не вяжущаяся с ее суровым и властным обликом сентиментальность, которая так же, как и бескорыстие, многое определяла в ее поступках.

Семнадцатилетней студенткой въехала Матрена Филипповна в свои смежные комнаты... Часто тогда, по вечерам, медленно втеснялся во двор тяжелый черный «ЗИС-110», и соседи торопливо пятились от окон... Они знали, что любовник их семнадцатилетней соседки работает...— говоривший неестественно понижал на этих словах голос и боязливо оглядывался по сторонам — Там... Понимаете?

Любимый и первый мужчина Матрены Филипповны был тогда большим человеком, и, завидев номер его машины, милиционеры останавливали движение, чтобы пропустить властно мчавшийся «ЗИС».

Потом этот человек в генеральском мундире исчез, но и сейчас, словно они расстались только вчера, помнила Матрена Филипповна его железные руки и немигающие голубые глаза. И когда она слышала окутанное кровавой дымкой легенды его имя, вспыхивала вся, и сердце билось так же часто, как тридцать лет назад.

Никто не мог сравниться с ним — первым! — да Матрена Филипповна и не пыталась сравнивать, хотя внешне все у нее складывалось благополучно, все совершалось своим чередом. Она благополучно закончила институт; когда подошло время, так же благополучно вышла замуж, но и тогда ее жизнь почти не изменилась. Мягкая и уступчивая по натуре, Матрена Филипповна самовластно — должно быть, от имени того, чей образ берегла в своем сердце — командовала и соседями, и мужем. Когда же муж надоел, Матрена Филипповна подыскала ему место директора школы в далеком онежском поселке, и муж — невзрачный человечек по имени Коммунар — безропотно уехал в ссылку и теперь появлялся только летом, да и то ненадолго. Матрена Филипповна заранее покупала ему путевку в санаторий.

Многое, слишком многое связывало Матрену Филипповну с этим старым, прогнившим насквозь домом... Здесь прошла молодость, здесь, во дворе, под старыми липами, стоял когда-то черный «ЗИС» и тревожно, словно угольки, тлели в сумерках его подфарники.

Так стоит ли удивляться, что, как только приближался день распределения квартир, Матрена Филипповна сразу теряла всю свою обычную решительность и целыми вечерами сидела в комнатах, где все вещи стояли, как стояли тогда, и тосковала, не умея расстаться с неудобным, но дорогим памятью жилищем... Матрена Филипповна неторопливо помешивали серебряной ложечкой овсянку и думала, что скоро опять нужно будет решать вопрос с переездом, и неизвестно, сможет ли она решиться теперь...

Как раз в эту минуту впорхнула на кухню сухонькая жена Якова Андреевича — пенсионерка тетя Рита. Она всю жизнь проработала пионервожатой и сейчас по-прежнему заплетала волосы в тощенькие косички.

— Как отдохнули, Матрена Филипповна? — заметив печаль на державном лице соседки, поинтересовалась она.— Сердце не мучило?

— Плохо я спала, Рита...— не отрывая глаз от кастрюльки, ответила Матрена Филипповна.— А сердце что ж? За день так нарасстраиваешься, что железным нужно ему быть, чтобы не болело.

— Не жалеете вы себя, Матрена Филипповна,— скорбно вздохнула тетя Рита и бочком придвинулась к своим конфоркам.

— Что же? — убавляя огонь, отозвалась Матрена Филипповна.— Ведь кому-нибудь, Рита, надо и себя не жалеть...

Голоса женщин разбудили жильца из бывшей столовой — соседней с кухней комнаты — сотрудника местной газеты Марусина.

Марусин посмотрел на часы, но они стояли. Пытаясь определить время, Марусин прислушивался к голосам на кухне, а сам рассматривал мохнатый от пыли электрический провод, свисающий с потолка из рук шаловливого Амура.

По замыслу скульптора, сделавшего когда-то этот плафон, Амур улыбался, но сейчас пыли на плафоне накопилось столько, что в уголках рта шаловливого мальчика обозначились горькие складки и улыбка сделалась вымученной. Не по-детски мудрыми стали и глаза Амура. С болью и состраданием смотрел на нового — Марусин всего три месяца как поселился в этой комнате — жильца крылатый мальчик.

Зевнув, Марусин накинул халат и вышел на кухню, чтобы сварить кофе.

Отдышавшись после укола, вернулась туда и тетя Нина, и на кухне сразу стало тесно. К тому же в эту веселящую его сердце тесноту не замедлил вернуться и Яков Андронович, уже успевший докурить свою папироску.

Яков Анисимович по отдельности поздоровался со всеми, а Матрене Филипповне — он работал на фабрике завпроизводством — даже поцеловал руку.

— Какой же вы, право, невозможный! — шутливо сказала та, отбирая руку.— А что вы вчера так долго спать не ложились? Я вставала капель выпить — у вас свет горел...

— О! — готовно откликнулся Яков Антонович.— Да! Да! Свет действительно горел, уважаемая Матрена Филипповна... Видите ли, я... Я не могу спать без света! Рита ругается, а я говорю: во всех приличных домах, Рита, спят со светом.

— Да где ты видел, мошенник, приличные дома?! — изумилась тетя Рита.— Ты же ведь, разбойник, всю жизнь просидел в тюрьме, пока я тебя не взяла оттуда!

— Вот-вот! — Яков Аполлинарьевич залился мелким смехом, и глаза его повлажнели.— Вы видите? Вот так она всегда и говорит мне! А что я могу сказать ей в ответ? Да. Я восемь лет сидел в тюрьме во времена культа личности. Уй, как это много — восемь лет для живого человека! А там все спят со светом, и вот я не могу заснуть без электричества.

И он смеялся, а следом за ним смеялась Матрена Филипповна. Тетя Рита и та улыбалась, хотя ничего смешного не находил Марусин в словах Якова Аполлоновича. И тогда тетя Нина прижимала к груди руки и умоляюще просила: «Тише, пожалуйста... Дети спят».

Детьми она называла своих великовозрастных сыновей, Ваську-каторжника и Пузочеса. Вот это действительно было смешно, но все сразу смолкли, а Марусин, опустив глаза, поспешил скорее уйти из кухни — благо кофе был уже готов.

Дымок от кофе стлался над раскрытой книгой Батюшкова, и сквозь него особенно печальными и задумчивыми читались строки элегии: «В священном сумраке дубравы задумчиво брожу и вижу пред собой следы протекших лет и славы...»

Марусин сморщил нос и рассеянно поднял глаза к скорбному Амуру, своему ангелу-хранителю с потолка.

Вот уже три месяца жил Марусин в этой комнате, но так и не сумел пока привыкнуть к своему жилью. Все — и отношения между соседями, и этот мальчик на потолке — казалось ему странным. Впрочем, что ж? Пыль прежней, неизвестной Марусину жизни лежала здесь повсюду...

Прополала по плафону муха, и сразу лицо каменного мальчика изменило выражение. Теперь улыбка его стала откровенно ироничной. Впрочем, и этому не удивлялся Марусин. Он уже давно установил, что существует некая таинственная связь между человеком, проживающим в этой комнате, и ангелом, летающим под потолком.

«В конце концов, не может не быть связи...— размышлял Марусин.— Пыль — продукт моей жизнедеятельности. Пыль оседает на лице божества, и, следовательно, в изменении выражения его и заключается предсказание судьбы».

И снова морщил нос Марусин, но по-прежнему неясен был ему смысл пророчества. Горькие складки, залегшие в уголках рта крылатого мальчика, никак не вязались с успешным ходом марусинских дел.

«Следы протекших лет и славы...» — задумчиво повторил Марусин прочитанную строку и вздохнул...

Конечно же, могло быть и так, что Амурчик просто устал. Ведь когда его вылепили, этот дом был дачей, и здесь, в столовой, собиралась за столом большая веселая семья, и он летал над ними, счастливыми. И сам был счастливым... Но с тех пор столько людей, столько судеб прошло перед ним, что и он устал, превратился в циника. Так думал Марусин.

А за окном совершалась утренняя жизнь. Многие жители городка работали в Ленинграде и спешили сейчас на электрички. На автобусной остановке уже собрался народ, когда из-за куста сирени появился дворник.

Коротенький и потому кажущийся неестественно толстым, с окладистой черной бородой, еще более подчеркивающей несуразность роста, шаркая метлою по асфальту, он двинулся к желтому флажку, не обращая внимания на людей. И было непонятно, то ли мусор хочет он размести, то ли людей — те только шарахались от его метлы.

Допивая уже остывший кофе, Марусин видел, как подошла к автобусной остановке Матрена Филипповна, затянутая в фирменное платье. Остановившись, она окликнула дворника. Тот перестал махать метлой и обернулся. Пальчиком Матрена Филипповна указала на обертку от мороженого, и, чертыхнувшись, карлик вернулся, подобрал бумажку и только после этого снова взялся за метлу. Как раз в это время из желтых ворот автопарка выехал автобус и остановка сразу опустела.

Матрена Филипповна медленно двинулась по переулку.

И сразу же на опустевшей улочке появился Васька-каторжник. Возле остановки он задержался. Ковыряя спичкой в зубах, о чем-то поговорил с карликом, потом отбросил спичку, засунул руки в карманы и, чуть сутулясь, вразвалочку, зашагал по улице вслед за Матреной Филипповной — он работал на фабрике наладчиком.

Размышления о мальчике с потолка, наблюдение за уличными сценками отвлекали Марусина от чтения, и за утро он осиливал всего две-три страницы Батюшкова. Сегодня тоже было так. Марусин взглянул на часы и увидел, что уже пора идти в редакцию. Вздохнул и с сожалением отложил книгу.

Из бывшей столовой было два выхода. Один через лабиринт коммунального коридора и другой — через веранду на улицу.

Марусин возился с заржавевшим замком, прилаживая его на дверь веранды, когда на остановке появился Прохоров, врач городской больницы.

Марусин знал Прохорова еще по Заберегам, небольшому поселку на Онежском озере, где Марусин родился и вырос, а Прохоров отрабатывал распределение после окончания мединститута. Теперь, сделавшись снова соседом, Прохоров жил в этом же доме, только квартира его имела отдельный выход; Марусин долго удивлялся тому, как чудесно свела его судьба с товарищем по студенческим каникулам. Но стоило ли удивляться? Почти вся молодежь уезжала из Заберег и устраивалась где могла, наводняя пригороды Ленинграда. И это коренные заберегцы... А что ж говорить о приезжих, таких, как Прохоров...

И все же, понимая все это, Марусин тогда не сумел скрыть удивления, когда в посолидневшем, довольно-таки респектабельном человеке узнал заберегского Прохорова.

— Ты же Забереги переделывать собирался...— сказал он, вспоминая страстные монологи, которые слышал от Прохорова, приезжая на студенческие каникулы в поселок.

Прохоров важно надул щеки.

— У меня теперь другая задача...— торжественно возвестил он.

Он ожидал, что Марусин будет расспрашивать его, но тот даже и не поинтересовался: какая же это задача стоит теперь перед Прохоровым? И тогда вся важность схлынула с Прохорова, и он, как и прежде в Заберегах, волнуясь и перескакивая с одного на другое, рассказал все. Он переехал в этот город из Заберег потому, что старшему брату дали новую квартиру, и ему нужно было вернуться, чтобы не потерять старую, но это, в сущности, ничего не значит, он по-прежнему много думает и...— Прохоров со значением облизнул губы и таинственно понизил голос — у него теперь много *новых знакомых*.

— Новых?

— Да...— лицо Прохорова стало совсем таинственным.— Тех, что о жизни думают...

— А! — Марусин вевнул.— Ну, да, конечно... А что же ты не женишься, если квартира есть?

Вопрос прозвучал бестактно, и Прохоров сразу замолчал, обиженно надув щеки. С тех пор он больше никогда не рассказывал Марусину о своих *новых знакомых*... Только здоровался при встречах.

Но сегодня Прохоров был чем-то расстроен.

— Здравствуй...— сказал Марусин, пытаясь замкнуть забастовавший замок.— Как дела?

— Так...— ответил Прохоров и хотел пройти мимо, но вдруг вспомнил подходящую, услышанную еще в Заберегах пословицу, и чуть задержал шаг.

— Дела, как сажа бела...— невесело пошутил он.

— А что так? — удивился Марусин.

— Мобилизовали меня, Марусин! — коротко ответил Прохоров.— Все планы к черту летят. Призывников буду две недели осматривать.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Текстильная фабрика, где директорствовала Матрена Филипповна, размещалась в трехэтажном, еще до революции построенном здании, выходящем окнами прямо на привокзальную площадь. Работали на фабрике в основном женщины, и по утрам, отрываясь от работы, они могли видеть своих мужей, выглядывая в окно. Хмурые и не опохмелившиеся, бродили мужики по площади, ожидая, пока завезут пиво в станционный буфет. Работая, женщины говорили о своих мужьях, о том, как много теперь стали пить,— время за этими разговорами шло быстрее.

Фабрика была очень старой... Уже давно надо было ремонтировать здание, расширять площади цехов, но фабрика числилась в неперспективных, денег на ремонт не удавалось выбить. Тем не менее какими-то никому не ведомыми путями Матрена Филипповна выбила импортное оборудование, и два года назад его завезли в цеха. С тех пор все окончательно перепуталось на фабрике, потому что старое оборудование изъяли лишь частично.

Матрена Филипповна пыталась навести порядок, но заведующий производством Яков Аркадьевич каждый раз отговаривал ее списывать старое оборудование и везти его в металлолом. То не было монтажников, то близился конец квартала, и, чтобы справиться с планом, нужно было вводить сверхурочные часы, а сверхурочницам — им платили по десять рублей сразу после дополнительной смены — на чем-то ведь надо работать... И всегда демонтаж старого оборудования обставлялся такими сложностями, что Матрена Филипповна в конце концов махнула рукой. Она уже отчаялась разобраться в новых, чрезвычайно запутанных порядках, что установились на фабрике, и всецело полагалась на мудрого Якова Арсеньевича — тем более, что план-то фабрика всегда выполняла и даже время от времени завоевывала переходящее знамя.

Старое оборудование постоянно ломалось, и возиться с настройкой его приходилось Ваське-каторжнику. Всегда по количеству заявок на ремонт Васька узнавал, работали вчера сверхурочницы или нет.

Вчера работали...

Едва Васька появился в цеху, его сразу же окружили работницы. Но сегодня Васька-каторжник был не в духе. Утренний разговор с братом все еще жил в нем каким-то непонятным ему самому беспокойством.

— После! После! — расталкивая стайку девушек, проговорил он, пробираясь в свой закуток, отгороженный от цеха стальными стеллажами.

Ваське нужно было подумать.

В последнее время он полюбил это занятие.

Усевшись в закутке на металлическую табуретку, он вытащил из ящика стола промасленную, видавшую виды кепку, напялил ее на голову и принялся думать... Медленные и неповоротливые, словно обутые в кирзовые сапоги, мысли, шаркая, возникли в его голове. Мысли были тоскливые. Васька видел то Ванинский порт с вмерзшими в лед судами, то огромную, заснеженную тайгу и человека, бредущего куда-то по пояс в снегу.

«Я помню тот Ванинский порт...» — чуть прикрыв глаза, тихонько засвистел Васька, и лицо его с правильными крупными чертами, с тяжелыми губами и широким лбом, не закрытым завитушками жестких кудрей, словно бы посветлело. И так красиво было, что Наташа Самогубова, заглянувшая в закуток, чтобы попросить Ваську посмотреть ее станок, остановилась. Долго, затаив дыхание, смотрела на Ваську и не могла оторваться. И, может быть, от этого запершило в горле, и она робко кашлянула.

Васька с неудовольствием обернулся, нахмурил брови.

— Василий Степанович,— краснея, проговорила Наташа.— Посмотрите там у меня... Опять линия встанет.

— Опять...— Васька поморщился.— Опять на старье работаете?

— Кукушкин велел...— Наташа опустила голову, словно она сама была виновата в этом.

— Ку-куш-кин...— презрительно проговорил Васька.— Шибко большой начальник Кукушкин, как я посмотрю. Вот пойду сейчас к директору, и пускай сама ремонтирует эти станки, раз Кукушкин велел!

Наташа кротко взглянула на него и ничего не сказала.

— Да что ты смотришь так?! — рассердился Васька. Сорвал с головы кепочку и швырнул ее в ящик стола.— Вот сейчас сразу и пойду к директору!

Возле кабинета Матрены Филипповны Васька-каторжник столкнулся с Леночкой Кандаковой. Леночку звали на фабрике подснежником, потому что работала она комсоргом, а оформлена была на ставку наладчицы. Сейчас Леночка выпорхнула из двери кабинета Матрены Филипповны, и Васька, расставив руки, схапал ее и сильно прижал к себе.

— Пусти! — закричала Леночка.— Ты что это, Магадан Степанович, сдурел, да?

Изловчившись, она вывернулась из Васькиных рук и сразу же — легкий она была человек — весело захохотала и убежала прочь.

Васька посмотрел ей вслед и толкнул дверь с табличкой «Директор».

Матрена Филипповна сидела за массивным столом и подписывала какие-то бумаги. Услышав шаги, подняла голову.

Матрена Филипповна относилась к тем людям, которые, однажды установив определенные отношения с каким-либо человеком, очень неохотно изменяют их. Ваську Матрена Филипповна знала. Васька был ее соседом, Ваську она устроила на свою фабрику наладчиком после того, как вернулся он из заключения. Она иногда видела его, но почти никогда не замечала — слишком далеко отстоял этот человек от интересов Матрены Филипповны, он сливался с серой, безликой массой, которая существовала только для того, чтобы Матрена Филипповна могла руководить ею. И так Васька и должен был существовать, но вот он внезапно вошел в кабинет и, переступив запретную черту, стал конкретным человеком, отношения с которым могли измениться теперь...

— Могилин?! — удивилась Матрена Филипповна.

— Я...— нагло ухмыльнувшись, ответил Васька. Молча подошел к столу и опустился в черное кожаное кресло.

— В чем дело, Могилин?! — в голосе Матрены Филипповны возникла металлическая нотка, заставлявшая трепетать соседок и сослуживцев.

На Ваську, однако, это не произвело впечатления. Он увидел графин с водой и потянулся к нему. Налил стакан и принялся пить. Он не пил, а заглатывал в себя воду, и тяжелый кадык его медленно поднимался к подбородку.

Матрена Филипповна даже растерялась от такой наглости. И тут... Ей показалось... Нет! Этого, конечно, не могло быть... Матрена Филипповна зажмурила от неожиданности глаза, нет! Она мотнула головой, прогоняя навязчивое видение.

Васька допил воду и поставил на стол стакан.

— Долго еще? — устремив на Матрену Филипповну тяжелый взгляд, спросил он.

— Что? — растерялась та.

— Долго еще мне с этим старьем возиться?

— А! — Матрена Филипповна машинально провела рукой, поправляя прическу.— Вот вы о чем...— она улыбнулась.— Но вы знаете, Василий Степанович, я уже давно приказала демонтировать старое оборудование. Однако Яков Артамонович считает, что это несвоевременно — нет людей.

— Ага! — Васька не мигая смотрел на Матрену Филипповну, словно бы пронзая ее взглядом.— Нет людей?! А зачем тогда вчера весь цех работал на старье? А?!

И снова Матрене Филипповне что-то знакомое промелькнуло в Васькином лице. Напряженно пытаясь понять, кого же напоминает ей Васька, она пожала плечами.

— Я не знаю... Приказ подписан давно, но я выясню...

Она пометила в перекидном календаре, что надо обсудить вопрос... А какой вопрос? — этого написать она не успела. Тяжелые Васькины губы дернулись, выдавливая косую усмешку, и тут ясно увидела Матрена Филипповна, что все это: и то, как пил Васька воду, заглатывая ее в себя; и то, как выдавливал он тяжелыми губами усмешку — все это принадлежало тому, *первому...*

— Мы разберемся...— пробормотала Матрена Филипповна, обдумывая, как удержать Ваську, чтобы как следует понять, разглядеть: ошиблась она или нет...

— А как у вас вообще дела? — спросила она и покраснела.

— Какие еще дела?! — Васька набыченно взглянул на Матрену Филипповну.— Дела у прокурора. А у нас делишки.

— Да? — Матрена Филипповна смущенно хихикнула.— А я сегодня утром с Ниной Петровной разговаривала. Мне показалось, что она очень больна.

— А! — Васька нахмурился.— Притворяется...

— Притворяется?! Ну что вы... По-моему, она серьезно больна.

— Может быть, и больна...— Васька провел огромной ладонью по лицу и вздохнул.— Все может быть. Неважные у нас вообще-то дела. И мать больна, и братана в армию забирают. А ему самое время к делу пристраиваться.

— А может быть, я могу чем помочь? — искренне посочувствовала

Матрена Филипповна.— Лекарство достать или брату вашему чем-нибудь помочь?

Васька быстро взглянул на директрису. Раскрасневшись, она сидела напротив, и глаза ее блестели.

«Ой-ей-ей! — подумал он.— Да что это с нашей кобылкой-то робится?»

Он не мог поверить своим глазам, но факт был налицо, как говорил знакомый следователь. Матрена Филипповна краснела и волновалась, словно семнадцатилетка.

Но тут же понял Васька, что то, о чем он догадался сейчас, Матрена Филипповна еще не знает...

— Как ему поможешь? — Васька встал.— Так, значит, старые станки ломать можно?

— Да...— Матрена Филипповна опустила к бумагам горящее краской лицо.

В своем закутке достал Васька промасленную кепочку, натянул на голову и снова принялся думать.

Снова медленные и неповоротливые, не мысли, а видения, возникли в его голове. Но не было теперь заснеженной тайги и вмерзших в лед судов... Промелькнула раскрасневшаяся, затинутая в джинсовое платьице Матрена Филипповна, проскользнула легкая Леночка, медленный, возник Яков Архипович. Сузился глаз у Васьки.

Легкому человеку всегда легко. Леночка Кандакова, сколько помнила себя, всегда была легкой. Ей говорили, что надо сделать, и ей не скучно было делать это. Самое трудное — казалось ей — добыть указание, а сделать? Сделать не трудно. Она — легкая.

И так было всегда. Дома руководили Леночкой родители, в школе — учителя, а здесь, на фабрике,— Матрена Филипповна.

Привлекательная внешне, Леночка рано догадалась, что секрет ее обаяния заключается не только во внешности, а в первую очередь в легкости, с которой готова она выполнять руководящие указания.

И как только она догадалась об этом, она, сама того не осознавая еще, превратила легкость в свою основную профессию.

Вчера после ссоры с женихом она не спала всю ночь. Утром насилу выпила полчашки кофе, а потом, еле переставляя ноги, поплелась на фабрику. Но едва миновала проходную, как сразу преобразилась: походка стала упругой, голова горделиво поднялась, глаза заблестели — снова сделалась Леночка легкой.

За это и любили ее... Не боль свою, не неурядицы несла она людям, а легкость.

Матрена Филипповна, измученная узким джинсовым платьем, улыбалась, объясняя Леночке, что сегодня нужно провести в конце дня собрание, посвященное наставничеству.

— Очень важно...— сказала Матрена Филипповна улыбаясь.— Есть указание, понимаешь?

— Конечно! — блестя глазами, ответила Леночка. И правда, как же ей было не понять, если среди таких разговоров прошла вся Леночкина жизнь — ее отец Кандаков был первым секретарем райкома партии.

Профессия обязывает, но профессия и помогает. Легкость была Леночкиной профессией, и, если в проходной она обязывала ее подтянуться, то теперь, когда указание было получено и нужно было только выполнить его, Леночке стало по-настоящему легко. Все ее существо наполнилось смыслом.

Весело отмахнувшись от схапавшего ее в объятия Васьки-каторжника, бежала Леночка по цеху.

— Верочка! — кричала она на ходу.— Ты взносы платить думаешь?

— Нюра! — она разговаривала уже с другой девушкой.— Не получается пока с общежитием... Говорят, подождать надо. Потерпишь, милая?

И с кем бы она ни разговаривала, всем сообщалась ее легкость — и Вере, с которой она требовала взносы, и Нюре, которой она так и не выхлопотала общежитие.

Улыбаясь, смотрели вслед Леночке девушки.

А она уже скрылась за обитой кожей дверью, на которой висела табличка: «Товарищ Кукушкин».

Яков Афиногенович сидел у себя в кабинете один. Он хмурился, листая какие-то бумаги, но как только увидел Леночку, расплылся в улыбке.

— Как у вас с Броней дела? — поинтересовался он, усаживая Леночку на черный кожаный диван.

— Все хорошо, Яков Африканович,— опуская глаза, ответила Леночка.— Он очень занят, а так все хорошо...

Яков Богданович заметил ее смущение.

— Ну-ну...— усаживаясь рядом, проговорил он.— Все будет отлично. Не надо из-за пустяков ссориться. Мужчина, если он настоящий мужчина, а не так просто чешет пузо, он и должен быть занят. Ведь не зря русская пословица говорит: делу время, а потехе час...

— Если бы час...— тяжело вздохнула Леночка.— Мы иногда целыми неделями не видимся...

Яков Борисович понимающе покивал.

— Ничего... Вот распишетесь и насмотритесь друг на друга. А я, между прочим, вам и подарок уже приготовил.

— Да? — Леночка подняла голову.— А какой?

— Секрет! На свадьбе увидите.

— Ладно! — Леночка встала и двинулась уже к двери, но тут же остановилась, хлопнула себя ладошкой по лбу.

— Ой, какая же я глупая! — сказала она.— Чуть не позабыла о главном. Ведь мне сегодня надо совещание проводить по наставничеству. Я посоветоваться хотела. Понимаете, мы с Матреной Филипповной решили, чтобы все, так сказать, неформально было. Вначале я скажу несколько слов, потом наставник выступит, ну, например, Антонина Ильинична... Она у нас самый старый работник. А потом хорошо если бы кто-нибудь из молодых девчат выступил и поблагодарил своего наставника за науку. А потом цветы подарим, и все... Вот только я не знаю, кого из девчат взять...

Она не договорила, дверь кабинета распахнулась и в комнату вошел Васька-каторжник.

— Начальник! — с порога сказал он.— Велено ломать старые станки!

— Давно пора! — обрадовалась Леночка.— Не повернуться от них.

Но Яков Будимирович, как видно, не разделял общего восторга. Озабоченно потер он пальцами лоб.

— Как это ломать? П-п-п... Первый раз слышу об этом.

— Не знаю,— Васька-каторжник подмигнул Леночке.— Не знаю, слышал ты или нет, а мне дунули, что давно приказ такой вышел.

— А! Да-да,— морща лоб еще сильнее, вспомнил, наконец, Яков Вавилович.— Ну, да. Было, кажется, что-то... Только, п-п-п, как это вы резльно себе представляете? Некому ж этим заниматься. Людей нет!

— А комсомольцы-уголовнички на чо? — Васька снова подмигнул Леночке.— Пускай субботник организуют.

— Отличная идея! — обрадовалась та.— Правда! У нас давно никаких субботников не было. Мне и в райкоме комсомола уже указывали на это.

— Субботник...— проворчал Яков Вадимович.— Больно вы скорые. Это дело, п-п-п, обдумать надо. Я думаю, рано еще заниматься этим. Подождем.

— Ждите,— пожал плечами Васька.— А я уже приказ получил, пойду ломать. Ломать не строить...

Он хохотнул и, хлопнув Леночку по спине, вышел.

Яков Валентинович задумчиво посмотрел ему вслед.

— А вот...— сказал он наконец, оборачиваясь к Леночке.— Вот хоть Могилин, например... Чем неподходящая кандидатура? Он Самогубовой операцию объяснял, когда она на фабрику устроилась. Вот о нем и говорить надо. Видишь, какой он самостоятельный.

— Точно! — обрадовалась Леночка.— Ой, как это вы здорово придумали!

Приподнявшись на цыпочки, она быстро поцеловала Якова Валериановича в щеку и через минуту уже разговаривала с Наташей Самогубовой.

— Какая ты красивая сегодня! — похвалила ее и тут же без перехода спросила: — У тебя ведь Могилин наставником был?

— Кем? — переспросила раскрасневшаяся от похвалы Наташа.

— Ну, операцию тебе Могилин объяснял?

— Могилин...

— Вот и замечательно. Надо будет тебе, Наташенька, выступить сегодня.— Оценивающим взглядом Леночка окинула ее.— Ты и одета как раз хорошо. Понимаешь, надо о наставнике рассказать. Только чтобы неказенно получилось. Понимаешь?

— Не...— Наташа отрицательно помотала головой.— Не... Я не умею.

— Ой, Наташка! — рассмеялась Леночка.— Да чего же тут уметь надо? Я тебе все напишу на бумажке, а ты только прочитаешь, и все. Так, значит, договорились? Я занесу тебе в конце смены выступление!

И, не дожидаясь ответа, побежала дальше. Начинался рабочий день, и нужно было работать: собирать, организовывать, подготавливать, договариваться — это и было ее делом, и в этом деле забывались обиды и огорчения.

Перед обедом Леночка снова вспомнила о вчерашней ссоре с женихом, и лицо ее чуть омрачилось, но она тут же догадалась, что надо позвонить редактору газеты и попросить, чтобы прислали корреспондента. Корреспондент напишет, как хорошо прошло собрание, и ее жених, милый Броня — Бонапарт Яковлевич работал ответственным секретарем в газете — узнает, как хорошо работает его невеста, и... все будет замечательно.

Улыбаясь, Леночка набрала номер редактора. Все можно было организовать. Все. В том числе и любовь.

А Яков Валерианович долго неподвижно сидел на кожаном диване в своем кабинете и щурил, щурил добрые глаза, должно быть, обдумывая, как сложится дальше Леночкина жизнь, сохранит ли она и в замужестве свою легкость, от которой так радостно делается людям...

Кто знает, о чем думал Яков Валерьевич, пощипывая поседевшую бровь. Никогда и никому: ни жене, ни сыну — не рассказывал о своих мыслях старый человек — Яков Васильевич Кукушкин.

Наконец очнулся он от своего забытья. Вышел в цех и сразу направился к Ваське, который, отбиваясь от наседавших на него работниц, уже раскручивал старый станок.

Женщины хватали Ваську за руки, кричали, что на этом станке они зарабатывают в два раза больше, чем на новых. Действительно, на фабрике за сверхурочную работу по порядку, заведенному Яковом Василисковичем, рассчитывались наличными, и на старых станках работницы получали очень неплохо.

— Могилин! — окликнул Ваську Яков Венедиктович

— Чего? — тот недовольно поднял голову.

— Пойдем-пойдем...— Яков Вениаминович подхватил Ваську под локоть.— Тут вот какое дело, Василий Степанович, получается.

И, отведя Ваську в сторону, долго и путано принялся объяснять, что нужно, не вполне официально, конечно, отвезти в ремонтные мастерские старые моторы — они совсем легкие! — ну, а оттуда обещают прислать коечто крайне необходимое для фабрики... Только вот беда: послать с моторами некого! Так, может быть, вы, Василий Степанович?

— А платить кто будет? — поинтересовался Васька.

Глаза Якова Викентьевича забегали.

— Ага! — сказал Васька.— Все понятно. Иди, дорогой, своей дорогой. Ищи другого дурака!

И он уже двинулся было назад к станку, но тут почувствовал у себя в руке какую-то бумажку. Быстро взглянул на нее. На раскрытой ладони лежала пятидесятирублевка.

Думая, что Яков Викторович ошибся, Васька быстро засунул бумажку в карман.

— Ну, ладно уж...— как бы нехотя проговорил он.— Чего надо-то?

Неплохой, удачливый день получался сегодня у Васьки. Он еще не решил, что ему делать с Матреной Филипповной, как обернуть на пользу себе ее симпатию, но что он сделает с нежданной пятидесятирублевкой, он точно знал.

— Ну, рассказывай! — подбодрил он съежившегося Якова Викториновича.— Рассказывай, чего там, куда, где? Кого зарезать надо?

И он оглушительно захохотал, разглядывая совсем смутившегося Кукушкина.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Редакция городской газеты «Луч» располагалась в двухэтажном здании, стоящем возле линии электричек. С равными интервалами проносились мимо поезда, и тогда стекла во всех кабинетах мелко дребезжали.

Вокруг редакции был разбит небольшой скверик, в котором росли деревья с побуревшими от поездной пыли листьями. Вход в скверик украшали гипсовые статуи пионеров. Один из пионеров пытался загнать в кусты гипсовый мяч, другой мчался на гипсовом самокате прямо под электричку, гремевшую за деревьями.

Весной, во время субботника, пионеров, по указанию Бориса Константиновича — редактора газеты,— покрасили желтой краской, а глаза и трусики — голубой, и теперь даже равнодушному к искусству человеку трудно было не заметить скульптурные группы, украшавшие сквер.

На первом этаже здания размещалась типография, а сама редакция «Луча» занимала, как острили сотрудники, бельэтаж. Половина его площади была отведена под кабинет Бориса Константиновича. Никто из сотрудников не сомневался в разумности подобной планировки — слишком много забот было у их любимого шефа, с ними даже и на этой площади ему было тесновато. А забот у редактора действительно было много, так много, что порою не оставалось времени для работы.

Часами сидел редактор в своем кабинете и, надувая щеки, горестно думал о своей непомерной загруженности. Это было даже не думание, а какое-то погружение в состояние озабоченности, где единственным мерилом времени служил грохот проносящихся за окном электричек.

То и дело звонил телефон, но редактор никогда не спешил поднимать трубку. Скосив грустные глаза на аппарат, он долго размышлял: кто это может звонить? Чаще всего телефон смолкал раньше, нежели редактор успевал принять какое-нибудь решение.

Но всегда в двенадцать часов редактор выходил из своего кабинета. Впереди, обтянутый серым жилетом, важно колыхаясь, двигался живот, а чуть сзади, почтительно отстав, следовала голова. Процессионность была заметна и в лице — щеки заметно обгоняли маленькие, заплывшие жиром глазки.

Первым делом редактор заглядывал в комнатушку, где сидел ответственный секретарь.

— Бонапарт Яковлевич! — остановившись на пороге, поинтересовался редактор.— Будем мы сегодня газету выпускать или нет?

У ответственного секретаря была привычка — улыбкой американского миллионера мгновенно растягивать губы, открывая ослепительно ровные зубы и тут же, так же мгновенно, гасить улыбку.

На собеседников это действовало безотказно.

— Непременно! — одарив и своего шефа улыбкой миллионера, ответил Бонапарт Яковлевич. И тут же снял улыбку с лица.— А вы уже подписали макет?

Редактор обиженно запыхтел.

— Еще не смотрел,— разворачиваясь, ответил он.— Времени не было, Бонапарт Яковлевич.

Бонапарту Яковлевичу, человеку с безукоризненной репутацией, одетому в безукоризненный костюм, оставалось только недоуменно поднять бровь... Так было всегда. Вместо того, чтобы начать работу над газетой с утра, редактор только после обеда садился смотреть макет, и почти никогда верстка не укладывалась в рабочие часы, а чистые, вычитанные полосы приходили к десяти вечера.

Но у редактора тоже были причины для досады. Действительно. Бонапарт Яковлевич был единственным сотрудником, кроме замредактора Угарова, в котором Борис Константинович еще не разочаровался. И, конечно, уж от Кукушкина редактор не ждал подобного равнодушия. Уж Кукушкин-то мог бы вникнуть в его, редакторские, многотрудные заботы, а не досаждать ему своей многозначительно — редактор умел видеть, что делается за его спиной — поднятой бровью.

Обидевшись на Бонапарта Яковлевича и приняв решение не смотреть макета до конца дня, редактор продолжал обход своих владений.

Завидев серый жилет, сотрудники успевали за короткие мгновения напустить на себя озабоченный вид. Когда редактор входил в отдел, все уже работали, и, должно быть, в душе посмеивались тому, как ловко они обманывают шефа. Глупые... Очень немногие знали в редакции, что Борис Константинович умеет видеть, что было в комнате несколько минут назад, и сейчас его, конечно же, не обманул склонившийся над бумагами Марусин. Редактор ясно представил себе, как всего несколько мгновений назад он заговаривал зубы раскрасневшейся и набирающей сейчас несуществующий телефонный номер Зориной. И Угрюмов тоже напрасно уткнулся в подшивку газет, так что только лысина сверкает на солнце. Совершенно точно знал редактор, что всего минуту назад он тоже точил лясы, развлекая молодых сотрудников бородатыми журналистскими анекдотами.

И все это в то время, когда так немыслимо много забот навалилось на их редактора!

Нет! Не нужно ему ничьей помощи! Но хоть сочувствие-то должно быть... Должно же ощущаться понимание его, редакторской, загруженности. В чем? Ну, хотя бы в честном отношении к своему труду! В максимальном использовании для газеты каждой секунды рабочего времени.

Грустными глазами обвел редактор всю комнату. Никто не замечал его, делая вид, что так увлекла их работа. Только Зорина испуганно косится на него, набирая уже десятую цифру на диске телефона.

Одной из самых трудных забот редактора был прием на работу. Борис Константинович перепробовал, кажется, все. Он пробовал брать по рекомендации, принимал по направлениям, брал по собственной интуиции — и все равно получалось плохо. Каждый год состав редакции обновлялся почти наполовину.

А Марусина редактор взял на работу только потому, что фамилия предыдущего, просидевшего на этом месте три года, сотрудника была Ольгин. Ольгин ушел в райком комсомола, и редактор по-своему уважал его за это.

Но, очевидно, что и этот метод отбора несовершенен. Марусин явно разочаровывал редактора.

— Здравствуйте, товарищи! — наконец проговорил редактор, и сразу все преобразилось. На месте круглой, как репа, лысины возникло сияющее лицо Угрюмова. Зорина торопливо повесила трубку и, одергивая юбку, встала, как встает школьница, когда в класс заходит директор. Только один Марусин буркнул что-то неразборчивое и продолжал писать.

Легкая тень озабоченности пробежала по лицу Бориса Константиновича.

— Вы, Марусин, сегодня что в секретариат сдали? — поинтересовался он.

— Что? — переспросил Марусин, поднимая голову.— А... Что в секретариат сдал? Статью директора дворца культуры, две заметки... Это сегодня... А что с моей статьей о юбилее парка? Вы прочитали?

Печально посмотрел на него редактор.

Ну, разве можно у него, загруженного человека, спрашивать такое? Ну, ведь нужно совсем ни капельки не сочувствовать ему, чтобы спрашивать так!

— Прочитаю, когда будет время,— редактор недовольно повернулся к Угрюмову.— Как дела, Александр Степанович?

— Работаем, Борис Константинович! — вставая навстречу шефу, отозвался тот.— Только что закончили составление плана работы на следующий квартал. Будет рубрика: «Человек и его дело».

Лицо редактора потеплело.

— Это неплохо...— просматривая листки, которые передал ему Угрюмов, похвалил он.— Но надо больше людей, Александр Степанович, живого человека надо!

— Зорина! — Угрюмов чуть повернулся в сторону Люды.— Вы слышали?

— Слышала, Александр Степанович! Будут люди.

— Будут...— заглядывая в глаза редактору, доложил Угрюмов.

— Хорошо бы...— редактор тяжело вздохнул.— Так плохо, когда нет людей. В жизни их мало, а если и на страницах газеты не будет, что тогда? — и он сморщил лоб, думая, сказать ли, что на текстильной фабрике сегодня состоится совещание наставников, или не говорить, а потом обругать сотрудников за то, что они проворонили такое ответственное мероприятие. Подумал и решил, что Угрюмову сказать можно.

— Мне звонили...— все еще хмурясь, проговорил он,— что на текстильной фабрике собрание, посвященное наставничеству. Вы сами понимаете, насколько это важная тема.

И он со значением поднял вверх палец.

— Будет исполнено! — не сказал, а отрапортовал Угрюмов, со всей ясностью понимая, что шеф мог бы и не говорить ему о совещании, но вот, снизошел и сказал.— Вы слышали, Зорина?

— Статьей или репортажем давать совещание? — спросила та, бледнея от мысли, что могла бы проворонить столь важное для города мероприятие.— Сколько строчек?

— Я думаю, строк двести...— редактор уже жалел, что сказал. Лучше было бы, если бы он завтра покритиковал отдел на летучке.— Лучше, конечно, репортаж. Но теплее... Человечней, пожалуйста. Возьмите выступления и поправьте их как надо, чтобы чувствовался человек, который говорит.

Скоро редактор завершил обход владений и снова скрылся в своем кабинете. Редакция начала оживать.

На стол Бонапарта Яковлевича к трем часам вернулся испещренный красным карандашом макет. Бонапарт Яковлевич тяжело вздохнул и начал переделывать номер. Конечно же, образовались дырки. Бонапарт Яковлевич прошел по отделам, требуя информаций. Забегали уже собирающиеся домой сотрудники. Затрещали телефоны. Рабочий день редактора и ответственного секретаря только начинался.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Прохоров ненавидел дни работы на призывном пункте. Острое раздражение возникало в нем, как только он входил в этот длинный зеленый барак, надломленно расползающийся по земле. На первом этаже здания располагалось похоронное бюро, и запах воска и сосновых стружек пропитал насквозь все коридоры, в которых толпились голые призывники.

Прохоров как-то обостренно чувствовал неприличность подобного соседства и мучился, ощущая себя чрезвычайно скверно.

Сегодня к этому голосу совести — так в компаниях у *новых знакомых* называл свои ощущения Прохоров — примешивалась досада на то, что вчера, в спешке, он позабыл на работе, в городской поликлинике, русско-английский словарь.

Последние месяцы Прохоров усиленно изучал английский язык. Хотя знание языка и не играло решающей роли в отборе претендентов, желающих

поехать на работу в Африку, но Прохоров все-таки указал в анкете, что владеет английским, и сейчас наверстывал упущенное.

Язык он учил по старинке. Днем, в перерывах между пациентами, выхватывал из словаря первое попавшееся слово, а потом, осматривая больного, повторял его про себя. Вечерами он пытался читать одолженный у *новых знакомых* роман про Джеймса Бонда и искренне радовался, когда отыскивал в тексте знакомые слова.

Сегодня из-за отсутствия словаря, забытого в поликлинике, должен был сорваться весь график изучения английского языка, и Прохоров нервничал. Морщась, вошел он в темное фойе, где крутили для призывников армейскую хронику. Жужжал старенький проектор, потрескивала в нем бегущая лента, а на экране неслись танки, летели самолеты. С трудом пробрался Прохоров к своему кабинету.

К обеду у него разболелась голова.

Обычно Прохоров обедал у родителей, но сегодня он не пошел к ним. Забежал за словарем в поликлинику, а потом направился к стеклянному зданию ресторана «Волна». Здесь, внизу, в кафетерии, он проглотил две таблетки анальгина, зажевал их невкусной холодной котлетой, а потом принялся за кофе (кофе здесь варили отличный, и сюда, должно быть, поэтому захаживала вся городская интеллигенция).

Прохоров мелкими глоточками пил кофе и рассеянно кивал знакомым, которые то и дело заходили в кафетерий, когда увидел вдруг Леночку Кандакову. Чашка задрожала в руке Прохорова, и он, чтобы не расплескать кофе, поставил ее на стол. Леночка тоже смутилась, увидев Прохорова.

— Что это? — кивая на словарь, спросила она.— Английский язык учишь?

— Да...— сказал Прохоров.— Я в Африку хочу поехать.

И он так посмотрел на Леночку, что та поняла: еще мгновение, и Прохоров скажет то, что говорить не надо.

— Это хорошо...— быстро проговорила она.— Там, в Африке, говорят, очень тепло.

Она говорила, не задумываясь о смысле, говорила, чтобы говорить, чтобы Прохоров не сказал того, о чем уже поздно говорить.

Она знала Прохорова всю свою жизнь. Их семьи дружили, и с трех лет Прохоров начал ухаживать за Леночкой, нисколько не сомневаясь — Леночка тоже в этом не сомневалась,— что со временем они станут взрослыми и превратятся сразу в мужа и жену.

И, кажется, они ни разу не поссорились за все долгие годы дружбы. Поэтому, когда они поссорились первый раз — это случилось уже после окончания Прохоровым института,— им обоим показалось, что случилось непоправимое. Прохоров тогда собрал вещи и уехал работать врачом в Забереги, а Леночка осталась совсем одна, и никто — родители делали вид, что не замечают их ссоры — не объяснял, что же теперь делать.

А потом Леночка познакомилась с Бонапартом Яковлевичем Кукушкиным и ей стало неинтересно читать письма, в которых Прохоров описывал свою заберегскую жизнь.

Конечно же, Прохоров почувствовал это и, бросив заберегские дела, перебрался назад в город, но лучше бы ему не возвращаться. Увидев его рядом с энергичным и подтянутым Бонапартом Яковлевичем Кукушкиным, Леночка удивилась, как же раньше могла она не замечать расхлябанности своего первого возлюбленного.

Через три месяца после возвращения Прохорова из Заберег она пошла с Кукушкиным в загс и подала заявление.

— Что? — спросила она, не расслышав последних слов Прохорова.

— Кому как, говорю...— сказал тот.— Кому в Африке тепло, а кому так и не очень.

Он быстро взглянул на часы.

— Пойду...— сказал он, краснея.— Обеденный перерыв уже кончился.

И торопливо вышел из кафетерия.

Голова перестала болеть, но на душе по-прежнему было тягостно.

Морщась, Прохоров протиснулся меж голыми призывниками в свой кабинет и, накинув на плечи белый халат, сел за стол.

— Вызывайте, Танечка! — попросил он дежурную медсестру и наугад раскрыл словарь.

«Mincing-machine...— прочитал он.— Минцен-мэшин...»

И закрыл словарь.

— Минцен-мэшин. Мясорубка. Минцен-мэшин...

Двери скрипнули. Очередной призывник вошел в кабинет.

«Минцен-мэшин, минцен-мэшин...» — повторял про себя Прохоров, ослушивая призывника.— Минцен-мэшин... Дышите глубже,— это уже вслух.— Спасибо...

Он сел за стол и придвинул стопку карточек.

— Как фамилия? На что жалуетесь? — привычно спросил он и снова повторил: «Минцен-мэшин»...

Процедура осмотра проходила обычно без проволочек, и Прохоров готов был написать «Годен» и снова раскрыть словарь, чтобы выудить из него еще одно слово, но призывник почему-то медлил. Прохоров услышал укоризненное покашливание и впервые за время осмотра внимательно взглянул на его лицо.

Перед ним стоял Пузочес.

— Не узнали? — сочувственно спросил он.— Голый, поэтому и не узнали.

— Н-да...— Прохоров растерянно потрогал свои волосы.— Действительно, непривычно как-то...— он запнулся.— Без гитары...

От растерянности он позабыл, как называется по-английски мясорубка, и рассердился. Нельзя официальную процедуру осмотра прерывать неслужебными разговорами.

Торопливо согнал с лица растерянность и попытался было построжеть, но было уже поздно — голый Пузочес уселся на край стола и, наклонившись к нему, доверительно прошептал: «Мне в институт поступать надо...»

Голое бедро Пузочеса, покрытое мелкими прыщиками, находилось как раз перед лицом Прохорова.

— Ну, знаете! — вспылил он, вскакивая из-за стола, и тут: «Минцен-мэшин!» — вспомнил позабытое слово и, сам того не желая, расплылся в улыбке.

— А я книжки могу доставать! — обрадовался Пузочес.— Я на черном рынке всех знаю.

— Минцен-мэшин...— вслух повторил Прохоров и тут же спохватился.

— Так на что же вы жалуетесь? — строгим и официальным голосом спросил он.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Центром городка справедливо считалась привокзальная площадь. Больше половины горожан работали в Ленинграде, и два раза в день пробирались они сквозь лабиринты ярко-голубых киосков, загромождавших площадь. Поэтому-то и не было в городке более людного места.

Но особенно многолюдно становилось здесь в шесть часов вечера. Идущие почти впритык друг за другом электрички сгружали на перронах толпы, и трудно было протолкнуться на автобусных остановках. А юркие красные автобусы, дребезжа поломанными дверями, сновали по площади, и странно: такие маленькие, они перебарывали многолюдье... Очереди на остановках худели и наконец исчезали совсем. К восьми часам только случайного пьяного можно было увидеть возле желтого флажка. Покачиваясь, он смотрел на пустой автобус и не мог вспомнить: куда ему ехать?

К этому времени закрывались ларьки, и только запоздавшая продавщица газировки катила по опустевшей площади сатураторную тележку, да еще пожилая уборщица подметала заплеванные, закиданные окурками ступени гранитной лестницы, ведущей к перронам,— больше никого не было.

Уборщица домела лестницу и с трудом распрямила уставшую спину... Вокзал опустел и притих, только со второго этажа — там находился привокзальный ресторан — струился в белесые сумерки ядовито-голубой свет и доносились сливающиеся в неясный шум голоса.

За день ресторан успевал прожить целую жизнь.

В семь утра он был озябшим, продрогшим от утренней свежести буфетом-беспризорником. В эти часы толкались в нем неопохмелившиеся граждане в пиджаках с поднятыми воротниками.

К девяти они пропадали.

Уборщица подметала пол, и в чистый просторный буфет лишь изредка заходили пассажиры, чтобы выпить стакан кофе с молоком да съесть диетическое яйцо.

В двенадцать дня остепенившийся беспризорник вступал в новое качество. В соседнем зале начинали кормить комплексными — по девяносто две копейки — обедами, и буфет постепенно заполнялся представителями местной интеллигенции. Скромно, но чисто одетые, шурша газетами, они торопливо выстаивали длинную очередь, а потом старательно ели комплексный обед и, расплачиваясь с официантками, предупредительно доставали мелочь. Буфет и зал ресторана выглядели в эти часы особенно скромно и деловито.

А скромная трудовая жизнь, как известно, ведет к зажиточности, и вот: в пять часов, когда меняли скатерти на столиках и цены в меню, когда появлялся, пока еще степенный и важный, швейцар с орденом Красной Звезды на золотом лацкане ливреи, ресторан превращался в солидное заведение, куда не брезговали заходить самые уважаемые и высокооплачиваемые горожане.

Но текли минуты, проходили часы и ничего — если не считать постепенно краснеющего носа у швейцара — не менялось в облике ресторана, и он, как самодовольный, успокоившийся в себе человек, прямо на глазах *хужел*, блекнул и, сам того не замечая, опускался. Последние часы он доживал, как горький пьяница.

Во всех залах было тесно от людей. Над столиками висели тяжелые клубы табачного дыма. Сквозь звон посуды слышались дребезжащие голоса. Уже давно не было мест, но люди шли, и швейцар с орденом на золотом лацкане ливреи, задыхаясь, кричал: «Стой, сука! Стрелять буду!», но его не слушали, рвались в зал, залитый ядовито-голубым светом.

Ресторан пользовался успехом. Женщины редко заходили сюда, и мужики раскованно напивались и умно разговаривали о положении на Ближнем Востоке и о работе.

Пузочес появился в ресторане в тот момент, когда ресторан, подобно реке, текущей с холмов, словно бы застыл неподвижно, думая, куда ему свернуть...

Пузочес удачно продал в Ленинграде две книжки, и у него появилась десятка, на которую он и собирался посидеть. Он вошел в притихший в это мгновение зал и оглянулся, высматривая, куда сесть. Заметил брата и направился к его столику, чтобы похвастаться своей десяткой, но Васька даже и не спросил, как обычно спрашивал: есть ли у Пузочеса деньги, что он за столик садится? Сейчас он только взглянул на брата и, ничего не говоря, налил ему в рюмку водки.

Миновало короткое мгновение. Прошло... Река мчалась уже по проторенному руслу, и на не видимых глазу кручах бросало, комкало поток посетителей, уже начали в углу горланить песни, а в проходе между залами кто-то — пятачок за пятачком — кормил ненасытный меломан, и тот благодарно орал в ответ разноязыкими голосами эстрадных певцов. У окна опрокинули столик, кого-то вытаскивали из зала на расправу — никто не обращал на это внимания. Кругом звенела посуда, хрипло кричали за столиками раскрасневшиеся мужики.

Только за столиком братьев царили покой и порядок. Утлый плотик в разбушевавшемся потоке страстей...

Васька-каторжник сидел, вытянув в проход длинные ноги, и полузакрытыми глазами наблюдал за разгулом, охватившим уже весь ресторан. Он успел поужинать до прихода брата и сейчас только пил, зато Пузочес жадно поглощал еду и был похож на собачонку, лакающую из миски,— так неуютно сидел на слишком далеко отставленном стуле.

Васька-каторжник посмотрел на него и неожиданно улыбнулся. Сегодня его не раздражали в брате даже гнилые зубы.

— Браток,— попросил он мужика, сидевшего за соседним столиком.— Передай-ка инструкцию...

И, развернув меню, принялся изучать, чем еще можно покормить проголодавшегося брата.

— Чего ты добрый такой? — удивился Пузочес.— Случилось что?

— Кто знает...— загадочно ответил Васька.— Может быть, и случилось.

— Хорошая у тебя работа...— притворно восхитился Пузочес, отодвигая тарелки.— Ходишь в белом халате, целый день баб щупаешь, а они тебе еще и спирт дают. Может, и мне к вам устроиться?

— А что?! Давай устраивайся, елки зеленые! Приходи...

— Куда идти-то...— Теперь уже по-простому, без подначки, ответил Пузочес.— В армию я, братец, пойду.

Васька сжал ладонью лицо. Что-то представилось ему, что-то промелькнуло вдруг и, закрывая ладонью глаза, Васька пытался разглядеть: что?

Он налил в фужер водки и одним глотком выпил ее.

— А ты дерись! — наваливаясь грудью на стол, сказал он.— Ты не сдавайся. Ты кусайся за свое место на свете. Понял? Никто не будет за тебя кусаться. Самому нужно!

— Откусался уже...— невесело ответил Пузочес, и Ваське, кажется, впервые с тех пор, как вернулся он из заключения, стало жалко младшего брата. И сразу словно распахнулась хмельная завеса. Ясно увидел Васька то, о чем думал весь вечер, пропивая пятидесятирублевку, совсем не случайно, как он уже догадался, перепавшую ему.

— Не сикай, брательник! — он хлопнул Пузочеса по плечу.— Есть один шанс. Есть, братуха. Только: во! — он сжал волосатый кулак и поднес его к носу брата.— Тогда уже до конца, понял? Я тебя на фабрику инженером устрою, понял?

— Сто рублей, что ли, получать? — скривился Пузочес.— Да я на книжках рублей триста в месяц имею.

— Не гоношись! — Васька хотел рассказать Пузочесу все, что думал, но побоялся. И получалось, что, начав говорить, он тут же смолк, напуская туману, и захмелевший Пузочес усиленно морщил лоб, пытаясь сообразить, что же такое затеял брат.

Двери были уже закрыты, когда братья, поддерживая друг друга, добрались до своего прогнившего насквозь дома.

— Все! — грустно сказал Пузочес.— Придется опять в лопухах ночевать.

— Не сикай! — самодовольно ухмыльнулся Васька и, обойдя дом, постучал в стекло к Матрене Филипповне.

— Кто там? — раздался через минуту ее недовольный голос.

— Я! — сказал Пузочес.

— Кто?!

— Да не слушай ты его, елки зеленые,— оттеснил Пузочеса Васька.— Это я — Могилин.

Загремел засов, и дверь распахнулась.

— Ах! — улыбаясь, сказала Матрена Филипповна.— А я и не узнала вас сразу, Василий...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Снова постучали. Васька-каторжник судорожно дернулся на диване и вскочил. Хлопая глазами, сел и сразу же вспомнил сон.

Приснился Ваське барак. К ним определили вновь прибывшего хлопца, и хлопец сразу сцепился с Чефирем, признанным главарем барака. Хлопец

был тщедушный и жалкий, и Чефирь со своими подручными в первый же день измордовал его. Но, очнувшись, новичок не стих, как другие.

— Зарежу! — вытирая рукавом кровь с разбитого лица, сказал он, и Чефирь побелел и снова набросился на хлопца. Теперь он бил его ногами, и пот струями катился с его побагровевшего лица, а нога: «Хряк-хряк!» размеренно входила в копошащийся на полу жалкий клубок, уже совсем не похожий на человека.

Ночью Васька внезапно проснулся. В полутьме барака различил он хлопца, на ощупь продвигающегося между нарами. Васька тогда застыл, вцепившись пальцами в одеяло, и все равно: страшный, нечеловеческий крик сорвал его с нар. Парень бил железным прутом по голове Чефиря, и сырые комочки мозгов летели на столпившихся вокруг заключенных.

Так было наяву, но во сне привиделось, что хлопец подошел вначале к Ваське и велел встать.

— Ты ведь хочешь убить его? — не спрашивая, а утверждая, сказал он.— А раз хочешь, иди и убей!

— Нет! — хотел было сказать Васька, но не смог. Встал. Трясущимися руками взял железный прут и медленно двинулся к нарам, где спал Чефирь.

Чефиря Васька ненавидел потому, что тот заставил его однажды пронести в зону чай. Васька попался с ним и две недели просидел в карцере, а Чефирь лишь захохотал, когда узнал об этом.

Во сне Васька поднял прут, чтобы ударить Чефиря по голове, но в последний момент рука дернулась и прут с глухим стуком ударился о нары. Чефирь открыл глаза и увидел Ваську.

— Бей! Бей! — закричал рядом хлопец, но Васька не мог пошевелиться.

— Ну, все! — Чефирь ловко выдернул прут из рук Васьки и вскочил на ноги.— Если уж решил бить — бей! — сказал он и принялся лупить прутом по голове Васьки, и тот, хотя и понимал, что его убивают сейчас, только удивлялся, что не чувствует боли.

— Тук-тук...— так стучат в двери, отдавались в голове удары прута.

Снова постучали. Стучали в дверь. Васька тряхнул головой и встал. Пошатываясь, направился к двери, но еще по дороге сообразил, что стучат в дверь к Кукушкиным.

Можно было бы снова лечь, но Ваське стало любопытно: кто это в такую рань беспокоит его дорогого соседа.

Осторожно, чтобы не скрипнуть, он выглянул в щелку. На площадке стоял длинноволосый молодой человек, чем-то очень сильно смахивающий на иностранца, и стучал в дверь Якова Владимировича.

На стук вышла тетя Рита.

— Мне бы Кукушкина! — сказал молодой человек.

— Его нет...— ответила тетя Рита, разглядывая явно незнакомого ей человека.— Он уже на работе. Может, что-нибудь передать ему?

— Нет! — поспешно ответил молодой человек, и тетя Рита, пожав плечами, закрыла дверь.

Закрыл дверь и Васька.

Он зевнул, почесал затылок и вдруг сообразил, что визит этот весьма загадочен. Действительно, что может быть нужно молодому человеку иностранной наружности, которого не знает даже тетя Рита, от бедного пожилого Якова Власовича?

Васька выглянул в окно. Молодой человек стоял во дворе под липой и о чем-то думал.

Нужно было подумать и Ваське. Прошло уже трое суток с того дня, когда Яков Всеволодович выдал ему пятьдесят рублей и когда Васька кое-что понял. С тех пор многое изменилось. Матрена Филипповна замирала теперь, как семнадцатилетка, когда видела Ваську, и готова была делать все, что он скажет.

Много, очень много думал Васька, и промасленная кепочка редко валялась теперь без дела. Часами, нахлобучив ее на голову, сидел Васька в своем закутке и думал о соседе. Все было так непонятно, что от этого думания начинала болеть голова и казалось, что кто-то в кирзачах бродит внутри и пинает мозги сапожищами. И кто знает, что стало бы с Васькиной головой, если бы не пришла ему мысль устроить инженером на фабрику брата и приставить его к делу, чтобы уже никакая падла...— далее Васькина мысль ускользала в дебри нецензурных слов.

Мысль эта была из тех, до которой только Васька и мог додуматься. Никому другому она просто не пришла бы в голову. А Васька думал трудно, но уже если додумывался до чего-либо, его было не переубедить.

Нутром, всеми печенками чувствовал Васька, что какие-то темные делишки крутятся на фабрике и большая деньга плывет кому-то в руки. Вначале Васька думал, что заправляет этими делами Матрена Филипповна — водились деньги у бабы, да ей-то сам бог велел греть руки, как-никак самая главная... Но, подумав так, откинул Васька это предположение. Слишком проста была Матрена Филипповна для такого дела. И так, и этак намекал ей Васька, что знает о всех делишках на фабрике... Матрена Филипповна только хлопала глазами, не понимая, о чем он говорит.

Оставался Яков Гаврилович... Этот мог... Этот знал, наверняка знал что-то, но кто за ним? — вот чего не мог понять Васька. Механика-то была простой. Завод выдавал продукции больше, нежели писалось в план, а разница реализовывалась в пользу компаньонов. Это было понятно, но что понимать, если по всем статьям — Васька верил Матрене Филипповне — все сходилось на фабрике. Думая, что Васька просто хочет расширить свой умственный кругозор, Матрена Филипповна охотно называла все цифры, которые ловко выспрашивал он, и сейчас Васька знал: и сколько завозится на фабрику ниток, и сколько часов требуется для переработки их, и сколько должно получиться материи того или иного сорта. Все знал Васька, и все сходилось. Так где же найти трещинку в этом монолитном храме, воздвигнутом неведомым самородком, чтобы самому просочиться через нее туда, выжить хозяина и самому получить все, что сейчас — Васька физически ощущал это — текло мимо.

Яков Геннадьевич, конечно, участвовал в этом деле, но был и еще кто-то, главный... Ведь не может же человек, загребающий такие деньги, жить, как живет сосед? Когда Васька видел Якова Георгиевича в пиджаке с потертыми рукавами, все в нем восставало против этой мысли.

Да... Много разного нужно было обдумать, и тяжелой делалась к вечеру голова.

И сейчас, рассматривая через окно стоящего во дворике молодого человека, думал Васька. Думал о том, зачем появился этот человек в их доме, что нужно ему от Якова Герасимовича, не он ли, этот парень, и есть — главный?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прохоров плохо провел нынешнюю ночь. Вчера после работы он с родителями пошел в гости к Кандаковым. После ужина отец сел писать с Кандаковым пульку, и Прохоров присоединился к ним, потому что Леночка еще не пришла домой, а увидеть ее и поговорить с ней Прохорову очень хотелось.

Леночка пришла, когда у Прохорова был явный выигрыш. Улыбаясь навстречу ей, Прохоров заказал мизер и сразу же открыл карты.

— А погодите, погодите! — остановил его Кандаков.— Мизер-то у вас, право же, ловленый...

А Прохоров даже и не посмотрел в карты партнеров. Не отрываясь, смотрел он на Леночку, надеясь, что та улыбнется ему, но нет... Леночка только поздоровалась общим «здрасте» и сразу прошла в свою комнату. В течение всего аечера она так и не вышла к гостям.

Когда закрыли пулю и сосчитали, оказалось, что Прохоров проиграл пятнадцать рублей, почти все наличные деньги.

Было от чего расстроиться. В довершение всех неудач Прохоров проспал сегодня на работу.

Когда он проснулся, было около девяти часов.

Не умываясь — только натянул штаны и рубашку,— он выбежал на улицу и сразу же столкнулся с молодым человеком, который так заинтересовал Ваську-каторжника.

С этим человеком Прохоров познакомился в Ленинграде в компании у *новых знакомых.* Фамилия у него была странная — Бельё.

Прохоров не помнил, чтобы он приглашал Бельё, и очень удивился, увидев его.

— Ты ко мне?

— Н-н-да...— не слишком уверенно ответил Бельё.

— А я ухожу...— виновато проговорил Прохоров.— У меня на призывном пункте сегодня работа.

— Жалко...— уводя глаза, сказал Бельё.— Жалко. Хотелось бы поговорить, конечно.

Прохоров взглянул на часы.

— Нет! Нет! — испуганно остановил его Бельё.— Ради бога. Я только пригласить хотел. Мы сегодня семинар один проводим, так я и приехал пригласить.

— Это на Васильевском? — польщенно поинтересовался Прохоров.

— Н-нет...— Сегодня почему-то Бельё все время заикался.— Н-не совсем... Это только вечером определится. Ты мне позвони часиков в семь.

— Непременно...— Прохоров оглянулся. К остановке подходил автобус.— Ну, я поеду тогда...

Пожал протянутую руку и запрыгнул в автобус. Следом за ним втиснулся в дверь Васька-каторжник.

— Привет! — сказал он.— Кто это?

— А...— небрежно ответил Прохоров.— Знакомый один из Ленинграда.

— Понимаю...— Васька многозначительно подмигнул Прохорову.— Из тех?

Как-то, еще в мае, Прохоров, сам не зная зачем, захватил на одно сборище у *новых знакомых* и Ваську-каторжника, а потом целый вечер краснел за него, потому что Васька канал там за баптиста и, напившись, донимал всех пением молитв.

Прохоров не хотел отвечать, но его так и подмывало похвастаться.

— Из тех...— сказал он, важно надувая щеки.— И даже больше...

Прохоров сам не знал, что он хотел этим сказать, но, сказав, не стал поправляться. Многозначительно умолк. Если бы он посмотрел сейчас на Ваську, он, конечно же, обязательно пожалел бы о сказанном. Лицо Васьки сделалось вдруг некрасивым, даже отталкивающим.

Мучительная мысль, казалось, выворачивала его наизнанку. Лицо побагровело, широкие брови сдвинулись, а над ними морским — не развязать! — узлом сплелись морщинки.

Но Прохоров редко вглядывался в лица. Ему было некогда. Люди вообще существовали для него такими, какими он их придумывал себе. А Васька-каторжник давно был придуман им глупым и безобидным человеком. Так чего же еще узнавать в нем?

— Ну, я пошел! — сказал Прохоров и, махнув рукой, выскочил из автобуса.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

У сотрудников «Луча» с утра было праздничное настроение. В райкоме шло заседание бюро, редактор отсутствовал, и сотрудники напропалую манкировали своими обязанностями.

Улыбаясь подобно американскому миллионеру, Бонапарт Яковлевич заслал в типографию три полосы, на подходе была и четвертая: оставалось вставить материал о наставниках — и газета была бы готова.

Переговорив с Зориной — она должна была сдать материал о наставниках — Бонапарт Яковлевич решил устроить себе перерыв. Он пошептался о чем-то с Угрюмовым, и вот они исчезли.

Вскоре пронесся слух, что в универмаге продают импортные детские комбинезончики. Редакция опустела. Все замужние женщины ринулись на штурм прилавков.

В отделе остались только Марусин и Зорина — самые молодые сотрудники.

Марусин не прочь был заглянуть в кафетерий, но ему хотелось соблазнить на кофе и Зорину, а она, как назло, уйти не могла. В ее материале, идущем в номере, не хватало выступления Наташи Самогубовой. Текст его должна была принести в редакцию Кандакова.

Зорина уже несколько раз звонила на фабрику. Там отвечали, что Леночка давно ушла в редакцию.

Зорина нравилась Марусину. Не сводя глаз с ее позолоченной солнечными лучами головки, он рассказал про старый, насквозь прогнивший дом, про ироничного ангела, живущего на потолке, про соседей.

Разойдясь, он начал изображать, как указывает Матрена Филипповна дворнику на пропущенную бумажку; горбясь, изображал, как курит в кулак, набыченно оглядываясь по сторонам, Васька-каторжник; после надул, как Прохоров, щеки, представляя важность и многозначительность. Потом на бис изобразил Пузочеса.

— О-о-у, у-о-о! — подвывал он и размахивал возле живота пятерней: то ли играл на гитаре, то ли чесал пузо.

Откидывая назад голову, Зорина хохотала, и глаза ее — обычно испуганные и грустные — радостно блестели.

Неожиданно зазвонил телефон. По-старчески мудро и безобидно щуря глаза, Марусин печально посмотрел на него, представляя, что так, должно быть, смотрит на телефон Яков Давыдович Кукушкин. Потом, мелко семеня, направился к нему и, не в силах выйти из избранной роли, дребезжащим голосом проговорил: «Вас слушают...»

Спрашивали Угрюмова.

— О! — сказал Марусин.— Угрюмова нет... Нет... Нет... Обязательно будет... Да... Да... Всегда рады слышать вас... Что вы! Что вы! Звоните скоро. Он обязательно будет...

И как-то картинно — по дуге! — положил трубку.

От смеха на глазах Зориной выступили слезы.

А Марусин вдруг стал серьезным.

— А вообще-то...— грустно сказал он.— Я уже привык и к этому дому, и к людям... К своей комнатке с верандой привык, к мальчику привык, что у меня по потолку летает... Скоро дом будут сносить, а я и не знаю, как буду переезжать. Жалко...

— Ты — кошка...— сказала посерьезневшая Зорина.— Ты к месту привыкаешь. А я — собака. Я привыкаю к людям. Я...— она чуть покраснела.— Я и к тебе привыкла.

Марусин опустил глаза.

Зорина еще на первом курсе университета влюбилась в старшекурсника Кукушкина и сейчас, работая с ним в одной газете, растерянно краснела, когда Бонапарт Яковлевич заходил в отдел.

Так что, зная все это, Марусин мог бы не обольщаться добрыми словами Зориной.

Искоса, незаметно, он взглянул на девушку. Она сидела сейчас, подперев ладошкой щеку, и задумчиво грызла карандаш. Мысли ее были где-то очень далеко отсюда, далеко от Марусина.

На мгновение стало досадно, но тут же, заслоняя досаду, возникла мысль, что ведь, в сущности, в нехитрую Людину схемку умещается все огромное человечество со всеми его скорбями и радостями.

Он засмеялся.

— Это правда! — сказал он.— Наверно, и правда я — кошка. Иногда так и хочется замяукать. Ладно...— он встал.— Пошли лучше пить кофе.

— Ты смеешься...— сказала Зорина и опустила голову.— А я серьезно говорю. Не пойду я с тобой кофе пить. Мне надо статью про наставников сдавать.

И она снова, уже в который раз, набрала номер фабрики.

— Позовите, пожалуйста, Кандакову...— попросила она.

— А вот и я! — раздался из дверей голос.

На пороге, улыбаясь, стояла Леночка.

Все лицо ее, такое милое и симпатичное, как-то очень приятно заострилось, собралось в хорошенький, чуть вздернутый носик, над которым ясно и светло сияли большие глаза.

— А я задержалась! — улыбаясь, проговорила Леночка.— Ты не сердишься на меня, Люда? Нет? В универмаге детские комбинезончики дают, так меня девочки попросили взять... Я целый час в очереди стояла. А выступление Наташи — вот... Я принесла... Тут все правильно.

Она положила на стол Зориной листочки и оглянулась кругом.

— А что? Больше никого нет?

— Кукушкину какая-то женщина звонила...— не отрываясь от чтения, ответила Зорина.— Они о встрече договаривались в «Волне».

Марусин удивленно посмотрел на Люду. Та даже не покраснела, сказав это Леночке.

А слова ее попали точно.

Задрожали пухлые губы Леночки, захлопали густые ресницы, словно Леночка хотела сморгнуть попавшую в глаз соринку и не могла, что-то растерянное и жалкое появилось в ее лице.

Марусину стало жалко ее.

— Лена! — спросил он.— А вы освобожденным секретарем работаете?

— Нет...— ответила та, пытаясь улыбнуться.— Я — подснежник. Правда, с осени меня в аппарат райкома комсомола забрать обещали, а пока... Пока — подснежником работаю.

— Скорее уж васильком,— пошутил Марусин. У Леночки были голубые, как васильки, глаза.

— Не...— покачала головой Леночка.— Васильчикова — секретарь парткома, а я — подснежник.

— Все! — сказала Зорина.— Все в порядке...— она аккуратно собрала листочки.— Завтра будет в номере.— Быстро подклеила к листочкам «собаку» и, заполнив ее, встала.— Готово! — сказала она.— Пошли, Марусин, кофе пить.

Марусин встал.

— А вы не хотите с нами? — спросил он у Леночки.

— Не! — помотала головой та.— У меня еще дел много.

И — легкая — убежала.

Когда Марусин спускался по лестнице, он столкнулся с Бонапартом Яковлевичем Кукушкиным, ослепительно улыбающимся навстречу ему.

— Видел Кандакову? — спросил Марусин.— Она про тебя спрашивала.

— Нет. Не видел.— Ослепительная улыбка не то чтобы погасла или сникла на лице Бонапарта Яковлевича, а просто, безо всяких переходов, исчезла бесследно, и лицо снова стало равнодушным.— Спасибо, что сказал.

— Я выступление там, на столе, оставила! — вдогонку ему крикнула Зорина.

— Хорошо! — не оборачиваясь, ответил Кукушкин.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

С утра Матрена Филипповна чувствовала себя хорошо, но в перерыв, когда все члены бюро райкома партии вышли в коридор и мужчины закурили, Матрена Филипповна почувствовала, что задыхается.

— Вы нездоровы? — заметив, как побледнело лицо Матрены Филипповны, спросил Кандаков.

— Не знаю...— с трудом проговаривая слова, ответила Матрена Филипповна.

— Конечно, больны,— Кандаков сочувственно покачал головой.— Идите... Идите домой.

— А разве бюро уже кончило работу?

— При чем тут работа? — возмутился Кандаков.— Как вы работать можете в таком состоянии? Вам отдохнуть надо.

Тут же он вызвал своего шофера и велел отвезти Матрену Филипповну домой.

Домой она не поехала, отправилась на фабрику — подписать срочные бумаги.

В машине ей стало легче. Откинувшись на мягкое сиденье, задумалась Матрена Филипповна о том, что же происходит сейчас в ее жизни. Вчера Васька остался у нее ночевать, а сегодня утром, позевывая, в одних трусах ходил по комнатам, где, как в музее, все стояло так, как *тогда*. Васька то и дело натыкался на углы шкафов, на кресла и ругался, что мебель расставлена бестолково, а на плече его синела татуировка: «С юных лет счастья нет».

Тогда Матрена Филипповна и почувствовала, что задыхается.

— Иди...— попросила она.— Иди, Вася. Уже пора. Соседи скоро проснутся.

Васька ухмыльнулся в ответ, однако быстро оделся и вышел, помахав на прощание рукой.

Когда захлопнулась за ним дверь, Матрена Филипповна не выдержала и заплакала.

Как хорошо и свободно было жить раньше!

Никогда не стремилась Матрена Филипповна командовать, но так складывалась жизнь, что распоряжаться судьбами людей для доброй и мягкой по натуре Матрены Филипповны стало так же привычно, как для обычных людей дышать воздухом.

Ее любимый, ее первый мужчина работал в гранитном доме, и соседи испуганно пятились от окон, когда во двор медленно вползала тяжелая черная машина.

Падение любовника мало отразилось на установившихся с соседями отношениях. У тети Нины от испуга прекращался астматический кашель, тетя Рита начинала заикаться, стоило только Матрене Филипповне нахмурить брови, а Яков Данилович от испуга мог издать неприличный звук.

И это не казалось Матрене Филипповне удивительным. Все шло так, как и должно было идти.

Она преклонялась перед памятью *того*, но это преклонение не унижало, а возвышало ее.

А теперь?

Теперь в ее жизнь входило то, чего она совсем не хотела впускать в себя. Сама того не осознавая, Матрена Филипповна понимала, что если смириться или беспечно махнуть рукой сейчас, то все, что она берегла и хранила в себе, будет безжалостно растоптано, и ее, такой, какая она есть, не будет уже, ничего не останется от нее... И нужно замкнуться, задавить в себе зарождающуюся страсть, забыть про Ваську и снова помнить только *того*, и жить по-прежнему легко и свободно — все это Матрена Филипповна понимала и не могла, не могла исправить себя...

Долго лежала Матрена Филипповна, уткнувшись лицом в подушку, пока подушка не промокла от слез. Потом увидела, что опаздывает на бюро райкома партии и, не позавтракав, вышла из дома.

— Приехали! — раздался голос шофера, и Матрена Филипповна — как это ни привычно было для нее! — испуганно вздрогнула. Ей показалось, что шофер, молодой улыбающийся парень, слышал ее мысли.

— Приехали! — улыбаясь, повторил шофер. Машина стояла возле ворот фабрики.

В проходной стоял Васька и, видимо, ждал Матрену Филипповну, потому что сразу заухмылялся навстречу. Матрене Филипповне улыбка его показалась неприятной, и она, брезгливо поморщившись, прошла мимо.

Эта маленькая победа над собой так обрадовала Матрену Филипповну, что сразу она почувствовала себя здоровой. Стихла головная боль, дышать стало легко и бесследно исчезла тяжесть.

Быстро просмотрела Матрена Филипповна бумаги, подготовленные секретаршей, подписала их, а потом вызвала Якова Денисовича. Все удавалось, легко устраивались дела, и, разговаривая с Яковом Дормидонтовичем, Матрена Филипповна снова ощущала себя всевластной вершительницей судеб, а не той жалкой и растерянной женщиной, что плакала утром.

Обсудив положение дел по выпуску продукции, тут же вызвала секротаршу и продиктовала приказ о переходе отдельных участков на трехсменную работу.

— Можно бы и сверхурочно попросить выйти...— намекнул Яков Дорофеевич.

— Посмотрим...— сказала Матрена Филипповна.— Там видно будет.

— Боюсь, что дальше уже ничего не будет видать...— позволил себе усмехнуться Яков Евгеньевич.— Рабочие уже начали разворовывать оборудование.

— Как это?

— Есть сигналы...— Яков Евстафьевич вытащил из внутреннего кармана пиджака замусоленный блокнот и перелистнул страницы.— Да. Вот... Семнадцатого июня наладчик Могилин выносил с завода мотор от станка...— Яков Елизарович низко наклонился над блокнотиком, пытаясь разобрать марку станка.

— Этого не может быть! — уверенно сказала Матрена Филипповна.

— Как же не может быть? — удивился Яков Еремеевич.— Охранник видел. Могилин сказал, что несет его в ремонт, а вы, надеюсь, понимаете, какой это может быть ремонт? Я спрашивал у сменного мастера, она ничего не слышала о ремонте.

Матрена Филипповна чуть прикрыла глаза.

«Что ж...— подумала она.— Может быть, так и лучше».

— Я выясню! — сказала она.

Отпустив Якова Ефимовича, Матрена Филипповна сразу же позвонила на проходную и выяснила, что Васька действительно проносил через проходную мотор. Она набрала номер сменного мастера и поинтересовалась, отправляли ли семнадцатого в ремонт двигатели. Мастер полистала книгу — Матрена Филипповна слышала шелест переворачиваемых страниц,— потом было отвечено: «Нет... Ничего не отправляли...»

Матрена Филипповна положила трубку.

Что ж... Этого и нужно было ожидать.

Матрена Филипповна гордилась тем, что никогда не боялась правды. Вот и эта, горькая — ох, какая горькая! — правда не испугала ее. Что ж... Этого и следовало ожидать. За воровство сел Могилин в тюрьму и сейчас шел по проторенной тропинке.

Но она-то, она-то сама какова, а? Ведь это же надо увлечься жалким, ничтожным проходимцем! Мелким воришкой! Ну, все...

Матрена Филипповна решительно встала из-за стола. Все. С этим покончено.

И тут сладчайшая радость охватила ее. Нет... Она не будет вызывать милицию. В конце концов, слишком чепуховая кража, и не нужно выносить сор из избы, но Могилину, конечно, придется уйти с фабрики. Но и это потом... А сейчас она пойдет и посмотрит на человека, который осмеливался в одних трусах бродить по комнатам, где все так, как было *тогда*. Да! Она немедленно пойдет взглянуть на этого жалкого человечишку, судьбой которого она может распорядиться по своему усмотрению.

Васька стоял со своим младшим братом возле станка, на котором работала Наташа Самогубова, и что-то объяснял.

Матрена Филипповна нахмурилась. Что же это? Разве не ее поджидал Васька на проходной? Впрочем, она тут же рассердилась на себя за то, что ощутила не досаду, разумеется, а так, что-то похожее на досаду, и нахмурилась еще сильнее.

Братья замолчали, когда Матрена Филипповна подошла к ним.

— Вот...— сказал Васька.— Вот братан пришел.

— Да? — Матрена Филипповна холодно посмотрела на Пузочеса.— Ну так и что?

— Как — что? — растерялся Васька.— Договаривались же, что у нас работать будет!

— У нас? — Матрене Филипповне нравилось, как она начала разговор. Но ирония ее — увы! — недоступна была этому дебилу и его «братану», тоже, как видно, недалеко ушедшему от него, раз не сумел поступить в институт.

— Конечно, у нас! — сказал Васька.— Будет работать. Уж лучше здесь работать, чем в армию идти.

Пора было кончать этот разговор.

Матрена Филипповна — в последний раз! — посмотрела на Ваську и хотела уже строго и холодно поставить его на место, но тут же почувствовала, что сделать этого не сможет — вязкая слабость снова, как утром, охватила ее. Матрена Филипповна смотрела на Васькино лицо и забывала о том, что ей надо говорить. Пытаясь справиться с собой, перебороть себя, резко — так, наверно, кидаются в омут — повернулась к Пузочесу.

— Стыдно! — распаляя себя, сказала она.— Стыдно, молодой человек! Чего это вы армии боитесь? Люди в войну добровольцами шли! На смерть! А вы! Вы служить ленитесь! Стыдно, молодой человек, стыдно и позорно!

Она отчитывала Пузочеса, и ей казалось, что с каждым словом все больше сил прибавляется у нее. Она уже не обращала внимания на то, что творилось с лицами братьев, не видела, что Наташа Самогубова давно уже не работает, а вытаращенными глазами смотрит на нее, она даже не услышала, как заговорил Пузочес, пытаясь перебить ее.

Она остановилась, когда, глядя прямо ей в глаза, Пузочес начал крутить пальцем у виска. При этом он издавал звук, изображая, как скрежещет заржавевшая гайка.

— Что-о? — повысила гневно голос Матрена Филипповпа.

— А ничего! — не испугался Пузочес.— Чего это ты разошлась? Я вон к Наташке пришел поговорить, а ты тут вылетела, затарахтела!

Матрена Филипповна растерялась — она не знала, как ответить на грубость: так с ней еще не разговаривали. Взгляд ее упал на растерянную Наташу.

— Н-наташа...— строго сказала Матрена Филипповна.— Что же это ты, милая, свидания молодым людям назначаешь на работе? Кажется, недавно только устроилась...

— Да ты что, мамаша! — перебил ее взбесившийся Пузочес.— Ты что на девчонке отыгрываешься, а?! Или уже всю совесть прочальствовала?!

Он плюнул и, круто повернувшись, зашагал к выходу. Все в нем выражало сейчас оскорбленное достоинство.

— Витя! — закричала вслед ему Наташа.— Постой, Витя!

И побежала следом за Пузочесом.

Матрена Филипповна услышала сзади какие-то странные звуки и обернулась.

Васька сидел на ящике и, обхватив живот руками, хохотал. «Их! Их! Хых!» — вырывались из него безобразно неудержимые звуки.

И хотя смех Васьки был безобразным, но заражал он. Матрена Филипповна не выдержала и улыбнулась.

— Что-то я не то...— сказала она Ваське, словно бы извиняясь.— Раскричалась, а зачем?

Она поправила волосы и подумала, что сказала она сейчас хорошо. Не нужно бояться признать свой явный промах, а с Пузочесом она, конечно, перегнула.

— А кто знает...— перестав смеяться, проговорил Васька. Высокий, он стоял сейчас и смотрел в окно — там по площади шли Пузочес и Наташа.

У Матрены Филипповны тревожно забилось сердце. Красив, красив был Васька.

— Хорошая пара...— надеясь загладить свою резкость, проговорила Матрена Филипповна. Она, как и Васька, тоже смотрела в окно.

— А! — Васька пренебрежительно усмехнулся.— Глупость. Ему в армию надо идти, а она пять раз за это время замуж выскочить успеет.

— За кого? — спросила Матрена Филипповна и хотела перевести все в шутку, хотела сказать, что производство у них женское, женихов нет, а в свободное время Наташа в институте будет учиться, она у нее просила характеристику... Но слушать все это было слишком долго, и Васька не стал слушать.

— Да хоть за меня! — жестковато усмехнулся он.

— А я?! — от растерянности Матрена Филипповна позабыла все свои решения и зароки.

— А тебе на пенсию пора! — Васька говорил, словно бил по лицу.— Поняла?!

И ушел.

Матрена Филипповна, хватая ртом воздух, вцепилась пальцами в вентиляционную трубу. Ей казалось, что, разожми она сейчас руку, упадет сразу на грязный, затоптанный пол. Свет померк, и не хватало воздуха. Совсем нечем было дышать в этом забитом пылью помещении.

— Вам плохо? — раздался рядом голос. С трудом Матрена Филипповна открыла глаза и увидела перед собой Леночку Кандакову.

— Сердце...— выдавила она из себя.

Леночка полуобняла ее и, поддерживая, помогла добраться до кабинета. Там уложила Матрену Филипповну на диван и достала валидол из ящика стола.

— Спасибо,— посасывая таблетку, сказала Матрена Филипповна.— Вы славная девушка, Леночка...

И попыталась встать.

— Лежите, лежите! — удержала ее на диване Леночка.— Я звонила папе, он говорил, что вам на бюро плохо стало. Лежите... Я сейчас «скорую» вызову.

Последние силы Матрены Филипповны ушли на то, чтобы отговорить Леночку. А когда Матрена Филипповна осталась одна, она тяжело поднялась, закрыла на защелку дверь и теперь, уже ни от кого не таясь, заревела как самая обыкновенная баба.

Окна кабинета Матрены Филипповны выходили на здание городского собора, в котором размещалось теперь пожарное депо. Ровно в четыре часа, к концу рабочего дня, солнце полностью скрывалось за маковками собора, и можно было поднимать жалюзи на окне — солнечный свет уже не беспокоил хозяйку кабинета.

Этот час совпадал с пересменкой, когда затихала вся фабрика, и тишиной, ясностью был особенно дорог Матрене Филипповне. И так спокойно всегда думалось в эти минуты, что она всегда берегла их для себя, отменяя или перенося даже самые неотложные совещания.

И сегодня этот час не обманул ее.

Матрена Филипповна вытерла слезы и, подняв жалюзи, долго стояла у окна.

Пронзительно далеко было видно из окна ее кабинета в этот час. Солнце, все еще освещавшее землю, не мешало смотреть, и Матрена Филипповна поверх крыш двухэтажных домов видела парк; людей, гуляющих по аллеям; край сверкающего на солнце пруда.

Все было близко и дорого Матрене Филипповне в этом городе, потому что все было связано *с ним.*

Матрена Филипповна села за стол и, закрыв ладонями лицо, попыталась вызвать в своей памяти бесконечно дорогой образ...

Но что ж это? Она вспоминала *его* железные руки, но с ужасом понимала, что снова представляет себя в объятиях Васьки-каторжника; пыталась вспомнить *его* голубые глаза, но видела нагловатые и бесстыжие глаза Васьки...

Матрена Филипповна глухо застонала и с трудом, словно это была многопудовая тяжесть, выдвинула ящик стола. Достала оттуда небольшое зеркальце, склонилась над ним, пристально вглядываясь в свое отражение.

Но и зеркальце не порадовало Матрену Филипповну. Глаза опухли от слез, но еще страшнее — явственно выступали морщинки.

Ну, да... Морщины... Что ж... Сорок лет...

Матрена Филипповна — в который раз уже за этот день! — невесело усмехнулась: даже самой себе не признавалась она в своих годах. В декабре ей должно было исполниться пятьдесят.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В тот вечер у Кандаковых Прохоров чувствовал себя очень расстроенным. Однако это не помешало ему спросить у Кандакова: не может ли тот похлопотать насчет Африки. Кандаков не любил таких разговоров и тем не менее, пересчитывая взятки, обронил, что с этим делом могла бы помочь Матрена Филипповна.

— У нее и сейчас еще *там* связи остались...— сказал он и заказал игру.— Семь в трефях.

Хотя Прохоров и был расстроен, он прекрасно запомнил слова Кандакова и все эти дни ломал голову, как бы ему сблизиться с величавой соседкой.

И сейчас, пережидая двухчасовой перерыв — линию опять ремонтировали,— Прохоров сидел в полупустом, притихшем перед вечерним нашествием ресторане и думал об этом.

Желтые солнечные лучи снопами падали сквозь стрельчатые окошки на пол, на белоснежные скатерти столиков, вспыхивали разноцветными искрами в граненых фужерах и рюмках.

Хорошо было сейчас в ресторане.

Прохоров неторопливо пил пиво и думал о том, как поговорить с Матреной Филипповной и — такой уж он был человек! — уже представлял себе, что поговорил, и Матрена Филипповна выхлопотала ему Африку, и он уехал и сидит теперь в тихом ресторане, за окнами которого набегают на берег лазурные океанские волны.

И ему хорошо было сидеть одному за столиком, пить пиво и вспоминать оттуда, из Африки, про эту вокзальную забегаловку и грустить.

«Родина хороша только тогда, когда вспоминаешь ее, находясь вдалеке от Родины...» — торжественно-грустно выплыли из памяти слова одного из *новых знакомых*, и Прохоров грустно усмехнулся.

«Родина...— печально подумал он.— Несчастливая, горькая Родина...»

— Платить будете? — ворвался в его африканскую грусть голос официантки. Прохоров похлопал глазами, возвращаясь в реальную жизнь, и увидел, что пиво он уже допил, а возле столика стоит официантка и торопит его уходить.

«Ресторан-то пустой еще...» — вытаскивая деньги, рассердился Прохоров и тут же подумал, что такого, конечно, *там* не будет. Там, как в романах Хемингуэя, сиди в ресторане сколько тебе хочется и думай или читай газету, а здесь... Прохоров сгреб со стола сдачу и, брезгливо передернув плечами, вышел.

До конца перерыва оставалось еще полчаса, и он решил позвонить Белью, узнать, куда ехать.

В телефонной будке было душно, и Прохоров ногой оттолкнул дверь.

— Бельё? — удивился в трубке женский голос.— Нет... Его нет... Передавал ли что? Нет, не передавал... Да... До свидания.

В трубке раздались короткие гудки.

Прохоров вытащил из кармана записную книжку и принялся обзванивать *новых знакомых*. О семинаре никто из них ничего не слышал.

Вспотевший и растерянный, Прохоров вышел из телефонной будки. Только что пришла первая после перерыва электричка, и по перрону навстречу Прохорову, безжалостно толкая его, шли пассажиры.

Прохоров протиснулся к скамейкам, и сразу же из людского потока вынырнул Яков Иванович Кукушкин. Дружелюбно схватил Прохорова под локоток.

— Как вы живете, молодой человек? — словно он не видел Прохорова бог знает сколько времени, поинтересовался он.— Как здоровье у родителей?

Прохоров здоровался с Яковом Игнатьевичем сегодня утром, но сейчас по рассеянности позабыл об этом и принялся обстоятельно рассказывать о своих делах.

Прохоров отличался редкой занудливостью, но Яков Игоревич, участливо кивая, внимательно слушал пространные объяснения Прохорова. И тогда, тронутый этой участливостью, Прохоров рассказал и про Африку.

— Молодой человек, молодой человек! — в словах Якова Ильича слышалась неподдельная грусть.— Если бы вы знали, как я завидую вам! Вы так молоды и перед вами открыты все пути. Когда-то я тоже был молод и передо мною были открыты все пути. Но тогда были трудные годы... Вы знаете, что меня арестовали и я восемь лет просидел в лагере... А вы знаете, что такое сидеть в лагере в годы культа личности? — Яков Иннокентьевич закатил глаза.— О, молодой человек... То, что могу рассказать я, вам никто не расскажет. Вы, молодые люди, не цените свое время. Вы мечтаете о том, чтобы жить еще свободнее... Да, да... Не отпирайтесь, я это знаю...— он понимающе подмигнул Прохорову.— Да, да... Я знаю, что вы ездите в Ленинград и встречаетесь с людьми, которые думают... Не надо таиться от меня... Я, старый, пожилой человек, не осуждаю вас. Такова всякая молодость... Ей всегда хочется жить еще лучше, еще свободнее... Я понимаю вас. Ведь когда-то я тоже был таким, как вы, но тогда было другое время и меня сразу арестовали.

Очень словоохотлив был сегодня Яков Калинович, и любой другой человек обратил бы на это внимание и удивился, но Прохорову некогда было замечать подобные пустяки.

— Что ж...— пыжась от гордости, сказал он.— Я понимаю вас, но ведь кому-нибудь надо и о стране думать...

— Молодой человек...— грустно проговорил Яков Капитонович.— Когда вы думаете о себе, тогда вы и о стране думаете... Да, да, молодой человек. К сожалению, когда я был молодым, я не знал этой истины...— Яков Касьянович непритворно вздохнул.— Я узнал это значительно позднее... Но вы знаете,— он снова взял Прохорова под локоток.— Тогда в лагерях сидели лучшие люди, и я не жалею, что провел свою молодость там... Как много я узнал там... Увы... Память ненадежная штука, и каждый день мне кажется, что я забываю самое главное.

И так горестно он проговорил это, что Прохорову захотелось как-то утешить этого незаметного, но замечательного человека.

— Ну что вы...— сказал он.— Уж вам-то грех на свою память жаловаться. Тетя Рита рассказывала мне, что вы знаете наизусть очень много стихов Пушкина...

Яков Кириллович грустно улыбнулся.

— О! — сказал он, зажмуривая от удовольствия глаза.— Пушкин... Вы, конечно, знаете, как было сказано: именем Пушкина мы будем узнавать друг друга... Мы свои люди... Я знаю великого русского поэта, как, наверное, никто не знает его. Я помню наизусть все шеститомное издание великого поэта, выпущенное в Гослитиздате в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году...

— Неужели?! — удивился Прохоров.

— Да, да... Я помню, молодой человек, каждую строчку в этом великолепном шеститомнике. Вы верите мне?

— Н-нда... — недоверчиво проговорил Прохоров.

— Вы не верите... — Яков Кондратьевич пожал плечами.— Что ж? Давайте спорить, молодой человек, что я прочитаю весь роман «Евгений Онегин» от последней строчки до первой и не ошибусь ни разу.

— Как? — переспросил Прохоров.— Как вы его прочитаете?!

— Наизусть. От последней до первой строчки. И ошибусь не больше трех раз.

— От последней до первой?!

Яков Корнеевич лукаво усмехнулся и, отступив на шаг, протянул Прохорову руку.

Мебель в квартире Прохорова странно не соответствовала легкомысленному характеру хозяина. Посреди комнаты стоял тяжелый, на львиных лапах стол. Диван в углу более напоминал архитектурное сооружение, нежели место для сна. По периметру высокой дубовой спинки шел резной орнамент, составленный из гербов союзных республик. Когда-то гербы были раскрашены, но сейчас краска уже облупилась, и трудно было отличить их друг от друга. Платяной шкаф, безусловно, можно было бы использовать в качестве оборонительного сооружения.

Интерьер комнаты существенно дополнялся огромной — во всю стену — картой СССР с еще довоенной границей.

Мебель досталась Прохорову от родителей. Когда он въехал в эту квартиру, отец отдал ему мебель из своего дачного кабинета. Прохоров, поглощенный своей высокодуховной жизнью, казалось, и не замечал, как невыносимо прочно обставлены его комнаты.

Здесь, в этом помещении, более похожем на прокурорский кабинет, нежели на квартиру холостяка, и состоялось, может быть, единственное в мире исполнение романа «Евгений Онегин».

Как я с Онегиным моим...
И вдруг умел расстаться с ним.
Кто не дочел ее романа?
Бокала полного вива
Оставил, не допив до дна..?

— читал, полуприкрыв глаза, Яков Макарович, и Прохоров изумленно водил пальцем по строчкам раскрытой книги.

Незаметно сгустились в углах комнаты сумерки. Прохоров, чтобы удобнее было следить, зажег свет, и углы комнаты потонули в сумраке. Оттуда, из полутьмы, и звучал чуть дребезжащий голос Якова Максимовича Кукушкина:

Ничем заняться не умел
Без службы, без жены. Без дел
Томясь в бездействии досуга.
До двадцатв шести годов
Дожив без цели, без трудов.
Убив на поединке друга...
Онегин (вновь займуся им)
Иль даже демоном моим.

Чтение было прервано появлением Пузочеса. Устраивая свою жизнь сам, он решил подкупить Прохорова дефицитными книгами. Сейчас, возвращаясь с чернокнижного рынка, он заскочил к Прохорову, чтобы подробно объяснить ему это.

— Потом, потом! — прервал его объяснения Прохоров. Он схватил открытую книгу и, вцепившись глазами в строку, попросил: — Читайте дальше, Яков Миронович!

Озираясь, Пузочес вступил в освещенный настольной лампой круг. И только услышав из полутьмы хрипловатый голос соседа, Пузочес разглядел его, затерявшегося в бесконечном пространстве дивана, и удивленно захлопал глазами: Яков Митрофанович читал что-то совершенно непонятное.

Благословить бы небо мог
Там друг невинных наслаждений...
Была прелестный уголок
деревня, где скучал... Могилин...

— Ошибка! — закричал Прохоров, но тут же покраснел, сообразив, что ошибку Яков Михайлович сделал специально.

— Еще две в запасе... — скромно сказал Яков Назарович и, откашлявшись в кулак, произнес: «Кривые толки, шум и брань и заслужи мне славы дань, новорожденное творенье!»

Пузочес через плечо Прохорова заглянул в книгу и только тогда понял, что читает Яков Наумович. От изумления брови его полезли вверх да так и остались там, пока не прозвучали финальные строки:

Он уважать себя заставил,
Когда не в шутку занемог,—
Мой Женя самых честных правил...

Яков Никитич встал. Ласково потрепал по плечу Прохорова. В последней строчке он сделал вторую, оговоренную условием ошибку, и выиграл спор.

— Ну ты даешь, дед! — только и смог сказать Пузочес.— А на фига это тебе надо?

— О! — светло улыбнулся в ответ Яков Нилович.— О, плохозубый ангел Родины моей! А вы всегда знаете, зачем вы делаете то или иное дело? Вот, вот... Вы не знаете. Вы еще очень молоды, молодой человек. И это хорошо. Делайте то, что всем кажется бессмысленным, и вы будете счастливы. Не пытайтесь, как ваш брат, отгадывать чужие дела, и вы будете иметь спокойную и счастливую жизнь. Занимайтесь своими делами. У старых людей, молодой человек, много причуд... А я — простой, старый человек.

«Ага! — подумал про себя Пузочес.— Уж такой простой, что дальше и некуда».

Он и ушел с этой мыслью, сообразив, что поговорить сегодня с Прохоровым не удастся.

А Яков Олегович долго еще сидел у Прохорова, рассказывая ему про свою молодость, про тех людей, у которых учился он. Прохоров слушал его и вдруг загрустил. Ему стало жалко лет, бесцельно потраченных в Заберегах.

«Дурак... — думал он про себя.— Какой же я был дурак. Ехал в какую-то пьяную глухомань, у убогих пытался найти эту мудрость, которая, оказывается, была совсем рядом... И нужно было жить здесь... Тогда бы и не потерял Леночки... Дурак... Какой же я дурак...»

Так он загрустил, загоревал, закручинился, а Якову Осиповичу показалось, что клонит хозяина ко сну, и, хотя и желал он еще посидеть и поговорить о своей жизни (редко себе позволял Яков Павлович такое), все-таки превозмог себя. Встал.

— Может быть, еще посидите? — спросил Прохоров.

— Нет, нет, молодой человек! — запротестовал Яков Панкратович.— Делу время, как говорят русские люди, а потехе час. Наш час с вами истек...

И он протянул Прохорову руку.

— Я проиграл! — пожимая руку, сказал тот.— Что с меня?

Яков Панфилович улыбчиво зажмурил глаза.

— Будьте счастливыми, молодой человек! — попросил он.— Этим вы и заплатите мне свой проигрыш.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Странным образом возникали в городе репутации. Марусин работал в редакции газеты уже пятый месяц и, хотя каждый день так или иначе общался с Бонапартом Яковлевичем Кукушкиным, ничего выдающегося не замечал он за ответственным секретарем. Тем не менее почти каждый день слышал об удивительной порядочности этого человека.

Говорившие тоже сами точно не знали, в чем заключается, как проявляется эта *удивительная* порядочность, но они слышали об этом от каких-то своих очень порядочных знакомых.

Когда же не в меру любопытный Марусин попытался выяснить подробности, на него странно стали смотреть. С большим трудом ему удалось выпытать, что несколько лет назад Бонапарт Яковлевич защищал какого-то человека. И хотя никто не знал точно, перед кем и зачем защищал его Бонапарт Яковлевич, факт этот принимался всеми как безусловное свидетельство высочайшей порядочности.

Вообще-то Бонапарт Яковлевич очень мало интересовал Марусина, но его любила Зорина, и, значит, тут он был соперником Марусину. И не поэтому ли так настойчиво и внимательно приглядывался молодой сотрудник к ответственному секретарю?

Но что он мог изменить в общественном мнении? Что было Бонапарту Яковлевичу до Марусина, сомневающегося в его высокой порядочности? Что ему было до всех его иронических усмешек? Он не боялся даже защищать *одного* человека! Так неужели он будет обращать внимание на мелкое злопыхательство? Никогда!

Марусин чувствовал это, и это злило его. А когда человек злится, он все время попадает в глупейшие положения. Так было и с Марусиным.

Кроме того, что все считали Бонапарта Яковлевича удивительно порядочным человеком, за ним закрепилась в газете репутация замечательно тонкого стилиста.

И хотя опять-таки никто не мог привести доказательств этому, мнение о стилисте Кукушкине укрепилось в редакции так прочно, что на сомневающегося Марусина все смотрели с сожалением.

— Да отчего же он стилист замечательный?! — изумленно допытывался Марусин.— Что он написал такого?

Но снисходительно улыбались в ответ Марусину старейшие сотрудники.

— Не надо, молодой человек! — говорили они.— Не надо... Вы лучше учитесь! И тогда вы сами все поймете...

И далее следовал монолог о человеке, который, не овладев еще толком профессией, начинает ниспровергать авторитеты.

— Жалко... — сочувствовали Марусину эти люди.— Жалко, молодой человек, если и вас постигнет судьба этих ниспровергателей. Вникайте.

Хотя Марусин и посмеивался над общественным мнением о Кукушкине — тонком стилисте, сам того не сознавая, и он поддавался ему, и, сдавая материалы в секретариат, особенно тщательно вычитывал их, ломая голову, чтобы не встретилось в тексте двух одинаковых слов.

Но старания его пропадали даром. Бонапарт Яковлевич, казалось, просто не замечает, что регулярно на страницах газеты появляются очерки нового сотрудника. Когда на летучках кто-нибудь начинал говорить о марусинских материалах, Бонапарт Яковлевич только снисходительно улыбался, и незадачливый оратор сразу неловко смолкал.

В результате Марусин ощущал себя человеком, которому плюют в лицо, а он вынужден улыбаться, делая вид, что ничего не произошло.

Разумеется, было во всем этом много придуманного, и не так уж страшно было жить, как чудилось Марусину, и никто не плевал ему в лицо, но с тех пор, как Марусин точно узнал, что Зорина любит Бонапарта Яковлевича, жизнь его в редакции сделалась невыносимой.

Сегодня с утра шло заседание редколлегии. Редактор, Бонапарт Яковлевич и Угрюмов сидели в кабинете и совещались, обсуждая ближайшие номера, а сотрудники, пользуясь минутами свободы, занимались своими делами.

К Марусину пришел начинающий поэт. Он сидел на диванчике под фикусом и читал вслух стихи. Отсюда, с диванчика, хорошо просматривались все кабинеты, и Марусин видел, как прошла в комнату машинисток Зорина и уселась там. Она захватила с собой пилочку для ногтей и сейчас, разговаривая, занималась маникюром. Марусин знал, о чем разговаривает она с машинистками. Последние дни вся редакция говорила о приготовлениях к свадьбе Кукушкина и Кандаковой.

С одной стороны, Марусин понимал, что это хорошо, но понимал умом, даже не умом, а расчетом, против которого восставали и ум, и чувства... Было досадно, что Люда мучается, но главное — все эти разговоры о свадьбе Бонапарта Яковлевича унижали ее. Люда словно бы забывала, что эта свадьба не ее,

и собеседники, конечно же, замечали это и старались перевести разговор на другое, или, подобно машинисткам, посмеивались над Людой.

— Извините... — сказал Марусин начинающему поэту.— Вы оставьте стихи. Тут что-то есть, но надо посмотреть в спокойной обстановке. Может быть, мы и выберем что-нибудь для печати.

Поэт покраснел, потом побелел. Лоб его покрылся капельками пота, пока он тряс Марусину руку. Наконец поэт простился и, споткнувшись на лестнице, скатился с нее.

Марусин свободно вздохнул и сразу направился в комнату машинисток. Говорили там, конечно же, о свадьбе.

Марусин притворился, что ищет свой материал о подготовке театрализованного представления в парке, которое — он только сейчас сообразил — должно было состояться в один день со свадьбой.

— Обидно... — задумчиво сказал он.

— Что обидно? В чем дело? — испугалась пожилая машинистка.— Что-нибудь не так?

— Да уж, конечно, не так... — постным голосом ответил Марусин.— Откуда же быть так, если представление в парке сорвется...

Он ждал, что у него спросят: почему сорвется представление, и тогда бы он выдал только что придуманную остроту, но пожилая машинистка, выяснив, что недовольство Марусина вызвано не ее ошибкой, а чем-то другим, уже успокоилась и не поинтересовалась, какая же это опасность грозит театрализованному представлению, и Марусин сконфузился. Но, однако, он все же произнес заготовленную остроту, сказав, что, вероятно, весь город будет наблюдать за свадьбой столь блестящей пары, как Кукушкин и Кандакова, и никто не придет в парк.

Шутка не удалась, и Марусин, поняв это, скомкал конец ее. В результате никто не понял даже, что он сострил.

— Они очень мало людей приглашают... — сказала Люда, расправляя складки на юбке.— Хватит народу и для представления.

Марусин торопливо вышел из комнаты.

Все сегодня валилось у него из рук. Спасаясь от тоски, Марусин решил сходить на склад макулатуры, о котором уже давно собирался написать. Добраться туда можно было на автобусе, но Марусин пошел напрямик, через парк.

Широкие аллеи, прямые и строгие, уводили в тайную глубину парка. Местами кроны деревьев смыкались, и тогда в аллее становилось хмуро, казалось, что парк сейчас кончится и начнется глухой необжитой лес, но как раз в это мгновение, неожиданно, расступились деревья и в просторном, ликующем от солнца воздухе возникли дворцы... Белые с золотом стены, повторенные отражениями в чистой спокойной воде парковых прудов, замыкали на себе разноликие пространства воздуха, воды и деревьев, и казалось, что не они встроены в парк, а парк такой, как он есть, разросся от них.

И — странно! — хотя немало собралось сегодня людей в парке, вся открывшаяся внизу «Долина тунеядцев» была заполнена загорающими, а по большому пруду, расплескивая отражения дворцов и статуй, плавали женщины и дети — парк казался пустым. Он бы мог принять в себя еще много тысяч людей и все равно осталось бы место и для других, все равно эти тысячи не нарушили бы просторности его.

Иногда в разрывах деревьев открывалось синее поле залива, и тогда казалось, что весь парк прохвачен этой чудной синевой и в ней-то заключается секрет его прелести, но Марусин знал, что парк прекрасен и в дождливую погоду.

Марусин уже миновал открывшийся внизу стройный парадный дворец. Здесь широкая дорога шла вниз, чтобы, петляя по живописному склону, вывести человека к центральным воротам в город. Марусин свернул в другую сторону.

Еще долгое время ничего не менялось в парке. По-прежнему прекрасным было пространство, но вот — больно! — возникли впереди, чужие здесь, трансформаторные будки, окруженные мелким нездоровым кустарником, и все...

Парк — чудо, людьми совершенное для людей,— кончился. За кустарниками открывалось внизу все хозяйство товарной станции: серые и низкие, столпились здания складов; из-за глухих, мрачноватых заборов выглядывали груды старых протекторов, бурого от ржавчины металлолома. Серая полоса шоссейной дороги тянулась мимо складов, вела к городскому кладбищу. По этой унылой, с чахленькими березками по обочинам дороге медленно, поднимая пыль, двигался впереди Марусина убогий похоронный автобусик.

Раньше здесь было болото, его осушили, но в сущности характер местности не изменился... Марусин подумал, что эти склады вторсырья и это кладбище — тоже болото. И расположилось оно за границей человеческой жизни.

На складе макулатуры прессовали бумагу, свезенную сюда со всех концов района. Спрессованные тюки копились под навесами, пока не подавали вагон. Тогда грузчики, безжалостно матерясь, закатывали их в вагон.

Постоянных рабочих на складе почти не было. На прессовке бумаги и на загрузке работали случайные люди, которым нужно было подработать пятерку — заработанные деньги они получали в конце смены.

Приходили на склад самые отчаянные и спившиеся мужики.

Они сидели в полутьме склада у дальних ворот и переругивались с рябой учетчицей.

— А куда еще сорок три тюка исчезло?! — тыкая в наряд пальцем, наседал на нее заросший щетиной мужичок.— Пропила, сучка, да?

— А! — презрительно скорчила лицо нормировщица.— Буду я еще всяким уркам объяснения давать.

Разговор шел крутой, и на Марусина никто не обратил внимания. Прислушиваясь к разговору, он медленно двинулся вдоль завала. Видимо, только что сгрузили несколько машин со списанными книгами — их еще не успели запрессовать.

Прямо под ногами — на обложке остался рубчатый след подошвы — валялся роман Ремизова «Часы». Марусин поднял книгу и покачал головой — книга была слишком тонкой. Перелистнул ее... Ну, да... Часть страниц вывалилась из нее. Наугад Марусин вытащил несколько страниц из завала — но, где тут найдешь! — это были другие страницы.

Разговор между тем накалялся.

— Что-о?! — изумился заросший щетиной мужик.— Да я сейчас!

Рябая учетчица пронзительно взвизгнула и выбежала из склада.

Марусин так и не понял: что произошло.

— Будет теперь делов... — сказал кто-то.— Жалиться побежала.

— А! — щетинистый мужичок достал из кармана папироску и дрожащими руками зажег спичку.

— Что же? — сказал он, затянувшись.— Если в тюрьме сидел, так и не человек, выходит?

— Это у нас только... — ответил ему другой рабочий и вытащил из кармана газетку. Марусин даже издали узнал сегодняшний номер «Луча».

— На других-то предприятиях,— развертывая газету, сказал рабочий,— это дело по-путевому поставлено. Видите? — он ткнул в статью о наставниках.— Васька Могилин пять лет тянул, а его сейчас в газете хвалят.

— Дак чего же... — согласились с ним и другие.— Исправился человек, стал на твердый путь, можно и похвалить. Чего же, всю жизнь, что ли, травить человека тюрьмой? Ленин и тот в тюрьме сидел.

Разговор смолк. В дверном проеме возникла фигура заведующего складом. Следом за ним, притоптывая от нетерпения, двигалась рябая учетчица.

— Вот он! Он! — закричала она, указывая на обросшего щетиной рабочего.

Завскладом, однако, не торопился вступать в разговор. Он спокойно оглянулся кругом и тут-то заметил Марусина, отбирающего в стопку книги.

— А это кто? — спросил он.

Рябая учетчица пожала плечами.

— Я откуда знаю кто?! — огрызнулась она.— Зашел с улицы и ходит!

— Возмутительно! — багровея от гнева, закричал на нее завскладом.— Это что такое, я у вас спрашиваю?! — и он ткнул несколько раз пальцем в сторону Марусина.— Вы работаете или только руганью занимаетесь?!

Так при молчаливом одобрении рабочих он отчитывал несколько минут нормировщицу, а потом направился к Марусину, позабыв, что нужно разобраться, куда же исчезли сорок три тюка.

— Вы что здесь, молодой человек, делаете?

— Ничего... — ответил Марусин.— Просто зашел посмотреть.

— Что?! — взвизгнул заведующий, уже не сдерживая себя, как в разговоре с рабочими.— Убирайтесь вон! Я вас знаю! Ходите, а потом у нас бумага пропадает! Вон!

— Да уйду я... — сказал Марусин и хотел взять стопку отобранных книг, но завскладом схватил его за руку и потащил к выходу.

— А это что? — кивая на книжку Ремизова, спросил он.— Тоже у нас украли?

— Как же... — обретая уверенность, ответил Марусин.— Я ее в библиотеке взял. Вот штамп, видите?

И он показал штамп библиотеки, из которой привезли на склад книги. Штамп этот успокоил подозрения заведующего.

— Идите! — сказал он.— Идите и чтобы я вас больше не видел.

Расставшись с заведующим, Марусин задумался. Странно, но он не ощущал сейчас даже обиды на хамство. Утешало, что нашел книгу, которую давно хотел достать и — главное! — увидел все, что нужно было увидеть. Теперь надо съездить в эту библиотеку, из которой привезли книги, познакомиться с библиотекарями и — материал готов.

Марусин зажмурил глаза, пытаясь вспомнить что-то нужное, что мелькнуло в глазах, когда заведующий выводил его со склада. Ну, да... Тюк у входа. Из него выглядывал почти новенький переплет книги.

«Запрессованный Пушкин» — возникло название для статьи, и Марусин счастливо улыбнулся.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Тот день, когда Матрена Филипповна не досидела на бюро райкома партии и уехала на свою беду на фабрику, многое изменил в ее жизни. Сейчас Матрена Филипповна чувствовала себя не только униженной, но просто-напросто раздавленной.

Да... Дорого обошлось возвращение Васьки, хотя Матрена Филипповна и не думала об этом. Словно в пропасть, забыв о том, что было, забыв о себе, бросилась она в унизительное и позорное рабство, и — странно! — сладким оказалось оно.

— Я все сделаю! Все будет так, как ты хочешь! — шептала она, покрывая поцелуями волосатую Васькину грудь.—Все сделаю, милый, все!

И она нежно гладила Васькино плечо, словно стремилась стереть печальную татуировку: «С юных лет счастья нет». Да, стереть! Ее любимый должен быть счастлив. Она все сделает для этого. Все.

И окончательно забывая о себе, задыхаясь словами, шептала Матрена Филипповна, что никогда не верила в худые разговоры о Ваське, не поверила и Якову Родионовичу, когда тот пытался убедить ее, что Васька украл мотор.

— Ведь не было этого? Не было? — заглядывая в лицо Васьки, спросила она.

Ничего не изменилось в лице Могилина.

Он лежал, закинув одну руку за голову, а другой небрежно ласкал свою начальницу и рабу. Неподвижно смотрел в потолок над собой, словно что-то там видел.

— Я знала, что не было... — прижимаясь к Васькиной груди, сказала Матрена Филипповна.

От притихшей Матрены Филипповны Васька ушел в пять часов утра и сразу отправился на фабрику. Миновав спящего вахтера, прошел в цех. Там никого не было, и пустое — без людей — помещение цеха казалось огромным.

Васька накинул спецовку и принялся за работу.

К началу смены, когда появился на фабрике Яков Савельевич, все было закончено. Все старые станки Васька отключил от электропитания.

Он забрался в свой закуток и, надев на голову промасленную кепку, принялся ждать.

Вышло так, как он и рассчитывал.

— Что это такое?! Что это такое?! — с криком ворвался в его закуток Яков Севастьянович. Но словно и не слышал его крика Васька-каторжник. Сосредоточенно и ясно смотрел он прямо перед собой, словно не видел Кукушкина.

И тогда Яков Сергеевич даже оробел, вроде бы и сник под этим ясным и бесхитростным взглядом.

— Да... — вздохнул Васька, прислушиваясь к тем мыслям, что совершались в нем.— Да... Такие дела. Давить до конца надо. Выдавливать начисто.

— Что-о?! — испуганно вскрикнул Яков Сидорович.

— Так... — задумчиво разглядывая его, ответил Васька.— Это я про тебя, сосед, говорю. Не обращай внимания.

— А! — успокаиваясь, понятливо кивнул Яков Софронович.— Понимаю. А ты все обдумал, молодой человек? Ведь если что, так я много знаю про тебя...

— Обо мне все знают... — недобро усмехнулся Васька.— Но есть люди, к которым нужно присмотреться, чтобы узнать о них все...

И, вспомнив вдруг следователя, который вел пять лет назад его дело, Васька в упор взглянул в глаза Якова Спиридоновича.

— И выяснить, какие люди к ним приезжают...

Легко стало Якову Степановичу.

Горестно вздохнул он и мудрыми, до грусти мудрыми глазами посмотрел на Ваську. Все правильно. Все шло своим чередом. Сколько таких, как Васька, видел он за свою жизнь? И где они? Нет никого...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Город распадался на куски. Был парк, где по ночам смутно белели уводящие в тайную глубину тропинки, а в сонной воде прудов дрожали отражения дворцов и статуй; был район вокзала, отсюда, с платформ, открывалось голубое поле залива; желтая осока и разноцветные лодки в бухте; были после войны возведенные кварталы с тяжелыми сановными домами и гипсовыми статуями; были районы новостроек, насквозь продутые ветром, где в сырую погоду вспоминалось все тягостное, что только случилось в жизни... А самым большим в городе был район Шанхая. Извилистыми, запутанными переулками тянулся он до Петергофского шоссе. Весь он был обречен на снос, и дома здесь давно не ремонтировали. Прогнившие насквозь, они разваливались прямо на глазах.

Прохоров вздохнул.

Ему казалось, что все вокруг похоронного бюро пропахло воском и венками. Все: и эти скособоченные дома, и тихая улочка с островками зеленой незатоптанной посреди проезжей части травы.

День нынче выдался у Прохорова странный.

Утром он сидел и пил чай, когда в дверь постучала Матрена Филипповна.

— У меня к вам дело, Евгений Александрович,— сказала она, усаживаясь напротив.— Такое дело...— Матрена Филипповна мило улыбнулась.— Неофициальное...

И дальше уже, опустив глаза, она сказала, что одного из работников фабрики призывают сейчас на действительную службу, а без него работать нельзя, лучше уж совсем остановить производство. Так вот она и хочет попро-

сить... Как зовут этого ответственного работника? Виктор Могилин. Да. Пузочес. У него, кстати, и мать инвалидка. Астмой болеет.

— Ну, да... — кивнул Прохоров.— Понимаю.

Конечно, Прохоров не понимал ничего. Не понимал, какое отношение Пузочес имеет к фабрике, не понимал, почему Матрена Филипповна так заинтересовалась здоровьем тети Нины — не замечал в ней раньше Прохоров особой любви к Могилиной; не понимал он и того, какое все это имеет отношение к военной службе... Но он понимал другое: раз Матрена Филипповна просит его о таком, значит, и он может попросить ее похлопотать о своей командировке *там*, где, как говорил Кандаков, у нее остались еще связи. Это он и имел в виду, когда сказал «понимаю»...

— Очень бы хотелось, Евгений Александрович... — Матрена Филипповна замолчала, не договорив до конца фразы.

— Разумеется, Матрена Филипповна... — кивнул Прохоров и задумчиво побарабанил пальцами по столу.— Все это так, но, понимаете, как назло у меня сейчас нет ни минуты свободного времени. У меня... — голос его стал доверительным,— решается вопрос о заграничной командировке. Дело, все бумаги уже *там*... Надо похлопотать, а как, и сам не знаю. А так бы, конечно... Можно было бы повнимательнее проверить парня. Вообще-то я считаю, что здоровых людей нет. Все чем-нибудь да больны. Но... Сами понимаете. Времени нет...

— Ну, в этом я, наверное, смогу вам помочь... — сказала Матрена Филипповна.— Вы доверьте мне это дело, Евгений Александрович. Я думаю, что все уладится... Так, значит, мы договорились? — она встала.

— Если так, то, конечно, договорились.— Прохоров тоже встал.— Я сам уже думал, что что-то неладно у Могилина. Но... — он развел руками.— Знаете, какая у нас нагрузка? Нет, совсем нет возможности всесторонне обследовать человека. А есть, всегда есть разные нюансы...

— Я понимаю, Евгений Александрович... — Матрена Филипповна протянула руку Прохорову, и тот элегантно — так казалось ему самому — склонился и поцеловал наманикюренные пальчики соседки.

Прохоров был очень легкомысленным человеком, но легкомыслие в нем существовало и определяло его поступки и решения только до определенного предела. В том, что Прохоров считал для себя главным, он был предельно осторожен. Вот и сейчас, пообещав Матрене Филипповне комиссовать Пузочеса, Прохоров, по сути дела, уже знал статью, по которой можно было сделать это. Еще тогда, когда Пузочес попросил помочь ему, у него мелькнула эта мысль.

У младшего Могилина были исключительно плохие зубы. Как он умудрился испортить их, Прохоров не понимал, но факт оставался фактом. Десяти зубов вообще не было у Могилина, а часть сгнила, и можно было сделать рентген и доказать, что это — мертвые зубы.

Первым делом, придя на работу, Прохоров разыскал карточку Пузочеса и внимательнейшим образом изучил ее. Он ничем не рисковал. По статье Пузочес был годен к нестроевой в военное время.

Такие дела нужно делать сразу. Но Пузочес не явился к Прохорову, и к концу дня Прохоров начал ломать себе голову, обдумывая, отчего это Матрена Филипповна вздумала просить за разгильдяя, целыми днями бренчащего на гитаре. Очень это все было непонятно.

Прохоров задумался и о том, почему он, честный и принципиальный человек, не отверг сразу предложения Матрены Филипповны, почему он вопреки своим правилам вступил в сделку, но слишком сложно было все это...

Поэтому-то и вздыхал он, пробираясь к своему дому сквозь кривые переулки Шанхая.

Вздохнув, свернул он в монастырский переулок.

До революции здесь была известная всей стране обитель, в которой жили

святые. Теперь от нее сохранились только обшарпанная колокольня да остаток кирпичной стены, тонущий в разросшемся кустарнике.

Нужно было идти направо, но Прохоров свернул на узенькую тропинку, сдавленную зарослями крапивы, что вела к монастырским воротам, на которых еще и сейчас, приглядевшись, можно было разобрать надпись: «Детский дом имени Коминтерна». Да... Когда-то здесь был детский дом, но и от него сейчас осталась только эта полустершаяся надпись.

В глубине двора, возле собора, стоял Марусин и заглядывал в зияющий темнотой провал, не решаясь зайти внутрь.

— Марусин! — удивился Прохоров.— А что ты тут делаешь?

— Ш-ш! — Марусин прижал палец к губам.

Прохоров подошел ближе и тоже заглянул внутрь. После яркого солнца он ничего не увидел и только минуту спустя, приглядевшись, различил внутри церкви человека. Это была тетя Нина Могилина. Не замечая, что на нее смотрят, она стояла на коленях на грязном полу и крестилась, уставившись на стену, на которой за слоем копоти и плесени еще можно было различить блеклые изображения святых.

Жутковато стало Прохорову. В церкви царила полутьма. Солнечный свет проникал только через выломанную дверь да узкие окошки высоко вверху. Там, в снопах солнечного света, гулко хлопая крыльями, вились голуби, и огромные страшные тени их метались по заплесневелым ликам святых...

Прохоров внимательно посмотрел на тетю Нину, и вначале ему показалось, что огромная крыса ходит возле нее. Он пригляделся внимательней и понял, что ошибся. Не крыса, а голубь, волоча разбитые крылья, ползал вокруг не замечающей ничего тети Нины.

Прохоров вздрогнул и торопливо отвернулся к ослепившему его свету дня и зашагал прочь. Марусин двинулся следом за ним.

— Я, когда сюда приехал первый раз, сразу и выбрел на эти развалины... — задумчиво проговорил он.— И знаешь, что я тогда вспомнил? Шимозеро... Помнишь, мы вместе туда ездили? А потом вдруг тебя увидел. Странно... А здесь очень похоже на Шимозеро, только еще страшнее. Там мерзость, пустота, запустение, потому что там не живут, а здесь и живут, да все равно пустота и мерзость.

Он помолчал, ожидая, что Прохоров скажет что-нибудь, но тот молчал. Плотно сжав губы, он шагал рядом, и совсем не похож был на того человека, которого привык видеть Марусин.

— Это пригород... — вздохнул Марусин.— Здесь все перемешано и ничего нет, чтобы было само по себе... Все живет по какой-то причине, ради чего-то, за счет чего-то и ничего, что само по себе...

— Как это? — удивился Прохоров.

— Ну так... Рядом большой город, и вся здешняя жизнь ориентирована на него. Не сама по себе, а ради него.

— А! — сказал Прохоров.— Так везде же так. Вся страна так.

— Везде... — грустно согласился Марусин.— Это общее — униженность сознания. И никто не живет. Все случайно. И люди. И их жизнь. Все ждут чего-то...

Прохоров искоса взглянул на него, но ничего не сказал. Они шли сейчас по улочке, вдоль которой сгрудились двухэтажные деревянные домики. Люди жили в этих домах слишком тесно, и вещи не вмещались в жилища, вываливались на улицу и сиротливо доживали свой век отдельно от людей, как эта вот лейка, подвешенная на гвоздь под окном второго этажа.

— Тебе отдохнуть надо... — невпопад сказал Прохоров.— Ты зашел бы, я тебе больничный выпишу.

— Это чем же я болен? — криво усмехнулся Марусин.— Умственным отупением?

— Все больны чем-нибудь... — ответил Прохоров.— Нет здоровых людей.

— Да... — согласился Марусин.— В пригороде — нет...

Они свернули в свой переулок и сразу увидели дом. Дальше тянулся пустырь с иссохшей землей, с дальней стороны которого белели легкие кварталы новостроек.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Стояло невыносимо жаркое лето. С утра, безжалостное, всходило солнце и обрушивало на городок весь свой жар. От него сохли деревья в городских скверах, мягким становился асфальт, задыхались и умирали люди...

В городе доживало свой век немало пенсионеров, заслуженных когда-то людей, и сейчас эта жара, особенно опасная для сердечников, собирала среди них свой смертный урожай. Нижний угол на последней полосе «Луча» почернел от траурных рамок.

Но по вечерам, когда солнце, утишив свой гнев, насквозь прохватывало густые купы лип, наполняя тяжелую зелень золотистым и мягким светом, светло и тихо становилось на земле.

Лучи солнца сверкали в стеклах деревянных домов, золотили резные столбики, по-доброму ясно освещали убогие дворы, щедро заливая их красотой.

Грех в такую погоду сидеть дома, и Яков Тихонович Кукушкин, докурив свою папироску, не ушел с улицы, а развернул вчерашний номер «Луча» и внимательно начал изучать его с первой полосы.

Вышла во двор и тетя Рита. Остановилась, наблюдая, как развешивает белье Нина Могилина.

— А не украдут, если на ночь оставить? — спросила она.

— До ночи далеко еще... — отвечала ей тетя Нина.— Может, высохнет до ночи.

— Может быть... — согласилась тетя Рита.— А на ночь страшно оставлять.

— Может, и не украдут... — машинально отвечала тетя Нина. Весь день сегодня она ходила под впечатлением сна, который приснился ей минувшей ночью.

Сон приснился после молитвы в заброшенной церкви, и тетя Нина считала его пророческим. Тем более, что приснился сон как раз когда снятся такие сны, под утро...

Сон же был такой.

Кого-то хоронили. Впереди под звуки духового оркестра плыл тяжелый дубовый гроб, а сзади — бесконечною вереницей — двигались люди. И она тоже шла за гробом, хотя и не знала, кого хоронят. Она спрашивала у соседей, но те лишь пожимали плечами, они тоже ничего не знали, и тетя Нина начала проталкиваться вперед, поближе к гробу. И добралась. Привстала на цыпочки и заглянула в гроб...

Дверь внизу в это время хлопнула — это Яков Трифонович Кукушкин вышел выкурить свою утреннюю папироску,— тетя Нина открыла глаза и не могла сообразить, где: или в гробу увидела она свое лицо, или, уже когда открыла глаза, в зеркале, висевшем над ее кроватью.

Весь день сегодня думала тетя Нина о своем сне, думала и сейчас, рассеянно отвечая на вопросы соседки. Тетя Рита, обиженно поджав губы, отвернулась от нее.

Вышла из дома Матрена Филипповна. Задумавшись, остановилась на крыльце.

В последнее время она изменилась. Что-то робкое и застенчивое появилось в ее облике, и тетя Рита сразу же осведомилась о ее самочувствии.

— Спасибо... — рассеянно ответила Матрена Филипповна.— Я хорошо себя чувствую, Рита...

И голос, которым она произнесла эти слова, тоже был новым. Мягко выговаривала слова Матрена Филипповна, совсем не так, как прежде. Тетя Рита недоуменно покосилась на мужа, но тот внимательно изучал статью, посвященную наставничеству, и никак не отреагировал на недоуменный взгляд жены.

Тетя Нина кончила развешивать белье, но тоже не ушла в дом, присела на лавочку, рассматривая свои некрасивые с выпучившимися жилками руки.

— Не складывается жизнь... — вдруг сказала она.— На кого ни посмотрю, у всех не складывается. Время, должно быть, сейчас такое. Страха божьего не знают, вот и дикует каждый, как может. Пьют, сквернословят, дерутся... А любви нет. Откуль ей взяться, если в бога люди не верят.

— Ну, что вы говорите, Нина... — Матрена Филипповна запнулась, не зная, как ей теперь называть Могилину.— Нина Петровна... При чем тут бог, если в головах порядка нет. И при боге тоже пили и сквернословили. Тут другое... Вот у вас сын правильно говорит: каждый сам за себя отвечает. В этом вопросе Вася прав...

Увлекшись, Матрена Филипповна не заметила, что назвала Ваську-каторжника по имени, и назвала так, что тете Рите стало как-то неловко. Она снова оглянулась на мужа, но тот по-прежнему изучал статью о наставниках.

— Нет! — тихо, но убежденно проговорила тетя Нина.— Нет! При боге такого не было. Боялись люди и за страх награду получали. Вот хоть наш монастырь взять. Приходили туда калеки. Излечивались.

И было непонятно, то ли не заметила она промашки Матрены Филипповны, то ли решила сделать вид, что не заметила.

— Необразованные люди, темные, потому и излечивались,— сказал Яков Устинович. Он аккуратно свернул газету и засунул ее в карман пиджака.— А сейчас обязательное среднее образование.

— Монастырь был... — тетя Нина словно и не слышала слов Кукушкина.— А в монастыре мощи. Я девочкой еще была, когда их выбрасывали. Помню: бегала, радовалась... Глупая была. Сейчас-то вот пойти бы, может, и помогло бы от болезни.

— Вряд ли вам помогло бы это, Нина Петровна... — сказал Яков Федорович.— Мощи, как я читал, воздействуют психологически. И только на те болезни, которые связаны с нервным потрясением. А вы ведь вроде бы астмой больны? Астмой... Это совсем другого рода заболевание. Тут никакие мощи не помогут.

— Не знаю... — вздохнула тетя Нина.— Может, и не помогут. Это бог меня наказал за ту радость. Болею, и не верит никто, что болею.

Она прижала к глазам передник и тихонько всхлипнула.

— А жизнь какая была? — пожаловалась она.— Первый мужик в войну погиб, оставил с дитем на руках. А другой бросил. Сделал Витьку и бросил. Сколько с им натерпелась, пока вырастила. Не жизнь это... Наказание.

— У вас муж, кажется, добровольцем на войну пошел? — участливо спросила Матрена Филипповна.

И странно, сколько всего терпела тетя Нина, все переносила: и ругань, и насмешки, а тут — обиделась.

— Добровольно? — тетя Нина отняла от лица передник и обиженно посмотрела на Матрену Филипповну.— Вы нас, я смотрю, совсем уж за людей не считаете. По повестке он пошел, как все.

Встала и, обиженная, ушла в дом.

Матрена Филипповна пожала плечами. Право же, меньше всего хотелось ей обижать тетю Нину.

— Странная женщина... — сказал Яков Феликсович, перехватывая ее взгляд.

— Не странная, а притворяется... — сердито фыркнула тетя Рита.— С богом притворяется, с болезнью своей тоже. Всю жизнь, сколько ее знаю, ходит плачется.

— Ну что ты, Рита... — укоризненно сказала Матрена Филипповна.— Как же это она с болезнью притворяется? Я сама видела, как она уколы себе делает.

Но мягким, мягким был сегодня у Матрены Филипповны голос, потому и не испугал он тетю Риту.

— И с уколами тоже притворяется,— заупрямилась она.— Так и живет на одном притворстве.

Матрена Филипповна вздохнула.

— Кто знает, кто знает... — загадочно проговорил Яков Ферапонтович и, погладив газетку, торчащую из кармана, пошел домой.

— Сыновья у нее хорошие... — сказал уже с крыльца.

— Оба уголовники! — коротко ответила на это осмелевшая тетя Рита.— Обоих в тюрьму посадят.

— Кто знает...— повторил Яков Филаретович и тихонько прикрыл за собой дверь.

У себя в комнате он достал из серванта чистую бумагу и сел к столу.

«Уважаемые партийные руководители!» — аккуратно вывел на листке и задумался.

Конечно же, его, как рядового советского служащего, не мог не возмутить факт пропаганды на страницах газеты матерого преступника и рецидивиста Могилина.

«Наставник... У него учится молодежь...» — переписал Яков Филимонович из газеты особенно возмутившие его слова и, поправив круглые очки, дописал: «Чему он может научить молодежь? Пить водку? Убивать? Ботать на фене?»

Откинувшись на спинку стула, он прочитал всю фразу целиком и, поморщившись, вычеркнул «ботать», заменил словом «разговаривать».

Долго не гас в этот вечер свет в окне Якова Фомича. И Марусин, дописывающий статью «Запрессованный Пушкин», слышал, как ругалась наверху тетя Рита.

— Лев Толстой! — кричала она.— Сергей Есенин! Ты долго еще будешь свет жечь, мошенник?!

Потом стало тихо. Видимо, так со светом и заснула тетя Рита, и Яков Фролович спокойно мог работать над своей анонимкой. От имени группы рабочих и служащих бил он во все колокола, разоблачая зарвавшегося бандита.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Статью «Запрессованный Пушкин» Марусин написал, вернувшись со склада макулатуры. Через день сдал ее в секретариат и позабыл про нее. Тем более, что привалило много срочной работы — надвигалось трехсотлетие парка.

Марусин с первых дней своей работы сошелся с местными старичками, копавшимися в архивах, и, конечно, немало сил положил на то, чтобы трехсотлетие парка не прошло незамеченным. Кампания эта началась несколько месяцев назад, когда Марусин подготовил целый цикл краеведческих статей об основании парка.

Трудно было предположить, что они заинтересуют кого-либо, но вот — заинтересовали. Первым ухватился за идею Дворец культуры. Там решили организовать — заправлял всем этим делом режиссер народного театра — театрализованное представление. А поскольку Дворцу культуры не под силу было поднять такое дело, режиссер народного театра — очень молодой и пробивной парень — подключил к трехсотлетию райком. Там идея понравилась, и вот она вернулась к Марусину уже в виде указания редактора шире освещать подготовку к народному гулянию в честь юбилея парка.

Марусин писал. Писал о народном театре, писал о комсомольцах-швейниках, которые решили сшить мундиры солдат Преображенского полка на своей фабрике, писал — и это было особенно интересно ему — о том, как парк выглядел триста лет назад.

Вот и сегодня, как только он пришел в редакцию, сразу сел за статью.

«Парк — в строгом смысле этого слова — закрепленная гармония. Возникая на стыке разнородных пространств, он целостен и зимой, и осенью, и летом. Парк — осуществление невозможного. Дело не только в сложности размещения ландшафтной композиции во временах года, хотя безумно сложно подобрать породы деревьев так, чтобы цветовая гамма, изменяясь во временах года, тем не менее оставалась целостной,— писал он, словно кто-то диктовал ему эту статью.— Парк нечто большее. Это — осуществление невозможного.

Деформируя время, парк оказывается неподвластным его обычным законам — расцвету, старению, смерти...»

Марусин поморщил нос, перечитывая абзац. Мысль понравилась ему, и он снова склонился над бумагой.

«Парк мыслит... — открывая следующий абзац, записал он,— мыслит преображенными душами людей».

— А вот и он! — раздался над его головой голос.— Вот он — наш именинник!

С трудом оторвался Марусин от работы.

Возле его стола стояли Угрюмов и Бонапарт Яковлевич Кукушкин.

— Я пришел поздравить тебя! — одаряя Марусина улыбкой американского миллионера, торжественно сказал Бонапарт Яковлевич.— Поздравить с достойным материалом.

И он протянул Марусину руку.

— Молодец! — сказал он.— Написано по-настоящему, по-журналистски. Броско. Лаконично. Смело. Поставлена проблема. Читается с интересом. Поздравляю. Прекрасный материал.

— Какой материал-то? — краснея от этой, заставшей его врасплох похвалы, спросил Марусин.

— Он забыл! — Бонапарт Яковлевич обернулся к Угрюмову.— Как можно забыть такой прекрасный материал? Я до самой пенсии буду помнить, что в нашей газете написали материал «Запрессованный Пушкин».

— А! — сказал Марусин и сразу как-то несолидно, по-детски обрадовался.

— Очень приятно,— смущаясь еще сильнее, проговорил он.— Очень приятно, что тебе понравилось, Бронислав.

— Мне он понравился! — торжественно повторил Бонапарт Яковлевич.— И написано хорошо. Во всем тексте я исправил всего одну фразу. Догадываешься, какую?

— Н-нет...— запнувшись, ответил Марусин.

— Ты написал «Я перелистываю страницы старой книги». А я... — Бонапарт Яковлевич усмехнулся.— Я поправил так: «Я перелистываю старую книгу». Чувствуешь, в чем заключалась ошибка?

— Н-нет...

— А она есть,— Бонапарт Яковлевич поднял вверх палец, и снова лицо его осветилось улыбкой.— Исчезло масло масляное. Перелистывать — от слова лист. А лист и страница почти одно и то же. Теперь понимаешь?

— Понимаю... — сконфуженно пробормотал Марусин.— Действительно, вроде бы тавтология получается... Хотя...

Он запнулся, не зная, говорить ли ему, что и у Пушкина встречал он «перелистывать страницы»...

— Но это мелочи! — Кукушкин снова пожал Марусину руку и направился к двери. Уже из дверей обернулся и еще раз одарил его ослепительной улыбкой.

— Ну и ну! — проговорил Угрюмов, покрутив головой.— Вот это я понимаю: сти-лист! Однако... — он повернулся к Марусину.— Однако поздравляю. Бонапарт Яковлевич хвалит редко, но всегда по делу. От всей души поздравляю с успехом! В субботнем номере пойдет материал. Поздравляю.

— Спасибо! — сказал Марусин и хотел еще сказать что-то, но загремела электричка, и слова его пропали в обрушившемся — окно было открыто — грохоте.

Марусин всегда достаточно иронично относился как к своим поражениям, так и победам, и считал, что именно это ироническое отношение к себе и помогает ему жить.

Но сегодня он не то чтобы изменил правилу, а просто не смог даже с помощью иронии избавиться от радостного чувства, охватившего его. Долго ждал он этой похвалы... Долго, но не слишком долго, чтобы она стала ненужной. Похвала прозвучала, когда и должна была прозвучать, и Марусин почти физически почувствовал прилив новых сил. Ему хотелось писать, хотелось

работать. Одним махом, почти не отрываясь, закончил он статью о парке, и тут же принялся за следующую, но: «Ты пойдешь кофе пить?» — отвлек его голос Зориной. Улыбаясь, Люда смотрела на него, и в глазах ее было любопытство.

«Что ж... — улыбаясь в ответ девушке, подумал Марусин.— Никто не виноват, что Люда любит Кукушкина... В общем-то, не такой уж и плохой он человек. Вполне достойный и порядочный».

И впервые сегодня служебные часы не тяготили его. Впервые за все время работы не смотрел он на часы, дожидаясь, когда можно будет смыться домой. В редакции — Марусин дописал-таки вторую статью — он задержался дольше всех, и еще бы, наверное, сидел и писал бы, но явилась уборщица, принялась мыть кабинет, и Марусин вынужден был уйти.

Пирожковая, где он обычно ужинал, уже закрылась. Но и это не огорчило Марусина. Беспечно махнул он рукой и направился к привокзальному ресторану. Там — он слышал это от сотрудников — неплохо готовили.

Совсем не знал Марусин этого ресторана...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Странно складывались отношения у братьев Могилиных. Пузочес после скандала, которым закончилось устройство его на работу по Васькиной протекции, в упор не замечал старшего брата.

С утра, прихватив неразлучную гитару, он уходил в парк и весь день валялся в «Долине тунеядцев», а когда солнце утишало свой жар и начинало клониться к земле, ехал в Ленинград. Свыкнувшись с мыслью, что все равно придется служить в армии, Пузочес неторопливо распродавал свои книжные запасы. Редко возвращался он в родной город без десятки в кармане.

Этой десятки вполне хватало ему, чтобы весело провести вечер в ресторане.

А Ваське-каторжнику, занятому амурными делами, все недосуг было объяснить брату ситуацию, да и когда? Виделись они редко. Домой Пузочес возвращался ночью, когда Васька уже скрывался в апартаментах Матрены Филипповны, а по утрам Пузочес спал.

Поговорить, конечно, нужно было.

Васька вошел в зал ресторана, думая как раз об этом, и сразу увидел брата. Развалившись на стуле, Пузочес сидел в углу и сосредоточенно — в ресторане было еще тихо — настраивал гитару. Вместе с ним за столиком сидел Марусин и старательно пережевывал свою котлету.

Васька направился к этому столику, не обращая внимания на друзей, окликавших его. Васька коротко кивнул Марусину и, усевшись за столик, внимательно и тяжело посмотрел на брата.

— А... — тихонько перебирая струны и прислушиваясь к звучанию их, сказал Пузочес.— Вася... Ну, как живешь, брат?

— Хватит тебе гитару щипать... — строго сказал Васька и схватил гриф, зажимая струны.— Это не баба, чтобы щипать ее. Положи инструмент.

Пузочес с любопытством взглянул на него.

— Ну! — сказал он, отставляя гитару.— Положил. Что дальше?

— Отчитывайся! — приказал Васька.

— В чем? — удивился Пузочес.— Я ведь весь, Васенька, как на ладони.

И он скорбно вздохнул, как бы объясняя Марусину, что вот, мол, как ему приходится мучиться с таким братцем, но он ничего не говорит против, он терпит...

Потом он взглянул на брата, и тогда ему стало страшно — неподвижно смотрел тот,— и только сейчас сообразил Пузочес, что Васька жутко пьян. Пузочес знал, что обычно за этим следует. Еще мгновение, и сорвутся, закрутятся бешено остекленевшие глаза Васьки, и тогда... Никто не может знать, что случится тогда.

— Да и что говорить... — заторопился Пузочес предупредить этот страшный взрыв.— В армию, в армию я пойду, братишечка... Не потужим... — он хохотнул заискивающе и на всякий случай переставил подальше от Васьки

гитару.— В Красной Армии послужим... Чего тут рассказывать? Вот сижу с соседом, песенку хотел ему спеть... Может, и ты послушаешь?

Слышал ли его Васька?

Кромешной чернотой разрывал его бедную голову хмель. Сегодня на фабрике он узнал, что станки снова подключены к сети, а он, Васька, переведен, по ходатайству Якова Харитоновича, сменным мастером в другой цех.

Сжав кулаки, вломился тогда Васька к Матрене Филипповне, но та встретила его такой покорной улыбкой, что только застонал он и, не сказав ни слова, вышел из кабинета. Как? Как мог он объяснить втюрившейся в него бабе, что та портит ему всю игру? В Васькины планы вовсе не входило, чтобы Матрена Филипповна догадалась о творящихся на фабрике махинациях. Как рассказать все, и рассказать так, чтобы не проронить ни слова о главном?! Васька чувствовал, что его обвели вокруг пальца, как последнего мальчишку, и злобой жгло изнутри.

До конца смены терпел Васька. Натянув на голову промасленную кепочку, думал он, и ему казалось, что голова стала такой большой, что он сам внутри ее, и ходит там, и от этого голове больно.

А как только опустел цех, терпеть стало невмоготу. Васька достал из тайника мутноватую бутылку со спиртом и, не останавливаясь, принялся пить, чтобы утишить злобу.

Нет, не слышал сейчас Пузочеса Васька.

Но снова отпустило, помягче стало внутри. Перевел дыхание Васька.

— Дурак! — коротко сказал он.— Держись за меня и не пропадешь. Ты мне нужен, елки зеленые.

И он потянулся к графинчику с водкой.

— Зачем я тебе нужен, Вася? — скорбно спросил Пузочес, наблюдая, как катастрофически быстро уменьшается уровень в графинчике. Васька пил водку прямо из горлышка, а на эту водку Пузочес истратил последние деньги.

— Не твое дело, зачем! — Васька поставил на стол пустой графин и сжал рукою лицо.— Заткнись и никшни. Сопля!

— Все понятно... — Пузочес оскорбленно скривил губы и встал, но Васька даже и не посмотрел на него. Он думал... Пузочес вздохнул и, прихватив гитару, медленно побрел по проходу между столиками. Конечно, он мог бы и остаться в ресторане, присесть к кому-нибудь и выпить на халяву, но не было уже настроения гулять, да и опасно было оставаться рядом с Васькой, напившимся до такого состояния.

А Васька-каторжник словно бы оцепенел. Не меняя позы, сидел он, сжав ладонями лицо, и Марусин, который уже доел котлетку и сейчас поджидал официантку, чтобы расплатиться, решил, что Васька заснул.

Но нет... Не спал тот.

Разжал пальцы и поднял голову.

— Где братуха? — спросил он, мутноватыми глазами оглядывая Марусина.

— Ушел... — спокойно ответил тот.

— У-ушел?! — Васькина бровь нервно дернулась.— Куда это он у-ушел?!

Марусин пожал плечами и сморщил нос. Только сейчас Васька разглядел Марусина.

— А... — сказал он, разжимая кулаки.— Сосед... Ну, ладно тогда.

И снова задумался.

— Слушай сюда! — сказал он, снова поднимая голову.— Ты мне вот расскажи что. Ты же пишешь там что-то? Ну, вот. Посоветуй, что делать, если я воров раскрыл, а они, суки, скользкие, оказывается. Что делать тогда, сосед?

Марусин внимательно посмотрел на Ваську. Тот переменился как-то в ожидании ответа. Словно раздвинулась муть, заволокшая глаза. Осмысленность появилась в них.

— Не знаю... — сказал Марусин.— Заяви... В ОБХСС заяви...

— Что-о?! — Васька, медленно и страшно вырастая, начал подниматься над столиком.— Заявить?! Это мне — падлой стать?! С-сука!

И не вскочи вовремя Марусин, не отпрыгни в сторону, кто знает, был ли бы жив?

Кулак Васьки пропорол пространство, где находился только что Марусин, и, не встретив препятствия, увлек за собой и Ваську. Лицом в стол рухнул он.

— Не п-позволю грабить русский народ! — закричал он.— Но падлой, нет! Не буду! Я! Мы! Мы Россию с-сами пропьем!

— Ага! — сказал Марусин.— Только смотри, как бы тебе сблевать ее не пришлось!

— Что-о?! — Васька рванулся было к Марусину, но неожиданно остановился.— Ладно! — трезво сказал он.— Иди. Уважаю, что не боишься. Иди!

Марусин ушел, а Васька долго еще сидел в ресторане, и ночью с трудом удалось дружкам довести его до старого, прогнившего насквозь дома.

А Пузочес в этот вечер явился домой необычно рано.

— О! — удивленно воззрился на него Яков Харлампьевич, что стоял с папиросой на крылечке старого дома.— Молодой человек! Так удивительно: еще не ночь, а вы уже у родного порога!

— Тебя не спросил, дед! — буркнул Пузочес, поднимаясь на крыльцо.

— О, молодой человек! — грустно вздохнул Яков Христофорович.— О, ангел родины! Вы думаете, я обижаюсь на вас? Нет... Зачем я должен обижаться, если я вижу, что вам сегодня не повезло в жизни... Но... — Яков Юрьевич предупреждающе поднял руку.— Поверьте, молодой человек, что нет ничего в жизни, о чем следовало бы жалеть. Все проходит... Все — суета... Поверьте мне, старому человеку, что нет ничего в жизни, о чем следовало бы жалеть. Надо жалеть о другом... Рядом с вами происходят гораздо более важные события, и надо жалеть, что вы не замечаете их.

— Какие это еще события? — не слишком дружелюбно поинтересовался Пузочес. На душе у него и так было противно, а тут еще привязался придурковатый старик. Пузочес этого не любил.

— Да... Да... Молодой человек,— заторопился куда-то Яков Яковлевич, едва успевая проговаривать слова.— Да... Вот вы посмотрите.— Он осторожно взял Пузочеса под локоток.— Вы обратите внимание, как странно устроен наш мир... Вот я — маленький и старый человек. А тень? Вы видите...— Яков Ярославович кивнул па свою тень, что от света, горевшего в коридоре за спиной, ложилась на землю и, бесконечная, убегала за пределы дворика, теряясь в городских сумерках.— Вы видите, молодой человек, какая это тень?

Пузочес оглянулся на бесконечную тень Якова Ярославовича, потом на самого старика. Странное было у него лицо. Не по-стариковски правильные и безликие черты. Такие правильные, что становилось противно.

— А ты сойди, дед, с этого места, вот и будет твоя тень покороче... — посоветовал Пузочес и, решительно отстранив Якова Яковлевича со своего пути, вошел в дом.

Он уже поднялся на ступеньку лестницы, когда: «О ангел, ангел... Ангел родины нетрезвенькой моей...» — вздохнул на крылечке Яков Юрьевич, и тогда у Пузочеса возникло острое желание вернуться и разбить гитару о голову дорогого соседа.

— Иди ты, знаешь куда? — сказал он, обернувшись к Якову Христофоровичу.— В жопу иди, дед!

Тоскливо было сегодня Пузочесу. Вначале братуха оскорбил его ни за что ни про что, потом допил всю водку, на которую «крякнули» все денежки, а теперь еще старый придурок в душу нагадил.

«Ну и гад же, а? — уже в комнате подумал Пузочес, сожалея, что не вернулся с лестницы к Якову Харлампьевичу.— Песни, старый козел, запомнить не может!»

И он изо всей силы, выпуская из себя накопившуюся за долгий вечер злобу, пнул ногой в стенку, отделявшую его комнату от помещений Якова Фроловича.

В первое мгновение Пузочес ничего не понял. Ему показалось, что он прошиб стенку насквозь — она треснула под каблуком, и нога прошла сквозь

нее. Вспотев от страха, Пузочес выдернул из пролома ногу и присел на корточки, ощупывая пробоину. Пальцы наткнулись на какой-то сверток. Пузочес вытащил его и вздрогнул — он держал в руке толстую пачку двадцатипятирублевок.

Раздался из-за цветастой занавески кашель матери.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего... — стараясь, чтобы голос его не дрожал, ответил Пузочес.— Стул упал... Ставишь их на самой дороге!

— Не выдумывай! — сердито отозвалась мать и закашлялась.— Ложился бы спать, так и стулья бы не падали.

— Ложусь... — торопливо рассовывая по карманам пачки денег, проговорил Пузочес.— Уже лег. Сплю.

Сердце у Пузочеса яростно колотилось. Был сейчас в нем и страх, и радость была, но больше всего — злорадства.

«Ну и братец! — придвигая свою раскладушку к пробоине, думал он.— Ну и жмот. Водку на халяву пьет, а сам денежки копит... У-у, ненавижу!»

Долго он не мог заснуть. Лежал с раскрытыми глазами на раскладушке и слушал, как колотится сердце.

А старый дом засыпал.

Слышались еще шаги у соседей, должно быть, это поднялся к себе старый человек Яков Фомич. Но скоро стихли и они.

Задремал Пузочес. Уже сквозь сон услышал он, как привели внизу брата. Пузочес испугался было во сне, но Васька подниматься наверх не стал — сразу пошел к Матрене Филипповне. Пошумел там и стих.

Тишина наступила в старом, прогнившем насквозь доме.

Утром, дождавшись, пока мать спустится на кухню — Васька уже ушел на работу,— Пузочес достал из шкафа кусок оставшихся после оклейки обоев и аккуратно приклеил его на пробоину. Обои переклеивали недавно, они еще не успели выгореть, и новый кусок неразличимо слился со стеной. Пузочес сложил в полиэтиленовый пакет деньги и, прихватив гитару, вышел из дома.

Окончание следует

Илья
ФОНЯКОВ



Колокольня

Как высока и велика!
Порой сквозь верховые окна
Протягивают облака
Свои туманные волокна.

За ней когда-то был собор,
Теперь — замшелая руина,
Но поражает до сих пор
Ввысь устремленная махина.

Текущим дням не ко двору,
Стоит, ветшая постепенно,
Лишь вздрагивает на ветру
На куполе телеантенна.

Да птицы вьются, а у ног
Теснится, хмурый и недужный,
Такой же старый городок,
Такой же, в сущности, ненужный.

И ощущение вины
Приходит — как бы ниоткуда:
Из воздуха, из тишины,
От букв «Прием стеклопосуды».

Мы все друг другу объясним
И все, быть может, оправдаем,
Но с этим дивным, бедным краем —
Как быть сейчас?
Что делать с ним?

Свалка

У насыпи, за виадуком,— свалка.
Чего-чего там не увидишь ты!
Отжившей жести рыжие листы.
Из проволоки адская мочалка.

Стол вверх ногами — вроде катафалка,
На нем — тряпье, какие-то болты.
Рисунок яркий: синие цветы
На блюдце битом. Все, чего не жалко!

Как медленно — не месяц и не год —
Металл ржавеет, дерево гниет!
Присяду здесь, потупясь виновато.

Ни птицы, ни залетного шмеля.
Все то, что у земли когда-то взято,
С трудом, давясь, приемлет вновь земля.

◆◆◆

Как будто
Громадный цветник,
Прореживая, освежаю —
От лишних,
Прочитанных книг
Мои стеллажи
Разгружаю.

А было —
Хвалился: доствл!
Показывал гордо обложку.
Нажадничался.
Нахватал.
Теперь —
Раздаю понемножку.

Гуляй,
Разноцветная рать!
Разлука
Да будет легка мне!
...Что ж,
Время есть — камни сбирать,
Есть время —
Разбрасывать камни.

Тень

Его я вижу каждый день
На ближнем перекрестке.
Он пива ждет.
Он призрак, тень
При голубом киоске.

А я другим его знавал!
Всегда готовый к спору,
Он, черт возьми, претендовал
На многое в ту пору!

И, в общем, схоже с первых дней
Смотрели мы на вещи.
Он в чем-то даже был сильней,
Бескомпромиссней,
Резче.

Что изменилось с тех времен?
Кто больше изменился?
Не выдержав, сломался он?
Я дрогнул и смирился?

Но где, когда же?
Упрекнуть
Себя мне вроде не в чем:
Был не вруном каким-нибудь,
Не сладкогласным певчим.

Не лез к начальству в кумовья
Настырно и упорно,
А то, что служба, дом, семья —
Так это ж не зазорно!

И что с того, что у ларька
С похмелья жаждет пива
Вот эта тень издалека,
Моя альтернатива...

Губами криво шевеля,
Три пальца растопыря,
Он просит ныне три рубля,
А иногда — четыре.

И я в карманах, пряча взгляд,
Мучительно копаюсь,
Как будто в чем-то виноват,
Как будто —
Откупаюсь.

Голос на старом кладбище

Вы прошлое опять разбередили,
Припомнили родных и не родных.
Что ж, нам не надо никаких идиллий —
Ни черно-белых сказок, ни цветных.

Мы были. Жили. Стройки возводили
И пели песни хриплые о них.
Мы «личному» смущенно отводили
Последние разделы наших книг.

Судьба врывалась, нашу жизнь ломая,
Случалось, гибли мы, не понимая,
За что, зачем — а в общем ни за грош.

Но то, что жили не по-человечьи,
По грудь в неправде и в грязи по плечи,
Без Родины, без веры,— это ложь.

Нина
КАТЕРЛИ

ДОЛГ

Повесть

До двадцати шести лет Тамара не беспокоилась о замужестве. Работала на заводе в конструкторском бюро копировщицей, по вечерам занималась в техникуме. А жила в общежитии. От родителей никакой помощи, сидят у себя в деревне, по уши в навозе, ну, пришлют в год два раза грибов сушеных или, там, брусники — на том спасибо. Знала: всем, что имеет, обязана одной себе: и образованием, и комнатой, что дали в конце концов от завода. И тем, как выглядит — а получше многих городских. Потому что сама и сошьет, и свяжет, все по моде, по современным журналам, не хуже фирмы. А вот чтобы мужикам в глаза заглядывать да трястись, как собачка, а вдруг да замуж не возьмут, такого унижения никто не дождался. Кстати, и мужчины этого не переваривают, заметил — и в сторону. Девчонки — дуры, обратили внимание, она уж и готова, засуетилась. И, само собой, бутылку по первому требованию. А бугай походил, походил, попользовался — и с общим приветом, Кузькой звали. И молодец.

Ну, а уж если и уломают его, женится, так будьте спокойны — сразу сядет на шею и ножки свесит. Получишь тунеядца с доставкой на дом. Нет уж...

Тамаре, между прочим, заманивать парней бутылками не требовалось, сами, бывало, тащат. Ну и: «Ты куда явился? Здесь тебе не распивочная. Торт или фрукты купить не дотюмкал? О цветах не говорю. Скобарь!»

А уж позволить ему что-нибудь лишнее, тут сразу: за дверь. Коленом.

Андрея Мартьянова сама выбрала, потому что показался культурным, симпатичным и воспитанным. Не знала по молодости, что внешней культуры для жизни мало. А он, в самом деле, вел себя тогда — не придерешься: и букеты, и подарки, и дверь откроет, и стул подвинет — в общем, полное уважение.

Работал Андрей на том же заводе, что Тамара, инженером в отделе главного механика. Интересный — это верно, и одет со вкусом, хоть складки настоящей на брюках никогда не увидишь, да что требовать с неженатого? Зато образование, конечно, высшее, и семья интеллигентная: отец кандидат наук, мать преподаватель математики... Все бы хорошо, только вот не проявлял Андрей необходимой решительности, хотя без очков было ясно: Тамара ему нравится, да что нравится! — влюблен по уши. А хоть бы слово! Ходит, раз в неделю в кино приглашает, все путем — но помалкивает. Тут бы Тамаре и задуматься. А она решила действовать сама — глупая была, опыта никакого! Навела справки, узнала, что на октябрь Мартьянов от отдела записан в совхоз, пошла к своей начальнице, ведущему конструктору Раисе Федоровне: так и так, хочу поехать. Раиса только ручками всплеснула — пальцы толстые, маникюрные, на каждом по кольцу (еще бы, покойный муж был морской полковник!): «К чему это, Тамарочка? Вы же в июне отработали, а октябрь для совхоза месяц плохой — дожди, слякоть. Я просто поражаюсь! И потом — у вас в октябре отпуск согласно графика. Да и работы — завал». Тамара: «Отпуск возьму в декабре, вам же лучше. А в октябре в совхоз. Надо».

Раиса и согласилась. Дураков в октябре на поле мокнуть надо еще поискать. С Мухтаром.

Поехала. Взяла с собой новый спортивный костюм, финскую куртку. Сапоги купила новые, красные, резиновые, куртке под цвет.

...В общем, когда вернулись через месяц, сразу подали заявление во Дворец бракосочетаний. Накануне Андрей попросил Тамару заглянуть к нему,— хочет познакомить с родителями. Тамара отмахнулась: «Успеем! До регистрации два месяца ждать!» Он как-то вроде замялся, а потом: «Ну, хорошо, как хочешь, Тамарочка».

Подали заявление. Из Дворца зашли к Тамаре выпить шампанского. Тут Тамара и сказала: «Пусть это считается несовременно, но я себя привыкла уважать и хочу, чтобы будущий муж уважал, имел на это право. Так что — прими руки, слышишь?!» Андрей сразу: «Конечно, конечно, я же тебя люблю!» Тамара обрадовалась: покладистый...

Свадьбу справляли перед Новым годом. Сняли зал в кафе. Родителей Тамара выписывать не стала — только деньги выкинут на дорогу да на ненужные подарки, а приедут — наряжены, как у них там ходят, стыда не оберешься.

Мать потом, конечно, обижалась прямо до слез. Много лет все помнила: «Хороша дочушка, без родных отца с матерью обошлась, погребовала».

С Тамариной стороны во Дворце были только Люда с Аленой — девочки с работы, ну и, ясно, Раиса Федоровна. Подарили три комплекта постельного белья, не говоря о мелочах. Мартьяновы явились мало того, что в полном составе: мамуля с папулей, тети, дяди, племянники да еще привели зачем-то соседку Олечку... Знать бы тогда, летела б эта Олечка на легком катере... куда положено...

С родителями жениха Юрием Михайловичем и Татьяной Андреевной Тамара к этому времени была уже знакома, Андрей затащил-таки на семейный обед. Тогда-то уж Тамара с ходу просекла: смотрины. Ладно, дорогуши, смотрите, есть на что: и рост, и фигура — точный стандарт, сама проверяла пропорции, получилось — хоть завтра в манекенщицы. Да и на лицо, слава богу, жаловаться грех. Наряжаться не стала, хороша и так, пришла в том, в чем всегда на работу ходила, в юбке и свитере собственной вязки, свитер, правда, последний крик. Французская модель, Виктор, сосед, журнал привез, он в загранку ходит и Тамаре всегда привозит журналы, хоть «Бурду», хоть что по заказу. А Тамара за него убирает места общего пользования, так что все по-честному.

Вела себя Тамара на званом том обеде спокойно, не поддакивала и не юлила, ей бояться нечего — понравится будущим свекру со свекровью, хорошо, не понравится — им же хуже, сына потеряют.

Нет, Тамара не волновалась, а вот свекровка будущая, точно, нервничала, и разговор от этого плохо ладился... Ну, Тамара нашла повод и к слову доложила родственникам, что характер у нее такой — где сядешь, там и слезешь. Андрюшина мамуля только бровками задергала, но смолчала.

Пока сидели, беседовали, Тамара всю обстановку разглядела: ремонта не было лет пять, окна вымыты — страх смотреть, мебель — с бору по сосенке. А электропроводка вообще — конец света, у всех уже сто лет, как скрытая, а у этих — шнуры по стенам, красота! Да... Интеллигенция в самом худшем смысле. И ведь не бедные! Не умеете — наймите человека, главное, и сына не приучили, инженер, не народный артист. Ничего, даже интересно: взять человека и вылепить из него что-то стоящее, Андрей — натура мягкая, Тамару обожает, а мы не можем ждать милостей от природы...

А мамуля-то, аристократка, такой обед сварила, в заводской столовой за шестьдесят копеек — не отличишь. А ведь старалась, поди, изо всех сил.

Разговор между тем все тянулся, тянулся, о чем попало: как в совхозе работали, про погоду, что вот, декабрь на дворе, а зимы не видать. Потом перешли на политику, Андрей нарочно завел, приготовил родителям сюрприз, и уж тут Тамара показала, что почем: как-никак просматривает три газеты в день — это раз, и лекции на заводе — обязательно. Даже папуля-кандидат оживился, заспорил, щеками затряс, а до того сидел над тарелкой, как сонная муха. А свекровка послушала-послушала, ушами похлопала-похлопала да и спрашивает: «А читали вы, Тамарочка, в последнем „Новом мире“...?» Нет? Жаль,

прекрасная вещь. А в «Иностранной литературе»?.. И те-де. Проверка культурного уровня! Другая на Тамарином месте стала бы выкручиваться или вообще соврала: «Как же! Как же! Исключительно! Читала!» Тамара ответила, как есть: на газеты еле времени хватает, а надо ведь и дом в порядке держать, каждый день что-нибудь, то окна протереть, то убрать общее пользование, то занавески освежить. Короче, дала понять, что культура не в одних книжках. Правда, потом добавила, что вообще-то читать, конечно, любит, но предпочитает, в основном, про войну и остросюжетное, потому что там — люди, а не хлюпики.

Мамуля опять бровками задергала, это у нее такая противная привычка, если схлопочет и не знает, как ответить. У Тамары даже настроение поднялось — навела шороху в курятнике.

Андрей, когда провожал ее в тот вечер, несколько раз повторил, что теперь окончательно понял: Тамара — личность.

До рождения Юрика жили — кто угодно позавидует, муж с Тамары буквально пылинки сдувал. Другие мужики вечно тянутся к приятелям, Андрею — лучше жены друга нет. А почему? Потому что у тех бабы — курицы, тоска с ними зеленая, только об одном и могут, что о детях да о тряпках. Или кто с кем встречается. А с Тамарой — и про международное положение, и на футбол можно вместе пойти, хоккей вдвоем посмотреть по телевизору, во всем она разбирается, игроков знает по фамилиям, а турнирную таблицу — наизусть. Вообще мужской ум, все признают, а это при эффектной внешности — чудо!

Все шло хорошо, пока не родился Юрик. А как начались трудности, из личности Тамара у мужа сразу превратилась в хамку и даже в надсмотрщика. Вот так. А потому, что с детства привык — все только о себе да о себе. И вечно то он устал, не выспался, вечно у него что-нибудь болит: то голова, то поясница — зла не хватает!

Обязанности Тамара распределила сразу и по справедливости. Весь день с мальчиком, само собой, она. На всю катушку: встает в шесть часов, кормит, два раза в день гуляет, а в промежутках надо, между прочим, еще обед приготовить, комнату убрать, погладить Андрею рубашки, отпарить брюки. Вот, хоть и хамка, и надсмотрщица, а мятым да грязным у нее не ходил никогда! Словом, крутилась, как взбесившаяся белка, о себе подумать некогда, а еще, бывало, явится вечером бабка — и сразу к кроватке: «У-ти, масенький, какой же ти у нас холёсенький, глазки голубенькие, как у папки...» Тьфу! И — нет помочь; посидит, поквохчет и — домой, задачки ей пора проверять.

У Андрея было всего три обязанности: купить продукты, перестирать вечером в машине пеленки и встать ночью, если Юрик заплачет. Кажется, не такая и нагрузка для мужчины. Ведь и Тамара человек, ей тоже отдых нужен.

Первый настоящий скандал получился, когда свекровь, явившись в очередной раз посюсюкаться, вдруг ни с того ни с сего пошла давать советы: «Маленькому надо больше бывать на воздухе, не то разовьется рахит». На это Тамара ей вежливо ответила, что согласна: гулять чем больше, тем лучше. То есть абсолютно. Вот и приходите, гуляйте, я не против, а только за. Та и примолкла — что ей сказать, она же непосильная труженица, алгебру с геометрией без передыху преподает. Примолкнуть-то примолкла, а злобу, видать, затаила, и уже в передней, чтоб довести Тамару, подергала бровками и тихоньким голоском сказала, что Андрюшенька ужасно плохо выглядит, больно смотреть, раньше был такой крепыш, а теперь похудел и лицо серое. От недосыпания. Поскольку все же это чрезмерная нагрузка — днем работать на производстве, а по ночам не спать. ...Красиво выходит? Он, значит, на производстве, а Тамара тут круглый день мается дурью! «Крепыш», главное...

Но Тамара в ответ ни звука, сдержала себя, та и выкатилась. А тут как раз зашли Раиса Федоровна, начальница, с Людкой, были рядом в местной командировке. Тамара им насчет собственных дел, конечно, ни слова, не привыкла жаловаться, зато Раиса, как всегда, развела бодягу про свою Таньку, невестку. У нее, с чего ни начни, кончится обязательно Танькой, это просто удивительно, чтоб так человека ненавидеть. Ну, и конечно: «Танька меня не уважает, хочет взять надо мной верх, а я ее — носом в дерьмо! Она поставит молоко, а я возьму и огонь прибавлю, сожгу кастрюлю. Я женщина больших страстей! Я себе слово дала за пять лет превратить ее в старуху... У Вадима есть женщина, это точно, я — мать, я чувствую. И радуюсь! Если бы Танька со мной по-хорошему, я бы ее мигом научила, как с ним быть. Она сексуально бездарна! Но она не меня слушает, а свою мамочку...»

Тамара молчала, гладила распашонки, а сама думала — ведь никаких гарантий, и Андрюшина мамуля ее, Тамару, наверняка вот так же несет за глаза, спит и видит, как бы сын другую завел.

Вечером, только Андрей в дверь, она ему: «Стучишь своей мамуле, как я тебя на износ эксплуатирую? Тут целый день не знаешь, куда бросаться, а еще приходят, нервы треплют! Передай там: пускай больше не является, толку все равно ноль, а без советов ядовитых как-нибудь обойдемся! Между прочим, чтобы другим советы давать, надо самой быть на высоте, а у твоей, извини, мамулечки, не руки, а крюки, посмотри хотя бы на их квартиру!» И так далее...

Не в первый раз Тамара говорила мужу правду про его родителей, и ничего, слушал, понимал, что правда. А тут вдруг начал выступать: «Не позволю так о моей матери! И запретить ей навещать внука не могу, она его любит, в нем ее жизнь!»

Ох-ох! «Жизнь»! «Любит»! Да что же это за любовь такая, интересно знать? Любовь — это дело, а не полоумное тютюшканье! И кто бы говорил?!

...Может, и слишком грубо Тамара тогда с мужем? Может... Все-таки он не приучен был по-простому, чтобы всю правду — в глаза, аж побледнел, когда она крикнула: «Да насрать мне с высокой горы на твою мамашу и на тебя заодно! Здесь мой дом, кого хочу, того пускаю! Не нравится, сам можешь катиться к... матери!»

Он и стал весь белый, повернулся и ушел. А объявился ведь, паразит, только через сутки, когда Тамара успела уже все милиции обзвонить, а это не просто, надо в автомат бежать и ребенка запирать в пустой квартире. Тут уж одной было не справиться, пришлось подключать Раису с девчонками, те с работы целый день по больницам да по моргам названивали, потом примчалась Людка, доложила — нигде нет. Еще сказала: все на Тамариной стороне: и Алена, и все. Раиса привела пример, что когда ее муж, полковник, один раз не явился ночевать, она у него на голове тарелку разбила на четыре части. Зашивали потом в травмпункте. А Тамара в самом деле беспокоилась — мало ли что может случиться с человеком? И даже мысли не допускала, что Андрей способен дойти до такой наглости — отправиться спокойненько к мамуле с папулей и разлечься спать. А он ведь так и сделал, ни с чем не посчитался. На следующий день пришел после работы, как ни в чем не бывало, с продуктами. Тамара: «Где был, если не секрет?» А он, прямо при Людмиле, ни стыда ни совести: «Да вот, решил вчера навестить стариков, засиделся, оставили ночевать». От этого «навестить» да «оставили» у Тамары аж горло перехватило. Не будь Людки, не сдержалась бы, врезала ему по роже... В общем... вспоминать неохота.

И пошло-поехало. Вот что значит — человек повернулся другой стороной. Что ни попросишь, делает из-под палки, вечно надутый, целыми вечерами молчит. Только с ребенком разговаривает, и — точь-в-точь мамуля: «угугусеньки» да «у-тю-тюсеньки». И так жалостно, будто старается подчеркнуть: бедный ты мальчик, мать у тебя ведьма, никто тебя не приласкает, нежных слов не поговорит... А Тамаре и хочется взять сына, походить, покачать для собственного удовольствия, а когда? Ведь не десять рук, не разорвешься! Вот он и не заслюнявленный с ног до головы, зато всегда чистый, в убранной комнате, в свежих ползунках.

В Андрее Тамару злило уже абсолютно все: как ест, как ходит, как пеленки стирает — усядется у машины, и нос в книгу, из работы делает себе развлечение. По выходным нет-нет да и сбежит к мамуле, а потом еще оскорбляется:

«С тобой, как в тюрьме, за каждым шагом следишь, и все не так. Все-то видишь, все замечаешь, тебе бы в уголовный розыск. Надзиратель! И не нужен я тебе. Только как рабочая скотина».

А и правда, на черта он, такой мужик? Для постели? Женщина и без того с ног падает, а ему подавай. Интеллигент называется! Людка тоже, вон, стонет, устает, как собака, а у нее девчонке второй год, не грудная уже. Говорит: «Я до Коли своего всегда десять сантиметров не доползаю. Думаю, хоть обниму его, руку положу. И уже сплю. Десяти сантиметров не хватает!» А Тамаре не надо обниматься да руки класть, сам лезет, как животное.

И все же она не ожидала, что муж осмелится на такую подлость, чтобы изменить. Главное, на него непохоже, какой из него бабник? А потом, это ведь еще надо найти такую, чтобы хотя приблизительно сравнить с Тамарой. Он, оказывается, такую как раз и не искал. Взял, что валялось.

Что у мужа кто-то есть, Тамара догадалась быстро, глаз—алмаз, куда денешься? Раз задержался после работы, спросила — где, стал мямлить, мол, заходил к родителям, а сам красный, в глаза не смотрит. В тот же вечер Тамара его и подловила, сказала что-то про отца, мол, со здоровьем, наверное, лучше? А он: «Откуда я знаю, я же его с воскресенья не видел». Хорошо. Через неделю явился поздно вечером после того, как ходил в очередной раз «навестить стариков». Тамара и проверила потихоньку карманы. Нашла два использованных билета в кино. Опять смолчала. Почему? Из гордости! То есть это тогда так казалось, будто из гордости, а теперь-то ясно — по глупости... Дальше — больше. По ночам уже не пристает — это что? А то самое!.. И что обиднее всего, настроение у паразита ни с того ни с сего стало уж больно хорошее, так весь и сияет, на замечания не реагирует, а то еще рассядется с книгой у стиральной машины, взглянешь незаметно, а он не читает, смотрит в угол и улыбается. Недели две Тамара любовалась на эту красоту, а потом нервы не выдержали. Пришел как-то опять «от родителей», она и говорит, спокойно так, даже мирно: «Ты бы посоветовал своей любовнице скромнее духами пользоваться. Больно уж паршивые духи, дешевка, меня от них тошнит». А он стоит в дверях, глаза вылупил, рот приоткрыл. Идиот идиотом. А Тамара: «Ну, чего уставился? Пиджак у тебя провонял этой гадостью! Пойди, вынеси на лоджию, пусть проветрится. А заодно лицо вымой, весь в губной помаде». Никакой помады у него на лице, ясное дело, нет, а он поверил, давай под носом тереть.

Тамара дальше: «И с чего бы это Ольге понадобилось красить губы? Не такой они у нее формы, чтобы подчеркивать». Сказала и замерла, Ольгу-то ведь просто так назвала, почти наобум. Почти — это потому, что догадывалась — на стороне Мартьянов искать не будет, подберет, что поближе, а Ольга — мамулина соседка, любимица, мамуля-то, небось, и раньше спала и видела, как бы Андрюшу на ней женить. А что? Тихая, как мышь, маленькая, тощая. Страшненькая, чего уж, зато мамуле в рот станет глядеть, а им, свекровкам, только то и нужно — послушать хоть Раису Федоровну. В общем, сказала Тамара про Ольгу, стоит и ждет, клюнет или нет. Клюнуло.

...А ведь вполне возможно, что зря она тогда мужа вот так — в лоб. Потому что он сразу же во всем признался, а после этого Тамаре ничего другого не оставалось, как выставить его вон...

Нет, нельзя быть такой прямой и открытой, надо похитрей. Виновата перед сыном, не смогла сохранить ему отца. Виновата.

А на следующий день явилась бывшая мамуля. Тамара уже с утра знала: придет часов в двенадцать. Рассчитала: воскресенье, пока они там встанут, пока объяснятся с сыночком, да ведь еще и с духом надо собраться, знает, куда идет. Так что особо торопиться не станет, но и надолго откладывать тоже не хватит терпения. Тамара на всякий случай нарядила Юрика в новую кофточку и стала наводить в комнате блеск.

В десять минут первого — звонок. Тамара вышла в переднюю, глянула в зеркало — порядок: белая блузка — то, что надо, волосы по плечам, прямо

Мадонна. В лице спокойствие и ирония. Дверь в комнату оставила полуоткрытой, чтобы видно было, как Юрик в кроватке погремушкой играет.

Бабка вошла, остановилась на пороге, вся бледная, губы трясутся. И сразу давай ныть: «Тамарочка! Зачем же так резко? Нельзя лишать малыша нормальной семьи! Андрей, конечно, виноват, мы с отцом его ругали...»

«Ругали»?! Морду бы набить, а они... А кто, интересно, ночевать у себя оставлял, когда этот предатель бегал отдыхать от родного сына?! Но перебивать Тамара не стала, пусть выскажется.

А та: «Я понимаю, у вас с Андрюшой не сложилось, но ради ребенка...» Ну просто нет слов, одни буквы. То есть это значит: оба хороши... Оба! Теперь-то Тамара убеждена: найди тогда свекровь другие слова, скажи по-честному — мой сын поступил грязно, как подлец, и мы с отцом клянемся, что в нашем доме ноги его не будет до тех самых пор, пока вы, Тамара, не простите, и с Ольгой, безусловно, все наши отношения с этого дня прерваны, мы приносим свои глубокие извинения... и в этом роде. Вот скажи она так, и, может, все сложилось бы по-другому. Но ведь она же крутить начала! «Не сложилось», «понимаю», выходит, не в том дело, что ее сын при жене и ребенке другую бабу завел, а в том, что Тамара с ним, оказывается, отношения наладить не сумела!

Значит так. Дверь из передней в комнату, где Юрик, Тамара прикрыла: полюбовалась внучком, хватит. А потом спокойно так, вежливо, без крика: «Прошу очистить помещение. Посторонним тут делать нечего. Это моя квартира. Моя и Юрика. К вашему сведению. Внука у вас больше нет, а тишину нарушать перестаньте (это потому, что бабка вдруг заревела в голос и запричитала) — напугаете ребенка, к тому же мешаете отдыхать соседу». Никакого соседа, конечно, в тот раз дома не было, плавал, но мамуле это знать не обязательно.

Одним словом, выпроводила бабку и вдогонку еще предупредила: «Мартьянову передайте: к сыну не пущу, ребенку грязь не нужна. И развода не дам, потакать разврату не намерена».

Таким вот образом...

И в самом деле, Тамаре одной поднимать сына, а кобелю — новую семью? Перетопчется, пускай там Олечка подергается, нерасписанная. А мы уж и без алиментов как-нибудь.

Бабы с работы одобрили. Раиса сказала: «Зло должно быть наказано. Прощать измену — себя не уважать! Надо к его начальству сходить, а то висит на Доске почета, как порядочный. Это только такая тряпка, как моя Танька, может все терпеть, ей — пусть шляется, лишь бы совсем из дому не уходил. Я этого не понимаю, я зла не прощаю никому. Мне Вадим тут нагрубил, так я не постесняюсь — решила, позвоню его директору и все расскажу: и как жене изменяет, и над матерью издевается, испорчу ему карьеру!» — «Родному-то сыну?!» — ужаснулись Людка с Аленой. Тамара, наоборот, одобрила: если бы у ее Мартьянова была такая принципиальная мать, может, и семья бы сохранилась.

Мартьянов с завода вскоре уволился. Еще до того, как Тамара вышла на работу. А она вышла сразу, как Юрику исполнился год, и его взяли в заводские ясли, без очереди взяли, пошли навстречу, и не почему-либо, а знали, какой Тамара работник: Раиса спала-видела, денечки считала, скорей бы, наконец, Тамара Ивановна села за кульман. Тем более, Алена ушла в декрет. Приняли двух новеньких, а у тех — руки-крюки.

С деньгами было, конечно, туго. Особенно первое время. Мартьянов не один раз звонил на работу, предлагал помощь, мамуля бывшая тоже заходила, канючила: себя не жалеешь, хоть малыша пожалей. Тамара обоих послала, куда заслужили, но деликатно, не придерешься: она свою жизнь сама организует, уж как-нибудь обойдется без подачек, тем более, извините, от предателей.

Чтобы ребенок ни в чем не нуждался, выбила себе, во-первых, повышение. Не любительница таких мероприятий, а взяла Раису за жабры, припугнула,— мол, нашла место конструктора первой категории, хоть завтра оформят. Раиса заныла: «Как же? Без диплома о высшем образовании? Да я всей душой, кадры будут возражать...» Тамара четко: «Ваши проблемы. Устраивает, как

я работаю,— пробьете». И Раиса, как миленькая, бодро подняла свою тушу со стула, побежала туда, сюда, к директору на прием. И добилась. Между прочим, для себя в первую очередь. Где она еще найдет такого конструктора, чтобы работал быстро, точно, самостоятельно, без единой ошибки?

Но на зарплату с ребенком все равно не прожить. Тамара, еще пока сидела с Юриком дома, выучилась по самоучителю машинной вязке. Машину купила в долг. Раиса дала денег в рассрочку. И сразу появились заказчицы — не отбиться! Потому что у Тамары художественный вкус и чувство линии, она лучше самой заказчицы знает, какой фасон той нужен. А кроме того, «Бурда» под рукой, Виктор привозит, соблюдает договоренность. А еще он привозит шерсть всех цветов, у нас в продаже такой не найдешь. Конечно, и дерет будьте-нате, уж тут одной уборкой не рассчитаешься, но Тамара и ему самому, и его девицам все вязала в срочном порядке, без очереди. А вообще в отношениях с Витькой у Тамары всегда была полная строгость: пьяному в кухне и передней не шуметь и не свинячить, девок в дом не таскать. Конечно, Витька — парень молодой, женой не обзавелся, так что и требовать, чтобы жил монахом, вроде, неудобно. Только пускай уж устраивается на стороне, а не там, где ребенок. Все это Тамара раз и навсегда ему объяснила, когда трезвый был, и он согласился. К Тамаре приставать с глупостями — этого себе начисто не позволял. После одного случая. Распустил как-то по пьянке руки, ну и получил. Пока смывал над раковиной кровь с разбитой губы, Тамара стояла рядом, отчитывала: «Запомни до смерти, я для сына живу, не для б....ва. Запомнил?»

А Юрик рос, вот уже и в садик перевели из яслей. На работе удивлялись: как это? Тамара — молодая, интересная женщина — и совсем одна. Людка так прямо и говорила: «Я бы не смогла». Ну, Людка — ладно. Людка — кошка, обожаешь своего супруга и обожай на здоровье, млей! Так ведь и Раиса туда же! У бабы скоро пенсионный возраст, а все романы на уме. Приехала из отпуска, отдыхала в Репино, так всем прожужжала уши про какого-то Валентина. Он там, видишь ли, в спецсанатории проходил реабилитацию после инфаркта, и теперь вместо разговоров про Таньку с утра до вечера: «Мне на закате так повезло, так повезло! Это мужчина с большой буквы! Но он в Москве, он там занимает высокий пост... Мне бы надо менять комнату на Москву. Вот разделю ордер, перееду, и напляшутся Вадим с Танькой в коммуналке! Остаток жизни надо прожить с блеском! А вы, Тамара, себя губите... Что значит — „все ради сына"?! Вы думаете, он вырастет — „спасибо" скажет? Ошибаетесь. Вам надо устраивать жизнь». Тамара отшучивалась: «Не с кем устраивать, порядочных мужчин мало, да и те женатые». Раиса тут же «А это не имеет значения! Мой Валентин тоже имеет семью, ну и что? Он мне рассказывал статью Энгельса „Происхождение семьи и частной собственности", так Энгельс там прямо говорит: в основе семьи лежит сексуальная любовь, и если мужчине сексуально понравилась другая женщина, он должен оставить старую семью и создавать новую. Это Энгельс сказал, а не кто-то!» А Тамара свое — мол, одной лучше, такая уж, видно, холодная. Как Северный полюс. То есть абсолютно.

Про ее личную жизнь не знал никто, ни один человек.

Когда Юрику шел пятый год, пришлось Тамаре все-таки развестись с Мартьяновым. Опять пожаловала мамуля, с подарком явилась, притащила целую корзину клубники: «У нас теперь садовый участок, муж на пенсии, сам сажал, сам ухаживал. Очень скучаем по малышу, может быть, хоть иногда... изредка?.. Мы ведь вам раньше не надоедали, не хотели травмировать, а теперь уж время прошло...» Бормочет, а сама — глаза в сторону, зато Тамара на нее очень внимательно смотрит. И видит: старая стала, одета кое-как, раньше куда приличней выглядела, а это значит, и сама на пенсии, пока работала в школе, следила за собой. А еще — руки. Ногти обломаны, кожа грубая, следовательно, запрягли тебя, матушка, новая-то невестка спуску, видать, не дает... А идти сюда тебе — ух, не хотелось! — как могла оттягивала, все магазины по дороге обошла — сумка-то полная всякой ерунды: тут и кефир, и хлеб, и морковка в полиэтиленовом пакете. Ну, кто ж тащится с Васильевского через весь город с таким грузом? Все это и на обратном пути можно было купить. Нет, не

просто так ты пришла, послали, и сейчас тебе очень даже не по себе, нервы на пределе.

Тамара спокойненько ей и говорит: «Ягоды заберите, Юрика сейчас все равно нет, гостит в деревне у дедушки с бабушкой. Да и вообще *своему* сыну я, если нужно, всю куплю сама. С этим ясно?» Бабка в слезы: «Зачем же так? Мы ведь от чистого сердца. Покушайте. Дед — своими руками...» Сказала и молчит, всхлипывает. И Тамара молчит. Вроде бы мамуле пора уходить — нет, сидит, съежилась и выражение, как у кошки перед тем, как гадить сесть. Тамара мысленно: «Ну! Телись, давай!» А сама уже знает, зачем гостья пожаловала. Наконец та не выдержала: «Тамарочка,— говорит,— просьба к вам. Ольга на седьмом месяце...» И опять язык прикусила. А ведь не «Оля» сказала, раньше все Олей звала... Нет, не вышло там дружбы, точно! Не вышло... Тамара усмехнулась: «Сразу бы и сказали, а то — „малыш", „своими руками"... Ладно. Передайте Мартьянову: дам развод. Не ради него, предателя, и, конечно, не ради Ольги, тем более. А ребенок не виноват, ради него и дам. А вам, Татьяна Андреевна, скажу вот что: сын с невесткой вас не берегут и не уважают, нервов ваших не пожалели, послали сюда, а должны были прийти сами. Помяните мое слово: старость вас ожидает самая печальная, собачья старость. Тот человек, который смог бросить родного сына, он и родителей бросит». Спорить старуха не стала, то ли согласна была, то ли боялась разозлить Тамару. Вздохнула только. Потом спрашивает еле слышно: «Тамарочка, меня давно мучает один вопрос. Если вам тяжело, не отвечайте, мне это просто так, для себя надо знать. Вот вы... когда еще с Андрюшей... были... Вы его любили или нет? Простите, конечно, если я бестактно...» Сперва Тамара хотела поставить ее на место — мол, не твое дело и не лезь, а потом... как-то и сама задумалась: а верно, любила или не любила? Ведь было бы хоть что-нибудь, почувствовала бы сейчас досаду, что вот ребенка ждет от Ольги, расписаться с ней решил... Нет... Ничего. Ни злобы, ничего. А с другой-то стороны... И она твердо ответила: «Конечно, любила. А как же? Не любила б, не ругались бы из-за каждой ерунды, ведь если человек безразличен, все равно, как он там себя ведет, правда же? А когда он дорог, хочешь перевоспитать, чтобы не было недостатков». Кивнула бабка.

Потом Тамара подписала бумагу, что не возражает против развода, и старуха ушла... А про Юрика-то больше ни слова,— ну, скажи?.. Когда Тамара, закрыв за ней, вернулась в комнату, смотрит — между сервантом и стеной засунута корзинка с клубникой. Ладно, леший с ней, пришлось бежать в бакалею за песком, варить варенье. Часть ягод, что посуше, отсыпала, отнесла назавтра в КБ, угостила своих. Заодно обсудила мамулин визит. Людка сказала: «Тома, ты — святая женщина, лично я своему Кольке никогда бы развода не дала, меня бы всю от ревности пожгло!» — «Глупая ты! — засмеялась Тамара.— Да он бы и без согласия обошелся, у нас разводы не запрещены, особенно если — новый ребенок. И Мартьянов обошелся бы. Это он из трусости, понимает, что, если — без согласия, я могу алименты потребовать. Назло. За все годы, понимаешь? А это сумма, будь здоров!» — «Тут я с вами в корне не согласна, Тамарочка,— вмешалась Раиса.— Какая-то вы, извините, не от мира. Сумма всегда пригодится, вы не миллионерша. Мужиков надо наказывать! Они же сволочи, причем все поголовно. Вот мой Вадим, сыночек. Я ему жизнь отдала, десять раз могла выйти замуж, могла заниматься наукой — все бросила! У меня к нему привязанность какая-то животная, как у самки к детенышу, а как человека я его не люблю, он для меня объект для дела — сготовить, зашить. А как человек — нет! Танька и та лучше!»

Люда с Тамарой только посмотрели друг на друга, но промолчали. Со смеху помрешь с этой Раисой! Раздухарилась, всех мужиков проклинает, включая Валентина из Репино, только один ее покойный муж был, оказывается, святой. «Он умел красиво любить, вот что главное! Помню, раз в день моего рождения просыпаюсь от взрыва. Вскочила: „Ах! Что? Война?" А это он, можете себе представить? — ровно в четыре часа утра (я в четыре родилась, он знал!) откупорил у меня над головой бутылку шампанского! Он был человек гигантского сердца!»

Вечером, возвращаясь с работы, Тамара с Людой единогласно решили: все

Раиса врет. И про шампанское, и про любовника Валентина. Вот про склоки с невесткой и с сыном — тут все правда, суровая, как на войне, такое не выдумаешь.

«А знаешь, Том,— безо всякого перехода вдруг заявила Людмила,— тебе теперь, и верно, надо бы замуж. Разведешься и присматривай себе».— «Ну уж нет! — сказала Тамара,— Юрику — отчима?! Да какая же я мать после этого?» — «А я — какая? — вскинулась Людмила.— Мой к Наташке, хочешь знать, очень даже хорошо относится, а неродной». Тамара только отмахнулась. Знала, как «замечательно» относится Николай к Людкиной дочке, хоть и женились, когда Наташке месяца не было, и удочерил, дал свою фамилию, а толку? Ладно... В чужие дела соваться хуже нет!

...Что же касается Тамариной личной жизни, то, по правде говоря, привыкла она жить вдвоем с Юриком и ничуть этим не тяготилась. Ну... а чтобы совсем не забыть, что пока еще женщина, и так, для тонуса... Что ж... Когда Юрик уезжал на дачу с детсадом или в Калининскую область к деду-бабке, Тамара оформляла отпуск, брала в профкоме тридцатипроцентную путевку и отправлялась в дом отдыха. И там, если повезет и встретится приличный человек, проводила с ним время. Знакомилась, конечно, с умом, не кидалась, как бешеная, на кого попало. Старалась выбрать семейного, поскольку не на всю оставшуюся жизнь, а на двадцать четыре дня. А с женатым всегда проще — и заразы не притащит, и на других баб не станет заритьсн, куда еще? — дома жена, тут любовница. И пьют женатые все-таки меньше, и вести себя как-никак приучены — сумку там поднести, фрукты выбрать на рынке, да мало ли... Заботиться умеют.

Знакомились обычно на танцах. Там, если понаблюдать за человеком, многое можно узнать за один вечер: не нахал ли, как следит за собой, потому что, например, неряха для Тамары не существует. Но важней всего, что еще танца с ним не станцевав, слова не услышав, можно понять главное. Холостые или женатые, но бабники (которых и за миллион не надо) на танцах так и шныряют туда-сюда, а порядочный человек стоит в сторонке, приглядывается, думает. Ведь в этот вечер для него все определится — проведет он двадцать четыре дня верным супругом или наоборот. Потому что уже завтра будет поздно, всех приличных женщин расхватают. Ну... и одеты семейные не так, как холостяки, скромнее, зато опрятнее.

Вот Тамара приглядит такого, дождется, когда объявят «белый танец», подойдет и пригласит. И почти всегда во время первого танца все и решалось: ясно ведь, понравились люди друг другу или нет. Если да, будет и следующий танец, и еще, а потом — прогулка в парке или вдоль моря, и тут кавалер наверняка робко попытается полезть с поцелуями. Но получит от ворот поворот: «Это за кого же вы меня принимаете? Полчаса знакомы и — уже?!» Будет просить прощения и с завтрашнего дня прилипнет, как смола, а еще через день можно и поцеловаться, а там уж и все остальное... Сезонные эти кавалеры влюблялись обычно в Тамару до сумасшествия. Комплименты говорили, заслушаешься: и красавица, интересней всех в доме отдыха, и умница, и человек. Но Тамара понимала, хоть и произносится это искренне, от души, но самое главное, конечно, не в красоте и уме, а в том, что она ничего не хочет, ни на что не претендует. А еще умеет слушать. Мужики ведь только считается, что молчаливые да суровые, болтать любят не меньше баб. А то и больше. И все о себе. Чаще всего, Тамара заметила, бывают они двух видов: те, что хвастаются, и те, что жалуются. И Тамара слушала, вникала, давала советы, восхищалась, жалела. Только одного не терпела — когда ругают жен. Тут — сразу отпор. И строгий выговор: предательство, не терплю. За это они ее еще больше уважали.

О своей жизни, как правило, не рассказывала. Им неинтересно, а просто так душу выворачивать да унижаться?.. Тем более, скоро наступит день, и прости-прощай... Насовсем. И нечего давать лишнюю информацию. Она и адреса-то своего никогда не давала, предупреждала по-честному: все, что есть между нами, только до конца срока, а там — у тебя своя жизнь, у меня — своя. Разрушать семью — на это не пойду никогда, ни свою, ни твою. Про себя, само собой, всегда говорила, что замужняя. И возлюбленных такая постановка вопроса вполне устраивала, хоть и случалось иногда, что в последний момент заест самолюбие: как так? — женщина навсегда прощается, и не с кем-либо, с *ним*!—а у самой улыбка до ушей и никакой печали. И вот накануне вел себя человек спокойно, вместе покупали на рынке фрукты для дома, для семьи, и вдруг, уже на вокзале: «Дай адрес и все! Не могу так! Напишу! Приеду! У меня это серьезно! Большое чувство!» Тамара в ответ: «Писать ни к чему, а если, и правда, чувство, приезжай на будущий год сюда же, в то же время». Один раз, дура! — и сама поверила, ждала лета, дни считала, отпуск еле вырвала, путевку — с боем. А он не появился... И потом уж Тамара, даже если и договорится о новой встрече, равнодушно ехала в другое место — кому нужны эти игры? Да и забывались они, сезонные-то любови, пройдет месяц, два от силы, и будто не было ничего, приснилось или по телевизору видела. А по-настоящему есть только Юрик. Он один, для которого — всё! Чем дальше, тем больше понимала Тамара, как виновата перед сыном. Ведь не только в том дело, что не сумела, не захотела удержать Мартьянова, он, положим, подлецом оказался, променял сына на чужую бабу. Но именно его, такого, как есть, Тамара сама выбрала Юрику в папаши. И если Юрик унаследует его недостатки, тут ее вина, Тамарина, больше ничья! А недостатков у Мартьянова полно — расхлябанность, неприспособленность, под любое влияние может попасть. И Тамара поклялась себе великой клятвой — жизнь положить, а сына вырастить полной противоположностью.

Когда Юрик уже учился в школе, начала готовить его в военное училище, чтобы стал офицером. Армия — это армия, любые гены перешибет, там ни разгильдяйства, ни лени, ни — чтобы самого себя жалеть. Там — долг. Долг! Вот что главное в жизни. А склонность к мартьяновской расхлябанности уже и сейчас заметна: утром не поднимешь, так и норовит поспать лишнее. Вообще не активный, а ведь приучен — с постели под холодный душ, но сперва — зарядка, да не какая попало, с эспандером, на снарядах; у Тамары поперек двери приколочена перекладина (кто первый раз приходит, если высокий, обязательно стукнется лбом), на перекладине этой она и сама вместе с Юркой подтягивалась. Первое время — смех и грех — оба висели, как тряпки, к шестому классу Юрик мог — до двадцати пяти раз. Но азарта, спортивной злости — нисколько! Отвернешься, он тут же: «Все! Отстрелялся!» «Что значит — все? Сколько раз?» — «...Д-двадцать... три...» А по времени ясно, там и пятнадцати нет. «Двадцать три, говоришь? Молодец. А ну, давай еще восемь!» Покраснеет, засопит, а слушается. Потому что мать для него не просто мать — товарищ, вместе телевизор смотрят про десантников, вместе ходят на стадион, на футбол. А еще Тамара придумала военную игру, такую, что сама готова в нее все вечера играть: берется лист ватмана, наносится рельеф местности, горы там, реки, населенные пункты, лес. И вот, на одной стороне, допустим, реки́ — наши, на другой — противник. У нас — самолеты, артиллерия, пехота, и у них тоже. Все это вырезано из картона в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур и обклеено разноцветной бумагой с условными обозначениями. Надо разработать стратегический план и тактические действия: куда послать разведку, как расположить орудия, когда начать артподготовку, в каком направлении потом пойдет техника, как переправится через реку и ударит царица полей. Ну и так далее. Иногда играли с Юркой друг против друга, иногда — оба и за наших, и за тех. Тамаре игра очень нравилась, Юрику, пока был помладше, тоже. Но в седьмом классе Тамара его, бывало, даже уговаривала: «Ну, сына, давай в войну!» А он не хочет, ему интересней — во двор...

Выглядела Тамара всегда — залюбуешься. На работе прямо поражались, откуда силы берутся? И верно — до двух ночи просидит над костюмом для Раисы (той в голову ударило — на каждый день недели — новый наряд), утром глаз не разлепить, а надо встать, сделать вместе с сыном гимнастику, проследить, чтобы не увильнул от душа («Не пудри мозги, не обливался ты, вон — кончики волос сухие, а ну марш в ванную!»), а потом привести себя в порядок и — на работу, и там, пока Людмила чухается за соседним кульманом, доделывает вчерашний лист, у Тамары уж новый готов — чистенький, без единой ошибки. Вот так. Ей даже физическое удовольствие доставляло взять

новый ватман, наколоть на доску, проверить рейсшиной, что все ровненько, а на столе, рядом — карандашики заточены, готовальня раскрыта, резинка мягкая, любимая — никому не давала пользоваться! — и тут же справочники, ГОСТы. И пошла работа! Что ни линия — блеск. Окружности могла так от руки провести, что лучше любого циркуля. О технической грамотности не говорим, Раиса Тамарины чертежи даже не проверяла, подписывала не глядя.

В обед успевала еще подхалтурить, чертила балбесам-заочникам дипломные проекты. Платили прилично. Лодырь, он что хочешь отдаст, лишь бы самому не делать. И еще в ногах поваляется: «Тамарочка Ивановна, ну, выручите, полный зарез, только вы можете, ну, дорогая!» Выручать Тамара выручала, но уж не смогла не высказать, что думает: «Зачем получаешь специальность, которую не любишь? Вы же все надеетесь, что вкалывать не придется, в руководители стремитесь, руками водить, в начальники на чужом горбу!» Сама думала: а ведь и она спокойно могла закончить институт, хотя бы заочно, села бы на Раисино место, когда та уйдет на пенсию... Но тогда пришлось бы отнимать время у Юрика, а он с каждым годом требовал его все больше. Была бы дочка, может, и проще бы, а с парнем... Легко ли без отцовской руки вырастить настоящего мужчину? А надо. Долг. Чтобы вырос сильным, честным, не вруном, не исподтишником! А для этого должен привыкнуть: скрыть ничего никогда не удастся. Когда Юрик был еще маленьким, знал — есть у Тамары такой особый глаз, которым она все видит, где бы он ни был. Придет с гулянья, мать сразу: «Зачем ел снег?» Скажет так, наугад, и Юрик, если, правда, ел, тут же и признается. Ну, а не ел — обидится: «Не ел я, чего ты?» Тамара: «Как — „чего“?! Да! Сегодня не ел, но... хотел ведь?..» Ну, что ты будешь делать? Верно, хотел... кажется... Но как же она-то узнала?!

А уж сообразить, что опять брал на руки помойную кошку или катался с горки на животе — и вообще проще простого: на рукаве-то кошачья шерсть или снег забился под пуговицы — чистил пальтишко перед тем, как домой идти, а про пуговицы и не догадался.

Когда стал побольше, в колдовской глаз уже не верил, зато прозвал мать Шерлоком Холмсом: «От тебя ничего не скроешь, тебе бы в милиции работать». Ох, и резануло это тогда Тамару! Вот точно таким тоном Мартьянов както сказал: «Надзиратель!»

Но так или иначе, а до поры до времени за сына Тамара была спокойна — особо безобразничать не будет, ее побоится, а это уже кое-что. А Юрик, верно, боялся матери. Потому, конечно, боялся, что уважал. Руки на мальчишку, слава богу, не подняла ни разу. Да строго-то говоря, и не за что было. А это вот, как ни смешно, Тамару иногда беспокоило: все-таки парень растет, должен хотя бы слегка похулиганить, подраться. Нет! Осталось в нем что-то от Мартьянова, вялость какая-то, никак не вытравить! И учителя, бывало, говорят: на уроке, как сонная тетеря, вызовешь — не с первого раза и услышит, все делает, будто нехотя, странный мальчик.

Правда, учился Юрик прилично, в первых классах и вообще был отличником, но опять не потому, что стремился чего-то добиться, а потому что мать часами рядом высиживала и, чуть что, заставляла переписывать с самого начала. Кряхтит, слез полные глаза, а делает. В шестом-седьмом классах такого контроля обеспечить уже не могла, многого, чему их теперь учат, сама не знала, восьмилетку кончала дома, в деревне... да и когда это было? Но все равно тетрадки просматривала, и уж чего-чего, а грязи там не водилось. И все же сполз на четверочки да троечки. Говорят, возраст такой, вон и Людкина Наталья еле тянет, но там — дело другое, там интернат, а родители, хоть и считается, что оба есть, на самом деле отец, как ни говори, не родной, а мамаша... Да и вообще, с детьми что главное? Учет и контроль. А какой в интернате может быть контроль?

При помощи контроля, то есть наблюдая из окна кухни, как ее тринадцатилетний Юрик гоняет с ребятами во дворе, Тамара установила: в возникающих по ходу дела драках ее сын участия не принимает, стоит себе в сторонке и ждет, пока победит дружба. Заметив это впервые, выводов делать не стала, решила: может, единичный случай. Тем более, маленький Юрик давал отпор, если у него, к примеру, пытались отнять игрушку. Но там и драки были другие, вырвал игрушку — и в сторону, а чтобы здоровый лоб, который ежедневно подтягивается на турнике, стоял руки в брюки, пока бьют его товарищей?.. Через неделю повторилось то же самое. На этот раз сцепились уже не кучей, дрались один на один Славка Шестопалов из седьмой квартиры, главный Юркин дружок, и амбал-переросток Ухов. Ухов подмял Славку, колотит — страх смотреть, а наш фон-барон — хоть бы хны. Отошел, будто не его дело, даже смотрит в другую сторону.

Когда Юрик вернулся домой, Тамара все ему высказала. И про трусов, которые умирают тысячу раз, и, в особенности, про предателей, и — что сам погибай, а товарища выручай. Весь скривился, засопел и сказал, что выручать надо, когда человек прав, а они — из-за ерунды, лишь бы кулаками махать, и Шестопал сам, первый, полез, любит драться, ну и схлопотал! Но Тамара, разволновавшись, ничего уже не слышала, крикнула, что если бьют своего, нечего разбираться, кто прав, кто не прав! «Увижу еще раз — все, ты не мужчина и мне не сын! Живо отправлю на Васильевский к папаше Мартьянову!» Про папашу Мартьянова Юрик слышал уже не впервые и, конечно, заревел, как ясельный: «Мамочка, не буду, мамочка, не отправляй!» А тут, шла Тамара как-то с работы через двор, видит: мальчишки опять дерутся, прямо куча мала, кто кого, не поймешь. Наш принц — в сторонке, притворяется, будто разглядывает голубей. Заметил мать, и пулей туда, в драку, в самую гущу. Через полчаса явился — новый свитер в грязи, под носом кровь, на скуле синяк, сам зареванный. Тамара промолчала — не хвалить же, нормальное дело. Но и ругать за свитер тоже не стала. А он весь вечер посматривал, видно, ждал чего-то. Неужто ордена?

Еще одно беспокоило: подвержен влияниям. Закадычный этот Шестопалов из них двоих явно был главным. Юрик, чуть что: «А Славка сказал... А Славка считает...» Тамара: «Ну, а своя-то голова у тебя есть? А если Славка тебе скажет — в люк вонючий залезть и крышкой закрыться?»

Но Славка — ладно, хуже другое. Виктор, сосед, с недавних пор больше не плавал, списали за что-то. Устроился в соседний гастроном грузчиком, опустился, каждый вечер поддатый. Хулиганства в квартире, правда, себе не позволял, Тамара пригрозила — если что, вылетишь из Ленинграда на сто первый километр, я буду не я. Верил и вел себя тихо. Но что опасно, Юрик вдруг стал к нему тянуться. Мать весь день на работе, а у этого алкаша при магазине свободное расписание. Как-то забежала днем — сидят с Юркой на кухне, чаи распивают. На столе батон, сыр, колбаса полукопченая, Юрик наворачивает за милую душу, ему без разницы, куплена эта колбаса на честные деньги или, может, украдена. Тамара увидела, в глазах потемнело. Допрыгалась! Парень без отца — с алкоголиком, с ворюгой связался! Сегодня краденую колбаску кушает, завтра выпивать начнет с этим бандитом! Дала обоим звону. Витьке отдельно: «Ты что, поганец, к ребенку прилип? Компания он тебе?.. Не трогай мальчишку, не то загремишь отсюда к чертовой матери! Сегодня же схожу, куда надо!» Вдруг слышит — сзади Юрик всхлипывает: «Мамочка, зачем ты? Дядя Витя хороший, мы же — ничего такого...» А Витька встал, да так зло, сквозь зубы: «Ну и зараза же ты, Тамарка! Никому от тебя жизни нет, родного сына затравить готова. Эсэсовка!»

С тех пор Тамара ни разу больше не заставала сына с Виктором. Но видела: плохое влияние на мальчика тот все равно оказал, потому что Юрик стал грубить. Не то что словами, за слова Тамара ему показала бы,— тоном. Даже не объяснишь, в чем хамство, а есть. Спросишь: «Как в школе?» Он: «Нормально». Но так ответит, что слышишь: «Ну, чего тебе? Отвяжись». Но вообще-то он теперь больше молчал, прямо как папаша Мартьянов. За вечер: «Дай поесть», «Спасибо», «Я пошел». Все разговоры.

Тамара очень расстраивалась, плакала даже. Бабы на работе утешали каждая по-своему. Людка: «Переходный возраст, не бери в голову, подумаешь — молчит! Лишь бы не хулиганил!»

У нее другие мерки, ее Наталья уже и покуривает, и по-матерному запросто — интернатская, но ведь Тамара-то в Юрика душу вложила!

А Раиса Федоровна свое: «Во-первых, все мужики эгоисты, во-вторых, это еще не горе: маленькие детки — маленькие бедки, вот женится, приведет в

дом стерву, тогда будете плакать! Танька у меня — настоящая змея, ничем не возьмешь! Обругаешь, так она в глаза заглядывает: „Что, Раиса Федоровна? Как, Раиса Федоровна?“ Хитрая, и самолюбия ни грамма! Потому и Вадим такой кот. Вот возьму, сожгу ее диплом, пускай покрутится...»

...Переходный возраст переходным возрастом, и все бы можно стерпеть, тем более, по сравнению с другими своими ровесниками Юрик вел себя еще очень прилично, грустно другое: собственная Тамарина жизнь вдруг стала какой-то тусклой и пустой. Вернее, даже не пустой — загромождена она была делами и хлопотами по-прежнему, а вроде как безрадостной. Выкладываешься на всю катушку, а иногда такая вдруг возьмет тоска — ну, кому это нужно все? Раньше спешила, выкраивала свободные минутки, чтобы побыть с Юркой, в шашки поиграть, или в «эрудит», или, конечно, в военную игру. По воскресеньям вместе — в кино. А теперь ему в кино интересней с Шестопаловым, а играть?.. «Не, неохота...» Ну, хорошо, ну, допустим, это, и правда, как все кругом твердят, переходный возраст. А дальше-то что? Кончит школу, там — училище; для него, конечно, польза, а Тамаре как жить? Близких подруг не завела, родные все в деревне. А он ведь, Юрик-то, потом, когда повзрослеет, поумнеет, все равно к матери не вернется, женится, и будет у него своя жизнь. И хорошо. Радоваться надо! Тамара ведь не Раиса и не мартьяновская мамуля, чтобы сыну семью разбивать... Ну, а сама, сама-то все-таки как?.. Дотянет сына до училища, а там — в срочном порядке замуж? Найти себе приличного старичка, вдовца?.. Смешно.

И все же Тамара Ивановна до конца не верила, ни за что не хотела верить, что время уже оторвало от нее сына и уносит его все дальше, дальше, к новым привязанностям, делам и событиям, а у нее все лучшее уже позади — это в сорок-то один год!

Иногда Тамара думала: как же могло получиться, что, расставшись четырнадцать лет назад с Мартьяновым, никого она не смогла полюбить по-настоящему? Чтобы только о нем и думать, мечтать, с ума сходить, жить от встречи до встречи. Что она, Тамара, каменная, что ли?

Было ясно: приличных мужчин, достойных, чтоб их полюбить, в наше время ничтожные единицы, и лично ей, к несчастью, ни один из таких ни разу не попался. Те, с кем проводила время в отпуске, для жизни, для настоящей любви, не годились. Они ведь, как ни взгляни, все обладали одним дефектом, который иначе не назовешь, как склонность к предательству. А это — все. Изменяли женам? Изменяли! А разводиться, между прочим, не собирались, хоть и врали каждый раз, что — хоть завтра, да жалко детей. Полюби такого, а он тебе через год — козью рожу. Нет уж.

Тамара и не надеялась, что встретит человека, который будет достоин любви. И может, это к лучшему? Любовь — зависимость, а она привыкла во всем зависеть только от одной себя. А еще, как бы ни отдалялся от нее сын, это, в конце концов, его дело. А у Тамары — свое, долг перед ребенком, долг на всю жизнь, до последнего дня.

Седьмой класс Юрик закончил прилично, без троек. В июле Тамара съездила к своим, уже третий год проводила так отпуск, надоели казенные развлечения, да и с Юрой хотелось побыть. Погода весь месяц стояла хорошая, купались. Юрик научился вполне сносно плавать, правда, долго не решался прыгнуть в воду с обрыва, пришлось прыгать самой и пристыдить: «Ты ж мужчина! В десантных ведь войсках с парашютом придется!» А он хладнокровно: «Да не собираюсь я в твое училище».— «Вот как? А куда же ты, интересно, собираешься?» Буркнул что-то, пожал плечами и отошел. Сперва Тамара расстроилась, а потом сама себя и успокоила: маленький еще, сто раз передумает. Вообще-то в деревне было хорошо, с сыном почти восстановились прежние отношения, Шестопалов, дружок, слава богу, далеко, а с местными ребятами Юрик как-то не сдружился.

Уезжала Тамара второго августа, а Юра еще три недели пробыл у стариков. К его возвращению сделала в комнате ремонт, намыла пол, испекла пироги, его любимые, с капустой и с яблоками. А еще купила подарок. Дорогой, на работе не сказала, заклюют. Но решила — надо, чтобы парень понимал: матери для него никаких денег не жалко. Все-таки большой, в восьмой класс пойдет, у многих ребят, которые с отцами, и одежда фирменная, и магнитофоны. У некоторых даже мотоциклы есть. Юрик одет не хуже других, все по моде, Тамарой сшито да связано, но пусть даже красивей покупного, а ребята сразу отличат — импортное или самодельное. Купила японский магнитофон — плэйер, тот, что с наушниками, и можно хоть весь день слушать свой рок, а другим не мешать. Магнитофон и пару кассет привез Виктор. Его весной опять взяли на флот, плавал теперь, как прежде. Денег этот магнитофон по Тамариным заработкам стоил, конечно, жутких, пришлось даже снести кое-что в ломбард. И то Витька сказал: делаю скидку, не для тебя, тебе бы копейки не уступил, Юрку жалко.

Юрик приехал двадцать девятого августа. Загорелый, какой-то совсем взрослый. И красивый. Впервые Тамара подумала тогда: красавец парень! На ремонт внимания, конечно, не обратил, а от магнитофона аж взвизгнул. Сел за стол, умял половину пирогов — и во двор, хвастаться. Тут Тамара ничего не сказала, можно понять.

Начался учебный год, и все, вроде, тихо-спокойно, но Юрик теперь каждый день на улице допоздна, и опять чужой какой-то. Явится наконец, лицо уже наперед злое. Спросишь: «Где был?» — «С ребитами».— «Я спрашиваю: *где*?» Хамит: «Где надо». Или, еще хуже, издевается: «Ты же Шерлок Холмс, давай, определяй по косвенным уликам. Ищи криминал».

Как-то вечером Тамара сидела одна дома, вязала, и вдруг звонок. Открыла — стоит мужчина, худощавый, средних лет, в плаще. «Вы Тамара Ивановна Мартьянова?» — «Я». А он: «Разрешите войти, я инспектор районного УВД капитан милиции Дерюнин Борис Федосеевич». И протягивает Тамаре какое-то удостоверение. А она и прочесть не может, все внутри трясется. Потом опомнилась, засуетилась: «Проходите, пожалуйста, вот сюда, пожалуйста, в комнату, садитесь...» А у самой ноги дрожат, губы онемели, голос даже изменился, тоненький стал, противный. Потому что с первого взгляда, с первого слова почувствовала: что-то с Юркой! Прямо крик из горла рвется: «Что с ним?!», а выговорить страшно. Борис Федосеевич снял плащ, повесил, прошел не торопясь в комнату, сел и огляделся. Потом спрашивает: «Тамара Ивановна, вы знаете, где сейчас ваш сын?» Ну точно — беда! Попал под машину или гопники какие-нибудь искалечили... Борис Федосеевич посмотрел внимательно, говорит: «Не надо так волноваться, сын ваш, Мартьянов Юрий, жив и здоров. Но... Короче, сегодня около девятнадцати часов возле вашего дома совершено ограбление личной автомашины. Преступники взломали дверь, проникли в салон и взяли импортный переносной магнитофон, аптечку, блок сигарет „БТ“ и сувенирную кошку».— «Кошку?! Как это кошку?!» — «Специальную. Помещаются в автомобилях у заднего стекла для украшения. Тоже импортная». И замолчал. А у Тамары Ивановны уже отлегло от сердца, потому что Юрик здесь ни при чем. Конечно, мальчик он сложный, но чтобы украсть?! И зачем ему магнитофон, господи! У него же свой есть! А кошка... И вообще смешно. Ошибка это! А инспектор размеренным тоном поясняет, что нападение видели из окна жильцы третьего этажа, и в одном из подростков, совершивших кражу, узнали ее сына, Мартьянова Юрия.

Теперь Тамара успокоилась: вранье! Во-первых, из окна, да с третьего этажа, да в семь часов вечера много не разглядишь, хоть и светлые сейчас вечера. Ну, как они узнали Юрика? По одежде? Так в куртках, как у него, полрайона ходит. Во-вторых...

Додумать не успела, потому что услышала: открывается входная дверь — Юрик! Вот сейчас все и разъяснится, и этому инспектору будет стыдно — явился к приличной женщине обвинять ее сына в воровстве!

Через минуту Юра вошел в комнату, и надеяться Тамаре Ивановне сразу стало не на что, потому что в руках ее сын держал рыжую игрушечную кошку из искусственного меха.

— Куда? Стой на месте! — низким голосом сказала она, видя, как Юрик шарахнулся назад, к двери.— Говори, где магнитофон из той машины. Ну! Живо!

— У.. У него... Ухова...— пролепетал Юрик.

— Остальное где? — почему-то Тамаре казалось: если сын вот сейчас, именно ей, не инспектору, сам честно скажет, где вещи, все обойдется. И она торопила его:

— Ну же! Быстрее! Быстрей!

— Аптечку — Шестопал...

Тут инспектор взял-таки инициативу в свои руки, пригласил Юру к столу, велел сесть и сам стал расспрашивать обо всем подробно: кто первый предложил вскрыть дверь чужого автомобиля, как это было, когда, кто именно ломал замок, кому пришло в голову взять самую дорогую вещь в салоне — магнитофон. Юра полушепотом на все почти вопросы отвечал «Ухов», инспектор записывал, потом дал прочесть Юре, и тот расписался. Тамара Ивановна тоже.

Когда Борис Федосеевич собрался уходить, убрав бумаги в портфель и прихватив кошку, Тамара вышла за ним в переднюю, прикрыла за собой дверь и растерянно спросила:

— Что же теперь?..

Инспектор только руками развел.

— Будут решать.

— Кто?

— Следователь. Возможно, суд. А как вы думаете? Это ведь уголовное преступление, кража со взломом.

— И... и... могут?..

— Все может быть, мамаша.

— А скажите... тот... ну, хозяин машины... он — из нашего дома?

— Нет, не из вашего. И вообще не советую предпринимать что-либо в этом направлении.

И ушел.

А Тамара Ивановна вернулась в комнату, сняла с платья кушак, узенький, пластмассовый, и отстегала сына. Первый раз в жизни. За все! За неблагодарность! За бессовестность! Что свою жизнь загубил, а значит, и ее! Для чего ей теперь жить? Для чего? Для чего?! Кошки... кошки поганой тебе не хватало?! Паршивец!

Хлестала по чему ни попадя, а он только отворачивался, лицо ладонями закрывал. Вдруг устала — ноги не держат. Пошла в ванную, вытерла слезы, умылась холодной водой, тут же прямо из-под крана попила. Вернулась в комнату. За стенку держалась, шаркала ногами по полу, как старуха. Открыла дверь — Юрик у окна, молчит, только спина вздрагивает.

Тамара села на стул. Нельзя жалеть! Начнешь жалеть — совсем загубишь. Спросила безразличным голосом:

— Ну, что думаешь делать? Ведь посадят. В колонию для малолетних. Лет пять дадут.

Заревел, бросился к матери, за руки хватает:

— Мамочка! Миленькая! Никогда больше! Сделай что-нибудь! Я не хотел, это они! Они! Ухов с Шестопалом!

— Милиционеру все по правде сказал?

— Все-е...

— Молодец.

...Молодец-то молодец... а что же получается? Только припугнули, и готово? Выдал товарищей? А-а, до того ли!..

Две недели Тамара Ивановна жила, как сумасшедшая. Все ждала — придут, заберут Юрку... С завода домой — бегом, по лестнице, если кабины внизу нет — бегом. На работе никому ни слова, но такое состояние разве скроешь? Раиса Федоровна:

— Тамарочка, на вас же буквально нет лица, и юбка — смотрите! — болтается. Надо показаться врачу, со здоровьем шутить — последнее дело. Моя приятельница тоже худела, худела, оказалось — рак.

— Спасибо, не берите в голову, это я простыла, обойдется.

...А Юрка теперь зато целыми вечерами дома. В школу — из школы, сделал уроки и сидит часами перед телевизором. Как-то вдруг сам предложил:

— Мам, сыграем в игру, а? В ту, в военную, а?

Тамаре бы радоваться, так нет, еще сильней болит сердце, ведь ребенок же, совсем еще ребенок... Как представит себе, что уводят Юрку под конвоем, так бы и завыла на весь дом. А ведь и ему вида нельзя показывать. Он, видно, тоже про это думает, однажды спросил:

— Тебя... никуда не вызывали?

— Куда это? — не поняла Тамара.

— Ну... к этому... в милицию.

Господи, губы дрожат у мальчишки! Взяла себя в руки, сказала твердо:

— Вызовут, так не меня, тебя. Я в чужие машины не лазила.

Отвернулся.

Однажды пришла Тамара домой, смотрит, а у Юрки глаз подбит, весь запух, и вокруг чернота. Спокойно спросила, в чем дело. Всхлипнул.

— Ухов с Шестопалом... Говорят: «Стукач, всех заложил. Молчал бы, ни черта бы этот мент не нашел».

— Как это — «не нашел»? Он же своими глазами видел кошку, ту самую!

— Они не про кошку. Говорят, надо было сказать, что кошку во дворе подобрал, валялась. Кошка — ерунда, она дешевая. А про магнитофон и все другое, что у них, надо было молчать, они говорят.

— Но ведь вас же видели!

— Ухов сказал — туфта все это, мусор — лапшу на уши, на понт тебя брал.

— Куда-куда?

— На понт.

— Это еще что за бандитские словечки?! Да чтоб я больше... И нечего тут нюни разводить! Что, сдачи не мог дать? Всю рожу раскваслли!

Юрка опять всхлипнул, вытер ладонью глаза.

— Ухов сказал: бога моли, чтоб мой папаша замял дело. А то, говорит, не жить тебе... Мам, я в школу больше не пойду.

— Я вот тебе не пойду! Струсил! Мало ли что твой Ухов наболтает!

Но самой вдруг стало тревожно. Собралась, будто в магазин, сумку взяла, а сама — в милицию. И повезло ведь, хоть и поздно, а нашла, застала Дерюнина.

Ее он узнал сразу, предложил сесть, выслушал очень внимательно — про все: что Ухов угрожает, парень в школу боится ходить, и как сама не спит ни одной ночи, извелась вконец. Только вот про подбитый глаз не сказала, язык не повернулся.

В конце пожаловалась:

— Ну, сколько же можно терпеть неизвестность эту? Все нервы вымотала, так — и с ума недолго...

Борис Федосеевич посмотрел как-то неофициально, по-человечески, покачал головой.

— Жалко вас. С лица совсем похудели. Постараюсь помочь, зайдите через пару дней. В среду.

Еле вытерпела Тамара эти два дня.

В среду капитан Дерюнин сказал, что следственные органы готовы пойти Тамаре Ивановне навстречу, учитывая, что одна растит сына, а также тот факт, что отдел кадров завода, где она работает, дал о ней исключительно положительные сведения. В голове мелькнуло: теперь на работе, конечно, обо всем узнают — у девок из отдела кадров языки без костей, дойдет и до КБ... Ладно, не до того сейчас.

А инспектор продолжал. Объяснил, что замять такое происшествие, разумеется, невозможно, но уголовного дела возбуждать, видимо, не будут. По просьбе потерпевшего. Были бы взломщики совершеннолетними — дело другое, а тут, как ни говори, пацаны. И вот, учитывая чистосердечное признание Юрика и то, что он из них троих — самый младший и был вовлечен, и опять же — мать заслуживает доверия, предварительно пока так: пусть кончает восьмилетку... ну и, словом, если ничего подобного не повторится, на первый раз можно простить... то есть ограничиться внушением. Пока, значит, так...

Он говорит, а Тамара Ивановна и слова вымолвить не может. Чувствует, как только откроет рот, сразу расплачется. И он это понял, Борис Федосеевич, тактичный человек.

— Идите домой и не нервничайте. Благодарить меня не надо, все мы советские люди, и у нас человек человеку, слава богу, не волк. А поговорить о том, как быть дальше, у нас с вами еще будет время, все обсудим; если нужно, посоветуемся. Воспитание молодежи — это сейчас, знаете, передовой фронт, тут надо всем вместе. Идите. Выспитесь, отдохните. А то молодая интересная женщина и всего за две недели так себя довели. Но это пройдет, я вам обещаю. И улыбнулся дружески.

Тамара шла домой и всю дорогу плакала. Первый раз в жизни — не от обиды и не со злости — от стыда. Вот, сорок лет на свете отжила и привыкла думать — каждый только о своем заботится. А что получилось? Борис Федосеевич, инспектор этот, чужой, посторонний, а ведь все понял, отнесся по-человечески, хочет помочь. Как отблагодарить? Что сделать? С подарками не подъедешь, не такой человек, настоящий человек в полном смысле слова. Он как сказал? «Воспитание — передовой фронт, надо всем вместе». Дал понять: если что, поможем... Уже подходя к дому, вдруг подумала: а как вести себя с сыном? Что ему сказать, а о чем промолчать? Тоже ведь непростой вопрос! И решила, в конце концов, не говорить ничего, пускай подождет, помучается, а то узнает, что так легко отделался, решит — и в следующий раз мать выручит... А ведь инспектор почему-то сказал «пока»... наверное, чтобы и она рук не опускала, знала: чуть что, вспомнят и этот случай.

Легла в тот вечер рано. Лежала, смотрела на окно, за которым долго горели фонари, слушала, как грохочут вдоль улицы тяжеленные дальнобойные грузовики. Потом начался дождь, сперва мелкий, тихий, едва шуршал по карнизу, а потом загремело, полило. Что ж, середина сентября, осень... Юрик, как всегда, спал неслышно, он всегда так спал, даже если болел. Подошла, поправила одеяло. Плечико-то худенькое, острое!..

И опять слезы сами из глаз поползли. Вот, неполных четырнадцать лет, а едва не угодил за решетку. Почему? По глупости, больше нет причин... Нет, есть. Есть! Безотцовщина. Конечно, на этот раз можно возразить, что у главного хулигана и заводилы Ухова как раз имеется родной папаша, и такой, видать, разворотливый, что даже с хозяином той машины как-то сторговался. Но к добру ли? Сегодня — машина, завтра сыночек человека убьет. А надо, чтобы ничего такого даже в мыслях!.. А у Шестопала ведь тоже нет отца, пил сильно, всю семью изводил. В позапрошлом году посадили. За драку. Так что неизвестно еще, что лучше — такие папаши или — как у Юрика. Другое дело, что она, Тамара, ни на секунду не должна забывать, в каком долгу перед сыном. Думать о каждом шаге и все делать не как попало, тяп-ляп, а вот именно, как сказал Борис Федосеевич, будто ты на фронте и от тебя зависит жизнь товарищей. Только так!

Во-первых, надо усилить контроль за свободным временем сына. Во-вторых... а во-вторых, возможно, следует встретиться с Мартьяновым. Все же ум хорошо, два лучше. Самолюбие придется придержать. Просто посоветоваться, мужчина в мальчишеской психологии должен разбираться лучше. Материальной помощи просить она, конечно, не станет, а поговорить нужно. Все в один голос: мальчишки отцов слушаются. Может, и нужно было разрешить Мартьянову видеться с сыном?.. Да, тут допущена ошибка, и видать, серьезная.

Пока после работы добиралась в метро да двумя автобусами, уже устала. Да еще дождь. Как заладил с ночи, так на целые сутки. Мелкий такой, въедливый, холодный. А зонтик — это уж как нарочно! — забыла дома. Волновалась, вот и забыла. Пока стояла с Людмилой у завода на остановке, вся вымокла. Еще пришлось свой автобус пропустить — Людка пристала, как банный лист: «Посоветуй да посоветуй, что делать с Натальей, совсем отбилась от рук, раньше в интернате хоть поскромней была, а в этом ПТУ — уж и вообще. Домой является после часа ночи, красится — ужас, а ведет себя — ну прямо как проститутка. Вчера спрашиваю: „Где болталась?“ А она: „Ну, мамашка, ты прямо, как в анекдоте.“ — „В каком таком анекдоте?“ — „А где папочка тоже пристал к дочке — где была, да где была, а дочка ему — батя, так ведь меня изнасиловали! А он: насиловать — это десять минут, а остальное время где шлялась?“ Нет, Томка, ты представляешь?! Да если б я посмела так — своей матери, она бы мне — всю рожу...»

Хотела Тамара Ивановна ответить подруге, что при таком отношении к дочери, какое у нее всю жизнь было, другого требовать смешно. Да осеклась вовремя. Людкина Наталья пока еще всего-навсего хамит да таскается, а ее собственный сын чуть в тюрьму не загремел. Только и сказала:

— Какой я тебе советчик, Людмила? Сама-то...— договорить, слава богу, не успела, автобус пришел.

К мартьяновскому дому подходила, уже и туфли насквозь, вода хлюпает и с волос течет за шиворот, да еще напал озноб, зубы так и стучат. То ли от холода, а скорее всего, от волнения. Все же не хвалиться идет, мол, полюбуйтесь, бывшие родственнички, какого я без вашей помощи, исключительно сама, вырастила парня...

Завернула со Среднего за угол, дождь как раз опять наддал да еще с ветром, так и хлещет в лицо. Подбежала к дому, и только когда уж совсем рядом была, дошло — пустой ведь дом, на капремонте! Могла бы и раньше заметить, ни одно окно не светится, да разве об этом думала?!

Вот так. Куда теперь? Идти в справочное, узнавать новый адрес? Где тут справочное, один бог знает. Да и скажут адрес, так ведь это, небось, у черта на рогах, в Веселом поселке, еще два часа пилить. А сил уже совсем нет, непонятно, как до своего-то дома добраться!

Ноги кое-как сами вывели к автобусу, где опять простояла двадцать минут. Стояла одна, а пришел автобус, набежало человек пятнадцать. И тут Тамара Ивановна поняла, что нормальные-то люди были — кто в парадной, кто под аркой ворот, она одна под ливнем, ноги — в луже. Доехали до метро, там хоть тепло и сухо!

От Тамары все шарахаются, еще бы! — точно вот сейчас из Невы бабу вытащили. Села в поезд и только через три остановки спохватилась — проехала ведь пересадку! И так все время — не одно, так другое. А мысли в голове, как машины в кинохронике про западный мир,— несутся, обгоняют одна другую, сталкиваются и, слетев с дороги на полной скорости, взрываются белыми вспышками. Ни одну не остановишь, только рев в ушах. И единственное желание — скорей, скорей домой, лечь, укрыться. Тогда и в голове должно стать тихо. Тамара даже уши зажала руками, чтоб не слышать воя и скрежета.

От метро до дома решила — пешком, сил не было стоять на дожде, ждать трамвая, и только отошла от остановки, как он ее и обогнал, весь освещенный, праздничный, наверняка теплый.

Тамара шла по краю тротуара, несущиеся мимо грузовики хлестко обдавали ее грязью. А рев в голове не стихал, мысли все мчались, мчались, как бешеные, сливаясь в серые полосы. А одно слово нет-нет, да и выскакивало, точно реклама, крупным планом. Так бывает, когда смотришь по телевизору хоккей откуда-нибудь из Канады, несешься вместе с хоккеистами прямо на борт, и слово это вдруг вырастает перед тобой: какая-нибудь марка импортных сигарет или просто название фирмы. У Тамары это слово было *«предатель»*. Главное, кто предатель? Почему? Мартьянов, что ли? Уехал куда-то, не предупредил, а у нее ведь сын, его сын... Или это Юрка — предатель? Она для него — все, всю жизнь, а он... А может, она сама? Не сумела сохранить семью, не смогла воспитать сына, довела до того, что связался с гопниками!

Вошла наконец в квартиру — с плаща течет, по полу мокрые следы. Юрка увидел — испугался, забегал, помогал плащ снимать, подал тапки. Тамара подумала: «Надо бы в ванну, в горячую воду». Где там! Еле хватило сил разобрать постель. Легла, а озноб все бьет, не отпускает. Юрик чаю принес, напоил — самой чашку в руках не удержать. Выпила — и сразу в жар. Тут Юрик и говорит:

— Мама, к тебе твой мент приходил. Велел, чтобы завтра после работы явилась к нему.

Сказал и смотрит. Боится.

Тамара отвернулась к стене и заплакала. А потом вдруг сама не заметила, как забылась. И то ли сон это был, а может, бред, но вот ясно-ясно увидела: она удит рыбу. Не на речке, а у себя дома, в комнате. Паркет разобран, и на самой середине, возле стола, дырка. Черная, глубокая. Тамара опускает туда леску с крючком, и там кто-то сразу — дерг! Она тянет удочку вверх и вытаскивает огромную рыбину. Белую, всю какую-то дряблую, как разварную. И без глаз. Так страшно!

Села на кровати, вся мокрая — лоб, шея, спина. И тошнит. И затылок прямо каменный. Кое-как все же уснула и уж проспала до будильника, но сон был плохой, душный и тяжелый. Утром еле встала. На работу решила не ходить, сразу в милицию. Весь день ждать, околеешь!

Но сыну опять ничего не сказала, приготовила завтрак, вскипятила чай. А ноги каменные, спину, руки и плечи — все ломит. Есть не смогла, даже противно было смотреть на еду. А Юрка лебезит, в глаза заглядывает:

— Мам, ну ты как? Может, сбегать в поликлинику, вызвать врача?

— Ничего не надо, позвоню, отпрошусь, у меня отгул есть.

Юрик покрутился, покрутился, хотел, видно, еще что-то спросить, да не посмел. Ушел в школу, весь понурый какой-то... Неужели опять?..

А Тамара Ивановна собралась в милицию. По дороге позвонила Раисе, попросила отгул, та заохала:

— Только уж вы не разболейтесь, работы много!

Стерва... Нет о человеке подумать, она — о себе. Все люди такие! Сидит квашней, могла бы и сама пару листов начертить. Так ведь не умеет же ни фига! Давно пора бабе на пенсию, нет, сидит, занимает место!

Нарочно думала Тамара Ивановна о Раисе, отвлекала себя, чтобы не волноваться,— ведь не просто так вызывает ее капитан Дерюнин. Господи, а ноги-то совсем не идут, волокутся, точно у паралитика!

Инспектор был на месте, встал, подал стул:

— Садитесь, располагайтесь, Тамара Ивановна. Вот теперь вижу: пришли в себя, вид отдохнувший, румянец на щеках. Слов нет, интересная женщина, это безусловно.

— Что стряслось, Борис Федосеевич? Если плохое, сразу скажите.

Заулыбался:

— Вот вы какая! Милиция,— значит, обязательно плохое. Не переживайте, с вашим сыном все хорошо. Даже в школу решили не сообщать, а то ведь у нас везде, сами знаете, перестраховщики. Не захотят брать в девятый класс, будут спихивать в ПТУ, на чужие руки.

— Я его в военное хочу, в артиллерийское,— зачем-то сказала Тамара и прикусила язык.

— И прекрасно! — Дерюнин, вроде, даже обрадовался.— Если будет надо, поможем. А пока что... Значит, так. Пока просьба к вам у нас. Обращаемся как к сознательному и... уже своему человеку.

— Я... Можете на меня рассчитывать,— голос Тамары Ивановны сразу стал твердым.

— Да тут, понимаете, такое деликатное дело... Надо помочь нашему правопорядку, государству, можно сказать. Вот какая история...

...Даже смешно! Как это Тамара Мартьянова откажется помочь своему государству?!..

А дело оказалось вот какое: в районе действовал опасный и дерзкий преступник. Были случаи разбойных нападений, избита женщина, а почерк везде один. Недавно бандит с целью грабежа набросился на старого человека, ветерана, свалил его на землю, зверски топтал ногами, а когда на помощь подоспел работник милиции, оказал ему сопротивление. Но милиционеру удалось задержать бандита, и он узнал его, того, которого так долго разыскивали. По ряду примет. Представляете, какие есть еще скоты? И это на шестьдесят седьмом году Советской власти! Короче, теперь предстоит суд, и вот здесь-то и получается заковыка. Наше гуманное законодательство не позволяет



Рис. И. Дяткиной

осудить преступника только на основании одних лишь показаний милиционера. А других свидетелей не было.

— А как же... ветеран? И те, другие, ну, на кого он еще раньше нападал и грабил? — спросила Тамара Ивановна.— Можно ведь устроить очную ставку. Опознание...

— А вы человек грамотный, Тамара Ивановна,— похвалил Дерюнин.— Только все, к сожалению, не так просто. Ветеран не найден. Пока работник милиции задерживал бандита, ветеран исчез. Вероятно, как-то сумел подняться, ушел домой. В общем, искали, но не объявился. Старый же человек, мог и умереть... В результате побоев. А те, прежние... Тут сложность: на всех преступник нападал в темноте, никто как следует его не запомнил, так, отдельные детали. Но настоящего, крепкого свидетеля нет. И очная ставка не поможет.

— Ужас,— вставила Тамара.

— То-то и оно. А преступник очень хитрый, ведет себя на следствии неискренне, от всего отпирается, а тут и вообще отказался давать показания. Наглый, мерзавец. И еще на сотрудника милиции наговаривает, будто бы тот задержал его на улице просто так, ни за что. И чуть ли не ударил. Как вам нравится?

— Нахальство! Где это видано, чтобы в наше время ни за что хватали?

— Обычное, к сожалению, дело, такой уж это контингент, и ваше, Тамара Ивановна, счастье, что вы с ними не сталкивались. А сейчас наша задача... я считаю, общая задача, верно?

— Верно,— кивнула Тамара.

— Наша задача: изобличить! Избавить общество от бандита, от подонка. Ведь вот такие и втягивают ребятишек в преступления. Не исключено, что Ухов даже знаком с преступником, нет, это я к слову, все бывает. И необходимо добиться, чтобы бандит получил сейчас срок и не смог больше совершать преступлений. И это наш долг.

— А... следователь?

— Следователь там хороший, хотя и молодой. Делает все, что нужно. Нам с вами надо ему помочь. На вашей кандидатуре остановились по моей рекомендации...

— Я все сделаю, Борис Федосеевич.

— Верю.

На Тамару Ивановну опять напал озноб, пришлось стиснуть зубы. Она молча кивнула головой, и тогда Дерюнин объяснил, что делать ей, по сути, ничего особенного и не придется, надо просто сказать, что в тот момент, когда случилось происшествие, она находилась поблизости и все видела. Неправды тут не будет никакой, потому что, в конце концов, не важно, видела она это собственными глазами или просто точно *знает*, что все было именно так. А видели другие, которым она верит.

— Ведь вы же мне верите? — тихо спросил Борис Федосеевич, придвигаясь к Тамаре.

Она опять кивнула. Смешно: как это ей — ей! — не верить человеку, который так честно выполнил все, что обещал сделать для Юры? Который охраняет нас от всей этой мрази, идя даже под бандитские пули! Да разве посмела бы она ему отказать?.. И, с другой стороны, почему бандит должен разгуливать на свободе, убивать и калечить людей, только потому, что у нас такие мягкие законы, что из-за одного свидетеля возможен неправильный приговор? Да этих выродков и вообще — стрелять без суда и следствия, а не то что!.. На месте!

— Я согласна,— сказала Тамара Ивановна хрипло.

Еще полдня она провела в милиции, познакомилась со следователем товарищем Косенко, подписала какой-то протокол. Читать не стала, не могла — голова прямо разламывалась, то в жар кидало, то в холод. Каждый час приходилось незаметно глотать аспирин... Мартьянов — сволочь, ничего не сделал для сына, ни разу, но у Юры есть мать, она понимает, что такое долг перед ребенком!..

Было уже около четырех часов, Тамара еле держалась на ногах, когда следователь подвел ее к закрытой двери. Сказал:

— Войдете, увидите вдоль стены на стульях троих мужчин. Осмотрите всех внимательно. А потом покажите того, что в центре. Подтвердите, что видели именно его. И все.

Тамара Ивановна вошла. Сидят. Все одинаковые, серые... преступные. В ватниках и кепках. По сторонам два милиционера. Господи, только бы не перепутать! Остальные-то двое не виноваты, еще покажешь на кого из них! Косенко сказал, что бандит этот, Дмитриев, в середке.

Она повернулась к следователю и громко произнесла:

— В середине. Этот человек, Дмитриев. Который зверски избивал пенсионера и напал на милицейского работника. Его надо судить нашим судом...

— Довольно, довольно,— прервал следователь,— вот, подпишите здесь. Спасибо.

Лица бандита она так и не запомнила.

Ночью стало совсем плохо; температура, дышать нечем, бред. Наверно, перепугала Юрку до полусмерти, кинулся в автомат, вызвал «скорую». Приехали, хотели сразу в больницу. Отказалась. Сделали укол, сказали — пневмония. Днем пришел врач из поликлиники, подтвердил. И тоже — необходима госпитализация. Тамара Ивановна твердо: «Нет!» Еще чего, оставишь сына дома одного, потом век не расхлебать, по улицам, вон, бандиты шляются...

Пять суток было очень тяжело, как вечер — на градуснике под сорок, врач чуть не каждый день, и сестру присылала с уколами. А Юрик — просто другой человек, не нарадуешься! Ухаживал, в магазин бегал, в аптеку, сам варил куриный бульон. И все: «Мамочка, мамуля»...

Приходили, конечно, и с работы. Людмила. Через день бегала, и каждый раз с полной сумкой. Тамара ругалась:

— Для чего столько натащила, мне же на еду смотреть противно!

— Через силу ешь, не то совсем загнешься, и так глядеть жутко. А что не съешь, Юрка слопает. Вот яблоки тертые, в них железо, кровь укрепляет. А в банке паровые биточки, Том, ты не думай, не из готового фарша, сама вертела... Раиса привет передает, придти не может, давление замучило, еле ноги тянет. Сказала: «До Нового года доработаю, и все. На пенсию. Но Танька — говорит — пускай не надеется насчет бесплатной рабсилы: с ребенком сидеть не стану, ходит в садик и пускай себе ходит. Для себя поживу, запишусь в группу „Здоровье“, куплю абонемент в Дом офицеров на вечера романсов. А Ирка — пускай в садике. А то, говорит, не рожали, теперь спохватились, вот и трясутся, что поздний ребенок»...

Людка трещит, трещит без остановки, а Тамара уже отключилась, слово слышит, два — мимо.

...Потом внезапно сделалось легче, упала температура, появился аппетит, да не какой-нибудь, а прямо как у волка. Тамара встанет, доплетется, держась за стенку, до кухни, нажарит себе картошки на постном масле — любимая еда, поест и опять в постель. Спать могла хоть полдня подряд. А проснется, лежит, думает. И мирно так, медленно. Обо всем. О Людмиле — что-то скрывает, глаза каждый раз красные! Об Юрике — надо бы проверить дневник, а то говорит, что все хорошо, вдруг врет? И про милицию вспоминает, где давала показания на того хулигана. Юрка вчера спросил:

— Мам, а зачем тебя тогда вызывали?

— К тебе отношения не имеет.

Теперь-то уж можно сказать правду, парень осознал, по всему видно — и как дома себя ведет, над уроками все вечера сидит, и вообще изменился, ни хамства, ничего. На улицу идет — спросит разрешения. И возвращается всегда до десяти: «Мам, чай поставить?» Сядет к Тамаре на постель, играют в «эрудит».

С Шестопаловым, говорил, опять дружат. Но без Ухова. Ладно, Шестопал неплохой мальчишка, а дурь в голове в этом возрасте у них у всех... Ох, слава

богу, все обошлось, спасибо Борису Федосеевичу, до конца жизни Тамара его не забудет.

На больничном продержали ровно месяц. За это время на работе произошли изменения. Раису Федоровну разбил паралич. Оказывается, уже давно, вот сразу после того, как Людка тогда рассказывала, мол, Раиса решила — на пенсию. Теперь лежит. В больницу почему-то не взяли, а ведь половина тела отнялась. Людмила от Тамары нарочно все скрывала, не хотела больную расстраивать. А накануне того, как Тамаре выйти на работу, сказала.

— Кто же теперь будет ведущим? — спросила Тамара.

И опять подумала: вот дура, не получила высшего образования!.. Кого еще теперь поставят, может, такого, что придется увольняться или переходить в другую группу.

— Хоть бы мужичка взяли! — заявила Людка.— Все же будет стимул выглядеть! А, Том? Девчонки из кадров говорят — оформляют кого-то. Интересно, молодой?

— Молчала бы! Ты же своего Колюню обожаешь, как не знаю...

— То — свой...

Когда Тамара Ивановна впервые после болезни шла на работу, кончался октябрь. Шла рано утром знакомой дорогой от остановки через садик, по сторонам аллеи фонари горят, листья шуршат под ногами. Пахнет настоящей лесной осенью, сладко и как-то грустно. Но хорошо. Последние годы Тамара больше всех времен любила осень, потому что осень — это покой. Раньше, когда была помоложе, всегда радовалась весне — каждый раз ждешь чего-то, будто праздника, кажется, вот придет лето, отпуск, что-то случится, переменится. Что? Да не важно!.. Но это было давно, еще до Юрика, при нем больше потому радовалась весне, что тяжелое пальто можно снять, мальчишку на солнце выпустить, опять же съездить в дом отдыха. Уже без глупых надежд на какие-то перемены.

А теперь вот полюбила осень. Летом непрерывные заморочки, да еще на работе — сплошной совхоз, а в промежутках — подыхай от жары на рабочем месте, здание-то новое, сплошное стекло, и какой дурак выдумал? Люди мучаются, не знают, как спрятаться от солнца. Вот, слава богу, догадался кто-то завешивать окна фольгой, хоть частично отражает лучи.

Зимой тоже мало радости, зиму Тамара с детства не могла терпеть, росла-то в деревне, и на всю жизнь запомнила, что рукам всегда холодно, а валенки рвутся, и туда залезает снег. И главное, попробуй-ка утром, вьюга — не вьюга, мороз — не мороз, беги за четыре километра в школу. А идти-то полем, от ветра не спрячешься, так и сечет, с ног валит. Некоторых ребят родители, если уж очень холодно или метель, оставляли дома. У Тамары отец — фронтовик, себя никогда не жалеет, и дочке: «Ничего, Томка, добежишь! Вот мы, бывало...» Ну, ладно, это в детстве. А сейчас? По утрам темно, в транспорте давка, все толстые, как кули, пуговицы рвут. И сапогов никогда не достать, а найдешь, так цена — будь здоров. А тут, глядишь, Юрик вырос из очередной куртки, тоже ведь не станет носить что попало, хуже, чем у ребят.

А теперь и вообще будет проблем — вагон с тележкой: зимой вечно грипп, а Тамаре врач сказал — легкие слабые, надо беречься.

Нет, осень лучше всего, тихо, мирно... Так бывает, когда вернешься домой из гостей, где весь вечер орал магнитофон или, того хуже, пели за столом. И все одновременно — ели в три горла, пели, курили — не продохнешь, а тут еще кушак, конечно, врезался, и новые туфли жмут... И вот наконец ты дома, в чистоте, в прохладе, надела шлёпки, халат, форточку — настежь, дыши, сколько влезет. А если еще завтра воскресенье и на работу не идти... Вот осень — вроде этого. Ничего не надо, никуда не надо. Живи и все. А вокруг медленно-медленно падают желтые листья...

Шла Тамара Ивановна к проходной после болезни, и на душе у нее было тихо и уютно. Шла и не подозревала, что это не обычное рядовое утро, каких были тысячи в ее жизни...

Миновав проходную, где знакомая вахтерша, тщательно проверив пропуск,

спросила: «Что давно не видно, болела?», Тамара привычно зашагала двором. Тут, на заводской территории, она сразу делалась другой, даже походка менялась, шаги — шире, и руками свободней размахивала, словом, производственник, свой здесь человек.

Мимо длинных, закопченых цехов, выстроенных, наверное, лет сто назад из красного кирпича, через площадку, где трибуна и Доска почета, вышла к своему КБ, новенькому, современному, будь он неладен, этот архитектор, враг народа! Еще внизу, в гардеробе, удивилась: вешалка-то почти пустая! А уж когда вошла в чертежный зал и двинулась по проходу между кульманами в дальний левый угол, где размещалась их группа механизации, задумалась: а где же весь народ? Времени-то восемь десять, пять минут до начала дня. Но тут же и вспомнила — Людка вчера два раза повторила: «Повезло тебе, Томка, назавтра всех забрила на обощебазу. Кроме, конечно, калек вроде тебя. Придешь, покрутишься до обеда и мотай, а я с базы — к Раисе, там помощь нужна... да и домой идти неохота». Вчера Тамара все эти слова пропустила мимо ушей, начиная с базы и кончая тем, что Людмиле не хочется домой. Сегодня подумала: что еще за новости? Всегда несется, как нахлестанная — как же! Любимый муж придет, а ее вдруг нету...

Добравшись до своего места среди чертежных досок, на которых сиротливо белели листы с незаконченными чертежами, Тамара Ивановна решила для начала навести порядок в собственном хозяйстве. Кульман обтерла тряпкой, разобралась в ящиках стола, проверила, на месте ли инструмент. А то ведь у нас как? Нет человека — и с общим приветом, собирай потом с бору по сосенке — у одного циркуль, у другого резинка, третий все кнопки растаскал. Разобравшись, стала готовиться к завтрашнему дню — на сегодня-то работы все равно нет. Очинила карандаши, наколола чистый лист на доску... Кто у них тут распределяет работу, раз нет непосредственного начальника?.. В общем, Людмила права, до обеда прокантуемся, а там... Устала с непривычки-то, да и дома еще полно дел.

И только Тамара так подумала, неторопливо расчесывая волосы перед зеркалом, висящим на стене как раз за ее доской, как услышала шаги. И сразу — незнакомый голос:

— Есть тут живая душа?

Голос низкий, красивый. Тамара обернулась и увидела громадину — рост, наверное, под два метра, сам широкоплечий, даже массивный. С рыжей бородой. Ну, бугай и бугай. И одет, будто в турпоход собрался,— в мятый джинсовый костюм, сейчас такие вообще не в моде. К тому же штаны сильно ношенные, да и обувь... «Скороход» — как Людка выражается, Юрик бы и то побрезговал надеть. А вот лицо как раз ничего. Веселое лицо, нос торчит, глаза с юмором... Только все же чересчур огромный! Такому бы дедом Морозом быть на елке! По возрасту — не старый, лет сорок, от силы — сорок два.

Все эти наблюдения Тамара Ивановна сделала за долю секунды. И поняла: а это ведь новый начальник!

И она спросила:

— Вы наш новый ведущий?

— Если не возражаете,— ответил он, тяжело опускаясь на Раисин стул.— А вы, судя по всему, одна из тех несчастных, кому придется терпеть мою диктатуру? Примите — и прочее.

Почему-то Тамаре вдруг до того стало легко, ну просто слов нет! Незнакомый человек, начальник, а ведет себя безо всякой официальщины. Представился, сказал, что зовут Антоном Егоровичем. Фамилия Волков. Женат, имеет троих детей... Теперь-то ясно, откуда поношенные штаны и кошмарные туфли. На такую семью — поди наработай. Да еще если жена без рук. А тут, видать, именно так дела и обстоят — ворот у рубашки мятый.

Антон Егорович прижился в группе быстро. Людка и новая чертежница Катерина, конечно, окрестили его Волком: «Волк велел, Волк сказал, Волк Тамарку любит...» Дурь какая, не Тамару он любит, а хорошую работу. Делали бы дело, и их бы полюбил! А то Катька карандаша в руки взять не умеет, хоть и закончила ПТУ, а у Людмилы одно на уме: ее Наталья-то, оказывается, беременная. Вот уж, в самом деле, гаси свет, сливай воду! Главное, от кого —

не говорит и аборт делать отказывается. А девчонке пятнадцать! Жалко Людку, Наташку и того больше, а что тут посоветовать, непонятно. Еще и Колька Людмилин ото всей этой бабьей капители, как нарочно, запил. В общем, горе. И с Раисой тоже плохо, пластом лежит,— Людка рассказывала — языком не ворочает, ходит под себя. А Татьяна, эта злодейка-то, на которую столько грязи было вылито, все безропотно убирает, стирает, и — хоть бы словечко. Пойми таких людей! Людмила прямо сказала: «Да я на ее месте и близко бы не подошла! А она: „Мама, попить хотите? Мама, судно подать?“ Недоделанная какая-то!» Тамара молчала, хотя, в общем-то, была согласна. Господи, сколько горя вокруг! Вот и надо радоваться, ценить, пока у самой все хорошо, и здоровье — тьфу-тьфу, и с Юрой обошлось, спасибо добрым людям из милиции, и... и начальник попался, кажется, хороший. Нет, в самом деле, хороший, а не потому что хвалит Тамарину работу! Мягкий, деликатный. По мнению Тамары, так даже чересчур, все же Катерине халтуру спускать не следовало бы, да и Людка каждый день отпрашивается... Раиса бы удавилась, хоть там дочь беременна, хоть что. Тамаре отпрашиваться, слава богу, не требовалось, да она и не хотела, нравилось работать. И чем дальше, тем больше.

Волков был, абсолютно ясно, специалист высокого класса. В чертеже все видел с одного взгляда, и не ошибки выискивал, ерунду всякую, а мог подсказать принципиальное решение. Какое тебе самой даже в голову бы не пришло. А потом, в отличие от Раисы, не только проверял чужое, но и сам чертил, да побольше, чем Тамара с Людкой вместе взятые (Катерина не в счет). Чертил, сразу видно, с удовольствием, красиво. Тамаре очень нравились его руки, сильные, ловкие, такие, наверное, бывают у хирургов.

Однажды Тамара сказала об этом Антону Егоровичу. А он:

— Вы очень наблюдательны. У меня отец был хирургом, а я, говорят, похож.

Еще сказал как-то:

— Конструкция обязательно должна быть красивой, только тогда она правильная. Так везде. И в математике. Красивая формула почти всегда верная... А красивая женщина всегда права. Ведь вы всегда правы? — и засмеялся.

Если зайдет разговор о постороннем, Тамара просто поражалась,— сколько он всего знает, читал, слышал! И как такой человек, такой специалист с большой буквы, согласился на жалкую, в общем, должность в их КБ? Что-то тут не так, он достоин лучшего, много лучшего, и надо выяснить...

Тогда Тамара Ивановна еще и не подозревала, что влюблена в своего начальника. Потому что любовь — это совсем другое. Например, ты приходишь к выводу, что этот человек намного лучше всех остальных потому-то и потому-то. Как в молодости было с Мартьяновым. Или просто тянет, хочется, чтобы обнял, поцеловал, как бывало в домах отдыха... Впрочем, то — не любовь, так... А сейчас и вообще все было очень странно, ни на что не похоже. Просто с некоторых пор жизнь сделалась... ну, теплой, что ли? Будто держишь ладонями кружку с парным молоком, и несильное, но прочное это тепло медленно растекается от ладоней к пальцам, и дальше, дальше к плечам и по всему телу. И вот уже тело какое-то легкое, теплое. И до того внутри радостно, тихо! Ничего не надо, только бы оно никуда не девалось, это тепло. А оно постоянно тут, если поблизости Антон Егорович. Можно сидеть, работать, а самой нет-нет — да и взглянуть, как движутся над чертежом его руки. А посмотришь в лицо, в груди что-то екнет и оборвется. Как в лифте, когда нажмешь кнопку «вниз». Главное, удивительно: ничего же особенного нет в человеке, да и выискивать не хочется, а вот не оторвать глаз, да и все!

Этого тепла, что появлялось в присутствии Антона Егоровича, хватало Тамаре не только на то время, что он рядом. И вечером, придешь домой, с сыном чем-нибудь займешься, а оно тут, греет. А утром, только откроешь глаза, сразу: «Антон Егорович!»

Спать стала плохо — лежит и прокручивает в памяти весь день: как он поздоровался, улыбнулся, да что сказал про Тамарину работу, да как в обед все вместе пили чай.

Выяснилось, что с прежнего места, где Волков занимал должность заведующего большим отделом, его уволилии со скандалом. «Чуть ли не по статье, представляешь? Месяц потом сидел без работы, а ведь трое детей, как-никак. Потом устроился к нам на завод. С таким понижением!» В чем было дело, точно не известно, вроде бы, руководство на прежнем месте творило какие-то махинации, хапали, одним словом, а он, принципиальный, больше всех надо, ну и пошел в бой. Не один, их там целая группа собралась. Но мафия есть мафия, живо расправились. Выкинули кого куда. А одного, говорили, самого горластого, чуть не в тюрьму. Они, если надо, всё могут». Это Людмила узнала, и что тут правда, а что преувеличено — сказать трудно. Но Тамаре было ясно одно: должность, которую сейчас занимает Волков, намного ниже его способностей и квалификации. То есть абсолютно. Правда, его самого это, похоже, вовсе не тяготило. И Тамара, после того, как узнала всю историю, стала еще больше уважать своего начальника и еще больше старалась, чтобы ему от руководства — одни похвалы. Ничего, оценят! Такой работник в КБ — клад.

...И вот, лежит она ночью, вспоминает, как прошел день, слышит его голос, и засыпать неохота... а с другой стороны — скорей бы утро...

А утром собираться, причесываться, одеваться — все теперь интересно. Тамара все свои тряпки переберет, шарфики перемеряет, кофточки, пока решит, что сегодня надеть. Вязала последнее время не для продажи, себе самой. За три недели — два новых джемпера, голубой и малиновый... Оказывается, всего-то три недели и прошло с того дня, как она впервые увидела Антона Егоровича! Всего три...

По выходным хуже, на субботу еще как-то хватало настроения, а утром в воскресенье все уже не так, все раздражает, и время тащится, как полумертвое. Будто стоишь в очереди, а продавщица каждые пять минут то начнет принимать товар, то вообще уйдет на полчаса, а вернувшись, как положено: «Я — тоже человек!» Смешно — дома столько работы, а Тамара слоняется, не знает, как убить время. Сядет перед телевизором, смотрит все подряд. Юрик спросит: «Мам, чего такая смурная?» Тамара только отмахнется. Ну, и конечно, результат: стал опять пропадать по вечерам во дворе. Вел себя, правда, нормально, если задерживался, предупреждал заранее, а опоздает — извинится. И все-таки Тамара понимала: не дело это, скучает парень дома. А с другой стороны, сколько же он может сидеть возле мамашиной юбки? Тут ведь тоже перегнуть недолго, вырастет, как Мартьянов, ни в чем своего мнения...

На работе Людка нет-нет да и ляпнет: «А наша Тамарочка Ивановна к Волку неровно дышит». Людка опять развеселилась, ходит спокойная — сделали Наталье аборт, обошлось.

А Тамара... Нет, Тамара вовсе не была еще уверена, как называется то, что она чувствует к Антону Егоровичу. Главное, Волков совсем не похож на идеального мужчину, каким она его себе представляла. Тот был вроде артиста Тихонова в роли Штирлица — твердое лицо, умные грустные глаза, грустные даже, если он улыбается... Штирлиц — всегда подтянутый, худощавый; если не в форме, одет со вкусом. А Волкову, громадине, на то, как он одет, похоже, наплевать, вечно в своих джинсах, в свитере. Но с некоторых пор его небрежность Тамаре стала... ну, не то, чтобы нравиться, а — как бы это сказать? — человек выше этого, другие интересы.

Или еще — раньше непременно бы возмутилась: что за мужик? Никогда с собой десятки лишней нет, да еще после работы — с сумкой по магазинам, все-таки не мальчик, ведущий конструктор. Теперь — наоборот, умиляется. Всё так, но при чем же здесь любовь? Просто хорошее человеческое отношение, и на душе оттого тепло, что отношение это бескорыстное, чистое, ничего Тамаре от Волкова не нужно.

Но однажды ей приснился сон. Будто они с Антоном Егоровичем одни в какой-то незнакомой тесной комнате, и вдруг он подходит к ней близко-близко... И так у нее заколотилось сердце, что весь сон моментально слетел, а она нарочно лежала, не открывала глаз, хотела увидеть, что будет дальше. И увидела — в воображении...

На следующий день, во вторник, Антон Егорович объявил, что со среды и до конца недели его не будет.

— Так что если есть у кого-нибудь вопросы, давайте сейчас.

А Тамара и так после давешнего сна сама не своя, а тут и вообще все внутри застыло — это же получается, что с субботой и воскресеньем пять дней! Надо думать про выталкиватель к прессу, чертеж которого обещала завтра кончить, а в голове звон, да еще руки обмякли, карандаша не заточить, грифель ломается.

— Кто же мне выталкиватель подпишет? — хмуро спросила Тамара, не поднимая головы от листа.

— Сама и подпишешь. Первый раз, что ли? — всунулась Людка.

— Не собираюсь,— отрезала Тамара.— У нас ведущий есть, права не имею.

— Сегодня к концу дня никак? — Антон Егорович встал и подошел к Тамариной доске.— Да-а... Тут работенки еще...

— Я... доделаю сегодня. Без обеда. В крайнем случае, задержусь,— хрипло сказала Тамара, чувствуя, что вот он, совсем рядом.

— А я вас подожду и подпишу лист,— сразу откликнулся он.— Хорошо?

В пять пятнадцать зал мгновенно опустел. Раньше Тамара Ивановна, и сама обычно торопясь, не замечала, как быстро это происходит. А сейчас подумала: будто на пляже, когда вдруг хлынет дождь — вмиг похватали вещи и никого. Только ветер пронесся. Тихо.

Сидя спиной к пустому залу, она всем телом ощущала густую горячую тишину, в которой они были одни с Антоном Егоровичем. Вдруг захотелось пить, но она не двинулась, чертила, то и дело облизывая сохнущие губы и стараясь не смотреть в ту сторону, где он.

Неожиданно Тамара заметила, что неверно выбрала посадку. Само по себе ничего страшного, исправить — одна секунда, но ведь таких ошибок она не делала лет уже, наверное, пятнадцать. Тамара вгляделась в чертеж и нашла еще ошибку. А багровая тишина давила на барабанные перепонки, жгла затылок и шею, что-то делала с сердцем. Линии на чертеже бессмысленно тянулись, пересекались, образуя непонятные фигуры. Тамара Ивановна покосилась на Волкова. Сидит неподвижно над пустым столом, смотрит в окно.

Она встала, громко отодвинула стул. Антон Егорович тотчас повернулся, в спокойных глазах его был вопрос.

— Пойду... домой,— сказала Тамара, откашлявшись,— что-то неважно... неважно чувствую. Извините.

— Ну вот! Вы больны, а я вас тут эксплуатирую, как последний...— Волков поднялся тоже.— Конечно, идите. Мир не рухнет, даже если мы сдадим этот выталкиватель через неделю.

— Нет, зачем?—испуганно возразила Тамара.— Я завтра же...

— Ну, смотрите. А я попытаюсь забежать. Часам к пяти, годится? И подпишу.

Он протянул ей руку. Впервые за все время. Ладонь была твердой и теплой.

По лестнице Тамара бежала через ступеньку, будто сзади огонь. Только на улице пришла в себя.

Тонкие прозрачные снежинки неподвижно стояли в морозном воздухе, газон побелел, и от этого вечер казался светлым... Что он сказал? Завтра к пяти? Работы еще много, но и времени полно, можно не спешить, сделать все как следует.

Юрика дома не оказалось, но поел, молодец. На плите горячая кастрюля с супом. Разогревать еду для себя Тамара не стала, съела несколько ложек прямо из кастрюли, видел бы Юрка — воспитательница!

В комнате порядочный хлев. Пыль не вытерта, а на серванте горой нечитанные газеты. А ведь раньше каждый день просматривала и «Ленинградскую правду», и «Комсомолку» — выписала специально для Юры, некоторые заметки вместе читали, вслух. Теперь, видите ли, некогда, не до того — копятся, пока Юрик не сдаст в макулатуру. Надо хотя бы сложить аккуратно, вынести в переднюю.

Тамара вдруг почувствовала в себе такую энергию, что могла бы, не присев, вымыть полы во всей квартире, перестирать белье, по-новому переставить мебель. Двигаясь по комнате, кинула взгляд в зеркало — все в ажуре, смотрите, завидуйте!.. А неплохо бы сейчас пойти куда-нибудь в гости. Только куда? По делу, так надо бы к Раисе, не красоваться, а навестить человека. Людка, и та целых три раза была. Вчера заходила Раисина невестка, принесла больничный лист. Положение, говорит, критическое. Речь не восстанавливается, остальное тоже. И врачи дают понять: может так и остаться.

— Ну... и как же? — спросила Тамара.

Татьяна всхлипнула:

— Вадик сказал, если так будет, сдадим в дом хроников. А я считаю — это зверство. Родную мать... Пусть бы хоть кто-нибудь от коллектива зашел, пристыдили его. Главное, она же такой человек...

— Какой? — не выдержала Людка.

— Крупный работник,— гордо заявила Татьяна.— И в личном плане. Для меня так ближе мамы. Что вы! Я же была — кто? Чурка неотесанная! А Раиса Федоровна всему научила, человеком сделала.

Людмила потом десять раз повторила: она всегда была уверена, что Татьяна ненормальная. Да и Раиса так считала. Все точно.

Разбирая старые газеты, Тамара решила: сегодня поздно, а в ближайший выходной надо обязательно сходить к Раисе Федоровне. Свинство все же, столько лет вместе проработали.

В этот момент из вороха газет выскользнул и упал на пол какой-то конверт с адресом, напечатанным на машинке. Подняла — заклеен, адресовано Мартьяновой Т. И. Внизу вместо обратного адреса, прямоугольная фиолетовая печать, буквы оттиснуты слабо, еле-еле разобрала: «Нарсуд... района...» Господи! Да неужели же опять что-то с Юркой?

Она так рванула конверт, что вместе с ним почти пополам разорвала вложенный туда листок. Повестка. Вызывают на завтра к одиннадцати часам... «Явиться в качестве свидетеля...» И сразу отпустило, потому что какой же она свидетель, если речь — о ее сыне? Теперь можно было вздохнуть, сесть на стул и еще раз внимательно прочитать повестку. Господи, неужели та история с хулиганом?.. Дмитриев, что ли? Ладно, тут — не смертельно, следователь твердо сказал: чистая формальность, пять минут. Придете, подтвердите показания... Только она ведь уж позабыла... Кого-то он там избил, старика, вроде... Ничего, на месте разберемся. Не задержали бы надолго! А все-таки безобразие посылать человеку повестку накануне суда! Другая взяла бы да и не явилась, чтобы проучить. Да... А как же Борис Федосеевич? Никуда тут не денешься, они спасли сына от колонии... где ж его носит, паршивца? Одиннадцатый час!

Юрик пришел в начале двенадцатого, и Тамара на него так накинулась, что парень даже оторопел: «Хамство! Эгоизм! Тебе известно, который час? Говори, известно или нет?» Сказал, что был в кино. С Шестопалом. Думали, одна серия, а оказалось — две. И еще упрекнул — мол, тебя же не было, я ждал, беспокоился даже, а потом поел и пошел. Все верно. Не было. И, между прочим, задержалась, его не предупредила. Так-то вот... А Юрик заметил в руках матери повестку и конверт на полу, покраснел.

— Ой, мам, извини! Я ведь позабыл, это еще позавчера принесли, велели передать тебе лично, в руки. Я расписывался. Извини!

...Как вам нравится? «Извини». Вот легкомыслие! Нет бы испугаться, из суда ведь повестка, вдруг да к нему имеет отношение, к той кошке украденной?! Все уже забыто, сошло с рук, можно больше не волноваться. «Извини»...

— Кто принес?

— Парень какой-то. С усиками.

И все. Побежал умываться. А Тамара, поставив чайник, накинула пальто — и на улицу, в автомат. Объяснять Людке ничего не стала, попросила оформить полдня за свой счет. Сама подумала: на работу наверняка можно успеть к часу. Антон Егорович обещал зайти в конце дня. Значит, если чертить, ни на что не отвлекаясь, не слушать Людкину болтовню и стоны Катери-

ны, что — ужас! — скоро двадцать лет, а до сих пор замуж не взяли, словом, если сидеть, не поднимая головы, к четырем все будет готово.

Людмила обещала все оформить, но, конечно, не утерпела:

— Волка не будет, так и ты сразу отпрашиваешься? Свидание назначили?

Тамара вдруг вспомнила, увидела, как они сидели вдвоем в пустом чертежном зале... Вообще-то она не вспомнила, потому что и не забывала, все время это было с ней. Даже когда испугалась в первую минуту, обнаружив письмо из суда.

— Точно, свидание. В баре! — сказала и повесила трубку.

Вчера зима еще только намечалась, а за ночь город засыпало тяжелым чистым снегом. Утром снег все падал и падал, воздух казался голубым, улица — новогодней. Может быть, потому, что шла Тамара Ивановна по улице в неурочное время, когда все давно на работе, сидят там, как мыши, и не видят эту красоту.

В некоторых домах зачем-то еще горят окна, а для чего в такое утро искусственный свет, если на небе среди розоватых снеговых туч нет-нет да и прорвется оранжевым краем солнце?

В честь начала зимы Тамара Ивановна надела зимнее пальто с голубым песцом, белую вязаную шапочку, пушистый шарф. Ступала по тротуару, как снежная королева, жаль, поглядеть некому, чувствовала — есть на что. Щеки горят, глаза, наверняка, блестят... Но пусто в этот час на улице, одни старухи с кошелками... Нет, вон, пожалуйста, все в порядке — водитель снегоуборочной машины высунулся в окошко своего красного чудища чуть не по пояс. Не любила вообще-то Тамара Ивановна этих машин, некрасивые. Раз некрасивые, значит, что-то не так в конструкции, верно? Но сегодня даже снегоуборочные машины делали улицу новой и праздничной, потому что означали приход зимы.

Тамара удивилась — что зто она радуется? Никогда не любила зиму, это первое, а второе: идет, между прочим, не на свидание, а в Народный суд. Ничего! Через час все будет кончено, и забудет она про этот суд, вернется на завод, а в конце рабочего дня... Вот оно откуда, чувство, будто сегодня праздник!.. А все же интересно, почему именно — он? Тамара Ивановна стала перебирать все положительные качества, которые делали ее начальника Антона Егоровича Волкова достойным любви. Ум, внешность, культура, талант инженера. А еще принципиальность и мужество, из-за которых ему пришлось уйти с прежней работы. И справедливость. И, одновременно, мягкость.

Шла Тамара Ивановна по зимней улице, с удовольствием наступала на сверкающий свежий снег и вспоминала все новые и новые достоинства Волкова. Между тем она уже давно миновала здание суда, благо улица однообразно тянулась, уставленная одинаковыми домами. И вдруг Тамара спохватилась, взглянула на часы: батюшки! Ровно одиннадцать.

В результате в суд она вошла на десять минут позже срока, указанного в повестке. Пока раздевалась, причесывалась да искала зал заседаний, еще набежало время. Обнаружила, наконец, нужную дверь, заглянула внутрь — началось уже, и народу полно. Что делать? Тут откуда-то сбоку появилась молоденькая девчонка с кожаной папкой, каблуки длиннее ног, сама тощая и очень важная.

— Вы,— спрашивает,— свидетель Мартьянова?

Тамара кивнула. Бог знает, почему вдруг оробела перед этой пигалицей. Та забрала Тамарину повестку, открыла свою папку, что-то там отметила, «ждите!» —и пошла.

Тамара Ивановна окликнула:

— Девушка!

Повернулась, смотрит. Вид такой: ну, что еще?

— Девушка,— сказала Тамара Ивановна.— А сколько ждать-то? Я, между прочим, опаздываю на работу.

А она:

— Ждите, вызовут. А для работы выдадим оправдательный документ,— и зацокала дальше... А ноги-то для таких каблучищ кривоваты, могла бы сообразить, матушка, да и юбочку бы не мешало подлинней.

Но ждать Тамаре почти не пришлось. Из зала вышел мужчина и вполне любезно пригласил:

— Свидетель Мартьянова? Тамара Ивановна? Пройдите.

Вообще-то робкой Тамара Ивановна себя никогда не считала, а тут вдруг растерялась, все так официально, даже торжественно. Главное, полно людей, и не поймешь, кто здесь судья, кто прокурор, где подсудимый, и куда от двери идти самой. Но путаться ей не дали, процедура, сразу видно, налаженная. Показали, где встать, подали листок — расписаться, что предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний. Тамара Ивановна аккуратно расписалась, все время за спиной чувствуя зал. Но вот женщина, сидящая за столом на стуле с высокой спинкой, велела соблюдать тишину. И замолчали.

А Тамара уже пришла в себя, стала осматриваться. И поняла: та, что призвала всех к порядку, конечно, судья. Молодая, лет тридцать шесть, тридцать восемь от силы. В строгом костюме, за собой следит: губы накрашены сердечком, брови подведены, глаза тоже. Рыжая. А голос неприятный, жестяной. И вообще лицо нервное. Справа и слева от нее — заседатели. Две женщины, одна пожилая, интеллигентная, чем-то похожа на мартьяновскую мамулю, тоже, небось, училка; вторая помоложе, и — сразу видать — дура дурой. Толстощекая, вроде Людки, глазки пустенькие, любопытные, туда-сюда.

За отдельным столом двое мужчин. Это, значит, прокурор с адвокатом. Прокурор, скорей всего, тот, что слева — чернявый, маленький, очень энергичный. А тот, который адвокат, вообще старик — зачем только в защитники наняли? Сидит колодой, сопит, глаза прикрыты. А еще левей... Вот налево Тамаре Ивановне смотреть не хотелось. Но все же она посмотрела, ей, между прочим, бояться тут нечего! И увидела за деревянной загородкой парня, сидит на скамейке, по обе стороны милиционеры. А он поднял голову, глядит на Тамару. Надо же! Совсем ведь мальчишка! Шея тонкая... а вроде, тогда, на этом... на опознании, был бандит бандитом. Ватник, кепка... А тут в коричневом костюмчике, белая рубашка, воротник выпущен. Как у Юрика.

Тамара Ивановна отвела глаза, нечего тут расслабляться. Пришла выполнить долг, выполняй! Это легче всего быть добренькой за счет того старика, которого бандит покалечил. Надо быть честной, вот главное! И по отношению к людям, которые спасли сына, и к тем, кого еще изуродует этот... Изуродует, а то и вообще лишит жизни, если суд сейчас примет неправильное решение.

Долго раздумывать Тамаре не пришлось. Судья своим неприятным голосом велела рассказать все, что ей известно по данному делу. А у Тамары Ивановны вдруг точно мозги отшибло. Не знает, с чего начать, и вместо того, чтобы сосредоточиться, вспомнить, чему учил тогда следователь, думает, что зря судья так намазала губы — сердечком, надо было по контуру.

Она молчит. И зал за спиной молчит. Тихо.

Поднялся этот черненький, что все вертелся в разные стороны (точно, прокурор!), и так медленно, вдумчиво, будто слабоумной:

— Вспомните, товарищ Мартьянова: десятого сентября в двадцать два часа тридцать минут вы возвращались домой...

Тут адвокат сказал, не открывая глаз, что он заявляет протест — прокурор дает показания за свидетеля.

Судья:

— Протест принят.

А сама, вроде, недовольна — посмотрела на часы (тоже торопится куда-то, а защитник-надоеда задерживает).

Судья опять:

— Свидетель, рассказывайте, что видели.

Тамара Ивановна не успела собраться с духом, как вылезла заседательница, что похожа на училку:

— Как же это вы, свидетель, безответственно себя ведете? Отмалчиваетесь. Ведь от ваших показаний зависит судьба человека! Вот он,— и показывает на парнишку, что сидит на скамье подсудимых,— избил старого человека, проливавшего кровь за всех нас...

А адвокат совсем проснулся, повертел головой, будто шея чешется, и опять:

— Протест! Вина Дмитриева еще не доказана!

Судья ему, как назойливой мухе:

— Протест принят.— И снова смотрит на часы, а сама — Тамаре Ивановне ласковым таким голоском:

— Свидетельница, вы ведь расписались во время предварительного следствия, что несете ответственность за дачу ложных показаний?

Больно Тамара помнит, за что она там расписывалась сто лет назад! К тому же, была с температурой. Но с ними спорить — себе дороже.

Она кивнула.

— А тогда,— судья говорит,— подойдите, пожалуйста, сюда, к столу. И прочтите вслух, что показали на предварительном следствии.

...Парнишка все смотрит, смотрит на Тамару, вытянул шею... Ведь и Юрик мог бы так же... если бы тогда... Сидел бы на этой скамейке под охраной, а после суда — в тюрьму...

Тамара решительно приблизилась к столу, и судья пододвинула к ней какую-то толстую книгу.

— Вот отсюда читайте.

И Тамара внятно прочла, как десятого сентября в двадцать два часа тридцать минут вечера она, возвращаясь домой, услышала крик. Он доносился от подъезда дома восемь. Она побежала на крик и увидела...— тут Тамара запнулась, но судья нервозно поторопила:

— Дальше, дальше!

А у Тамары зажало горло, слова не сказать.

Прокурор задергался, смотрит быстрыми глазами, а голос тихий. Тихий-тихий, но угроза есть:

— Вы понимаете, свидетель, что если на следствии дали заведомо ложные показания, это приведет для вас к весьма серьезным последствиям?..

И замолчал. А Тамара слышит: «...для вашего сына»... которого последнее время совсем забросила, все — Антон Егорович, Антон Егорович; а Юрик вечерами дома один, голодный, вот хотя бы вчера — ушел, ее не дождавшись, и мог опять влипнуть в какую-нибудь историю... А она тут — ради кого?! Ради уголовника! Пускай *его* мать беспокоится, что сын угодил за решетку!

А пожилая заседательница будто угадала Тамарины мысли:

— Товарищ Мартьянова, не надо так переживать, жалости тут не место, добро должно быть с кулаками, вы выполняете свой гражданский долг. Ведь из-за таких, как Дмитриев...

Адвокат тут как тут:

— Протест. Давление на свидетеля.

Тамара глядит на судью — та просто извелась, что заседание затягивается: кусает губы и все смотрит на часы. И ведь самой Тамаре тоже нельзя рассусоливать! В пять часов он придет, а чертеж... И основное то, что жалко или там не жалко, а этот парень преступник! Мало ли что: другие-то видели, инспектор Дерюнин Борис Федосеевич врать не будет! Кому, в конце концов, она должна больше верить — человеку, который ей сына сохранил или... какому-то подонку? Притворяться бедными они все умеют...

— Я увидела, что Дмитриев зверски избивает старого человека,— сказала Тамара Ивановна судье, и та сразу ободряюще закивала, а за спиной, в зале поднялся сдержанный шум.

— А тут,— продолжала Тамара, подглядывая в книгу, где были записаны ее показания,— тут появился работник милиции, он пытался задержать преступника...

— Подсудимого,— поправил адвокат, сокрушенно покачав головой.

— ...Подсудимого. И он...— Тамара теперь читала все подряд, быстрее и быстрее, не поднимая головы от листа. Хоть бы скорее все кончилось! Уйти и никогда никого из них не видеть — ни нетерпеливого лица судьихи, ни... глаз адвоката, смотрит, как старая собака, аж белки желтые!

— ...Он, то есть подсудимый, оказал сопротивление работнику милиции, бросился на него, завязалась борьба. Но потом работник милиции его задержал.

Все. Тамара Ивановна перевела дух. В зале опять было тихо.

— У вас есть вопросы к свидетелю? — судья обратилась к прокурору.

— Нет,— быстро ответил тот.

— А у защиты? — спросила она адвоката.

Адвокат медленно покачал головой.

...Ну, слава богу! Похоже, дело к концу. Тамара перевела дух.

— У подсудимого? — спросила судья.

— Есть,— негромко ответили слева. От неожиданности Тамара повернулась всем корпусом и встретила взгляд парня, вставшего со скамьи за барьером. Уж очень худой, в чем душа держится! Но смотрел спокойно и внимательно, будто даже с жалостью. Тамара отвела глаза.

— Спрашивайте,— разрешила судья, и по голосу Тамара поняла, что та опять нервничает.

— Скажите, пожалуйста... свидетель! Вот, когда я бросился на милиционера, где в это время был пострадавший?

— Кто?

— Ветеран. Которого я зверски искалечил.

В зале снова поднялся гул, и судья пригрозила: не прекратится, все будут удалены.

— Ветеран?..— переспросила Тамара Ивановна, беспомощно глядя на прокурора.— Он... я не... не помню... кажется... он ушел...

— Искалеченный.— Негромко произнес адвокат.

В зале кто-то засмеялся, судья постучала шариковой ручкой о графин, и адвокат заявил, что он тоже не может понять, что делал полумертвый от побоев старик-инвалид, пока подсудимый дрался с милиционером, сильным, заметьте, и тренированным человеком. Неужели пострадавший действительно убежал? И, если убежал, откуда известно, что он был именно ветераном?

Тамара Ивановна подавленно молчала. Они совсем сбили ее с толку. Формальность, называется! Знала бы — ни за что бы не согласилась! Она взглянула на судью и увидела, что та все понимает и сочувствует.

— Мартьянова, вы подтверждаете показания, данные вами на предварительном следствии? — мягко спросила судья.

— Подтверждаю.

— Больше к свидетелю нет вопросов?

— Есть.

Господи, опять он, мальчишка этот! А Тамара его еще жалела! Правильно Дерюнин говорил: хитрый и изворотливый. Как гадюка. Тянет время, теперь к обеду уже не успеть...

— Скажите, пожалуйста,— начал он,— скажите, а почему вы во время опознания сразу назвали меня по фамилии?

Зал опять заворошился. Адвокат открыл глаза и, не мигая, уставился на Тамару Ивановну.

— Вот вы вошли и сказали,— продолжал парень.— «В середине — Дмитриев». Верно?

— Верно,— недоуменно подтвердила Тамара, и по недовольной гримасе прокурора поняла: что-то не так.

— Откуда же вы могли тогда знать мою фамилию? — тихо, с непонятным торжеством спросил Дмитриев.

— Что значит «откуда»? — разозлилась Тамара. Он ей тут будет еще ловушки подстраивать. Сопляк! Знала и все. Следователь сказал: в центре Дмитриев.

Зал загудел. Прокурор вертелся и тряс головой, а подсудимый молча кивнул и сел на место.

Тамара чувствовала: еще минута, и она не выдержит, пошлет их всех подальше с ихними хитростями и уловками. Выставили на посмешище, дурочку нашли! Не могли как следует проинструктировать!

— Ни стыда ни совести,— вдруг, со злобой взглянув на Дмитриева,

сказала вторая заседательница, щекастая.— Сам отказывался отвечать на вопросы суда, а к человеку... к свидетелю пристал.

Тамара взглянула на нее с благодарностью. Потом перевела глаза на судью, а у той на щеках пятна, губа закушена, сама ломает пальцы и все — на часы, на часы... А ему, бандиту этому, наплевать, что из-за него тут люди мучаются! Встал, повернулся к залу и, как докладчик на трибуне, громким голосом:

— На вопросы не отвечал и отвечать не буду. Преступления я не совершал. Это не суд, а балаган с целью сведения счетов. Расправа за то...

— Дмитриев! — одернула его судья.— Сядьте. Вам будет предоставлено последнее слово, тогда и выскажетесь. Свидетель,— она повернулась к Тамаре Ивановне.— Суд благодарит вас. Вы свободны.

Все. Больше Тамара никому ничего не должна, рассчиталась. Можно, наконец, повернуться спиной к судье, к прокурору, к... ко всем остальным. Кончено.

Но она не двигалась, и судья уже с напором повторила:

— Вы свободны, свидетель.

Слышала, не глухая. Не глядя в зал, Тамара бочком-бочком добралась до пустого первого ряда и тяжело опустилась на стул. Ноги гудели, будто восемь часов за кульманом... Свободна... Надо идти. Или придется ждать, пока они объявят перерыв?.. Повестка у них... да гори она синим огнем. Убраться отсюда и все забыть...

А судья между тем вызвала нового свидетеля, опять начнется говорильня, выйти, что ли, потихоньку? Тамара привстала, повернулась к двери, да тут же и села опять.

В дверь входил человек. И в первое мгновение Тамара узнала только свитер, успела еще подумать, что — вот, сколько их в городе, таких свитеров, и чтобы из-за каждого обмирать, как девчонке... Но вдруг дошло: это же Он! Сам на себя не похож, лицо темное, замученное. И плечи опущены. Вытащили человека из дому, может, больного, ни с чем не считаются! И... зачем?!

Пока Волков расписывался за дачу ложных показаний, Тамара медленно приходила в себя. А судья, пошептавшись зачем-то с прокурором, уже начала свои подходы:

— Свидетель! Вы работали вместе с подсудимым в конструкторском бюро «Бриг», были его начальником, так?

— Так,— сразу ответил Антон Егорович. Господи! И голос хриплый. Простуда? Ведь и вчера был какой-то... Наверняка плохо себя чувствовал. В этом все и дело... А может, знал уже, что сюда идти? Мотают людям нервы, а для чего? Для видимости? Ведь самим лучше всех известно, что как было, на то следствие. Ну, какое он-то имеет отношение к этой драке? Даже смешно!

Судья спрашивает:

— Охарактеризуйте Дмитриева как работника и как человека.

— По работе?.. Да, в общем, по работе я с ним мало сталкивался, я ведь был заведующим отделом, а Дмитриев инженер, молодой специалист. Отдел большой, под сто человек...

...Вот так. А теперь назначили тремя бабами командовать! Называется: расстановка кадров.

— И вы, значит, ничего не знали о своих подчиненных, не интересовались? — вдруг влез прокурор. Голос как у змеи-гюрзы. Хоть бы разрешения спросил задать вопрос! Ведет себя, точно он тут хозяин...

— С работой Дмитриев справлялся, претензий у меня к нему не было,— сказал Антон Егорович.

Тамара обрадовалась: молодец, не боится, не виляет. А им бы, ясное дело, лучше, чтобы парень заодно и лодырем был.

— ...А как человек?.. Могу только сказать, что человек он, в общем, твердый, принципиальный...

...Ага! Съели? Вы что́ думали — если один раз подрался, так уж и вообще подонок общества? Конечно, если каждый станет стариков бить... только эти пенсионеры и сами хороши, другой так доведет... А парнишка-то как смотрит на Антона Егоровича! Шею вытянул, гусенок гусенком... Вот так же и Юрка смотрит на Тамару, если что: «Мама, выручи!»

— Волков! — судья наморщила свои выщипанные бровки.— Вы же прекрасно осведомлены: Дмитриев уволен из КБ за систематическое нарушение трудовой дисциплины, а сами разводите демагогию. «Принципиальный»! Вы сознаете, что дача ложных показаний на суде приведет к весьма печальным последствиям. Лично для вас.

...Вот они как. «Систематическое нарушение». Знаем, как у нас — не угодил, и за ворота. Начнут следить: опоздал на десять минут с обеда — выговор, вышел по телефону позвонить — второй... Не дождетесь, не такой это человек, чтобы вам по заказу товарища гробить, тут ведь не про пятнадцать суток речь, тут, может, про все десять лет... Людку бы, не дай бог, стали судить, неужто Тамара или даже Раиса — хоть одно плохое слово?..

Волков стоит, молчит. А эта рыжая — зырк на часики и скривилась. Некогда ей, в парикмахерскую, небось, записана, очередь проходит... ну, бесстыдство, зла не хватает! Вот опять:

— Свидетель, отвечайте на вопрос без демагогии. У нас есть сведения, что ваши контакты с подсудимым выходили далеко за рамки служебных отношений. Особенно, когда возник конфликт с администрацией.

...Ясно. Теперь все ясно — история, из-за которой Антон Егорович вылетел с работы!.. При чем это здесь? Давят на человека, а защитник — хоть бы слово, сидит, как куча... Деньги-то, поди, содрал...

— Во время того... конфликта... мы... ну в общем, мы все были... не на высоте,— хмуро сказал Волков.— Что касается Дмитриева... ну, конечно... он тоже проявлял некоторую... излишнюю агрессивность, резкость...

За Тамариной спиной кто-то охнул, судья тут же застучала по графину. Да что же он? А может, специально? Чтобы уж слишком не озлоблять их против парня? Мол — сговор... Или просто не умеет врать?

— У него вообще... довольно тяжелый характер,— вдруг сказал Волков.

...Да замолчи ты! Ответил и молчи, за язык не дергают! Ведь им же только того и надо!

Тамара почувствовала, что по спине липко ползет пот. А руки окоченели. Волков что-то там еще говорил — прорвало его! Парень, мол, неуступчивый, упрямый. Господи! Как же это? Вот тебе: «сам погибай — товарища выручай!» Парнишка, вон, побледнел весь. Побледнеешь. Верил человеку, уважал, а тот... А вчера-то? Сидела с ним, дура, раскиселилась, ждала невесть чего. Дождалась. Да ему до тебя — как до лампочки! Если уж своего товарища... Выдумала себе героя, дура, тряпка! Сомлела, как кошка... Не вернешь. Ничего теперь не вернешь, не изменишь! И не забудешь.

— ...Проявлял нетерпимость... склонен к конфликтам...

Тьфу! А судьиха, ясное дело, кивает, довольна. Добились своего. Упрячут теперь мальчишку, посадят к бандюгам.

Тамара рванулась к дверям, наступила на чьи-то ноги, оттолкнула мужика, что прилип к косяку — и вон.

На улице с ледяного неба пристально и зло светило маленькое солнце. Стены домов заиндевели. На земле, на газонах, снег не таял, даже на проезжей части, где асфальт. Машины оставляли жирные черные полосы, прохожие — черные отпечатки подошв. Все вокруг было белым и черным.

1988

Владимир
РЕЦЕПТЕР

◆◆◆

В гостях у этой простоты
вчера не задержался ты,
ушел, едва коснувшись ворот;
а через день был удивлен,
почувствовав неслышный звон,
и вот услышал смех с укором.

Как будто спелись смех и плач,
и сине-желтый мятый мяч,
что к сердцу прижимал ребенок,
и стал протягивать тебе,
со свойственною голытьбе
веселой щедростью спросонок.

Давай не думать об окне
без занавесок. О вине,
спалившем тесное жилище.

О ржавой ругани отца,
обносках мамки и жильца,
грешащих в этом смраде нищем.

И постучится в сердце стыд
за то, что ты одет и сыт,
и трезв, и не выносишь грязи;
за то, что вышел второпях —
другая жизнь, другой размах,
другой полет, другие связи.

Но знай, что все с себя отдав,
ты не вернешь наследных прав
забыть случайные мотивы.
И день зальет такая боль
за эту пьянь, за эту голь,
за это семя из крапивы!..

Первое послание друзьям

Борису Биргеру

Когда я устану терять и отстану от вас без надежд,
последние письма друзьям разошлю на прощанье;
и вплоть подойду, и у старческих выцветших вежд
очнутся дремучее время и нищенское завещанье.

Но к этому сроку и вас поразит нищета.
Мы только и сможем друг другу оставить по взгляду.
Холодная жизнь и надвинувшаяся черта
повысят в цене одиночество, боль и прохладу.

Что стоят верлибры когда-то торжественных труб?
Разлады стареющих юношей тем и ужасны,
что здесь, что при жизни один костенеет, как труп,
а те, молодясь, развлекаться с любыми согласны.

Сыграем на пенсию! Ставлю ее против всех
горячечных строк. Кто откажется от поощрений?
Ну разве же премией здесь отмерялся успех,
где вытащил выигрыш самый непризнанный гений?

За каждым из вас я готов быть вторым и седьмым,
десятым, последним, но только бы вместе и с вами!
В безвременье мертвом я был и остался живым
в награду за то, что считал вас своими друзьями.

Не стоит в считалочки эти пустые играть;
Я Гамлетом начал, продолжу Фальстафом, а кончу
проверенным фарсом, которого не избежать:
мой череп, как череп Йорика, глянет сквозь глину и порчу.

Прошу вас, простите, простите, простите меня,
друзья отошедшие, бросившие упреки!
Я все принимаю во имя прекрасного дня,
который устроит разлуки и выверит сроки.

Спасибо за ласку, я не был при вас одинок,
хотя бы вначале, хотя бы в своем заблужденье.
Несите же глину, иль камешек, или песок,
не стоит цветы покупать при таком положенье.

Прощайте, друзья. Соберите жене по рублю
на пиршество духа и нищенское застолье.
Поставьте мне рюмку да корку, и я пригублю
и хлеб поцелую, посыпанный крупною солью.

А. С. Михайлов

Александр Семенович Михайлов,
в этой жизни — главный режиссер,
приезжал ко мне со всех вокзалов,
затевал душевный разговор.

Мы по ночи и по две не спали,
слепо Станиславскому верны,
договаривая на вокзале
о судьбе искусства и страны.

Комиссар провинциальной сцены
уезжал, исполненный надежд,
и на новом месте неизменно
ополчался противу невежд,

противу лжецов и бюрократов,
и, внеся в борьбу посильный вклад,
он менял Демьяновск на Сумбатов
и старел от боли и утрат...

Отплывая ото всех причалов,
где его не понял коллектив,
Александр Семенович Михайлов
умирал, себя не воплотив.

Гроб трясла машина грузовая,
и над Волгою копилась мгла,
чтоб могила матери сырая
тело сына приютить могла...

Он тянул мне руку на прощанье
и прислал по почте свой портрет;
я — его живое завещанье,
и, покуда жив, забвенья нет.

Я найду артиста молодого,
Гамлетом благословлю в полет,
в память человека дорогого,
что меня для вечной встречи ждет.

«Sic transit gloria mundi» — так проходит мирская слава (*лат.*).

◆◆◆

Так птицы кричат на Пицунде,
когда приближается шторм:
«О, Gloria, Gloria mundi!»
и просят куска на прокорм.

И ржавое солнце томится
и в сером находит приют,
ежигая двухцветиую птицу,
которую славой зовут.

«О, Gloria mundi, уверуй,
и силы не трать, а кормись!»

Как сыростью пахнет и серой.
Как тучен отвесный карниз.

Да, если без хлеба и славы
любой пропадал в лагерях,—
что нам этот голос лукавый
и крики о новых кусках?

Но молния, молния снова,
и снова небесный раскат,
и рвется бесправное слово
бесславно сверкнуть наугад.

◆◆◆

Весь год я прожил Пастернаком,
как в юности, всерьез, взахлеб,
его горячим вещим знаком
клеймя свой охлажденный лоб.
Я сдался мощному напору
высокой, как гора, волны,
несущей к горнему простору
и в бездну горя и войны.
Спектакль по «Доктору Живаго»
мне показался тем окном,
в которое и я, бродяга,
мог жаловаться о своем.
Воспряв от коллективной спячки
и подневольной суеты,
я начал дело без раскачки;
я сжег и вновь навел мосты.
Теперь мне было не до жалоб:
где музыка? когда макет?
в срок уложиться не мешало б,
но у актера свой секрет...
Шла перестройка. Жгла обнова.
Тоскливый проходил дурман.
И словно житие святого
мне тайно диктовал роман.
С героем умер я и ожил
в России, снова из оков
рванувшейся. И жизнь итожил.
И был к итогу не готов.

Валентин
ТУБЛИН

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Роман

*Жизнь имеет только тот смысл,
который мы ей придаем.*

Торнтон Уайлдер

— Почему я? Именно я?

Вопрос этот, родившись, повисел в воздухе, ткнулся о шкаф, потерся возле книжных полок и застыл где-то под потолком.

Будильник показывал пять чвсов.

В пять часов всем нормальным людям полагается спать, но если вы задались благой мыслью понять что-либо в чужой жизни, не говоря уже о своей, то лучшего времени, пожалуй, не найти. И, может быть, подспудно и бессознательно понимая это, я и задал себе этот вопрос. Я задал его себе тусклым декабрьским утром, когда непроглядная темнота ночи стала перетекать в серую предрассветную муть, в то время, как приемник «Латвия» (допотопное сооружение, доставшееся мне по наследству от тетушки), успокаивающе помаргивая зеленым глазком индикатора, бормотал:

«Всем, всем... я — гидрограф, я — гидрограф, передаю прогноз погоды по площадям... ориентировочный полет в гребне — 350,05; шторм от шести до тринадцати, видно — 3000, дымка, туман, сроки от шести до десяти, шесть разорванный, слоистый 200, минимальное давление левого и правого берега — 772...»

Голос звучал монотонно, он завораживал и усыплял, и я слушал этот голос, замерев, словно мне было не пятьдесят один, а пятнадцать, и все было еще впереди, и все казалось возможным.

Но, может, в этом и заключался ответ на мой вопрос? В том, что в одно и то же время, в тысяча девятьсот сорок девятом году, нам, мне и Чижову, было по пятнадцать лет, возраст, в котором обнаруживаешь вдруг с обрывающимся сердцем, что у наших подружек под школьными передниками округлились груди и взгляд их стал таинственным и косящим, словно там, вдалеке, они видели то, что тебе никогда не дано увидеть; возраст, когда наши сны наполнились чем-то постыдным, сладостным и желанным; возраст, когда мы твердо верили, что в жизни всегда есть место для подвигов и в ней всегда побеждает правда, а человек — это звучит гордо, и стоит только захотеть, непременно добьется своей мечты и станет прославленным полярником или замечательным врачом, или летчиком, но не просто летчиком, а летчиком-испытателем, таким, как Валерий Чкалов. Да, в тысяча девятьсот сорок девятом году и чуть позже поколение тогдашних пятнадцатилетних верило в это так же непреложно, как и в то, что джаз — это музыка толстых, кибернетика — наука мракобесов, что маршал Блюхер хотел отдать Дальний Восток японцам, и что во главе страны стоит самый гениальный из людей, когда-либо рождавшихся на свет, равно как и в то, что вокруг, подобно невидимым, но вездесущим микробам снуют враги и безродные космополиты и только бдительность незаметной медсестры Лидии Тимощук спасла членов Политбюро от заговора убийц в белых халатах. Да, мы верили во все это и были готовы свернуть шею любому, кто посмел бы усомниться хоть в слове, хоть в звуке; и тот, кто жил в то время и помнит его, не рассмеется сегодня над нами. Ведь мы верили в то, что нам говорили взрослые, которые только что выиграли такую войну, и в то, что писали газеты; мы хотели быть полезными нашей стране, и ее враги были нашими врагами, и эта вера вошла в нас, как часть нас самих, она вошла в состав нашей крови, она помогала нам жить и выжить, она сплотила нас в одно поколение... И кто знает, что получилось бы из нас, если бы наша вера не оказалась бы иллюзорной, разлетевшись однажды на тысячи осколков, как разлетается оконное стекло во время освежающего порыва бури. Но пока мы соображали, что к чему, пока думали, что еще можно спасти, сложить из осколков — наше время ушло, и на смену нам пришло другое поколение, которому мы с нашей разлетевшейся на сотни кусков верой, сомнениями и надеждами были не нужны.

Журнальный вариант.

Но кое-что все-таки осталось.

Что-то невидимое, неопределенное и неопределимое, что, проходя внутри нас, связывает нас воедино... Какая-то общая волна в нас всех, которая всегда открыта для сигнала бедствия. И когда он раздается, этот сигнал, то раньше, чем ты сам успеваешь что-то понять и осознать, твоя рука уже протягивается для помощи. Так нас учили в детстве. Это называлось — «Если позовет товарищ». Смешно? Очень может быть. Но так нас научили, и мы привыкли верить, что это правильно, и эта часть нашей веры уцелела, и в этом смысле в пятьдесят один мы остались такими же, какими были в пятнадцать.

Вот почему, думал я, откуда-то из неведомого места, в названии которого по почтовому штемпелю мне удалось разобрать только, что оно содержало буквы «ент», однажды пришел на мое имя заказной пакет от Чижова, пакет, внутри которого оказалась толстая папка бордового дерматина с красными шелковыми тесемками, которые у меня пока что не хватало духа развязать.

Толстый пакет, который вчера вечером принес почтальон, лежал на столе, дожидаясь, пока его вскроют. Обратного адреса не было. Буквы «...ент», которые четко были видны на штемпеле, могли означать и Чимкент, и Дербент, и Ташкент, а, может быть, и Ходжент, на большее моих географических познаний не хватало. Первоначально, до того, как я притронулся к бандероли, у меня мелькнула мысль, что это очередная диссертация, присланная мне на отзыв. Будь это так, я бы не удивился. Пусть я не бог весть какая величина в мире начертательной геометрии, всего лишь кандидат наук и доцент Строительного института, но, видно, мнение мое представляет какой-то интерес, раз шлют мне на отзыв эти диссертации... а честолюбие мое давно уже не болит, и я доволен судьбой, пусть даже это не совсем то, о чем мечталось когда-то.

Затем я дернул за шелковые тесемки, и пещера Лихтвейса раскрыла мне свои тайны. Для начала это был всего лишь лист, на котором прямым и характерным почерком было написано:

«Старик!

Я покончил со своим сомнительным прошлым. То, что от него осталось, покоится внутри. Делай с ним, что хочешь, и если выбросишь в мусоропровод, то поступишь, пожалуй, правильнее всего.

Будущее невнятно. Назначаю тебя своим душеприказчиком. Я всегда завидовал тебе как человеку, твердо знающему, чего он хочет».

И ниже, таким же резким почерком:

«В. Чижов»

А еще ниже — приписка, постскриптум:

«Помнишь, как однажды мы с тобой поспорили, кто самый великий герой античности? Ты говорил, что Геракл, а я — что Тезей. Мы были оба неправы. Самый великий — это Сизиф. Только он. Потому что каждый из нас — Сизиф; вопрос лишь в том, у кого хватит терпения без конца втаскивать этот проклятый камень, называемый жизнью, в гору, раз за разом.

У меня — не хватило. Я сдался и сматываюсь в никуда.

Целуй Люсю. Тебе повезло, что тогда, на том вечере, куда ее пригласил я, меня не было из-за сломанной ноги. Я всегда говорил — выбираешь жену, выбираешь судьбу.

Ты выбрал правильно. Прощай.

В. Ч.»

Вот так. Почему-то я завязал тесемки. Чижов.

Когда-то мы дружили. Казалось — на всю жизнь. Да, на всю жизнь — ни больше ни меньше. В молодости всегда мыслишь глобальными категориями, все — или ничего, максимализм... Дружили... а потом раскололось что-то. Мы даже женаты были на школьных подругах, сблизились одно время так, что казалось... А потом, когда от Чижова ушла жена...

Впрочем, это было много позже. Темное дело.

Того, о чем говорил Чижов, я не помню. Похоже, он спутал меня с кем-то. Я бы такое не забыл. Геракл и Тезей? Такого не было. Мы учились в школе в то время, когда мифы еще не были окончательно выброшены из школьной программы за полной ненадобностью. Хорошо помню эту книгу — темно-синюю, с каким-то рисунком на обложке, каким — трудно сказать, настолько зачитана была сама книга. Кун, «Легенды и мифы Древней Греции». Нам не нужно было лезть в энциклопедию, чтобы узнать, чем там отличился Тезей и кто такая была Электра...

Нет, такого спора я не помню. Чижов что-то напутал.

Разошлись, разошлись. Вдруг словно трещина образовалась.

Никогда не думал, что придется об этом вспоминать.

За последние двадцать лет я видел Чижова раза три. Или четыре, не больше. Почему так... нет, уже не вспомнить. Я таранил аспирантуру, какая-то жизнь шла, вечно не было денег, уроки какие-то давал — математика, физика, готовил чьих-то детей в институт, дочь росла... и выросла... нет, об этом даже думать не хочу, и Чижов метался, где-то там в партиях, где-то на севере, потом на Дальнем Востоке вроде, потом вдруг поступил в университет на факультет журналистики, бросил, пробовал вроде пробиться в литературу, потом публиковал шахматные задачи... Один раз я встретил его на набережной Фонтанки, я бежал, поворачивая с Московского, бежал трусцой, сбрасывал вес, а он делал правый поворот с моста, пропустил меня, а потом засигналил, остановил свой побитый «Запорожец» непристойно канареечного цвета, какой-то разговор потек, забурлил своими обычными и пустыми «Где, что, как, ты звони, как Люся»... клочковатая борода его выглядела неухоженно, говорил бравурно, но глаза были невеселыми... еще раз встретились на чьих-то похоронах, из наших кто-то, он только поднял руку... потом в Доме кино на просмотре, он был с какой-то молоденькой девушкой, оставил ее, подошел к нам с Люсей, и не хотелось ему, похоже, возвращаться к этой красивой девушке... потом, когда просмотр закончился, он усаживал ее в кобальтовые «Жигули», и я еще удивился — откуда у него «Жигули»...

Люся в его сторону не глядела, но мне показалось, что она знала что-то... больше, чем хотела показать. И если бы она не сердилась всегда, когда будишь ее, я бы хотел расспросить ее сейчас...

Но она спала.

«Всем, всем,— говорил приемник,— я — гидрограф...»

Я так и не понял, откуда послал этот пакет Чижов. И еще — откуда у него оказался наш новый адрес...

Шелковые красные тесемки завязывались и развязывались легко. Я снова прочитал страницу, обращенную ко мне. Душеприказчик! Это звучало так, словно я был назначен распоряжаться на чьих-то похоронах! А что дальше?

Дальше я обнаружил еще лист. Он был совершенно пуст, только в правом углу было напечатано на пишущей машинке, у которой западала буква «н», следующее:

«Здесь будет предпринята попытка рассказать историю человека, однажды задумавшегося над собственной жизнью.

Не исключено, что он сделал это слишком поздно».

И ниже от руки: «Время и место не имеют значения».

Какое это все имело отношение ко мне? Или все-таки имело?

Ответ я получил скорее, чем ожидал. Для этого мне пришлось только отложить почти пустой листок бумаги в сторону. Под ним лежала фотография. Я узнал бы ее из тысячи. Потому что в моем собственном доме на дне одного из бесчисленных ящиков лежала аккуратно проложенная для лучшей сохранности двумя картонками точно такая же. Только все эти годы я думал, я просто был уверен, что второй такой не существует. Этот снимок был сделан в незапамятные времена Витькой Лактионовым, спецкором ТАСС, который жил на нашей лестнице этажом ниже в такой же немыслимой и необозримой квартире — вот этот-то Витька и подарил мне фотографию, которая в свое время долго висела для всеобщего обозрения за витринным стеклом спортивного магазина «Динамо» на Невском; теперь уже нет этого магазина... впрочем, многого уже нет, в том числе и самого Витьки, который сгорел от рака легких два года назад, прокурив их до того, что врачам на Песочной уже нечего было и резать.

Как удалось Чижову получить эту фотографию, я так никогда и не узнал. Но в ту минуту я меньше всего думал, откуда и как — просто смотрел.

Снимок был хотя и пожелтевший, но четкий, Витька Лактионов был мастером своего дела. На снимке видна была лодка, четверка «скиф» без рулевого, если говорить языком протоколов. В каком же это было году? Не позднее тысяча девятьсот пятьдесят второго, да, не позднее. Даже пятьдесят первый. Лодка финиширует. По всему видно, что идет, заканчивается какое-то соревнование. Скорее всего, это чемпионат города, но, может быть, и регата. Снимок сделан со стороны реки, должно быть, с катера, иначе и неоткуда.

Хорошо видны все четверо, на первом номере — Гаврилов, на втором — Чижов, потом Филимонов и Сомов. Сомов — загребной, а потому и всю лодку звали «сомами». Это было признание, как бы знак качества. Пожалуй, им остается сделать не больше двух гребков — ибо виден судья, уже поднявший флаг у финишного створа. Да, это совершенно ясно, не больше двух. А может, и всего один, последний. На боне стоит Василий Васильевич, дядя Вася, боцман, добрейшая душа и большой любитель пива. Он смотрит на финишный створ, руки за спину и лицо его, большое и круглое, с перебитым носом, что делает его каким-то образом похожим на Жана Габена, сосредоточенно и спокойно: сколько таких финишей видел он в своей жизни и сколько увидит еще. Но главное не это. Если присмотреться, у самого бона, но на шаг выше, на сходнях, видна некая долговязая фигура с веслом в руках. Вглядитесь в нее.

Это я.

Какого черта, уместно спросить, я там делаю? Отвечаю: моя собственная лодка, четверка клинкерная с рулевым, финишировала у этого самого бона пятью минутами раньше, без всяких, теперь это можно признать честно, достижений, достойных упоминания. Может быть, именно поэтому вместо того, чтобы поскорее отнести в эллинг уже ненужное весло, я остался на боне, разинув рот, и с завистью смотрю, как четверка безрульная, в которой мне к этому времени лишь однажды, на замене, удалось посидеть, выигрывает и заезд и чемпионат.

Это видно и видно хорошо. А что не видно?

Многое. Груда бревен, например, возвышавшаяся бесформенной горой на левом берегу, на котором укреплен был тоже не попавший в объектив длинный шест — второй створ финиша. Не видна ни на левом, ни на правом берегу могучая фигура Серафимы Сигизмундовны Войтович, тренера этой четверки; щадя свои нервы, она предпочитает не смотреть на мучения своих подопечных. И не видны и никоим образом не различимы в громоздящейся толще времен судьбы этой четверки, или пятерки, если включать сюда и меня самого в качестве будущего душеприказчика. Проще всего со мной. Хотя жизнь и нанесет мне глубокую и долго не заживающую рану, забраковав меня по какому-то дефекту вестибулярного аппарата, лишив тем самым родину будущего летчика-испытателя, но в дальнейшем все будет гладко — более или менее, и скорее даже менее; но я говорил и повторяю, что юношеское и неумеренное мое честолюбие давно уже выдохлось и выветрилось, превратившись из вина в уксус, и мое положение в четко ограниченной сфере моего повседневного существования меня вполне устраивает — настолько, что Люся, моя жена, иногда склонна в минуты душевной возбужденности называть меня филистером и образцовым советским буржуа, которому глубоко чужды какие-либо возвышенные порывы, опираясь при этом для сравнения на те ее воспоминания тридцатилетней давности, когда мы с Чижовым бегали ранним утром занимать очередь в военкомат, чтобы записаться добровольцами для защиты Суэцкого канала...

Оставляю все обвинения на ее совести.

По закону, открытому, как мы узнали в школе, Ломоносовым и гласящему, что в природе ничего не исчезает, равным образом как ничего и не появляется, недостаток выдающихся летчиков, образовавшийся из-за неправильного строения у меня среднего уха, был компенсирован тем, что Вовка Гаврилов, поступавший после школы на геологоразведочный факультет Горного института, недобрав одного балла, вынужден был поступать в летное училище. Двадцать семь лет спустя, в декабре тысяча девятьсот семьдесят восьмого года — я это выяснил несколько часов спустя, когда в изнеможении и большом недоумении перевернул последнюю страницу в папке с красными шелковыми шнурками,— он, будучи очередным космонавтом, описывал над родной планетой круг за кругом, и вовсе не исключено, что в какой-то из моментов он пролетал и над нашим городом, хотя в гораздо меньшей и, прямо скажем, почти в ничтожной степени могло это случиться в тот момент, когда Сомов погиб в автомобильной катастрофе — если только причиной его гибели, а я все больше склоняюсь к этому, не был сердечный спазм. Чуть позже — но это я узнал, признаюсь, не из содержимого вышеупомянутой папки, а совсем другим путем,— Филимонов, сын известного в свое время в нашем городе терапевта профессора Филимонова и внук известнейшего в России хирурга профессора Филимонова, выросший в наше время в довольно заметную административную фигуру, осуществлявшую исполнительную власть над крупнейшим районом города, оказался замешанным в весьма неблагочестивую и достаточно темную историю с распределением жилой площади и получил, увы, восемь лет заключения в лагере строгого режима с конфискацией имущества, хотя сумма, инкриминированная самому Филимонову в качестве мзды и составлявшая одну тысячу рублей, составляла мизерную часть стоимости того поистине бесценного антиквариата, который ему достался по наследству от отца, коллекционировавшего красное дерево и бронзу еще в те студенческие наши времена, когда смысл подобного коллекционирования был нам неведом и в высшей степени смешон. Но в эту минуту Филимонову, если я ни в чем не ошибся, осталось сидеть еще полсрока, в то время как я сам буду сидеть в своем кресле, массируя мочки ушей, чтобы унять возникшую после многочасового чтения головную боль, и пытаться понять, ломая себе голову над вопросом: а что я теперь должен делать, зная содержимое папки, содержащей самые разнообразные, а иногда и, прямо скажем, не сообразные ни с чем материалы, такие, как вырезанное из газеты, точнее, из приложения к газете «Ригас баалс», объявление, помещенное в разделе «Знакомства»:

«Стройная привлекательная женщина (38,164), любящая домашний уют, познакомится с высоким, худощавым, тактичным мужчиной, желательно с техническим образованием, желающим иметь детей и дружелюбную, ненавязчивую жену. Я кандидат наук, увлекаюсь путешествиями, планетологией, эстрадой».

Писать: 101000, Москва, Главпочтамт, до востребования, Ю. В. Б.»

Что прикажете делать с этим объявлением, вырезанным из рижской газеты годичной давности и аккуратно наклеенным на чистый лист бумаги, если ни в одной из последующих трехсот страниц нигде больше не упоминается ни стройная привлекательная москвичка, ни вообще желание Чижова хоть как-то устроить свою одинокую, пусть даже одинокую поневоле жизнь? Куда, скажите мне, деть еще одно вырезанное из газеты, на этот раз уже из «Вечернего Ленинграда», объявление об обмене жилплощади; что делать с многочисленными вставками, врезками, зачеркнутыми и вновь введенными в текст страницами, с появляющимися ни с того ни с сего пространными рассуждениями по поводу тех или иных, большей частью произвольно возникающих предметов или событий; что делать с цитатами таких, например, авторов, как мало кому известный Рамон Гомес де ла Серна или более знаменитый, но столь же мало известный Хорхе Луис Борхес, глухой восьмидесятилетний старик, едкий, как серная кислота? Оставить все как есть? Заняться редактурой, законы которой мне, преподавателю высшей технической школы, недостаточно известны? А как прикажете поступить с разрывами в тексте? С перескоками во времени? С теми рассуждениями, которые кажутся мне психологически недостоверными, а то и просто надуманными и неверными? И хочу я этого или нет, после всех этих важных и менее важных вопросов, так или иначе касающихся частностей, встает основной вопрос: *«А что вообще делать? И делать ли?»*

Выручить, на мой взгляд, в этой ситуации может только прецедент, за которым, слава богу, не надо ходить далеко. Так, широко известно, что «Театральный роман», опубликованный Михаилом Булгаковым, был получен им в рукописи от некоего Сергея Леонтьевича Максудова, который по причинам, так и оставшимся неизвестными, покончил с собой. Менее известно, что замечательный роман Карела Чапека «Обыкновенная жизнь» представляет собою не что иное, как записки скромного государственного служащего. И уже в совсем недавнее время довелось прочитать мне книгу проживающего в нашем городе автора с явно кавказской и длинной, но не запомнившейся мне фамилией (хотя не исключено, что эта фамилия всего лишь псевдоним, ибо с чего бы коренному кавказцу заниматься литературой в таком отдалении от родных мест), в которой он — пусть и в переосмысленном виде и считая это своей потому духовной собственностью — признается, что основой этой его, немалой по объему книги явились присланные ему в читательской почте записки человека с тяжелой и подвергшейся немалым испытаниям судьбой.

Характерен подход авторов к доставшимся им материалам в каждом отдельном случае. Их поправки в тексте варьировались от полного невмешательства в него, как это имело место в «Обыкновенной жизни», до, как я понял, значительной редакторской и даже творческой работы в случае с современным автором, проживающим в нашем городе. Очевидно, этим и означены приемлемые границы участия, которых и мне надлежит придерживаться. К сожалению, мне никогда не узнать отношения Чижова к такой постановке вопроса, а посему вопрос о том, насколько правильно выбрал он себе исполнителя своей воли — ибо именно таковым и является душеприказчик,— остается навсегда открытым. Но совесть моя спокойна. Как говорили древние: «Я сделал все, что мог. Кто может, пусть сделает лучше».

Написав эти слова, я не без душевного смущения оставляю читателя — если таковому суждено когда-либо возникнуть — наедине с содержимым дерматиновой папки с красными шелковыми шнурками...

«Думать легко. Писать трудно».

Несмотря на удивительную и прямо-таки удручающую скудность нашего времени по части мыслителей и, наоборот, не менее удивительное обилие пишущих, к числу которых я, отдавая дань правде, отношу самого себя, это утверждение совершенно не известного ни в широком, ни в узком читательском кругу Рамона Гомеса де ла Серны, которым он открывает свои «грегории», не может быть не признано удивительно емким и, что еще более важно, исключительно точным.

Происходит это так: допустим, что летом, жарким июльским летом ты сидишь у раскрытого окна и с интересом рассматриваешь с высоты своего шестого этажа пятнистого, рыжего с белым кота, неторопливо и наискосок пересекающего дальний проулок, образованный несколькими проржавевшими и переполненными мусорными баками и огромной, поставленной стоймя катушкой импортного, скорее всего финского провода, бог весть как очутившейся здесь в незапамятные времена к радости окрестных мальчишек, уже много лет использующих разноцветные проволочки для плетения пестрых цепочек... но, может быть, ты не сидишь дома, а, наоборот, бредешь с задумчивым видом вдоль какого-нибудь канала, философски наблюдая, как по мутной его поверхности плывет бог весть откуда взявшаяся картонка из-под дамской шляпки, уже погрузившаяся более чем наполовину, и думаешь о том, на сколько хватит еще ей нежелания окончательно погрузиться в неподвижную маслянистую жидкость, оставляющую несмываемые пятна на гранитных облицовочных блоках, жидкость, бывшую некогда прозрачной голубой водой, по которой скользили легкие лодки, для привязывания которых еще сохранились то здесь, то там тяжелые чугунные кольца, стосковавшиеся по прикосновению, ибо только безумцу может прийти сегодня в голову мысль прокатиться по дурно пахнущей поверхности мутных вод... и ты идешь, идешь дальше, оставляя за спиной скрытые вечной реставрационной опалубкой разноцветные шатры божьего храма на месте, где пролилась некогда кровь одного из российских самодержцев, идешь, прикасаясь к чугунным цветам, прорастающим сквозь решетки Михайловского сада, скорее зная, угадывая, чем просматривая через них грузную тушу еще одного сооружения, где без малого два века тому был задушен император Павел, может быть, самый загадочный из всех, кто правил этой страной (и это наводит тебя на мысль о том, что здешние места просто убийственны для властителей России); идешь и идешь, минуя горбатые мостики, грациозно выгнувшие спины, и доходишь до Невского, как всегда бурлящего народом, и, бросив взгляд на Адмиралтейство, проходишь дальше, мимо задумавшегося о бренности земной славы полководца, с которым голуби — эти неопрятные птицы мира — обошлись весьма непочтительно, тащишься нога за ногу дальше, томимый смутным предчувствием откровения, которое, подобно молнии Зевса, может настигнуть и поразить тебя в любую секунду — может быть, именно здесь и сейчас, когда ты несколько секунд стоишь, так сказать под сенью огромных колонн, высеченных из цельного камня в пору, когда не велась еще борьба за экономию материалов; но, может быть, откровение ожидает тебя чуть дальше — там, где привалившись к золотокрылым грифонам, целуется парочка, приникшая друг к другу с завидным и естественным бесстыдством своих восемнадцати лет. И пока ты идешь, как в тумане, как во сне, словно плывешь по реке, названия которой ты не знаешь, что-то растет в тебе самом, растет и тревожит тебя, и не дает покоя, просится наружу в этот мир из небытия, наполняя твой ум какими-то смутными еще образами, обрывающимися на полуслове фразами, расплывающимися лицами, которых ты не узнаешь, лицами, которые исчезают, едва успев появиться, уступая место таким же неизвестным тебе другим лицам и другим голосам, и ты, отстраняя одно, принимая другое, додумывая или, точнее, придумывая третье, пытаешься выразить все это словами... дать этому название, неосознанно беря пример с того, кто в немыслимо давние дни вот так же создавал мир Ветхого завета, давая имена всему сущему...

И только потом, пройдя всеми этими путями, ты возвращаешься к себе на шестой этаж, чтобы свершить следующий акт творения, ибо ты понял, что надлежит тебе сделать. Ты должен — и это и есть твое откровение сегодняшнего дня — ты должен, ибо никто, кроме тебя, сделать этого не в силах,— ты должен, наконец, стряхнуть с себя пыль и тлен, отмыться в проточной воде правды и написать наконец тот единственный в жизни рассказ о своей жизни, рассказ честный и прямой, правдивый и полный, о себе и о своем поколении, прекрасном, но, увы, несвоевременном, приход и уход которого никто не заметил; того поколения, что родилось за десятилетие до последней войны, в те времена, когда на перекрестках этого города стояли милиционеры в белой форме и ремнях, когда верилось, что до мировой революции остались считанные шаги, когда энтузиазм первых пятилеток взмывал над изумленным миром, демонстрируя исполинские силы, скрытые в недрах освобожденных народов, когда возводились подземные дворцы метрополитена, носившие имя теперь неизвестного временщика, считавшегося верховным шефом всего, имевшего отношение к транспорту, подобно тому, как Меркурий, древнее божество, был одновременно покровителем путешественников, торговцев и воров; во времена, когда наши отцы и матери были молоды и мы, сидя у них на плечах, радостно размахивали красными флажками на первомайских демонстрациях, а возвратясь в свои детские садики, взбирались на табуреты, чтобы, гордо поглядывая на всех с этакой высоты, декламировать:

> Сталин часто курит трубку,
> А кисета, может, нет.
> Я сошью ему на память
> Замечательный кисет...

Не больше и не меньше — именно историю прошедшего по земле незамеченным поколения ты должен рассказать — еще одну историю среди миллионов и миллионов других историй, как рассказанных, так и нерассказанных, затерявшихся, замолчанных, пропавших без вести... историю хотя бы нескольких человек, способных достойно представить все поколение. Сколько должно их быть? Десять? Пять? Два? Этого ты не знаешь и знать не можешь. И тебе приходит вдруг на ум, что задача эта, задача нахождения этих нескольких человек до удивления тождественна и нисколько не уступает по сложности аналогичной задаче, которая была когда-то поставлена вседержителем перед своими присными и сводилась к отысканию в некоем Содоме десяти праведников — задача, с которой, как известно, совершенно не справились посланцы небесных

сфер. И у тебя опускаются руки. Ибо, вспоминается тебе далее, и гений российской литературы, попиравший босыми ногами грешную землю, а головой упиравшийся в небо и боровшийся всю жизнь с самим собою, как Иаков с богом, он, для которого не было ничего невозможного, попробовал однажды описать во всех подробностях, без пропусков и, следовательно, адекватно самой жизни один свой день... и согнулся под бременем этой задачи, заметив, что для выполнения ее не хватило бы в мире ни чернил, ни бумаги...

И ты отступаешь окончательно. Но...

Но однажды...

Но однажды, по прошествии некоторого времени, раньше или позже, ты вновь испытываешь искушение, словно католический монах, чья так и не умерщвленная до конца плоть волнуется и восстает против поругания человеческого естества, искушаемая жаркой и бесстыдной исповедью молодой грешницы; и вот уже ты, независимо от своей воли, слабнущей у тебя на глазах, вновь оказываешься в руках беса, пусть это всего лишь бес сочинительства, и вновь берешься за свое, зная твердо, что не миновать тебе ада, раскаленной сковороды и вечных мук.

Ты знаешь, что тебя ждет, но это тебя не останавливает, и ты снова берешься за перо.

Так это все и происходит...

Время и место не имеют значения.

Допустим: лето, тысяча девятьсот восемьдесят какого-то года. Допустим: борт лесовоза «Ладога-14». Разве это объясняет что-нибудь даже мне самому!

А можно сказать так: Сомов погиб восемь лет назад.

В то время численность человечества (см. вырезку — сообщение агентства Ассошиэйтед Пресс) равнялась четырем с половиной миллиардам человек. Вместе с Сомовым, разумеется.

Я сижу в каюте. Я сижу в каюте лесовоза «Ладога-14», совершающего рейс с грузом древесины из Финляндии в Иран. Размер каюты — два на два, койка слева, умывальник справа, стол, отделанный красным пластиком. Над столом — книжная полка, лампа и вентилятор. С внешним миром можно сообщаться через иллюминатор, размером с большое блюдо. Для утоления жажды — графин с двумя гнездами для стаканов. Самих стаканов нет, не исключено, что их унес мой предшественник. Через весь графин, опоясывая его, наклейка — красное поле и черная кайма, словно извещение о смерти.

Экспертиза установила, что Сомов погиб между 21 часом и 21 часом 15 минутами 24 декабря 1978 года. Эти пятнадцать минут и являются, собственно говоря, самыми важными в его жизни, ибо в начале их он принадлежал еще миру живых, а в конце — царству теней. Это все не имеет значения, но не выходит у меня из головы. Пятнадцать минут — вот и все, что нам бывает отпущено.

А иногда и того менее.

У меня самого, кстати, этой проблемы нет. Времени — что воды в океане, залейся. И неизвестно, что с ним делать. Сиди у иллюминатора и думай, осваивайся в новом мире, где ты надеешься найти себе убежище, скрыться от самого себя. Словно это возможно, словно это хоть кому-то удалось.

Четыре с половиной миллиарда человек в течение одной секунды проживают все совокупно четыре с половиной миллиарда секунд, что составляет сто пятьдесят лет или протяжение двух нормальных человеческих жизней от первого крика до последнего хрипа.

Но и жизнь в продолжении даже одной секунды не поддается описанию применительно к одному человеку. Здесь не обойдешься ни секундой, ни, пожалуй, ста секундами.

А можно точкой отсчета взять окончание войны. Всем нам было тогда чуть больше десяти лет. Помню, как серо-зеленые толпы пленных текли и текли по Кировскому проспекту, но вот в каком направлении — от моста или к мосту,— не помню, хоть убей. По Невскому ходили трамваи, в кинотеатрах показывали кинокартину «Багдадский вор», на углу Владимирского, там, где в наши дни озабоченные и деловитые гомосексуалисты встречаются в угловом кафе под названием «Сайгон», там, положив перед собой бескозырку, прямо на земле молча сидел матрос лет семнадцати с чистым и строгим лицом. У него не было обеих ног. Я никогда не мог его забыть, я помню о нем все время. Я бы дорого дал, чтобы узнать, что с ним стало, потому что однажды он исчез, и больше я его не видел.

Час назад я был еще дома. Оставить записку девушке, которая скрашивала своим присутствием мои долгие вечера и быстротечные ночи. Зажать ее между дверями, спуститься по лестнице, по которой спускался столько раз — мимо бесконечных дверей, обитых ли дерматином, необитых ли, пройти мимо баков с пищевыми отходами с вечной картофельной шелухой вокруг, хлопнуть наружной дверью, возле которой, как неистребимая принадлежность именно нашей парадной, сидела девяностошестилетняя Екатерина Михайловна из шестьдесят третьей квартиры и, помахивая клетчатым чемоданом, пойти направо, мимо убогого своего блочного жилища с тайной надеждой никогда сюда больше не возвращаться — на все это не требовалось времени. Две остановки автобусом до метро, двери разомкнулись и сомкнулись, время начало свой отсчет. Пересесть на Невском, выйти на Василеостровской, подняться наверх, к Среднему, и по Восьмой линии двинуться к Неве. В полночь здесь тихо. Я брел по Восьмой и думал о Венеции — здесь, на Васильевском острове, должна была возникнуть она, с каналами вместо проспектов и линий. Но не возникла. Линии и проспекты стали обыкновенными улицами, а вместо воды был асфальт, а кое-где — торцовая базальтовая шашка. Сколько я помню себя, ее все время то разрывали, то укладывали вновь.

Сейчас ее разрыли, и улица была похожа на реку, по которой, вздыбившись, гуляли серые базальтовые волны. Кто-то за моей спиной споткнулся и сказал голосом, от которого у меня по спине прошли мурашки:

— Ах ты, черт... так и разэтак...

Это был голос Сомова. Но я не остановился. Я даже не оглянулся. И сам голос, кому бы он на самом деле ни принадлежал, и Сомов, да и я сам — все это было прошлым, от которого я и хотел избавиться. Я убегал от него, я хотел бы не иметь с ним ничего общего. Начать все сначала, все, все сначала. Начать с самого начала. В пятьдесят лет?

Начать сначала. Оставив прошлое времени. Ничего не взяв с собой из него в будущее, которое, пусть даже не оказавшись прекрасным, все равно должно быть иным.

Я убегал от прошлого. Во всяком случае, я думал, я надеялся, что это возможно. А раз так — оглядываться на чей-то голос было просто глупо...

Бронзовый Крузенштерн стоял на своем постаменте, отвернувшись от реки, поверхность которой была осквернена радужными нефтяными пятнами. Вид у адмирала был потерянный. Чижову было жаль его. А кроме того, ему было стыдно, что он не помнил имени адмирала Крузенштерна. Он постеснялся подойти к постаменту вплотную — пришлось бы идти по цветам. Но он был уверен, что имя должно быть высечено на граните. А как же иначе?

Сквозь иллюминатор до меня доносился плеск волн. Неумолчный — так, кажется, пишется об этом. Неумолчный плеск волн. И еще неумолчный гул большого города. Именно. Ровное такое гудение, словно работал гигантский трансформатор. Я посмотрел на свое убежище. Славная нора. А главное — здесь меня никто не найдет, даже если бы и захотел.

Все забыть. И Сомова тоже. И Гаврилова. И Филимонова. И самого себя. Главное — самого себя. Свою жизнь.

Это искренняя книга, читатель, писал четыреста лет назад Монтень.

24 декабря 1978 года, канун Рождества. Удивительно, но я помню отчетливо, что тогда был веселый снежный день. Предчувствовал ли я, что ли, что должно случиться между девятью и десятью часами вечера? Почему я все время возвращаюсь к этим пятнадцати минутам? Ну, был человек по имени Сомов, ну, умер. А разве всех нас ждет что-либо иное? Высокий демократизм бытия, делающий честь первопричине нашей жизни — смерть, равно настигающая всех, вне зависимости от выслуги лет, общественного положения, привилегий при жизни. Парадоксально, но факт — смерть и сопутствующие ей страдания оказываются наиболее справедливыми компонентами бытия. Недаром считается, что бог дает праведнику легкий конец. Пример апостолов Петра и Павла опровергает эту истину, но, быть может, она и не применима к профессиональным, так сказать, святым?

Как там у поэта? «Гарун бежал быстрее лани». Если он, подобно Чижову, хотел убежать от своего прошлого, его вполне можно понять. Чижов мог его понять. Бесспорно.

Он все-таки не выдержал. Поднявшись по трапу, он вышел на палубу, выкрашенную зеленой краской. Дежурный не обратил на него никакого внимания, он разговаривал с высокой девушкой и ему было не до Чижова, который вернулся к памятнику великого мореплавателя, решительно подошел вплотную к постаменту и прочитал:

«Первому русскому плавателю вокруг света
Адмиралу Ив. Ф. Крузенштерну»

Ну, конечно! Иван Федорович Крузенштерн! Теперь Чижов мог спокойно возвращаться в каюту. Но он постоял еще немного. Над рекой пола туман. Вдоль гранитной набережной, прижимаясь к ней, дремали туши кораблей, и Чижову показалось вдруг, что им вовсе не хочется уходить в дальние рейсы...

И мост, и прилегающая к нему площадь были залиты неоновым светом и совершенно пусты. Затем из этой пустоты донесся приглушенный женский смех, и Чижов вдруг почувствовал острое желание. Он вспомнил девушку, от которой теперь ушел. Он никогда не мог понять, что привязывало ее, молодую и красивую, к такому человеку, как он. Но может быть, подумал он далее, это как раз и было хорошо — то, что он не знал никаких причин.

Девушку звали Таня, и она была очень красива. Слишком.

Теперь на палубе кроме дежурного был еще и капитан-дублер. Чижов познакомился с ним накануне, в Пароходстве, когда по командировке журнала и при содействии (точнее было бы назвать это попустительством) старого школьного дружка Петьки Журавкина, ставшего большим пароходным начальством, оформлялся в рейс в должности дублера четвертого помощника капитана, о чем и получил соответствующее удостоверение. Похоже, что и весь экипаж собирали из дублеров. Чижов надеялся все же, что они, в отличие от него самого, имели хоть какое-то отношение к плаванью по морям и рекам. Он же кое-как плавал в безбрежных просторах отечественной словесности. Без особых, надо признать, достижений.

Капитана-дублера звали Александр Алексеевич. От него пахло хорошим коньяком и веяло какой-то особой капитанской свежестью. Так, по крайней мере, показалось Чижову. Капитан-дублер только что ступил на борт. Навстречу ему из недр сухогруза поднялся настоящий капитан, которого дублер сменял. Он был чисто выбрит. Капитан-дублер стал рассказывать сменяемому капитану о своем двухлетнем внуке, пытаясь попутно выяснить, почему он так его любит, но, по-моему, не смог этого сделать. Я стоял за спиной у двух капитанов, но был ими замечен не более, чем если бы был уэллсовским человеком-невидимкой. Жизнь тем временем на судне продолжалась. Пришел четвертый механик менять четвертого же механика, но прошло еще некоторое время, прежде чем тот был обнаружен на соседнем «Сейменском канале». Если капитаны были неуловимо похожи, то между четвертыми механиками сходства не было никакого: новый был высокий блондин с рыжими усами, опущенными вниз, как у руководителя ансамбля «Песняры» Мулявина, старый был чуть ниже среднего роста, черноволос и усы у него были как у Рудольфо Валентино, о котором четвертый механик скорее всего даже не слыхал. Как мне показалось, черноволосый механик был оторван от каких-то, скорее всего сердечных, дел; тем не менее, встретился со сменщиком он вполне дружелюбно и вскоре они загромыхали по трапу вниз. Я последовал за ними.

Моя каюта как была, так и осталась — два на два. Вдруг я понял, что смертельно хочу спать. Но в два часа должна была состояться разводка мостов, после чего «Ладога-14» должна была в свою очередь перейти на новую стоянку — возле Октябрьской набережной, и было бы непростительным легкомыслием пропустить этот переход и зрелище разведенных мостов, тем более, что я собирался — если верить мне самому, точнее, моей заявке в командировавший меня журнал, написать очередной роман в стиле моего духовного отца — если здесь вообще уместно слово «духовность»,— Артура Хейли под названием «Река-море».

Вот только стоило ли мне верить?

Я стоял и молча смотрел в иллюминатор, и время, как туман, обтекало меня, и какая-то пелена стояла перед глазами, а потом вдруг снова наступил тот декабрьский день, восемь лет назад, и я оказался в своей комнате за письменным столом и большие, до потолка, старинные часы в футляре красного дерева отзвонили, как это и было задумано двести лет назад мастером из Лондона Майклом В. Гриффитом, девять раз, и Сомов в эту минуту скорее всего был еще жив.

От усталости Сомов едва дышал. И тем не менее он внимательно смотрел за дорогой. Мимоходом он вспомнил, что сегодня Рождество, но тут же забыл об этом. Для кого Рождество, а для кого собачья жизнь, и если бы Христос знал, что ему придется когда-нибудь заниматься сдачей незавершенных объектов, то он, пожалуй, вообще не пришел бы в этот мир.

Грузовик впереди забуксовал и пошел юзом, но Сомов был к этому готов. Ко всему он был, похоже, готов. Поэтому, даже не тормозя, он просто принял влево. Машина прекрасно слушалась руля. Руль был в надежных руках. Как и вообще все, к чему был причастен Сомов. Надежной была его фирма, в которой он был заместителем генерального директора по капстроительству, надежен был он сам.

Машина марки ВАЗ-2106 тоже была надежна, хотя, подумал Сомов, вполне можно было поставить для такой поездки и шипованную резину, которую достал ему, конечно же, вечный хлопотун Филимонов, в чьем районе находилась одна из самых больших станций техобслуживания. Дружба — великая вещь. Завтра он эту резину и поставит.

А пока он возвращался домой. Выехал утром, а сколько теперь? Без нескольких копеек девять. Вечер? Да, можно сказать, едва ли не ночь. Ночь перед Рождеством.

Дворники бесшумно сметали снег с ветрового стекла.

С минуты на минуту могла зажечься звезда. Три волхва, по внешнему виду интуристы, растерянно стояли на перекрестке, в центре огромного города, в толчее предпраздничной торговли. Волхвы казались растерянными. Они ощущали на себе раскаленное дыхание могучей покупательной способности бурлящего вокруг человеческого моря. Торгаши еще не были изгнаны из храма. Откуда же придет спасение? На противоположной стороне с высоты гранитного пьедестала на трех иноземцев подозрительно смотрела любвеобильная императрица, окруженная толпой людей, прославивших Россию, за ее спиной, замыкая пространство, грациозно высилось здание самого плохого театра в стране, оккупировавшего бессмертное творение Росси. Падал снег.

Для того, чтобы увидеть это, достаточно было посмотреть в окно, что я и сделал, только чуть позднее. А пока что я смотрел на страницу, чью белизну я испортил. Это была первая страница романа, и, если быть честным, то это должна была быть первая страница романа, который наконец-то не имела к Артуру Хейли никакого отношения. Я помню, как я смотрел на нее, на эту первую страницу, которая означала для меня много больше, чем любая из написанных мною прежде страниц, ибо эта была равнозначна первому шагу к освобождению. Вот почему я смотрел на нее так — с надеждой, которая вскоре сменилась отвращением. Я прочитал ее раз и другой. Все было тускло, фальшиво и вяло. Плохо все было, и вырваться на свободу с такой страницей у меня было шансов не больше, чем у каторжника с ядром на ноге выиграть забег спринтеров. И тогда я поступил с ней так, как она того и заслуживала. Я просто выдрал ее из тетради, простой обыкновенной тетради в клеточку, из заурядной ученической тетради с обложкой бурого цвета, на которой значилось: арт. 5 5004, цена 3 коп.

Написанное мною не стоило и того.

Пожалуй, обложка была более ценной. Она сообщала любознательному человеку множество сведений. Массы, к примеру, важнейших минералов. Налицо был значительный шаг вперед, ибо во время оно, когда я (а вместе со мной в разные времена и в разных школах, по причинам, от нас не зависевшим, то Сомов, то Филимонов, то Вовка Гаврилов) посещал разбросанные по обширным пространствам Петроградской стороны школы — начиная от просто школ и кончая школами рабочей молодежи,— обложки тетрадей были украшены лишь таблицей умножения.

Сведения, сообщаемые мне обложкой, не заинтересовали меня. Но чего бы я хотел? Я не знаю. Человек часто хочет чего-то, а спроси его — он пожмет плечами. Я точно такой же. Ну, допустим, я хотел бы узнать формулу всеобщего счастья. Или — будет или нет атомная война. Но обложка этого не знала. В лучшем случае она готова была сообщить мне кое-какие сведения о растворимости в воде солей и оснований. Но я не собирался ничего растворять.

Обложка тетради — великий источник знаний. Когда-то, когда все мы, доверчивые и открытые правде, вкушали первые плоды с древа познания, обложка сообщила мне, что дважды два равно четырем, и она не обманула меня, чего, увы, нельзя сказать о других сведениях, которые были напечатаны черным по белому. И с тех пор я проникся неподдельным доверием к тетрадкам в клеточку, а когда судьба свела меня с печатным словом, которое прежде надо было написать собственной рукой, то выяснилось, что лучше всего мне писалось именно в них; не исключено, что именно потому, что за всем этим стояла таблица умножения, неподвластная ни метеорологическим, ни социальным катаклизмам, своего рода эталон правды.

Дважды два все еще равнялось четырем.

Вот почему я и выдрал эту страницу. Смял ее и бросил в корзину с яростью, в которой было так много от бессилия.

Во рту моем была горечь.

Нет, не так. Во рту был только привкус горечи. А сама горечь — она была глубоко внутри, в том уголке, куда никто и никогда не должен был заглядывать, о котором никто не должен был знать. И даже подозревать о нем не должен был никто. Ибо там я прятал свой страх, маскируя его яростью, которую при случае можно было выпустить наружу, чтобы она, как опытный сообщник, затоптала, уничтожила все следы, замела их, как преступник уничтожает вещественные доказательства и стирает отпечатки пальцев.

Только разве можно скрыть что-нибудь в этом мире?

Тогда мне было сорок четыре. Теперь — пятьдесят два. Ничего хорошего за эти восемь лет в моей жизни не произошло. Равно как и в жизни страны. Чуть лучше, чуть хуже. Те слова, эти... Как там сказал Гамлет, принц Датский: «Слова, слова, слова...»

Но, может быть, стало меньше иллюзий?

24.12.1978. 21 час 01 минута. Сомов включил приемник. Огромный мир в то же мгновение ворвался в салон его автомашины. Множество стран, все континенты желали сообщить ему, что происходит, перебивали друг друга, мешали себе и другим. Крики, шум, свист. Наконец он отстроился, поймал «Маяк». То-то же. Хоккей — вот что его интересовало. «Балканский кубок», заключительный период. Троянцы выигрывали у греков, счет был 1:0. Черт бы побрал все на свете. Снег падал, приходилось все время быть предельно внимательным. Быть в напряжении. Вместо того, чтобы сидеть, расслабившись в кресле, глядя на мерцающий мягко экран.

Экраны мерцали. Во всем мире, во всем мире. Перерыв закончился. Снова замерли люди. В Анкаре и Париже, в Люксембурге и Стамбуле, но так же и в Сириби, Тунисе, в шахтерских городках Саара и в эмигрантских бараках под Базелем. Все было забыто: извержение вулкана в Тихом океане, нота английского правительства Аргентине, одиннадцать миллионов безработных в странах общего рынка. Свет воссиял. Он воссиял во всем мире, и весь мир мог приобщиться благодати и увидеть самый большой в мире стадион.

Черно-белая и цветная сыпь телевизионной чумы, от которой нет спасения, захлестнула мир. Азию и Европу, Америку и Африку. А Австралию? И Австралию тоже. Лишь Океания была на время в безопасности. Надолго ли? Спутники космической связи связали весь мир в единое целое, уцелеть было немыслимо.

Космонавт Гаврилов триста двадцатые сутки был на околоземной орбите, но сейчас всем было не до него. Миллионы людей замерли у горящих экранов. Толпа. Все та же толпа. За две тысячи лет она не изменилась. Она снова жаждала все того же — хлеба и зрелищ. Вопрос о хлебе еще стоял на повестке дня, но вопрос зрелищ был решен: битву троянцев с греками за обладание серебряным сосудом смотрели пятьсот миллионов человек. Ее смотрели старые и молодые, белые и черные, но также коричневые и даже желтые, ее смотрели богатые и бедные, здоровые и больные, умные и глупые, образованные и неграмотные.

Среди них был тогда мой отчим, подумал Чижов, глядя, как над рекой, густея, наползают клочья тумана. Он был тогда еще жив. Я вспоминаю о нем часто, гораздо чаще, чем о человеке, который был моим отцом. Что, впрочем, и неудивительно. Как и что можно думать о человеке, который исчез не по собственной воле пятьдесят два года тому назад. Темная история, на которую, боюсь, никогда не упадет луч света.

24 декабря 1978 года. 21 час 01 минута. Космонавт Гаврилов совершал очередной виток. Сегодняшнее задание было полностью выполнено. Осталось поужинать, почистить зубы и лечь спать. Со скоростью двадцати восьми тысяч километров в час несся он в черноте космоса. Над землей и над водой, но так же и над городами. Он видел планктонные поля в океане и пыльную бурю над Африкой, которая, кстати сказать, закрыла всю видимость, начиная от Аравийского моря.

Это было днем. Теперь ему предстоял отдых. Вот уже год без малого жил он в невесомости по распорядку, составленному на земле, распорядок не подлежал отмене.

Подумав, он отказался от горячего ужина. Просто перекусил, а потом почистил зубы. Чтобы почистить зубы, надо взять влажную салфетку, намотать ее на палец и сделать все, что обычно делается щеткой. От щеток все давно отказались, мороки больше, чем дела.

Космонавт Гаврилов летел над Западной Германией. Когда-то его отец отмерял здесь до самого Берлина долгие километры, теперь сын реял над поверженной некогда страной, как вестник доброй воли. Россыпи огней внизу были похожи на фейерверк, но Гаврилов вспомнил вдруг блокаду, желтое пламя свечи и окна, заклеенные крест-накрест.

В эту минуту в Дюссельдорфе в особняке на улице Шамиссо королева стирального порошка Габриэль Хенкель отмечала свой день рождения. Сценарий приема по этому высокоторжественному случаю был написан великим Ионеско. Титульный лист программы вечера был напечатан на бумаге ручной работы и украшен репродукцией картины Ван-Гога, купленной Хенкелями в прошлом году за миллион долларов. В начале вечера католический профессор Вернер фон Хазенфус прочел собравшимся отрывки из своего нового труда «О житии Иисуса». Затем гости были приглашены к ужину. Их ожидала радужная форель под маринадом, иранская королевская икра, бульон из молодых голубей, спинка газели «Бемби», сырное суфле «Ротшильд», свежие плоды манго и черный кофе. Официанты, одетые во фраки, сшитые по индивидуальному заказу, разносили вино. Каждый мог отведать «Велтингер», изысканное коллекционного розлива 1969-го, «Лафит Шато» розлива 1964-го и «Меэт Шандон Брут Империал» розлива 1957 года.

Затем симфонический оркестр «Академия ди Санта Чечилия ди Рома» исполнил произведения Цезаря Франка, а в заключение был прочитан доклад «Пределы богохульства при папе Александре Борджиа».

Никто не смотрел на небо. Ведь бомбы оттуда не сыпались уже давно, а до ракет дело еще не дошло. Над Дюссельдорфом космонавт Гаврилов находился ровно шесть секунд.

Десять секунд, двадцать... Сомов стоял у светофора. Красный свет гневно зажегся и остановил поток машин. Но Сомов не разозлился. Он устал, да, он устал. Но он привык к этой усталости и она уже давно его не раздражала. Это была деловая усталость. При известном воображении ее можно было бы назвать даже праведной, а Сомов вполне подходил на роль праведника. Он привык к своей деловой усталости, он любил ее, потому что она была индикатором правильности его жизни, в которой по иерархии ценностей выше всего стояла работа. А где работа, там и усталость — так оно по справедливости должно было быть, так оно и было. Взять его. Кто он? Один из тысяч? Скромный труженик строительного фронта?

Несмотря на усталость, Сомов улыбается. Как бы не так! Он труженик, но не скромный. То, что он проделал, не под силу самому Акопяну, тому, что с необыкновенной легкостью вытаскивал из шляпы кролика. Это не фокус! Вот если бы этого Акопяна посадили на место Сомова — о, тогда сразу потускнело бы величие международно признанного мастера, для того, чтобы сравняться с Сомовым, ему пришлось бы доставать из той же шляпы слона. Или, по крайней мере, носорога... Да, не меньше.

Тридцать секунд. Красный свет горел. Вокруг теснились машины. Слева, справа. Двигаясь сплошным потоком, они медленно, но верно заполняли собою пространство земли. В уходящем году Япония произвела их четырнадцать миллионов, Соединенные Штаты десять. Да и завод в Тольятти добавлял каждый год по миллиону. Дорог не было, гаражей тоже, но разве это способно было кого-то остановить? На сберегательных книжках томились более трехсот миллиардов рублей, в чулках и на дне шифоньеров столько же, на ближайшие семьдесят лет заводу на берегах Волги был обеспечен сбыт, на «черном рынке» распредвал, чья официальная цена была равна тридцати восьми рублям, шел нарасхват по двести двадцать. Страсть к механизированному передвижению даже в условиях отсутствия дорог охватила население этой большой страны; чтобы убедиться в этом, Сомову не нужно было даже смотреть по сторонам. Но он и не смотрел.

Нет, сказал он сам себе. Акопяну не надо было вытаскивать из шляпы носорога, тем более слона. Достаточно было все того же кролика, но вытащив его, следовало сделать кое-что посложнее. А именно: убедить всех, что это слон. И оформить это актом государственной приемки. Со всеми подписями и печатями соответствующей комиссии.

Что он и сделал. Не Акопян. Сомов. Недавно, только что. Сто километров туда, сто обратно. Пять часов трудового подвига, и фундаменты, едва заметные под снегом, превратились в акте в девятиэтажный жилой дом.

И Сомов, вспомнив об этом, рассмеялся, но смех его был невесел...

Красный свет все горел.

Космонавт Гаврилов со скоростью четырехсот шестидесяти километров в секунду приближался к родному городу на высоте трехсот километров.

А что делал я?

Чижов помнил, что. Он стоял у окна. Стоял в темноте, свет он выключил, и теперь, стоя в темноте, он смотрел на снег за окном. Снег блестел. Снег был расчерчен тенями, словно деревья расчертили двор для какой-то игры. Но что это была за игра?

Я стоял и смотрел. Смотрел на снег, смотрел на деревья. Деревья были в снегу, ветви прогибались от его тяжести, но деревья не роптали, они молча несли свою ношу. Знали ли они о правилах игры, принимали ли в ней участие? Терпеливые и черные, они стояли, застыв от холода. Они казались мертвыми, но они не были мертвы. Глубоко

в землю уходили их корни — может быть, именно потому они и могли стоять так — гордо и прямо.

А я, подумав о них, подумал о себе. Ведь у меня самого не было корней. Но чья это была вина, да и была ли она? Чья вина была в том, что я родился в городе, что у меня не было корней. А тому, у кого их нет, не на что опереться. Человек должен держаться гордо и прямо, но как? Вот и сейчас я чувствовал себя маленьким и жалким. Маленьким и жалким перед молчаливыми темными исполинами. И мне хотелось бы быть деревом, быть одним из них, захотелось стоять прямо, не сгибаясь, не обращая внимания ни на холод, ни на снег, ни па человеческую суету.

В смирении деревьев была гордость, и заносчивость человека казалась особенно жалкой. Она есть следствие осознаваемой им неполноценности и ущербности. Ибо условия человеческого бытия всецело зависят от природы, от окружающей среды, в то время, как сама природа и сама среда нисколько в человеке не нуждаются. Более того — не исключено, что спасение этого мира зависит целиком от возможно более скорого и окончательного исчезновения рода людского с поверхности земли...

А я? Кто я такой, чтобы говорить от имени своего поколения? Просто говорить? Выносить свой приговор?

Когда речь заходит о человеке, подобном мне, лучше всего подходят слова Хорхе Луиса Борхеса, сказанные им в адрес некоего персонажа из рассказа «Тайное чудо»: «Если не считать нескольких друзей и множества привычек, его жизнь составляло весьма проблематичное занятие литературой»...

Разводку мостов я проспал. Сон сморил меня мгновенно, так что я не успел даже раздеться и выключить свет. Я спал, как убитый, спал без сновидений, как не спал уже много лет, может быть, потому, что впервые за много лет у меня было легко на душе. Мне казалось, что я совершенно избавился от прошлого, и когда под утро мне приснилась Соня, я усилием воли предпочел проснуться, чтобы не видеть ее. А потом мгновенно уснул снова. Койка была чуть коротковата, и мне пришлось все время подгибать ноги. Проснулся я оттого, что над самым моим ухом оголтело кричали чайки.

Мне не пришлось даже одеваться. Не умываясь, я вышел на палубу. День был веселый и солнечный. На палубе не было никого. А сама она была выкрашена масляной краской в веселый зеленый цвет...

Я пытаюсь представить Сомова 24 декабря 1978 года. Стрелки на часах показывают двадцать один час две минуты. Жить ему осталось тринадцать минут, может быть минутой больше, может меньше. О чем думает человек в такие минуты? Чувствует ли приближение беды? Судьбы, рока?

Судьбой Сомова, его роком, как оказалось впоследствии, была автомашина ЛДА 10—44, такси, за рулем находился шофер Королев, 48 лет, женат, взрослые сын и дочь, не судим, майор в отставке. Без пяти минут девять он взял у Витебского вокзала некоего гражданина Сенотова, бывшего в сильном подпитии и, несмотря на то, что смена уже кончилась, взялся отвезти пассажира, не вязавшего лыка, на станцию Купчино. Возьми он другого пассажира или вернись в парк, или постой у вокзала лишнюю минуту, или, наоборот, выйди гражданин Сенотов из вокзала на минуту раньше, может быть, Сомов был бы жив. Но судьба слепо ткет свой узор, и кто знает, может быть, Парки, они же Мойры, существуют на самом деле?

Самое трудное — уплотнить время. Беда литературы в том, что по самой своей сути она позволяет лишь последовательное изложение событий, в отличие, скажем, от живописи, которая дает мгновенное впечатление. Множество людей, чья жизнь была так или иначе связана с жизнью Сомова — или меня самого, находились в девять часов две минуты там, где им определено было быть судьбой, а космонавт Гаврилов ухитрился даже забраться в космос. Но помочь Сомову никто был не в состоянии. Может быть, это мог сделать бог?

Но он этого не сделал.

Я вижу Сомова. Вот он сидит в машине. Еще горит красный. Он предостерегает, он запрещает. Что было бы, если бы светофор испортился? Ну, замыкание, или еще что. Или Сомов задумался бы о чем-нибудь, или у него спустило бы колесо. Красный еще горит, но через мгновение должен зажечься желтый. Может быть, в нем могло быть спасение? Желтый, желтый. О чем он мог напомнить, какую вызвать мысль? Я ставлю себя на место Сомова, я за рулем, нога на педали тормоза, я устал, а впереди светофор. Я устал. Было ли время, когда я не уставал? Да, было такое время. Работал еще больше, а не уставал совсем. Все говорили — Сомов, ты устаешь хоть когда-нибудь, а Сомов только смеялся — нет, он не уставал. Ну, хотя бы в Китае. Да, да, конечно, увидев желтый, Сомов должен был вспомнить о Китае, ведь он работал там целых два года. В самом начале шестидесятых. Ему не было еще и тридцати. Неужели это было на самом деле? Он и сам готов не поверить в это, но это было, было. Он помогал китайским товарищам строить новую жизнь. Да, было, было. Не один он, конечно, вовсе нет. Много их тогда работало. Вместе с ним бок о бок вкалывали другие ребята из его же конторы. Фетисов там был, Сашка Фетисов, сейчас замминистра. Дундур Витя. Мишка Плющи-

Рис. А. Пахомова

ков. Иван Иванович Тамарченко. Гришманов. И двое Ивановых — Иван да Степан, но не родственники, просто однофамильцы. Да, было время. Вот когда он не уставал, хотя уж где-где, а там было с чего уставать. А он не уставал, словно из железа сделан. Правда, все условия были. В гостинице «Дружба» они жили, у каждого свой номер, тишина, чистота, простыни хрустят, круглые сутки горячая вода, и дежурные улыбаются так, словно родного брата увидели после разлуки. Ребята все удивлялись, особенно Колька Сазонов. Все чесал в затылке и говорил: «Ну, можно ведь, чтобы порядок был, а? Можно? Вот стану большим начальником, наведу порядок». Все смеялись—Колька-то? Отличный парень, но начальник из него — как из воробья орел. Как говорится, метр с кепкой. Но с судьбой не поспоришь. Стал-таки Колька начальником и каким — на самом верху, завотделом ЦК. Осталось только порядок навести.

А порядка нет. Нет порядка. Кому это знать, как не ему, Сомову. Что это за порядок, когда фундаменты надо, приходится сдавать вместо готового дома...

Нет еще порядка.

Сомов, вернувшись из Китая, много рассказывал мне о ребятах — вскакивал, бегал, кричал,— ах, что за ребята, да как они там работали, день и ночь — сутки прочь, по две смены. Сыпал фамилиями — Дундур, Тамарченко, Сазонов, Кузин Николай Иванович — этот был потом замминистра тоже, умер потом от инфаркта, не дожив до пятидесяти, что, впрочем, казалось достаточно преклонным возрастом. еще какие-то фамилии назвал Сомов — Хабибулин Джемал, Зяма Штернфенстер. И, что самое смешное, даже там, в Китае, нашлись общие знакомые. Сомов долго еще его вспоминал, и не мог вспомнить. «Ну, этот,— говорил *он*,— здоровый такой, чемпионом еще был по боксу среди вузов. На „К" его фамилия... он в ЛИИЖТе учился в одно с нами время, может, мы даже на танцах его встречали... о, черт, не вспомнить».

Я знал одного здорового, на «К», чемпиона по боксу среди студентов, второй средний вес. Князев Славка. Он чуть было не женился на моей сестре, не помню уже, почему у них разладилось. Он действительно был здоров, никто бы не подумал, что он дерется во втором среднем, минимум полутяж. От сестры я и узнал, что и он был в Китае, но раньше срока вернулся, что-то с ним там стряслось.

— Не Князев случайно? — спросил я Сомова.

— Что? Князев? Конечно, он. Славка. А ты что, знал его?

«...следствием установлено, что по просьбе пассажира Сенотова А. Е. водитель Королев Д. М. купил для последнего бутылку водки, которую Сенотов А. Е. начал распивать прямо в автомашине. Водка была приобретена у продавца овощного киоска Князева В. Н. по спекулятивной цене, а именно — за пятнадцать рублей. Таким образом установлено...»

Может быть, те три или четыре минуты, на которые такси остановилось у киоска, и решили все дело?

День был тяжелым, он шел к концу. Мандарины были проданы, апельсины тоже, но грейпфруты еще оставались. Длинная очередь постояла, потом стала распадаться, потихоньку, нехотя. Счастливцы торопливо спешили домой, они несли в переполненных сумках киноварь Китая и солнечную охру Марокко. Но, словно пушечные ядра, лежали грейпфруты; несмотря на удивительную насыщенность витаминами, их никто не брал, может быть, оттого, что латунная их желтизна наводила на мысль о нездоровье, о малярии и гепатите. За стеклом картонка с надписью «Вас обслуживает продавец Князев В. Н.» недвусмысленно говорила о том, что магазин вместе со всей страной включился в борьбу за культуру обслуживания.

«Князев В. Н., 1933 года рождения, образование высшее, б/п, разведен, от первого брака сын Александр 1960 г. р., от второго брака дочери Света и Марина 1965 и 1967 г. р., от третьего брака сын Анатолий 1970 г. р., выплачивает алименты в размере 50 % заработной платы, морально устойчив, пользуется авторитетом коллектива, регулярно перевыполняет план» сидел на колченогом стуле, приткнувшемся наискосок от двери между тонкими фанерными стенками овощного ларька, опустив голову. Голова была тяжелой, голова была такой, словно ее набили камнями, но камни тут ни при чем, ларек был похож на скворечник, а сам Князев на старую подбитую птицу. На пингвина делал его похожим длинный и условно белый передник, но вообще-то он больше походил на ворону, подшибленную камнем, хотя его, бывшего инженера, бывшего чемпиона по боксу в среднем весе, подшибла жизнь.

Вот он и сидел, сидел в углу, как боец, пропустивший встречный удар и едва дотерпевший до спасительного гонга, чтобы на ватных ногах дойти до своего угла и рухнуть на стул, подставленный секундантом, чтобы, мотая головой, как лошадь, которую донимают слепни, попытаться до гонга следующего раунда вынырнуть из багрового тумана. «В синем углу мастер спорта Князев Вячеслав, общество „Спартак", провел сто двадцать восемь боев, одержал сто семь побед, из них двадцать три нокаутом», но на этот раз никто не заподозрил бы в нем победителя. На этот раз нет. Сила боксера в его руках, но спасение — в ногах, и именно ноги подвели сегодня бывшего чемпиона, хорошо еще, что у него хватило сил добраться до стула, просто свалился, как мешок, столько проводить на этих ногах ему еще не приходилось, по двенадцать часов в день и все две последние сумасшедшие недели перед Рождеством. С утра до вечера, день за днем. Апельсины, мандарины, лимоны. А грейпфруты? И *они*. И они тоже, яо *они* не в счет, они не выдерживали конкуренции ни с апельсинами, ни с лимонами, не говоря уже о мандаринах, мандарины шли вне конкуренции, огромные, тугие и сладкие, отборные мандарины из Грузии и Китая.

Китая...

В котором Князев работал когда-то, неизвестно когда, так давно это было, словно в другой жизни, а может и правда в другой, работал вместе с Сомовым, но он не вспомнил о Сомове, работал с Дундуром, но он не вспомнил о Дундуре, о Васе Дундуре, закадычном дружке, лучшем кореше, не вспомнил, как не вспоминал и о Гришманове, Фетисове, обоих Ивановых, да и о самом Китае тоже. Не вспоминал. Не мог, не хотел? Не вспоминал. Ветер жизни налетел и унес все воспоминания, развеял их, так сказать, над водами времени. Над волнами Хуанхе, над просторами Волги и Невы. Что было, того уже нет. А было ли? Неизвестно. Может быть, и не было ничего. Вот так.

Князев помотал головой и пошевелился. За его спиной громоздились ящики, легкие, невесомые ящики из Марокко и Пекина. Что-то тяжелое, как удар кирпича, разламывало затылок. По жилам бывшего чемпиона медленно текла бурая жидкость, похожая на кровь, но то была не кровь. То был портвейн. Три бутылки портвейна. А ведь он зарекался пить портвейн, он давал себе слово. Но портвейн оказался сильнее и он сбил бывшего боксера с ног. Закрыв глаза, он слушал, как прибоем бьется в голове счет: «Один, два, три, четыре». Что это? Он на полу? Нокдаун? Или нокаут? Что бы ни было, надо встать, подняться с пола, не сдаться, не сдать... «пять, шесть...» Как летят эти секунды, как быстро считает судья. Что притиснуло его в угол, что связало по рукам и ногам, что нанесло сокрушительные удары — в печень, в голову, что заставило согнуться пополам и рухнуть? Жизнь. Она бьет наотмашь, не уйдешь нырком, как когда-то, особенно если вышел из формы, особенно если портвейн...

На ринге он упал лишь однажды. А помнит это, как будто вчера... любой это помнит, словно вчера. Сначала яркий свет, взрыв и ощущение необыкновенной легкости, почти торжества. Потом возвращение к жизни, потом ощущение неслыханной тяжести тела, словно ты прибит к доскам ринга гвоздями и слова рефери, ведущего счет: «Один, два, три...» Эти первые три секунды пролетают в мгновение ока. «Четыре, пять...» Подтащить колени к животу, опереться о пол, встать, подняться, только подняться, стоять, повернувшись лицом к противнику, который, пританцовывая и тяжело дыша, готов покончить с тобой последним уже ударом, и покончил бы раньше, чем ты успел разогнуться, если бы не отталкивающий жест рефери. Встать... Пот стекает по лицу, заливает глазницы, соль щиплет разбитые в кровь губы. Он ничего не видит, все плывет, и шум зала — словно прибой, словно волна, набегающая на берег. Он стоит и ничего не видит. Откуда-то доносится шепот, а может быть крик: «Где полотенце? Пусть тренер выбросит его на ринг».

Это поражение.

Пот течет по лицу продавца Князева. Его полотенце висит над его головой на гвоздике. Грязное, скрученное. Князев тянет его, вытирает им лицо, вытирает пот. Нокаут, он проиграл. А кто виноват?

Никто. Никто не виноват. Или кто-то. Кто-то другой, не *он*. Жизнь виновата, еще кто-то. А мы не виноваты — никогда. Когда мы, обливаясь потом, поднимаемся с пола, мы это знаем точно: мы не виноваты. Секунданты, судья, тренер. Еще кто-нибудь. Любой другой. Надо только подумать, поразмыслить, пораскинуть мозгами — и ты найдешь другого. Всегда.

Князев пораскинул. Конечно! Он понял, кто виноват на *этот* раз. Он не был ни тренером, ни секундантом, он и слов-то таких не знал. *Это* был Васька Чернышев, работающий в подсобке, мразь, хлюпик, доходяга и сволочь. Это *он*. Обещал приволочь к перерыву «Рислинг», а притащил «Солнцедар». Убить его мало.

Земля вращалась. Она вращалась вокруг солнца. Не нужно быть Галилеем, не нужно было ни от чего отрекаться. Князев был готов пойти на костер и куда угодно, он уже горел на костре, и костер пылал в нем самом. Сегодня земля вращалась как-то особенно активно и центробежная сила никак не давала Князеву подняться со стула. Но он все-таки встал — из принципа. Плевать *он* хотел на вращение земли. Пусть произнесено слово «нокаут», плевать он хотел на нокаут; пусть окончена игра — он должен был подняться — и он поднялся. Он был еще жив. Несмотря на удары, несмотря на удары судьбы, несмотря на портвейн «Солнцедар». Это было его кредо, в этом была вся его жизнь. Встать на ноги и стоять. Да, попробуйте. Сбейте его с ног. А он встанет. Поднимется. Он еще... он еще возьмет свое. Все, что ему положено. Он возьмет. И уже взял. Да.

Вячеслав Князев встал и отодвинул стул. Какой это угол? Разве жизнь загнала его

сюда? Он сам себе хозяин. Он победитель. Он сам поднял себе руку — победил Вячеслав Князев! Он хлопает себя по карманам, на лице его резиновая улыбка. Карманы были полны денег, они распирали брюки в разные стороны, делая их похожими на галифе. Как там сказано? Ловите миг удачи. Это сказал поэт... как его... а впрочем, неважно. Ловите миг удачи. Не скажешь лучше. Прямо про него, про Князева. Он поймал. А неудачник пусть плачет. А он, Князев, поймал, он не неудачник. Поймал сильною рукою мастера спорта в синем углу. А неудачник... вот именно. Кляня свою судьбу.

Вот она, удача. Ее можно потрогать. Пощупать, сосчитать. Бумажки, бумажки. Раньше было злато, серебро, теперь побольше бы бумажек. Ничего, ничего, что скомканные, цена все та же, цена одна. Вот они — трешки, пятерки, десятки. Лежат. Молча. Молча и свернувшись. Словно маленькие змейки, словно гадючки. Ничего, ничего, они не кусаются. Они не кусаются. Не кусают своих.

Князев сгреб бумажки, смял их, снова рассовал по карманам. Ему хотелось выпить. Один глоток, не больше, только коньяку. Но это ему не по карману. Зина так считает, ей виднее. А водка? И водка тоже. В ногах, под стойкой, у него целый ящик, вечером начнет заезжать шоферня. Как это говорит Зина? В мире есть только один вид свободы — финансовая. А это значит, что все бумажки подлежат строгому учету. Синие, зеленые, красные. Учету и распределению, а также перераспределению. Но ему нечего беспокоиться, ему хватит. Ему оставят его долю, ему останется и немало. Ибо сказано: «Рука дающего да не оскудеет»... Все останутся при своих, все останутся довольны. Зина, которая устроила его сюда, и Светлана Петровна, завмаг, закадычная подружка. И когда поздно ночью он вернется к Зине, та будет ждать его, как ждала вчера и будет ждать завтра, и он выложит на стол то, чем сейчас забиты его карманы, все те же бумажки, скомканные, смятые, словно искореженные какой-то неведомой страстью или пораженные болезнью, и Зина, аккуратная Зина выпрямит их, развернет, разгладит своими сильными тонкими пальцами и, прежде чем пересчитать и спрятать, обязательно разложит их по цвету — отдельно желтые, отдельно синие, отдельно красные...

Потом он смотрит на часы. На них — одна минута десятого...

Я не утверждаю, что все это было именно так.

Литература заполняет пропуски, оставляемые жизнью.

24.12.1978. 21 час 01 минута. Космонавт Гаврилов парил над землей все с той же скоростью — четыреста шестьдесят пять километров в минуту. В матче сборных Трои и Греции истекал перерыв, *до начала последнего периода остается пять минут.* Улицы пусты и магистрали тоже. Все смотрят, все ждут. *Пять минут... Четыре минуты...* Мир живет полнокровной, насыщенной жизнью. Еще не поздно. Еще не поздно приобщиться к благодати самых последних, самых свежих новостей. В жизни не должно быть пробелов. Для того и бьет по многочисленным каналам информационный прибой, новости передаются по всем двенадцати программам. На любой вкус. *Заседание стран-членов ОПЕК. Венесуэла нарушает квоту добычи нефти. Новости спорта: чемпион мира готовится к решающему матчу на Гавайских островах, интервью с чемпионом мира. С его женой. С его дочерью пяти лет. С его друзьями.* На другой программе — новости из-за рубежа. *Мир капитализма: он отвратителен. Честные политики, честные политиканы, улыбающиеся лица, сверкающие зубы. Все как один — друзья народа.* Все как один одержимы стремлением к миру. А вот другое: нищие на улицах Бомбея. Даже священные коровы смотрят на них с презрением. А вот роскошные ягодицы кинозвезды, она тоже борется за мир, *новости культуры, кинофестиваль в Сан-Ремо.*

А вот трупы на улицах Сан-Сальвадора.

Им уже ничего не нужно.

Это — жертвы тирании. Чья-то рука вычеркнула их из списка живых простым нажатием на курок, для них все проблемы закончились. Чего не скажешь о тех, кто остались жить. Для них все еще впереди, для тех, кто остался в живых, не исключено, что их очередь настанет завтра, но пока что они сидят в своих домах. Завтра они отправятся к станкам и в поле, чтобы произвести прибавочную стоимость, которую сгребет в мешок предприниматель, но это будет завтра. А пока что для них светятся экраны, для них облетает мир космический спутник связи и изобретено кабельное телевидение, ведь они должны успокоиться, отдохнуть, набраться сил, восстановить форму, они должны забыть вчерашние заботы, сегодняшние огорчения, завтрашние страхи. *Остановить угрозу атомной смерти.* Пикеты на американской атомной базе. Испытания атомного устройства в Неваде. *Генеральный секретарь беседует с группой членов Конгресса.* На следующей программе — спорт. *Спорт сближает сердца.* Он заставляет человека хотя бы на время забыть о болезнях, нищете, несправедливости, обидах, угрозе новой войны и страхе смерти. Все распри позабыты. Мир — одна семья. Все вместе, рядом. Плечом к плечу. Без сословных перегородок. Прообраз иного будущего. И вот уже бьются сердца, они бьются в унисон, и пусть каждый сидит в своей квартире

и в своем углу, но ритм биения соединяет воедино. Все вместе, вместе, и все полны зависти к тем двадцати тысячам счастливцев, что усеяли возникший на бесчисленных экранах амфитеатр трибун. Ряды уходят ввысь, подобно склонам Олимпа, и вот уже на глазах миллионов происходит рождение нового мифа.

А куда подевались старые?

Они не исчезли, хоть время их миновало. Они не нужны человечеству, им больше не было места на земле, и они были отброшены им, а то, что оставалось, люди приспособили к изменившимся условиям. Человечество, смеясь, рассталось с детством. Да здравствует потребление, да здравствует прогресс! Символом прогресса стала жевательная резинка, роль Меркурия выполняли газетные рекламы. Покупайте, покупайте! Джинсы фирмы «Ли», духи «Шанель № 5», стереофонические проигрыватели, видеокассеты, что угодно, только покупайте. Время прежних героев ушло, на их место пришли торговцы, которых никто уже не выгонял из храма. Исчезли великие народы, исчезли вместе со своим прошлым, настало время новых песен. Гусям не удалось спасти Рим во второй раз, кто пожалеет об этом? На сцену истории вышли новые народы, они властно заявили о себе всему миру, и разве они были не правы? Ведь они были молоды и полны сил, а у кого сила, за тем и правда. И правда, и право всегда были на стороне того, кто сильнее, так что в этом отношении изменилось немногое. Правда истории была на стороне новых народов, а старые ушли вместе со своими мифами. Из древних народов остались лишь евреи. Они никуда не ушли, они были всюду, господь любил их по-прежнему, рассеяние оказалось лишь трюком. И греки остались; один из них, не менее хитроумный, чем царь Итаки Одиссей правил едва ли не четвертью мира, ухитрившись на закате дней заменить надоевшую Пенелопу прекрасной вдовой президента.

Наступило новое время. Оно тоже было прекрасно. На земле воцарился мир. Он не раз уже воцарялся, с каждым разом это стоило все дороже: сначала десять миллионов жизней, потом пятьдесят. Последняя великая бойня закончилась, следующая лежала в колыбели, войны за сферы влияния не прекращались никогда. Это и называлось прогрессом. В Европе было десять миллионов безработных, но Европа не грустила — ведь в Америке их было еще больше. Ах, эта Америка! Европа, жеманясь, поглядывала за океан — ведь так приятно быть желанной. К ней снова приглядывался заокеанский бык, золотой телец с глазами из алмазов; океан, как всегда, являлся преградой, которая лишь разжигала желания.

Борьба за мир достигла апогея.

Землю сотрясали революции. Они были разными. Была революция апрельская, майская, июньская. Была зеленая, культурная, исламская, техническая и, как венец всего, сексуальная. Революционером мог быть каждый, это было модным. Небо бороздили икары, свои и чужие. Они летали в одиночестве, но также по двое, по трое и более. Они посетили Луну и не нашли там ничего. Количество оружия, простого и не простого, подлежащего немедленному и безусловному уничтожению, росло с каждым днем и обходилось все дороже. Правительства играли в покер, в котором, как известно, ценится умение блефовать. И все-таки мир процветал — разве в каждом доме не стояло по телевизору? По шестой программе шла прямая передача из космоса: *«Русский космонавт Гаврилов все еще на орбите»*.

В такой ситуации богам приходилось туго. Они были лишними, они были не нужны. Им пришлось приспосабливаться. Приноравливаться к изменившимся обстоятельствам. Это удавалось им, но не без труда. Громовержец Зевс отдал свое имя крылатым ракетам. Афродита рекламировала *лучший в мире шампунь;* надо полагать, что именно из этой пены к радостям любви выходили наяды и нимфы. Аполлон со своею лирой перешел на конверты грампластинок «Битлз». Аполлону повезло, пожалуй, больше других. На искусственном льду Скамандра, как и тридцать веков назад, низко надвинув шлемы, снова сражались троянцы и греки. Но не за Елену — наградой им будет *«Балканский кубок»*. Сто миллионов человек, замерев, ждали. Вот они, новые герои! Все человечество знает их имена. Вот они. Они поправляют доспехи. Они готовы ринуться в бой. Они готовы продолжить славные дела своих предков. Готовы вписать лезвиями коньков новые страницы в современную «Илиаду». А где Гомер? Он в кабинке комментатора. Он молод, он совсем не слеп. Песнь и гимн уже зреют в его груди. Он глядит на поле — поле битвы. Безупречным овалом раскинулось оно у подножья искусственной горы. Оно отгорожено сеткой; подобно драгоценному камню, оно переливается и сверкает в свете юпитеров, бесчисленные лампы заливают его ослепительным светом.

24.12.1978 года. 21 час 01 минута. Желтый свет мигнул и пропал. Зажегся зеленый. Сотни лошадей, фыркнув, рванулись вперед, и Сомов — со всеми. Машину чуть занесло, но Сомов был начеку, он внимательно следил за дорогой. Машины были слева, машины были справа, необходимо было повышенное внимание. Он и был внимателен. Только не до конца, не так, как всегда. Что-то его отвлекало. Что-то не давало сосредоточиться до конца. Может быть, ему мешал приемник? При чем же тут был приемник?

У Сомова не было времени для анализа. Можно только предполагать, как это было: он включил приемник, приемник рассказал о космонавте Гаврилове. Вспомнив о нем, Сомов вспомнил о Шплинте. Вспомнив о Шплинте, он вспомнил о тюрьме.

Не надо было ему вспоминать о тюрьме.

Но, может быть, я все это придумал?

Сомов не любил об этом вспоминать — понять его можно. Это было плохое время. Плохое для него, плохое для всех нас. Его изъяли тогда из общества, из общества нормальных людей, изъяли, как изымают из обращения фальшивую монету, подлежащую сдаче в переплавку. Как монета, чья подлинность сомнительна, его судьба была брошена на весы пристрастной рукой правосудия. И весы дрогнули. Весы держала женщина с завязанными глазами, она ничего не хотела видеть и не увидела. Она не желала ничего знать, и Сомов оказался за решеткой. Чаша весов с его судьбой опустилась вниз, ниже некуда, она показывала степень его вины, а по вине было и наказание — три года изоляции от общества. Сомов не смирился. Он возопил, он взывал к справедливости, или хотя бы к здравому смыслу, его вопль достиг небес, но небеса молчали. Тут бы и вспомнить Сомову о народной мудрости, что советовала не отказываться ни от сумы, ни от тюрьмы, но Сомов в гордыне своей не внял народному гласу. Он решительно отказывался признать себя виновным. Отказывался до суда, во время суда и после него. Он хотел на свободу. Хотел вернуться. К своей работе, к людям, домой. Ведь столько надо было еще сделать, столько совершить. Он боролся за свое право умереть на передовой. Кто осудит его за это, кто не поймет?

Процесс был громким. Он был громким, но проходил тихо. Он освещался газетами, но освещался сдержанно, в полнакала. Сдержанность газет была вынужденной, врагам социализма не должно было давать карты в руки для очередной клеветы. Под следствием оказалось два директора, два главных инженера, десяток начальников отделов, главных специалистов, ведущих в этой отрасли. Им всем инкриминировалась преступная халатность. Один из директоров успел скончаться во время следствия, другой лежал в тюремном лазарете с третьим инфарктом. Восемьдесят процентов подсудимых были в свое время отмечены правительственными наградами за то же, за что сейчас сидели на скамье подсудимых. В этом был некий горький парадокс. В этом был и урок — тоже горький. Для того, чтобы усвоить этот урок, не нужно было трех лет. Но, может быть, эти три года были необходимы для того, чтобы горечь исчезла?

Я помнил это время. Даже сейчас, когда не было Сомова. Когда многое просто утратило всякое значение. Но я помнил все. Гаврилов, будущий космонавт, прислал мне тогда четыре тысячи рублей, все, что у него было. Возьмите лучшего адвоката, писал он в телеграмме. Справедливость победит. Если денег не хватит, дайте знать, пришлю.

И шел обратный адрес. В достаточной мере условный.

Но деньги почти не понадобились.

Скорее всего, нужен был козел отпущения. Его надо было найти, и он был найден. Сомов — вот кто им был. Но не он один. У него только рога были покруче, вот и досталось ему по этим рогам всех больней. Но и кроме него козлов хватало. Их было вполне достаточно, и слепая Фемида не переутомилась, нащупывая виновных.

Но Сомов не смирился. Он верил в справедливость, в то, что она победит. И все свободное время посвятил переписке с высокими судебными инстанциями, приглашая их к свободной дискуссии по вопросу о том, допустима ли судебная ошибка.

Он верил в справедливость и ждал, и время тянулось незаметно.

Ждать ему пришлось полтора года. Затем что-то произошло. Неизвестно что. Но чаша весов дрогнула. Она снова пришла в движение. Она двинулась в обратную сторону, в сторону справедливости. Но она не спешила. Движение было безостановочным, но медленным. Оно продолжалось, пока не выравнялся справедливый вес. Монета оказалась не фальшивой. Она оказалась полновесной, переплавка была отменена, козел отпущения был официально признан заблудшей овцой и без лишнего шума возвращен снова в стадо. Работа пробирной палаты, именуемая жизнью, не терпит суеты, но зато клеймо, которое она в конце концов ставит, надежно и изменению не подлежит.

О чем я все время думаю? О времени? О Сомове? О себе?

Чижов улыбнулся. Улыбка была кривой. Она была горькой. Главное было не в этом. Самое страшное — чтобы она не была жалкой. Он не хотел жалости, никакой. Она была ему не нужна.

Все забыть и жить настоящим — вот задача. И, стоя на палубе сухогруза, пришвартованного у гранитной набережной, я добросовестно пытался выполнить эту задачу. Жить настоящим, в котором:

По набережной бежали автобусы, грузовики, легковушки;

Боцман с кормы ловил рыбу на самодельную удочку, вытащил уклейку и отдал своей дочери. Его жена, похожая на девочку лет шестнадцати, молча стояла рядом.

Октябрьская набережная — вот где они стояли.

Совсем рядом с тем местом, где трепыхался поплавок боцманской удочки, впадал в реку черный ручей сточных вод. Чайки были очень недовольны загрязнением природы, пронзительными голосами они выражали свой решительный протест. До отхода оставалось двадцать минут, если только корабельный динамик не обманывал меня, как, впрочем, и всех, и мне показалось важным зафиксировать этот момент в памяти и на бумаге — позже, когда я вернулся в каюту. Синдбад-мореход отправляется в свое последнее плаванье, подумал я. В том, что это плаванье последнее, я не сомневался.

«Я отпущу рыбку»,— сказала девочка и бросила уклейку в черный ручей за кормой. Вот как выглядит милосердие, подумал я.

Мне очень нравилась жена боцмана.

На противоположном берегу реки лежали железобетонные плиты. Их были там сотни, но может быть и тысячи, они громоздились до самого неба, не исключено, что они лежали здесь со дня основания мира и будут лежать там до его конца.

Два труженика средних лет, стоя лицом к кораблю, но не обращая на него никакого внимания, осторожно разливали по стаканам нечто, обладавшее зелено-желтым цветом. Их лица были серьезны и отрешены, словно они совершали священнодействие, а может быть, так оно и было. Пустую бутылку они поставили на гранитный парапет. Потом они взяли стаканы в руки. Потом они выпили то, что было прежде в бутылке, а потом в стаканах.

Я не мог решить, что же это было. Если я собирался жить настоящим, я должен был это знать, но я не знал.

Я мог только предположить, что это была лимонная горькая, но это было мнение дилетанта. Каковым я и был. Во всем, всю свою жизнь. А жаль...

Продолжение следует

Рустем
КУТУЙ

Юность

Мы прошли, не задержались.
Слишком тяжко вьюга мела.
На расколотых скрижалях
царапины, не имена.

Что там видится? Флаги, громы.
На трибунах ослепшая медь.
Голенища сытого хрома.
Бойкая трагикомедь.

Юность, юность! Заплаты, ошметки.
Полный света граненый стакан.
За садовой решеткой
камнеглыбистый истукан,
шепотками повитый, грозный,—
там и тут, никуда не уйдешь.
Облетают громаду стрекозы,
а по крылышкам — дрожь.

Белый ворот. На шее удавка
душит галстуком — я стою.
Как не в меру веселая шавка,
жизнь облаиваю свою.

Поезд мчится, и рельсы стонут —
истеричный, в историю влип! —
он несет тяжеленные тонны
судеб, лома, туманных лиц.
Жмет на всю колеса катушку,
пятилетки шлеей, шлеей.
Здесь за нары налог подушный.
Ангел в тамбуре чуть живой.

Я сойду на глухом разъезде
с лезвиями прозрений в глазах.
Только что мне сребро этих лезвий
да свистящая в спину лоза.
По-змеиному шкуру не сбросишь
и с изнанки не подновишь.
Круто ветер метет по откосам,
а под сердцем глубокая тишь.

Тайна

А ты была моею тайной,
таких другим не доверяют.
Среди мерцающих проталин
мы шли погасшими дворами.
Искали кров, где притулиться,
приговоренные к скитанью.
А ночь лежала, как столица,
кусками сахара в стакане.

Бери сосуд и пей с огнями
и льдом, звенящим до ожога,
покуда жизнь свистит санями,
страшись случайного порога!

А нам бы крова... Вот же кров-то!
С дырявой звездной бедной кровлей.
Прислушайся испугом крови,
какие здесь играют роли,—
вот эта дрожь слюды скользящей
по насту снега, эта верба
в комочках теплых и парящий
над всем, холодный профиль ветра...

Заблудшие, мы знали, сколько
положено пощечин, розог
и самой едкой, горькой соли
за этот свет, что пьян и розов.
Чему платили полной мерой,
на сквозняке прикрыв друг друга?
Где вся в узлах мерцала верба
так неожиданно, так хрупко.

Верлибры

Эти верлибры,
как кружащиеся женщины
вдалеке от мужчин,
опьяневшие от избытка
  радости в теле,—
кружатся, кружатся
с запрокинутыми лицами.

Эти верлибры,
как строгие старухи
у стен покосившегося жилища,
немногословные на отшибе,—
жилы текут, морщины гнездятся,
шелуха ветерком с кожи.

А я — посередке
  на пыльной дороге.
Иду — то удаляясь,
  а то приближаясь.
Такая музыка.

Уважаемая редакция «Невы»!

Я написала документальный рассказ: воссоздала все, как было, ничего не добавив от себя. Уверена — не напечатаете! И все-таки прочитайте его, это займет минут 15 вашего служебного времени; может, и не останетесь к нему равнодушными...

...Мы много и долго, десятилетиями, молчали, мучились и уносили свою боль в могилу. Так дайте же тем, кто дожил, возможность сказать свое слово во благо будущего — теперь, когда, наконец, пришло их время! Пекусь не за себя — за них.

Е. Глинка

Елена
ГЛИНКА

«КОЛЫМСКИЙ ТРАМВАЙ» СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ

«Колымский трамвай» — это такой трамвай, попав под который, бывает-случается, останешься в живых.

Поговорка колымских заключенных

В рыболовецком поселке Бугурчан, влачившем безвестное существование на охотском побережье, было пять-шесть одиноко разбросанных по тайге избенок да торчал убогий бревенчатый клубишко о трех узких окнах, над которым болтало ветром старый флаг. Оттого ли, что у председателя не было в запасе кумача, флаг не заменяли; он висел в Бугурчане, наверно, с довоенных лет, весь вылинял,— но серп и молот в уголке полотнища по-прежнему выделялся ярко, как номера на бушлатах каторжан.

В трюме судна, развозившего летней навигационной порой грузы для поселков и рабочую силу в лагеря, сюда доставили женскую штрафную бригаду. Окриками и матерной бранью, под лай сторожевых собак конвоиры согнали зэкашек к клубу, бдительно пересчитали по головам, после чего начальник конвоя скомандовал всем оставаться на местах и ушел разыскивать единственного представителя здешней власти — председателя поселка, которому надлежало передать этап.

Этап состоял в основном из бытовичек и указниц, но было и несколько блатных — жалких существ с одинаковой, однажды и навсегда покалеченной судьбой: сперва расстреляны или сгинули в войну родители, пару лет спустя — побег из детприюта НКВД, затем улица, нищета, голод,— и так до ареста за кражу картофелины или морковинки с прилавка. Заклейменные, отринутые обществом и озлобившиеся оттого, все они очень скоро становились настоящими преступницами, а некоторые были уже отпетые рецидивистки — по-лагерному «жу́чки». Теперь они сидели у клуба, перебранивались друг с дружкой, рылись в своих узелках и выпрашивали окурки у конвоя.

В это месиво изуродованных жизней лагерное начальство бросило трех политических, с 58-й статьей: пожилую даму — жену репрессированного дипломата, средних лет швею и ленинградскую студентку. За ними не числилось никаких нарушений и посягательств на лагерный режим,— просто штрафбригада комплектовалась наспех, провинившихся не хватало, директива же требовала в срочном порядке этапировать столько-то голов,— и недостающие головы добрали из «тяжеловесок», то есть из осужденных на 25 лет исправительно-трудовых работ.

Новость: «Бабы в Бугурчане!» мгновенно разнеслась по тайге и всполошила ее, как муравейник. Спустя уже час, бросив работу, к клубу стали оживленно стягиваться мужики, сперва только местные, но вскорости и со всей округи, пешком и на моторках — рыбаки, геологи, заготовители пушнины, бригада шахтеров со своим парторгом и даже лагерники, сбежавшие на свой страх с ближнего лесоповала — блатные и воры. По мере их прибытия жучки заше-

велились, загалдели, выкрикивая что-то свое на залихватском жаргоне вперемешку с матом. Конвой поорал для порядка: на одних — чтоб сидели где сидят, на других — чтоб не подходили близко; прозвучала даже угроза спустить, если что, собак и применить оружие; но поскольку мужики, почти все с лагерной выучкой, и не думали лезть на рожон (а кто-то и вовремя задобрил конвоиров выпивкой), конвоиры не стали гнать их прочь,— лишь прикрикнули напоследок и уселись невдалеке.

Жучки в голос клянчили махорку, просили заварить чифир, предлагали в обмен самодельные кисеты. Большинство мужиков загодя запаслись снедью, кто дома, кто в поселковом ларьке; в толпу штрафниц через головы полетели пачки чая и папирос, ломти хлеба, консервы... Бросить изголодавшемуся арестанту корку хлеба — было поступком, наводящим на мысль о неблагонадежности и наказуемым, случись это *там*, на сострадательной матушке-Руси: *там* полагалось верноподданно опустить глаза, пройти мимо и навсегда забыть. Но тут — потому ли, что почти все здешние мужики имели лагерное прошлое? — тут был иной закон... Компания засольщиков рыбы и единственный в поселке, уже изрядно выпивший бондарь притащили сверток с кетовым балыком, порезали балык на куски и бросили зякашкам.

Измученные морской болезнью и двухдневным голодом в трюме, женщины жадно хватали на лету подачки, торопливо запихивали в рот и проглатывали не жуя; блатные долго, с хриплым кашлем курили дареный «Беломор». Какое-то время было тихо. Затем послышалось звяканье бутылок; несколько мужиков, как по команде, отошли в сторону и уселись пьянствовать с конвоем.

Насытясь, жучки хором затянули песни — сначала «В дорогу дальнюю», за ней «Сестру»; мужики вторили им знаменитой лагерной «Централкой»,— и после этой спевки все воспрянули, разошлись, стали шумно знакомиться уже без оглядки на конвойных, которые, побросав автоматы и привязав к деревьям собак, пили теперь вместе с вернувшимся начальником и председателем.

Впрочем, особую активность выказывали только жучки. Бытовички и указницы, которых в бригаде было большинство, вели себя тише и даже держались особняком. Правда, и они охотно брали подачки и вступали в разговоры, но будто отсутствовали при этом; мысли их были об ином: сроки у многих близились к концу, и им, в отличие от политических, не предстояла ссылка после лагеря. Краткосрочницы-жучки тоже ждали своего часа, и хоть возвращаться каждой из них было некуда и не к кому, и воля пугала некоторых, заранее обрекая их на беззащитность и равнодушие к их судьбам,— но все горести будущего для них пока не существовали: воля есть воля, это главное, это одно уже давало надежду на жизнь впереди. У политических «тяжеловесок» надежды не было — ГУЛаг поглотил их навсегда.

Втроем они сидели в стороне от толпы — студентка, швея и жена врага народа. Они уже поняли, для чего был устроен весь этот разгул и пьянка с конвоирами; поняли задолго до того, как солдаты один за другим в бесчувствии повалились наземь и мужики с гиканьем кинулись на женщин и стали затаскивать их в клуб, заламывая руки, волоча по траве, избивая тех, кто сопротивлялся. Привязанные псы заливались лаем и рвались с поводков.

Мужики действовали слаженно и уверенно, со знанием дела: одни отдирали от пола прибитые скамьи и бросали их на сцену, другие наглухо заколачивали окна досками, третьи прикатили бочонки, расставили их вдоль стены и ведрами таскали в них воду, четвертые принесли спирт и рыбу. Когда все было закончено, двери клуба крест-накрест заколотили досками, раскидали по полу бывшее под рукой тряпье — телогрейки, подстилки, рогожки; повалили невольниц на пол, возле каждой сразу выстроилась очередь человек в двенадцать — и началось массовое изнасилование женщин — «колымский трамвай» — явление, нередко возникавшее в сталинские времена и всегда происходившее, как в Бугурчане: под государственным флагом, при потворстве конвоя и властей.

Этот документальный рассказ я отдаю всем приверженцам Сталина, которые и по сей день не желают верить, что беззакония и садистские расправы их кумир насаждал сознательно. Пусть они хоть на миг представят своих жен, дочерей и сестер среди той бугурчанской штрафбригады: ведь это только случайно вышло, что там были не они, а мы...

Насиловали под команду трамвайного «вагоновожатого», который время от времени взмахивал руками и выкрикивал: «По коням!..». По команде «Кончай базар!» — отваливались, нехотя уступая место следующему, стоявшему в полной половой готовности.

Мертвых женщин оттаскивали за ноги к двери и складывали штабелем у порога; остальных приводили в чувство — отливали водой — и очередь выстраивалась опять.

Но это был еще не самый большой трамвай, а средний, «трамвай средней тяжести», так сказать.

Насколько я знаю, за массовые изнасилования никто никогда не наказывался — ни сами насильники, ни те, кто способствовал этому изуверству. В мае 1951 года на океанском теплоходе «Минск» (то был знаменитый, прогремевший на всю Колыму «Большой трамвай») трупы женщин сбрасывали за борт. Охрана даже не переписывала мертвых по фамилиям,— но по прибытии в бухту Нагаево конвоиры скрупулезно и неоднократно пересчитывали оставшихся в живых,— и этап как ни в чем не бывало погнали дальше, в Магадан, объявив, что «при попытке к бегству конвой открывает огонь без предупреждения». Охрана несла строжайшую ответственность за заключенных, и, конечно, случись хоть один побег — ответили бы головой. Не знаю, как при такой строгости им удавалось «списывать» мертвых, но в полной своей безнаказанности они были уверены. Ведь они все знали наперед, знали, что придется отчитываться за недостающих,— и при этом спокойно продавали женщин за стакан спирта.

...Ночью все лежали пластом, иногда бродили впотьмах по клубу, натыкаясь на спящих, хлебали воду из бочек, отблевывались после пьянки и вновь валились на пол или на первую попавшуюся жертву.

Бывало ли что-нибудь подобное в те дремучие эпохи, когда, едва-едва оторвавшись от земли передними конечностями, первобытные существа жили еще животно-стадными инстинктами? Думаю, что нет.

...Тяжелый удар первого прохода трамвайной очереди пришелся на красивую статную швею. Жену врага народа спас возраст: ее «партнерами» в большинстве оказались немощные старички. И только одной из трех политических сравнительно с другими повезло: студентку на все два дня выбрал парторг шахты. Шахтеры его уважали: справедлив, с рабочими держится запросто, на равных, политически грамотен, морально устойчив... В нем признавали руководителя — и его участие в «трамвае» как бы оправдывало, объединяло всех: как мы, так и наш политрук, наша власть. Из уважения к нему никто больше не приставал к студентке, а сам парторг даже сделал ей подарок — новую расческу, дефицитнейшую вещь в лагере.

Студентке не пришлось ни кричать, ни отбиваться, ни вырываться, как другим — она была благодарна Богу, что досталась одному.

Наутро конвоиры очухались, у каждого ломило башку с похмелья. Мужики были наготове: выбили доску в двери, двое протиснулись в образовавшуюся щель, поднесли, подлечили,— и вскорости конвой опять мертвецки завалился под соснами. Автоматы лежали рядом, овчарки выли.

Только на третьи сутки начальник конвоя, наконец, очухался и приказал мужикам открыть дверь и по одному покинуть клуб.

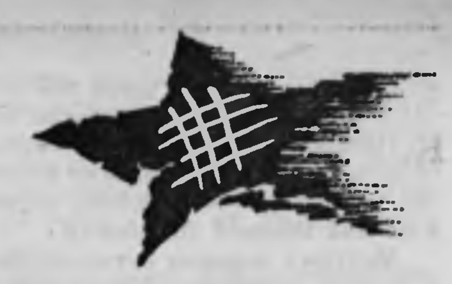
Мужики не подчинились. Начальник предупредил: «Буду стрелять!» — но и это не возымело действия. В заколоченном клубе зекашки умоляли конвоиров вызволить их,— однако угрозы конвоя и мольбы женщин только подхлестнули насильников: они еще не пресытились «трамваем» — а когда там в Бугурчан снова привезут баб! И кинулись насиловать еще ожесточенней...

Конвоиры вырубили дверь топором. Начальник повторил предупреждение, но мужики не реагировали и теперь. Тогда солдаты стали стрелять — сперва в воздух, потом в копошащееся на полу месиво тел.

Были жертвы.

Но отупевшие, раздавленные, безразличные ко всему три женщины не интересовались, кто убит и сколько.

Анатолий БЕРГЕР



Памяти Клюева

Страну лихорадило в гуле
Страды и слепой похвальбы,
Доносы, и пытки, и пули
Чернели изнанкой судьбы.

Дымились от лести доклады,
Колхозника голод крутил,
Стучали охраны приклады,
И тесно земле от могил.

И нити вели кровяные
В Москву — и терялись в Кремле,
И не было больше России
На сталинской русской земле.

И Клюев, пропавший во мраке
Далеких тридцатых годов,
На станции умер в бараке,
И сгинули свитки стихов.

Навек азиатские щёлки
Зажмурил, бородку задрав,
И канул в глухом кривотолке,
Преданием призрачным став.

1966

◆◆◆

Сегодня утром лист пошел —
По всей тайге, куда ни глянешь,
Слетает осени в подол
Медь, золото, багрец, багрянец.

И речка ловит на ходу
И гонит вдаль напропалую
Свою добычу золотую
У всех деревьев на виду.

И под ногами впрямь горит
Земля медлительно и пышно,
И каждый шелест говорит
Так явственно, что всюду слышно.

◆◆◆

По следу шороха иду
Сквозь дрожь травы простоволосой,
Из тины ветхой на пруду
Торчит осока криво-косо.

На черном пне присохший лист,
Сквозь мутность лужи неба клочья,
И одинокий птичий свист,
Прощальный, словно многоточье...

Роберт КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

Глава третья

ОРГАНИЗАТОР И ВДОХНОВИТЕЛЬ

События декабря 1934-го и января 1935 годов, столь ужасающие, столь невероятные, наводят на вопрос об их организаторе. В конечном счете весь характер террора определялся личными и политическими побуждениями Сталина.

Если мы откладывали рассмотрение личности Сталина, пока не описали характера его действий, то это потому, что гораздо легче рассказывать о его делах (и о типе государства, которое он создал), чем обрисовать его как личность. Сталин был не из тех, чьи истинные намерения объявлялись открыто и чьи подлинные мотивы имели бы логическое объяснение. С одной стороны, личные побуждения Сталина были основной пружиной террора; с другой — его способность скрывать свою истинную природу была той скалой, о которую разбилось сопротивление террору в партии и вне ее. Его противники не допускали и мысли, что он мог захотеть или выполнить то, что он фактически делал.

К 1934 году Сталину было 55 лет. До 37-летнего возраста он был не особенно выдающимся членом маленькой революционной партии, чьи перспективы прихода к власти даже Ленин считал сомнительными еще в 1916 году.

Когда пришла революция, Сталин был явно в тени своих многих блестящих современников. С тех пор он непрерывно вел политическое маневрирование. В результате он по очереди нанес поражение каждому сопернику и вот уже 5 лет был неоспоримым главой государства и партии; незадолго до описываемых событий он подверг свои методы суровому испытанию коллективизацией и, вопреки всем прогнозам, победил. Однако этого было ему недостаточно.

Вопреки всем идеям Маркса, в Советском Союзе сталинской эпохи создалось положение, при котором экономические и общественные силы не определяли метода правления. Наоборот, центральным фактором были личные соображения правителя, которые выливались в действия, часто противоречившие естественным тенденциям этих сил. Идеалистическая концепция истории в этом смысле оказывалась неожиданно справедливой. Ибо Сталин создал механизм, способный справляться с общественными силами и побеждать их. Общество было перестроено по его формулам. Оно не сумело перестроить самого вождя.

Доктор Александр Вайсберг, физик, сам оказавшийся жертвой сталинского террора, высказал однажды следующее: марксистский подход к истории — и, можно сказать, любой социологический подход к политике — действительны только «для систем, позволяющих применение статистических концепций» [1] так же, как и применение других точных наук. Если же общество организовано так, что воля одного человека или небольшой группы оказывается наиболее мощной из всех политических или общественных сил, то марксистские или любые социологические объяснения системы должны уступить место, по крайней мере в очень значительной степени, объяснениям психологического характера.

Итак, мы подошли к исследованию личных свойств Иосифа Сталина. Однако перед этим хорошо вспомнить слова из книги Артура Кестлера «Тьма в полдень» (никогда, к сожалению, не издававшейся в СССР [2], где она была бы особенно необходимой):

«Что происходило в мозгу „Номера 1“?.. Что творилось в этих округлых серых полушариях? Известно все об отдаленных спиральных туманностях, а об этих полушариях — ничего. Вероятно, поэтому история — больше гадание, чем наука. Возможно, позже, много позже, историю будут изучать с помощью статистических таблиц, дополненных анатомическими срезами. Учитель напишет на доске алгебраическую формулу, представляющую условие жизни масс определенной нации в определенный период: „Здесь, граждане, вы видите объективные факторы, обусловившие этот исторический процесс“. А потом направит указку на серый туманный ландшафт между второй и третьей лобными долями мозга „Номера 1“: „Здесь вы видите субъективное отражение этих факторов. Во второй четверти 20-го века оно привело к триумфу тоталитарного принципа на востоке Европы“. А пока эта стадия не достигнута, политика остается скверным дилетант-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1989, № 9. См. также прим.[1]) на с. 142.

[1] Alexander Weissberg. «Conspiracy of silence», London, 1952, p. 507.

ством, простым предрассудком и черной магией...».

Как пишет Милован Джилас, голова Сталина «не была отталкивающей: что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское», но его лицо было рябым, а зубы неровными. В темно-карих глазах мелькали светло-коричневые искорки. Подвижность его левой руки и плеча была ограниченной — результат несчастного случая, происшедшего с ним в десятилетнем возрасте. Туловище Сталина было коротким и узким, а его руки чересчур длинными.

Ко времени второй мировой войны, когда его впервые увидели многие обозреватели, он отрастил довольно большой живот; волосы стали очень редкими; лицо было бледным с красноватыми щеками. Подобный облик был общим явлением в высших советских кругах, он даже получил ироническое название «кремлевский цвет лица» и был результатом постоянной ночной работы в кабинетах.

Подобно многим властолюбивым людям, Сталин был очень мал ростом, всего около 160 см. С помощью особых подкладок в обуви он делал себя выше на 2—3 см, а на парадах 1-го мая и 7-го ноября стоял на деревянной подставке, добавлявшей ему еще 5—8 см. В 1935 году, в разговоре с Федором и Лидией Дан, Бухарин сказал:

«Его даже огорчает невозможность убедить всех, в том числе себя самого, что он ростом выше окружающих. Это его несчастье; это, быть может, его наиболее человечная черта, и, возможно, его единственная человеческая черта; однако его реакция на свое „несчастье" не человечна — это почти дьявольская реакция. Он не может не мстить за это другим, особенно тем, кто в чем-то лучше или одареннее его...».

Сомнительно, чтобы когда-нибудь возникла возможность проследить, что происходило в Гори, где родился и рос Сталин, в более или менее достоверных деталях. Во всяком случае, наиболее необходимый вид исследования — свободный опрос родственников и современников в том районе — невозможен. Но даже если бы это и стало возможно в ближайшее время, теперь уже слишком поздно. Не имеется ведь даже ни одного определенного и общепризнанного психологического исследования о формировании характера Гитлера; а уж по имеющимся отрывочным и сомнительным свидетельствам о раннем детстве Сталина не сто́ит и пускаться в какую-либо попытку восстановления истины; правда, сегодня осталось не так много историков, пытающихся выводить главные черты характера взрослого человека из каких-то свидетельств о его раннем детстве, дошедших через третьи руки. Тем более, что в случае Сталина сомнительны даже основные факты. По одним свидетельствам его отец был безнадежный пьяница; по другим — не был. Биографам приходится выяснять такого рода вопросы, но от автора этих строк этого не требуется.

Отсутствие точных данных о детстве Сталина огорчает еще по одной причине. Если бы можно было точно указать условия, в которых из ребенка вырастает сталиноподобное существо, то стоило бы предпринять похвальную попытку создать всемирное законодательство, предупреждающее такие условия.

Даже рождение Сталина окутано легендами. Грузины, озабоченные репутацией своей страны, говорят о татарском или осетинском происхождении Сталина. В период его величия ходила история о том, что он был незаконным сыном грузинского князя и служанки. Фактически из раннего детства Сталина достоверно известно только одно — он был сыном деревенского сапожника (который относился к сыну то ли хорошо, то ли плохо — расхождения в свидетельствах существуют уже на этот счет). Отец скончался, когда Сталину было 11 лет, оставив воспитание сына на долю его работящей и сильной духом матери. В возрасте около 15 лет Сталин прервал обучение в начальном училище в Гори и поступил в духовную семинарию в Тифлисе, откуда его не то исключили, не то отчислили по состоянию здоровья, когда ему было около 20 лет.

Это случилось в 1899 году. К тому времени Сталин уже вступил в партийные круги, в которых ему предстояло провести весь остаток жизни; к 1901 году он оставил всякую иную деятельность, кроме деятельности профессионального революционера.

Ранний период пребывания Сталина в социал-демократических организациях Кавказа — все еще очень малоисследованная тема. Утверждения троцкистов, что он тогда не играл важной роли и был пассивен, явно тенденциозны. Еще меньше правды в обожествляющих Сталина рассказах периода 30-х и 40-х годов, где его описывали как «кавказского Ленина». Но, по-видимому, достоверно то, что в 1903 году он был избран членом исполкома закавказской федерации социал-демократической партии.

Вся ранняя история закавказских большевиков полностью затемнена трудами ряда историков. Главное состоит в том, что большевизм не сумел пустить корней в Грузии, и те, кто позже стали большевиками, были не более чем случайными бунтарями в крупной и деятельной меньшевистской организации.

После провала революции 1905 года Ленину остро нужны были деньги для партийных фондов. Эти фонды Ленин

стал пополнять за счет ограбления банков, и тогда Сталин сделался видным организатором налетов на банки на Кавказе, хотя сам он никогда не принимал прямого участия в грабежах. В то время подобные «экспроприации» широко осуждались в европейском и русском социал-демократическом движении, и Троцкий, в числе других, указывал на их деморализующий эффект. Это почувствовал до некоторой степени и Ленин, он попытался подчинить «боевые группы» строгому контролю и устранить из них полубандитские элементы. Что до Сталина, то у него колебаний на сей счет не было. Однако после прихода Сталина к власти упоминания об этой его деятельности на Кавказе полностью прекратились.

Каковы бы ни были тактические сомнения Ленина, беспощадность Сталина ему импонировала. И в 1912 году Сталин был кооптирован в Центральный Комитет партии. С тех пор — и в сибирской ссылке, и в центральном руководстве — он оставался высокопоставленным, хотя и незаметным деятелем большевистского движения.

В последний период жизни Ленина его оценка «чудесного грузина» изменилась. Ленин говорил, что «в кушаньях этого повара слишком много будет перца». Троцкий рассказывает, и это выглядит достоверно, что Ленин восхищался Сталиным за «его твердость и прямоту», но в конце концов разглядел «его невежество... его очень узкий политический кругозор, его исключительную моральную черствость и неразборчивость в средствах». Понадобилась, однако, прямая ссора, чтобы Ленин на почве личного недовольства, а не политической ненадежности, потребовал смещения Сталина. Да и то не устранения его от власти, а только снятия с поста генерального секретаря, где «грубость» была, по мнению Ленина, неподходящей.

Говорят, будто примерно в тот же период Сталин говорил Каменеву и Дзержинскому: «Избрать жертву, разработать точный план, утолить жажду мести и потом отдыхать... Ничего нет слаще на свете».

Этот разговор Сталина с Каменевым и Дзержинским довольно часто цитируют, и приписываемое Сталину высказывание отвечает его собственной практике. Но все же не очень вероятно, что он стал бы говорить столь открыто перед своими возможными, в то время еще не настороженными соперниками. Ведь, как правило, его противники начинали понимать неутолимость Сталина слишком поздно. Впрочем, сегодня уже нет необходимости изучать вопрос о сталинской неразборчивости в средствах или об исключительной мстительности его натуры.

Сталинский метод спора, до сих пор господствующий в Советском Союзе, можно проследить, начиная с его первых статей в 1905 году. Основными признаками этого метода служат выражения вроде «как известно» или «не случайно». Первое из них применяется вместо доказательства любой, самой противоречивой оценки; второе используется для того, чтобы установить связь между двумя событиями, когда нет никакого свидетельства или подобия такой связи. Читатель найдет много примеров таких и подобных выражений в текущих выступлениях советских деятелей.

Подобные фразы чрезвычайно иллюстративны и многозначительны. В авторитарном государстве трудно возражать на заявления, вроде: «как хорошо известно, троцкисты являются фашистскими агентами». А мысль о том, что ничто не случайно — кстати, эта формулировка свойственна параноикам,— дает возможность представлять любую ошибку и слабость как часть сознательного заговора.

Такой подход согласуется с рассказами о знаменитой сталинской подозрительности. Хрущев говорил:

«...Сталин был очень недоверчивым человеком, он был болезненно подозрителен; мы знаем это по работе с ним. Он мог посмотреть на кого-нибудь и сказать: почему ты сегодня не смотришь прямо? или: почему ты сегодня отворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза? Такая болезненная подозрительность создала в нем общее недоверие и к выдающимся партийцам, которых он знал годами. Всюду и везде он видел врагов, лицемеров и шпионов».

Из-за своей подозрительности Сталин всегда оставался начеку. В политике, особенно в политике «острого стиля», это было отличным тактическим принципом.

Невозможно сказать, насколько Сталин действительно ценил принципы, им провозглашаемые. На закрытом заседании XX съезда КПСС в феврале 1956 года, после ряда ужасающих разоблачений сталинского террора, Хрущев сделал следующее заключение:

«Сталин был убежден, что это было необходимо для защиты интересов трудящихся против заговоров врагов и против нападения со стороны империалистического лагеря. Сталин смотрел на все это с точки зрения интересов рабочего класса, интересов трудящегося народа, интересов победы социализма и коммунизма. Мы не можем сказать, что его поступки были поступками безумного деспота. Он считал, что так нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия!»

Многие, пожалуй, не согласятся с тем, что в этом вся трагедия. Но, возвращаясь к нашей теме, невозможно сказать, каковы были истинные мотивы Сталина. Тот

факт, что он всегда высказывал точку зрения, приписываемую ему Хрущевым, еще не подтверждает его искренности. Думал ли он, что положение вещей, которое он создал и считал хорошим, было социализмом, которому он поверил в юности? Находил ли он режим подходящим для своих собственных целей и для русской действительности? Ответить точно невозможно.

Бывший советский специалист по ракетному делу профессор Токаев, с конца сороковых годов живущий на Западе, вспоминает о нескольких совещаниях высшего советского руководства в связи с проектами межконтинентальных ракет. Он приводит слова Сталина о том, что рассматриваемый проект позволит «легче разговаривать с великим лавочником Гарри Трумэном и поприжать его в меру необходимости». После этого, по словам Токаева, Сталин повернулся к нему и сделал «любопытное замечание»: «Как видите, мы живем в сумасшедшее время».

Ни о ком другом из советских руководителей не известно, чтобы он в личном разговоре выражал что-либо, кроме прямого и циничного желания сокрушить Запад. А философское замечание Сталина определенно идет глубже. Отражало ли оно истинные раздумья Сталина и его попытки самооправдания, было ли признаком той чувствительности Сталина к отношению окружающих, о которой так много сказано? Догадаться невозможно.

Когда в 1947 году Литвинов был снят с поста министра иностранных дел, он продолжал регулярно встречаться со своим старым другом Сурицем — одним из немногих старых советских дипломатов, переживших годы террора. Они часто обсуждали характер Сталина. Оба соглашались, что во многом он был великим человеком. Но его поведение невозможно было предугадать. Да и упрям был, отказываясь рассматривать факты, не соответствующие его желаниям. Оба полагали, что он только воображал, будто служит народу. Встречавшийся в то время с обоими Илья Эренбург в последней, шестой книге своих воспоминаний передает, что после одной из таких бесед Суриц сказал ему: «Беда даже не в том, что он (Сталин) не знает, как живет народ, он не хочет этого знать — народ для него понятие — и только».

Как бы то ни было, есть свидетельства, что Сталин, действительно, верил: уничтожение доходов с капитала есть единственный принцип социалистической морали, оправдывающий все другие действия. Вероятно, справедлив вывод Джиласа: «В конечном счете, Сталин — чудовище, которое придерживалось абстрактных, абсолютных и в основе своей утопических идей — успех их на практике был равнозначен насилию, физическому и духовному истреблению».

За исключением бесценных, хотя и ограниченных сведений, содержащихся в книге дочери Сталина, личные черты этого человека останутся в большой степени загадкой.

Однако похоже, что человечные моменты в его жизни, как бы мало их ни было, возникали в связи с его женами. Когда умерла первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе, один из его друзей по семинарии, меньшевик Иремашвили, сопровождавший покойную со Сталиным на кладбище, вспоминает слова Сталина: «...Это существо смягчало мое каменное сердце. Она умерла, и с нею умерли мои последние теплые чувства к людям» *.

Вторая жена, Надежда Аллилуева, придерживалась старых революционных идей. Рассказывают, что она пришла в ужас, когда узнала о страданиях людей во время коллективизации. По-видимому, она получила бо́льшую часть информации от студентов на курсах, которые ей было позволено посещать, и эти студенты были арестованы немедленно, когда Сталин дознался об этом.

Самоубийство Аллилуевой 9 ноября 1932 года было результатом последней дикой ссоры с мужем, которого она обвинила в палачестве. Все ранние свидетельства сходятся в том, что Сталин терял самообладание и оскорблял ее в присутствии своих друзей (хотя это несколько смягчено в рассказах, дошедших затем до его дочери). Если Надежда, вслед за Екатериной, и задевала сердце Сталина, то все равно это сердце не было мягким ни в каком смысле, и человеческие черточки заметны в поведении Сталина лишь в сопоставлении с его обычными манерами.

Аллилуева оставила письмо, которое «было не просто личное письмо: это было письмо отчасти политическое» [1]. Есть мнение, что это заставило его думать — не без оснований, конечно,— что у него есть всюду враги, отчего его подозрительность очень возросла. Так или иначе, смерть Аллилуевой глубоко подействовала на Сталина. Он ощущал досаду весь остаток жизни, обвиняя в самоубийстве «врагов» (и даже Мишеля Арлена, чью книгу «Зеленая шляпа» Аллилуева читала в то время) [2].

Брат Надежды, старый большевик Павел Аллилуев, был политическим комиссаром в бронетанковых частях. Его взяли под особое наблюдение. Позже он рассказал старому знакомому, что со времени смерти сестры его не допускали к Сталину, и кремлевский пропуск был у него отобран. Ему стало ясно, что, по мнению

---

[1] С. Аллилуева. Двадцать писем к другу. Нью-Йорк, 1967, с. 108 (письмо 10-е).

[2] Там же.

Ягоды и Паукера, он стал опасен для Сталина в том смысле, что мог отомстить за сестру. В 1937 году он был снят со своего поста и назначен на незначительную должность в советской торговой делегации в Париже. Вероятно, Павел Аллилуев умер в том же году естественной смертью, хотя позднее его жена получила 10 лет за то, что якобы его отравила.

Интересный добавочный свет на семейные отношения Сталина проливает история его сына Василия. Со своим старшим сыном от первой жены, Яковом, Сталин всегда был в плохих отношениях, время от времени подвергал его мелким преследованиям. Эти чувства между Сталиным и Яковом были взаимными. Но к Василию, сыну Надежды Аллилуевой, Сталин относился совсем по-иному. Все, кто встречался с этим молодым человеком, рассказывают о нем с презрением и отвращением. Он был тупым и злым человеком, полуграмотным пьяницей; профессор Токаев называет его «зверски избалованным школьником, впервые выпущенным во внешний мир». Несмотря на очень скверную успеваемость в Кашинской летной школе, где он имел особого инструктора, Василий Сталин был переведен в советские военно-воздушные силы без единой плохой отметки и к 29 годам был уже генерал-лейтенантом авиации. Все необузданные выходки сходили ему с рук. «Его тащили за уши наверх, не считаясь ни с его силами, ни со способностями, ни с недостатками,— думали угодить отцу».

Однако, в конце концов, Сталин отстранил сына от командования авиационным соединением за пьянство и непригодность к работе. И вообще похоже, что отец никогда прямо не продвигал сына в его военной карьере. Скорее, подчиненные Сталина не осмеливались делать ничего другого, кроме выдачи молодому человеку восторженных рекомендаций, несмотря на полное отсутствие профессионального умения.

Биографы Сталина много пишут о его тщеславии. Но, по крайней мере, до последнего периода его жизни, это тщеславие не проявлялось в дворцовой помпезности. До второй мировой войны он одевался с традиционной большевистской скромностью в простой военный китель и темные брюки, заправленные в сапоги. Он жил без претензий в небольшом доме на территории Кремля, где прежде помещались царские слуги. Собственность и деньги, как таковые, не играли никакой роли в его жизни. В 30-х годах его официальная зарплата составляла около 1000 рублей в месяц — если сравнивать по покупательной способности, то это гораздо меньше, чем сейчас получает английский рабочий низкой квалификации. Эти деньги получал один из его секретарей и распоряжался небольшой суммой, вносил коменданту Кремля скромную квартплату за Сталина, погашая партийные взносы, оплачивая проезд в отпуск и т. д. Сталин не обладал ничем, но имел право абсолютно на все — так же, как далай-лама или микадо в старые времена. Его дача в Барвихе и Приморская правительственная дача № 7 в Сочи были «государственной собственностью».

При всей этой личной простоте Сталин давно имел среди своих коллег репутацию завистливого соперника. Когда во время гражданской войны началось награждение орденом Красного Знамени и этот орден получил Троцкий, Каменев предложил, чтобы Сталину тоже дали орден. Новый глава государства Калинин удивленно спросил: «За что?». Тут вмешался Бухарин: «Как вы не понимаете? Это ведь ленинская мысль. Сталин не может жить, если у него нет чего-либо, что есть у других. Он никогда этого не простит». На последних стадиях «культа личности» Сталин был поднят на недосягаемую высоту поразительной лестью — как гений не только в политике, но также в стратегии, в науках, в литературном стиле, философии и вообще во всем. Его фотографии смотрели с каждого забора, советские альпинисты доставляли бюсты Сталина на вершины каждой советской горы, он был объявлен, вместе с Марксом, Энгельсом и Лениным, четвертым политическим гением эпохи. История была, разумеется, соответствующим образом переписана, так что его роль в революции стала решающей. На XX съезде партии Хрущев рассказывал, как Сталин вписал в свою собственную «Краткую биографию» следующий абзац:

«Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не допускал в своей деятельности и тени самомнении, зазнайства, самолюбования».

Хрущев продолжал:

«В первоначальном тексте этой книги была следующая фраза: „Сталин — это Ленин сегодня“. Фраза показалась Сталину слишком слабой, и он изменил ее собственной рукой на следующую: „Сталин — достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии: Сталин — это Ленин сегодня“. Видите, как хорошо сказано, но не народом, а самим Сталиным.

...Я приведу еще одну вставку, сделанную Сталиным относительно военного гения Сталина: „Товарищ Сталин развил дальше передовую советскую военную науку. Товарищ Сталин разработал положение о постоянно действующих факторах, решающих судьбу войны, об активной обороне и законах контрнаступления и наступления, о взаимодействии родов войск и боевой техники в современных

условиях войны, о роли больших масс танков и авиации в современной войне, об артиллерии, как самом могучем роде войск. На разных этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности обстановки".

Дальше Сталин пишет: „Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в наступлении. [...] С гениальной проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими войсками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства"».

Можно утверждать, что дело было именно в шаткости сталинских претензий на руководство. Надо было, следовательно, возвеличить его заслуги и представить подъем Сталина к власти как закономерный. Ленину, чье руководство в партии было подлинным и общепризнанным, такие методы не требовались. Для Сталина же они были, по крайней мере частично, необходимым цементом, скреплявшим его власть. Проницательный советский дипломат 30-х годов писал: «Каждый, кто воображает, будто Сталин верит этим восхвалениям или упивается ими в эгоистическом желании получать розовый обман, досадно ошибается. Сталин этим не обманывается. Он считает это полезным для своей власти. Он также получает удовольствие, унижая этим интеллигентов...».

Обсуждать характер Сталина и его убеждения — это не то же самое, что оценивать его способности. О последних имеются две точки зрения. Согласно одной из них, он был безошибочным гением, «корифеем науки», вдохновенным руководителем человечества и т. д. Согласно другой точке зрения, он был посредственностью. Первая точка зрения, принятая (во время жизни Сталина) профессором Берналом, Хрущевым и другими, подверглась настолько разрушительной критике, что нам вряд ли стоит ее рассматривать.

Еще имеет влияние на умы и противоположный взгляд — что Сталин был ничтожеством, достигшим высшей власти благодаря везению и низкой хитрости. Правда, большинство из тех, кто придерживается этой теории, допускает, что Сталин был также и чудовищем. Но они не наделяют его многими другими активными качествами.

Меньшевик Суханов, историк по профессии, вскоре ставший жертвой Сталина, писал в 1917 году, что Сталин производит не больше впечатления, нежели серое пятно. Троцкий называл Сталина «наиболее выдающейся посредственностью нашей партии» [1]. А гораздо позже, в 1956 году, Хрущев говорил: «Я вряд ли погрешу против истины, если скажу, что 99 процентов из присутствующих здесь слышали и знали очень мало о Сталине до 1924-го года». Действительно, он производил мало впечатления на речистых политиканов, каких было немало в то время в партии. Так что некоторые основания для подобных суждений у Троцкого и его последователей были. Но, как выявили последующие события, суждения были поверхностны. Качества, которых не имел Сталин и которыми обладал Троцкий, были не главными для политического величия. И только Ленин среди всех большевистских руководителей распознал способности Сталина.

Еще не пришло время совершенно объективного взгляда на карьеру Сталина — взгляда на его технику деспотизма как на искусство. Тем не менее нельзя, вместе с побежденными соперниками Сталина и их интеллектуальными наследниками, сбрасывать со счетов его блестящее политическое умение, которое привело к таким огромным и ужасающим последствиям.

Сталин неплохо владел марксизмом и хотя приспосабливал это растяжимое учение к своим надобностям не так искусно и эластично, как его соперники и предшественники, он все же делал это достаточно хорошо для своих целей. Отсутствие у Сталина настоящего теоретического ума отмечали многие, и это, по-видимому, его обижало.

В июле 1928 года Бухарин сказал Каменеву, что Сталина «снедает тщеславное желание стать известным теоретиком. Он считает, что ему не хватает только этого». Старый знаток марксизма Рязанов однажды прервал Сталина, когда тот взялся теоретизировать: «Брось, Коба, не ставь себя в глупое положение. Каждый знает, что теория это не твоя область». Тем не менее важнейший теоретический отправной пункт Сталина — как, рассказывая об этом, отмечает английский биограф Сталина И. Дейчер — социализм в одной стране, каким бы грубым и немарксистским он ни выглядел, был сильной и привлекательной идеей.

Тот же И. Дейчер писал, однако, что у практиков сталинского типа интерес к философии и теории был очень ограничен и что полуинтеллигенция, из которой социализм набирал часть своих кадров среднего уровня, пользовалась марксизмом лишь как средством для экономии умственного труда. Но такой взгляд преувеличивает философскую неуклюжесть Сталина. Или скорее, пожалуй, переоценивает других большевистских философов вроде Ленина, с которыми сравнивается Сталин. Единственное ленинское выступление в чисто философской области — «Материализм и эмпириокритицизм» — наименее интересная из всех его работ. С другой стороны, сталинская краткая сводка марксизма, данная в главе 4 «Краткого курса истории ВКП(б)», представляет собою хоть и скромное, но ясное и доходчивое изложение темы. Ведущий коммунистический теоретик Георг Лукач, который в некоторой степени отвернулся от сталинизма, недавно отметил: «Поскольку мы имеем дело с изложением, написанным в популярной форме для масс, нельзя обвинять Сталина в неумении свести весьма тонкие и сложные доводы классиков по этой теме к нескольким определениям, пронумерованным в схематической форме учебника».

За исключением Зиновьева, Сталин был единственным «не интеллигентом» в ленинском руководстве. Но его познания в наиболее существенных областях были немалыми. Джилас утверждает, что «хорошо знал Сталин только политическую историю, особенно русскую, и обладал исключительной памятью. Больше ему ничего и не нужно было для той роли, которую он хотел играть».

В 1863 году Бисмарк напомнил прусскому парламенту, что «политика это не точная наука». Для любого предыдущего поколения это было бы обыкновенным трюизмом, но, по-видимому, Бисмарк выразился столь определенно потому, что на тогдашнюю историческую науку наступал новый рационализм, и профессора социальных и политических наук требовали строгости. Среди русских коммунистов послереволюционного периода эта тенденция достигла полного развития. Они все претендовали на политическую ученость, они все применяли методы точнейшей политической науки, разработанной Марксом, этим Дарвином общественных наук. Все обсуждалось только в теоретических терминах.

К несчастью, теории оказались неверными, и претензии на научную строгость были, по меньшей мере, преждевременными. Даже если бы их формулировки были ближе к приписываемой им определенности, то все равно сомнительно, насколько преуспели бы эти руководители в реальной политике: ведь профессора баллистики — не обязательно хорошие стрелки. Вышло так, что наделенный большой интуицией Сталин, хотя и не столь способный анализировать и планировать свои действия в теоретических терминах, имел более оперативное представление о реальности.

Как отмечает его дочь, Сталин «совершенно обрусел». Он не изучал русского языка до 8- или 9-летнего возраста и всю жизнь говорил с акцентом. Но он говорил хорошо, и его лексика была нередко богатой и живой в грубом смысле слова. Не очень хорошо образованный, он тем не менее был начитан в русских классиках — особенно хорошо знал сатириков Щедрина и Гоголя. В молодости он даже прочел много иностранных авторов в русских переводах — в особенности Виктора Гюго, а также популярные работы по дарвинизму и общественно-экономическим темам. Жандармские донесения конца прошлого века свидетельствуют, что студенты тифлисской духовной семинарии читали «подрывную» литературу такого сорта, и имя Сталина появляется в семинарском кондуите несколько раз в связи с обнаружением у него подобных книг из местной «дешевой библиотеки». Это показывает, что в те годы Сталин занимался самообразованием.

Литературный стиль Сталина не отличался тонкостью, и этим он тоже заслужил насмешки своих противников. Джилас связывает грубость сталинского стиля с отсталостью революционной России. «В его трудах можно найти общие места, позаимствованные подчас у отцов церкви, что объясняется не столько его религиозным воспитанием, сколько примитивностью его мышления, свойственной вообще доктринерам-коммунистам». Джилас отмечает также, что «его язык был бесцветен и однообразен, но его упрощенная логика и догматизм были убедительными для людей, неспособных критически мыслить». Однако можно сказать и больше. Ясные и простые доводы привлекательны не только для «простых» умов. Бывший советский сановник пишет: «Именно отсутствие у него блеска, его простота заставляли нас верить тому, что он говорил».

Многие описывают Сталина до странности угрюмым человеком, однако он умел быть и очаровательным; он обладал грубым юмором — весьма самоуверенным юмором, но не совсем лишенным тонкости и глубины. Этим он отличался от Ленина и Троцкого, совершенно лишенных чувства юмора.

Сомнительно, конечно, чтобы он добился какого-либо успеха в более политически развитом обществе, но в тех политических условиях, в которых он работал, Сталин показал себя истинным мастером. Он далеко затмил всех своих соперников в тактике борьбы. По словам Бухарина, он был мастером «дозировки» —он всегда давал нужную дозу в нужное время. Бухарин, по-видимому, считал это нелестным отзывом, что свидетельствует только о недостаточной политической умелости Бухарина. Фактически это, конечно, хороший комплимент по поводу одной из самых сильных черт Сталина.

Все свое положение Сталин завоевал

---

[1] Л. Д. Троцкий. Моя жизнь. В 2-х томах. Берлин, изд-во «Гранит», 1930. Т. 2, с. 255. Несколько выше (с. 241) Троцкий говорит, что «как высшее выражение аппаратной посредственности и поднялся Сталин».

окольными маневрами. Стоит заметить только, что с 1924-го по 1934 год не было ни одного резкого государственного переворота того типа, каких было уже несколько в послесталинский период. Сталин умел напасть на человека, дискредитировать его, а потом как бы пойти на компромисс, тем самым ослабив противника, но еще не уничтожив его. Шаг за шагом позиции его противников подрывались, и они по одному устранялись от руководства.

Ленин видел эту особенность политической методологии Сталина. Когда Ленин хотел нанести поражение Сталину по грузинскому вопросу в последние дни своей активной жизни, оно велел своему секретарю Фотиевой не показывать Каменеву записок, подготовленных для Троцкого. Иначе, по мнению Ленина, об этих записках узнал бы Сталин и «пошел бы на гнилой компромисс с целью обмана».* [3] Интересно, что именно этим Сталин и занимался в течение нескольких месяцев после смерти Ленина, проявляя фальшивую умеренность, служившую успеху его замыслов.

Сталин никогда не предпринимал непоправимых шагов до тех пор, пока не был совершенно уверен в их успехе. Ввиду этого его противники часто сталкивались с дилеммой. Они никогда не знали, как далеко он пойдет. И часто обманывались, думая, что он будто бы подчинялся воле большинства Политбюро, а следовательно с ним можно работать. Даже когда он настойчиво требовал террористических решений в вопросах об участниках оппозиции, его противники могли предполагать, что это было частично влияние Кагановича и других и что Сталина можно отговорить от подчинения этому влиянию при помощи убедительных доводов. Примечательно: среди различных решений, предлагавшихся с 1930 г. и дальше, почти не было проектов полного отстранения Сталина от власти, что было бы единственным средством спасти положение.

Так, небывалым в истории способом, Сталин вел свой «государственный переворот по чайной ложке» и дошел до величайшей бойни, все еще производя впечатление некоей умеренности. Своей молчаливостью и спокойной манерой разговора он не только обманул многих иностранцев, но и внутри страны, даже в самые пиковые моменты террора, его не очень обвиняли во всех преступлениях.

Профессор Тибор Самуэли, в свое время вращавшийся в самых высших кругах сталинского Советского Союза и Венгрии Матиаса Ракоши, отмечает, что вообще Ракоши был более образованным и в каком-то смысле более интеллигентным человеком, чем Сталин. Но он делал весьма неосмотрительные заявления. Наиболее важный пример: в период процесса над Ласло Райком в 1949 году Ракоши заявил в речи, что он проводил бессонные ночи, распутывая своими руками все нити заговора. Когда Райк был реабилитирован, эта речь стала смертельным оружием против Ракоши. Но и помимо этого, признание Ракоши показывало, что даже в те времена и народ и партия обвиняли лично его во всех злодеяниях, связанных с террором.

Сталин, никогда не говоривший и словом больше, чем было необходимо, и во сне не сделал бы такого грубого разоблачения. То, что большой террор считался в основном делом рук наркома внутренних дел Ежова, было триумфом Сталина. «Да не только я, очень многие считали, что зло исходит от маленького человека, которого звали „сталинским наркомом“. Народ окрестил те годы „ежовщиной“». Так пишет Илья Эренбург. Он рассказывает о встрече с Пастернаком в Лаврушинском переулке зимней снежной ночью. Пастернак «размахивал руками среди сугробов: „Вот если бы кто-нибудь рассказал про все Сталину!“. Мейерхольд тоже говорил: „От Сталина скрывают“...».

На самом деле все было наоборот. Так, карикатурист Борис Ефимов пишет, что Мехлис по дружбе рассказывал его брату Михаилу Кольцову, как производились аресты. «Мехлис показал ему несколько слов, написанных красным карандашом и адресованных Ежову и ему, Мехлису, с приказом арестовать всех упомянутых в показаниях лиц» [1]. Это касалось, как говорил Кольцов, людей еще свободных и занимавшихся своей работой, но на самом деле уже осужденных на уничтожение «одним росчерком карандаша». Ежову остались «чисто технические детали — оформить „дела“ и выписать ордера на арест».

В общем, сталинские «достижения» настолько необычны, что его вряд ли можно с пренебрежением назвать просто бесцветным, посредственным человеком, лишь с определенным талантом в области террора и интриг. Во многих отношениях Сталин вообще был очень сдержанным, скрытным человеком. Рассказывают, что в ранней юности, будучи побежден в споре, он не проявлял эмоций, а лишь саркастически улыбался. Бывший секретарь Сталина однажды весьма глубоко заметил: «Он в высокой степени обладал даром молчания и в этом отношении был уникален в стране, где все говорили слишком много». Цели Сталина и даже его таланты были неясны большинству его соперников и коллег.

Поскольку Сталин не разъяснял и не излагал своих точек зрения и планов, многие думали, что он их вообще не имел — типичная ошибка болтливых интеллигентов. «Выражение его лица,— замечает один наблюдатель,— ничем не выдает его чувств».

[1] М. Кольцов. Каким он был. Сб. Сост. Н. Беляев. М., 1965, с. 71.

Константин Симонов пишет [1], что «у него было то, годами, тщательно, навсегда выработанное выражение лица, которое должно было быть в присутствии этих людей у товарища Сталина, как он уже давно мысленно, а иногда и вслух, в третьем лице, называл самого себя». На заседаниях Политбюро он спокойно слушал; так же вел он себя в присутствии именитых гостей, покуривая свою данхилловскую трубку, бесцельно рисуя что-нибудь в блокноте. Его секретари Поскребышев и Двинский писали, что блокноты были покрыты фразами вроде «Ленин — учитель — друг», но последний из иностранцев, видевший Сталина (это было в феврале 1953 года), заметил, что он рисовал волков.

Все более ранние описания сходятся в том, что одной из характерных черт Сталина была «леность». «Первое качество Сталина — леность, поучал меня когда-то Бухарин»,— пишет Троцкий [2], отмечая, что «Сталин никогда серьезной работы не выполнял», с большой систематичностью занимаясь, однако, интригами. То же самое можно сказать по-другому: Сталин уделял должное внимание мелким подробностям политического маневрирования. Он сам говорил: «Никогда не отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое,— в этом один из важных заветов Ильича». Сто́ит, право, вспомнить иронические слова бывшего германского главнокомандующего генерал-полковника барона Курта фон Хаммерштейна относительно его офицеров: «Я делю моих офицеров на четыре категории... Человек умный и прилежный годится на высокий штабной пост; тот, кто умен и ленив, подходит для самого высшего командования, ибо у него хорошие нервы, способные справиться с любой ситуацией; можно также использовать глупого и ленивого человека; но глупый и старательный человек опасен и должен быть немедленно смещен». Характерная черта Сталина в политической борьбе — как раз его хладнокровие. Он обладал высокой целеустремленностью и значительным терпением, а также исключительной способностью оказывать и снимать давление в нужные моменты. Все это и позволило ему пройти через ряд критических ситуаций до полной победы.

Сталинское превосходство над соперниками заключалось, несомненно, в его сильной воле. Недаром Наполеон ставил то, что он сам называл «моральной стойкостью» своих генералов, выше и гения и опыта. Во время югославо-советских переговоров в Москве в военные годы Милован Джилас сказал Сталину, что сербский политик Гаврилович был «лукавый человек». На это Сталин заметил, как бы про себя: «Да, есть политики, считающие, что хитрость в политике — самое главное...». Сталин обладал силой воли, доведенной до логической крайности. Есть нечто нечеловеческое в почти полном отсутствии у него нормальных пределов силы воли.

Говорят, что Сталин постоянно читал Макиавелли, что вообще вполне разумно. В главе 15 макиавеллиевского «Государя» он мог бы найти простой совет: правители ни в коем случае не должны творить злодеяний, ибо это может стоить им потери власти; однако, когда доходит до самого худшего, «они не должны дрожать перед обвинениями в злодействе, если оно необходимо для защиты государства», в то же время делая все возможные усилия «избежать репутации злодеев». Или, например, в главе 18 Макиавелли рекомендует проявлять милосердие, верность слову и т. п., замечая в то же время, что государь, «а особенно новый государь должен часто действовать в духе, противоположном этим качествам».

Когда в феврале 1947 года Сталин принял известного кинорежиссера Эйзенштейна и актера Н. К. Черкасова в связи с постановкой второй серии фильма «Иван Грозный», он дал свою собственную характеристику грозного царя. Он не осуждал его, как это обычно делается, за жестокость и беспощадный террор, а, наоборот, сказал своим собеседникам, что Иван был великим и мудрым правителем, он защитил страну от проникновения иностранных влияний и стремился к объединению России. Черкасов пишет, что «Иосиф Виссарионович отметил также прогрессивную роль опричнины». Критика Ивана Грозного Сталиным сводилась к тому, что царь (опять цитирую Черкасова) «не сумел ликвидировать пять оставшихся крупных феодальных родов». По этому поводу Сталин не без юмора добавил: «Тут Ивану помешал Бог» — ибо после ликвидации одного боярского рода царь Иван каялся целый год, «тогда как ему нужно было бы действовать еще решительнее» [1].

[1] В кн. «Солдатами не рождаются».
[2] Моя жизнь, т. 2, с. 184.

[1] Н. К. Черкасов. Записки советского актера. М., 1953, с. 380—381. По словам С. М. Дубровского («Вопросы истории», 1956, № 8), „Записки" Черкасова были подготовлены к изданию при жизни И. В. Сталина. Никаких возражений ни со стороны последне-

Сталин разбирался и в том, как подрывать политическую репутацию своих противников. В некоторых отношениях он мог поучиться у другого тоталитарного вождя, которым он до известной степени восхищался. Вот какой рецепт для проведения политических чисток дает Адольф Гитлер:

«Искусство руководства, проявляемое истинно великими, народными вождями во все века, состоит в концентрации внимания всего народа на одном-единственном противнике и в умении позаботиться о том, чтобы это внимание не дробилось на части... Гениальный вождь должен уметь представить различных противников так, будто они принадлежат к одной и той же категории; ибо слабые и колеблющиеся натуры могут легко начать сомневаться в своей правоте, если столкнутся с различными врагами... Всех различных по их внутренней природе врагов необходимо поэтому собрать вместе, с таким расчетом, чтобы массы ваших сторонников могли видеть только одного общего врага, против которого им следует бороться. Это укрепляет их веру в свою правоту и усиливает их ненависть по отношению к противнику».

Однако Сталин был глубже и сложнее Гитлера. Его взгляд на человечество был циничным, и когда он вслед за Гитлером стал практиковать антисемитизм, это была скорее политика, чем догма. Зачатки сталинского антисемитизма, или, пожалуй, правильнее, антисемитской демагогии, обнаруживаются еще в 1907 году, когда он вспоминал в «Записках делегата», печатавшихся в маленькой подпольной газете, выпускавшейся под его руководством в Баку: «По этому поводу кто-то из большевиков заметил шутя (кажется, тов. Алексинский), что меньшевики — еврейская фракция, большевики — истинно русская, стало быть, не мешало бы нам, большевикам, устроить в партии погром».

В августе 1952 года по приказу Сталина была расстреляна группа еврейских писателей. Но обвинения против них были политического характера — им инкриминировали попытку создать обособленное государство в Крыму. Это обвинение имело даже некоторое подобие связи с реальностью: после войны еврейский антифашистский комитет однажды поднял вопрос о переселении евреев на Крымский полуостров. В так называемом «деле врачей-убийц» 1953 года большинство обвиняемых были евреи, но было несколько и неевреев. Еврейский элемент в «деле врачей» был подчеркнут публично, но опять же под покровом связи с «сионизмом». А во время антисемитской кампании, предшествовавшей «делу врачей», еврейских литераторов называли «космополитами» («Троцкий, Радек, Зиновьев, Каменев, критики-космополиты... Какая-то врожденная склонность к предательству», — думает бюрократ в одном из рассказов Абрама Терца-Синявского) [1].

Когда западные критики указывали на несомненный антисемитский элемент в «деле врачей», то находились люди, которые выступали в том духе, что ведь обвинение предъявлялось и неевреям, и что сионизм, вообще говоря, имеет в какой-то степени антисоветскую направленность. Ибо, как мы увидим, сталинские политические намерения никогда не объявлялись настолько ясно, чтобы их можно было разоблачить. Ни в одном частном случае нельзя было вполне определенно сказать, каким именно будет его отношение к делу.

Такое загадочное поведение сбивало с толку даже опытных и умных людей. Лион Фейхтвангер, страстный защитник евреев, никогда не верил в преследование евреев Сталиным. Так же и Ромен Роллан, горячий поборник свободы творчества, был обманут Сталиным и не верил в отсутствие свободы творчества в советской литературе.

Такой завуалированный «антисемитизм» очень характерен для Сталина как пример использования, с одной стороны, предрассудков, а с другой стороны, легковерия и сговорчивости людей.

В широком смысле, в мировоззрении, Сталин принимал теории физиолога Павлова (ненавидевшего советский режим). Более того, Сталин истолковывал Павлова самым прямолинейным образом, считая его теории применимыми к человеческой личности. Академик Орбели и другие высказывали точку зрения, что Павлов имел дело лишь с элементарными нервными процессами у животных, а у человека необходимо принимать во внимание сопротивление, которое он оказывает построению условных рефлексов. Эта точка зрения по наущению Сталина была подвергнута разносной критике в «Правде».

Однако медленные, холодно рассчитанные действия, характерные для всей карьеры Сталина, — своего рода эффект ледника, постепенно кратчайшим путем надвигающегося на горную долину, — все это лишь часть сталинского характера. Несколько раз, особенно в молодые годы, спокойствие Сталина нарушалось и уступало место выражению сильнейших эмоций.

При жизни Ленина, если Сталин обижался, он мрачнел и целыми днями не появлялся на собраниях. Ленин говорил, что Сталин часто действует, движимый раздражением или злобой, и что злоба вообще играет самую худшую роль в политике. Ленин отмечал также резкость Сталина, его тенденции решать все административными мерами. В дни смерти Ленина Сталин чуть не совершил политического самоубийства своей «капризностью», и ему понадобилась вся его ловкость, чтобы восстановить положение.

го, ни со стороны лиц (Молотова, Жданова), присутствовавших при указанной беседе, не последовало. Очевидно, изложение беседы считалось правильным».

[1] «Суд идет», глава 1.

Последующий терроризм Сталина тоже не был целиком рационален. Сталин «практиковал грубое насилие не только по отношению ко всему, что противоречило его мнению, но также и по отношению к тому, что, по мнению его капризного и деспотического характера, казалось, не соответствовало его взглядам» [1]. Бывший американский посол в Советском Союзе, Джордж Кеннан, отмечал: «Для его глубоко недоверчивого ума ни один политический вопрос не существовал без личных соображений». А дочь Сталина пишет, что «если он выбрасывал кого-либо давно знакомого ему из своего сердца, если он уже переводил и своей душе этого человека в разряд „врагов“, то невозможно было заводить с ним разговор об этом человеке».

Не может быть сомнения, что Сталин неумолимо реализовывал свои антипатии — иногда даже через много лет. Но, конечно, это было лишь частично мотивом убийств, совершавшихся по его приказам. Ибо убийства распространялись и на друзей его, и на врагов, и на людей, которых он почти не знал, равно как и на его личных соперников. Люди, когда-либо повредившие Сталину, не пережили террора. Но не пережили, конечно, и те, которых оскорблял он сам, — вроде Баумана.

Тем не менее, хотя Хрущев и изображал Сталина капризным тираном, но это не обязательно несовместимо с известной логикой в поведении диктатора. Верно, конечно, что любой, против кого Сталин лично «имел зуб», почти автоматически включался в список смертников; но даже долгие годы ссор и интриг не могли привести к такому невероятному количеству жертв. Чтобы произвести эффект террора, нужно было не только покончить со всеми теми, кто раздражал Сталина и стоял на его пути; списки жертв нужно было составлять не только по капризу, но и другими методами.

Если рассматривать сталинский террор со статистическими данными в руках, как массовое явление, а не с точки зрения отдельных личностей, то он предстает в более рациональном виде. Отсутствие направленности на какие-либо определенные категории жертв — как могло бы быть у какого-нибудь Троцкого — указывает на осмотрительную извилистость террора и не дает критикам выявить сколько-нибудь ясно его цели. Сталин, возможно, считал, что террористический эффект получается тогда, когда арестовывается и расстреливается определенная часть данной общественной группы. Тогда остальные приводятся к повиновению и подчиняются без жалоб. И с этой точки зрения не так уж важно, кто избран в качестве жертв — особенно если все или почти все ни в чем не виноваты.

Заканчивая последнюю, шестую книгу своих воспоминаний, Илья Эренбург все еще спрашивал себя, почему одни были расстреляны, а другие спаслись. «Почему Сталин не тронул Пастернака, который держался независимо, а уничтожил Кольцова, добросовестно выполнявшего все, что ему поручали? Почему погубил Н. И. Вавилова и пощадил П. Л. Капицу? Почему, убив всех помощников Литвинова, не расстрелял строптивого Максима Максимовича?»

Каковы бы, однако, ни были «статистические» объяснения, действие личных капризов Сталина тоже бросает полезный свет на его характер. Английский писатель Гэмфри Слэтер, обладавший большим политическим опытом, отмечал в 40-е годы: «Похоже, что Сталин одновременно требует и ненавидит подхалимаж абсолютного подчинения». Эта мысль подтверждается и развивается дальше в недавних сочинениях Константина Симонова, который был близко связан с высшим советским руководством. В романе Симонова «Солдатами не рождаются» есть такой эпизод: во время войны Сталин получает письмо от генерала Серпилина, ходатайствующего об освобождении своего товарища и перечисляющего заслуги этого человека в годы гражданской войны. Симонов пишет:

«Воспоминания Серпилина нисколько не тронули Сталина. Решительность письма — вот что заинтересовало его. Рядом с деспотическим требованием полного повиновения, которое было для него правилом, в его жестокой натуре, как оборотная сторона того же правила, жила потребность встречаться с исключением. В нем по временам проявлялось нечто похожее на вспышки интереса к людям, способным на риск, на высказывание мнений, идущих вразрез с его собственным, действительным или предполагаемым. Зная себя, он знал меру этого риска и тем более способен был оценить его. Иногда. Потому что гораздо чаще бывало наоборот, в этом и состоял риск».

Сталин дает Серпилину аудиенцию, и разговор проходит довольно хорошо:

«Серпилин, уходя, считал, что его судьба уже окончательно решилась в разгово-

[1] Доклад Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС.

ре со Сталиным. Но на самом деле она до конца решилась не тогда, в разговоре, а сейчас, когда Сталин молча смотрел ему в спину. Он часто вот так окончательно решал судьбы людей, глядя им уже не в глаза, а в спину, когда уходили».

К известным категориям людей Сталин, видимо, применял другие мерки. Его бывшие грузинские соперники и друзья были в большинстве расстреляны — так же, как и русские. Но в то время как Сталин не выказывал ничего, кроме презрения к большинству своих жертв, он поиному подошел к казни своего зятя, старого грузинского большевика Алексея Сванидзе, которого расстреляли в 1942 году по обвинению в том, что он был фашистским агентом.

Перед расстрелом Сванидзе сказали, что Сталин помилует его, если он попросит прощения. «Когда Сванидзе передали эти слова Сталина,— рассказал потом на XXII съезде Хрущев,— то он спросил: „О чем я должен просить? Ведь я никакого преступления не сделал". Его расстреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал: „Смотри, какой гордый: умер, но не попросил прощения"».

Еще более исключительный пример — судьба другого грузина, С. И. Кавтарадзе. Он был председателем Совнаркома Грузии с 1921-го по 1922 год, а затем Сталин свалил его вместе с остальными членами грузинского руководства в ходе борьбы, которая шла перед смертью Ленина и сразу после нее. Кавтарадзе был исключен из партии как троцкист в 1927 году и был среди тех, кого не реабилитировали в последующие годы. Разумеется, его арестовали и вынесли ему приговор в годы террора. Его видели в лагерях Мариинска и Колымы в 1936 году. Он был полностью лишен каких-либо партийных иллюзий. В 1940 году он все еще был в лагере. Однажды его вызвал комендант, и Кавтарадзе поехал под конвоем в Москву. К его величайшему удивлению, вместо того, чтобы расстрелять, его прямо в тюремной одежде привезли в Кремль. Его принял Сталин, любезно приветствовал и спросил, где он был все это время. Кавтарадзе был немедленно реабилитирован и в 1941 году послан в Министерство иностранных дел, где скоро стал заместителем министра. После войны он некоторое время был послом в Румынии.

Кавтарадзе был меньшевиком, и Сталин в целом был сравнительно мягок к тем бывшим меньшевикам, которые не принимали участия в дальнейшей партийной борьбе. Тем не менее это ясный пример того, как Сталин мог сознательно потворствовать своим капризам.

То же мы видим на примере ведущих противников Сталина в послереволюционной Грузии. Расстреляв Мдивани, Сталин сделал примечательное исключение, сохранив жизнь Филиппу Махарадзе. Хотя Махарадзе публично осуждался за разные ошибки, особенно в деликатной области истории грузинской компартии, он оставался председателем Президиума Верховного Совета Грузинской ССР до самой смерти в 1941 году и умер в почете. То, что Махарадзе пережил террор, очень странно — если, конечно, не считать наказанием четырехлетнее непрерывное ожидание ареста и не видеть в этом особенно тонкого акта мести.

Один своеобразный пробел в списках жертв террора напоминает нам о том, что в характере Сталина, возможно, оставались черты некоего кавказского рыцарства. Он не возражал против убийства или заключения в тюрьму женщин — «жены» упоминаются как нормальная категория подлежащих казни. Но внутри самых высших партийных кругов наблюдалось любопытное выживание старых большевичек. Вдова Ленина Крупская, конечно, в некотором смысле случай особый, хотя она довольно сильно противостояла Сталину в 20-е годы и даже нанесла ему личное оскорбление. Но Сталин, конечно, мог своей властью, движимый обычной злобностью, легко доказать, что жена Ленина предала своего мужа.

Есть, однако, много других старых большевичек, переживших террор. Елена Стасова пережила самого Сталина. Спаслась Л. А. Фотиева, секретарь Ленина, которая должна была знать очень многое в самой чувствительной для Сталина области — о разладе Сталина с Лениным в последние месяцы жизни вождя революции. То же можно сказать о К. И. Николаевой — единственной, кроме Крупской, женщины в составе ЦК 1934 года, которая в числе немногих других была избрана в ЦК и в 1939 году (когда она к тому же числилась «зиновьевкой»). Еще один пример — Р. С. Землячка, избранная в ЦК в 1904 году. Жестокая террористка, Землячка была главным сподвижником Бела Куна в крымской резне 1920 года, против которой возражал сам Ленин. И она выжила, тогда как Кун отправился в камеру смертников. Александра Коллонтай — звезда «рабочей оппозиции» — была женой Дыбенко и жила со Шляпниковым. Сверх всего этого, когда Коллонтай приняла линию Сталина, она осталась послом в Швеции — должность, которая почти для всех была роковой. И все же она прожила сталинскую эпоху нетронутой, на том же посту.

Психологи могли бы сделать из этой черты Сталина кое-какие выводы. Во всяком случае эта относительно человечная черта, возможно, отзвук Кавказа, так же как склонность к кровной мести. Но гораздо менее ясно, почему спаслась еще одна «категория»: бывшие большевистские депутаты Государственной думы. Все они (включая Григория Петровского, который находился под прямой угрозой в 1939 году) благополучно пережили террор.

После всего рассказанного нам все еще приходится вглядываться во мрак исключительной скрытности Сталина. Бывший высокопоставленный советский работник, человек очень проницательный, отмечает сталинское терпение и одновременно его капризность. Он пишет: «Эта редкая комбинация — главный ключ к его характеру». Несомненно, это здравая точка зрения, но и она не подводит нас близко к полному пониманию.

Сталин никогда не рассказывал, что у него на уме, даже в отношении политических целей. Но не приходится сомневаться, что в общем он знал, что собирается делать. Гораздо труднее, как мы видели, определить, до какой степени ясности доводил он свои замыслы даже для самого себя, насколько далеко смотрел он вперед во время каждого данного кризиса. В политике у Сталина было нечто менее определенное, чем плановое управление событиями. Скорее, это было чувство событий, ощущение их. И в этом он не превзойден никем из своих современников.

Однако и без уверенности в том, что у Сталина существовал сознательный план на долгий период, можно сказать, что жажда власти была его сильнейшей и наиболее очевидной движущей силой. В истории были люди вроде Кромвеля, чей путь к власти оказывался поистине случайным, кто и не планировал и не особенно желал такого результата. Сталин, совершенно определенно, не из таких.

В своем разговоре с Каменевым в июле 1928 года Бухарин сказал ясно: «Он может в любой момент изменить свои теории, если надо от кого-нибудь отделаться». Но с политической точки зрения в этом можно усмотреть последовательность. Во всех действиях Сталина можно найти единственное и главное стремление — укреплять свою собственную позицию. Для практических целей все остальное было подчиненным. И это привело его к абсолютной власти. Макиавелли писал, что хотя в деспотических государствах власть захватить довольно трудно, но, однажды захватив, ее сравнительно легко удерживать. Сталин захватил власть и удержал ее.

На протяжении четырех лет после убийства Кирова Сталин провел революцию, которая полностью преобразила партию и общество. Этот период, в гораздо большей степени, чем сама октябрьская революция, определил отрыв России от ее прошлого. Это была также наиболее глубокая травма из всех тех, какие потрясли население страны в предшествующие бурные десятилетия, с самого 1905 года.

Несомненно, что такой радикальный поворот мог быть проведен только на странном фоне советского прошлого, на фоне необычных традиций Всесоюзной коммунистической партии. И уже существовавшая к началу периода тоталитарная государственная машина была той точкой опоры, без которой нельзя было бы перевернуть мир. Но все же террористическая революция остается, как бы мы о ней ни судили, прежде всего, личным достижением Сталина. Если характер Сталина и не поддается прямому исследованию, то мы, во всяком случае, увидим, как этот характер с достаточной точностью проявлялся в его действиях в последующие годы, да и во всем облике государства, которое он создал.

Глава четвертая

ПРИЗНАНИЯ

— В чем проявлялся его фашизм?
*— Его фашизм проявлялся, когда он сказал, что в такой ситуации, как современная, мы должны прибегнуть к использованию всех возможных средств.**

Обмен репликами между Вышинским и Зиновьевым на суде в августе 1936 года

Шесть месяцев, последовавших за процессом Медведя — Запорожца, остаются одним из самых неясных периодов террора. Этот период начинается со смерти еще одного члена Политбюро при до сих пор не выясненных обстоятельствах и заканчивается еще одним судебным процессом, на котором даже существо обвинений не было объявлено публично — процессом Каменева и других. Однако общий характер периода ясен, и сейчас можно восстановить многие детали.

Когда схлынула после убийства Кирова волна террора, умеренная фракция в Политбюро продолжала настаивать на более мягкой политике. Действительно, можно было с равным успехом и доказывать, что убийство Кирова явилось признаком напряженности, с которой лучше всего справиться проведением более популярной политики, и выдвигать противоположные утверждения — что убийство указывало на необходимость дальнейшего террора.

Среди всех членов Политбюро председатель Госплана Валериан Куйбышев был, как полагают, наиболее активным сторонником линии Кирова. Английский историк Л. Шапиро считает возможным, что он был против январского суда над Зиновьевым — Каменевым. Вне Политбюро влиятельными сторонниками более мягкой линии были Максим Горький и Надежда Крупская. Общество старых

большевиков, которое на протяжении ряда лет было чем-то вроде партийной совести, резко протестовало против самой мысли о вынесении смертных приговоров участникам оппозиции. А среди ближайшего окружения Сталина той же точки зрения придерживался Авель Енукидзе, секретарь Центрального Исполнительного Комитета (ЦИК), руководивший, в числе других обязанностей, всей кремлевской администрацией.

Первой жертвой сталинских контрмер пал именно Енукидзе. Для начала его заставили выступить с небольшими, но многозначительными самообвинениями. 16 января 1935 года Енукидзе выступил в «Правде» со статьей на полстраницы; он писал о своих ошибках, допущенных в статьях для энциклопедии и других изданий и касающихся истоков грузинского большевистского движения. Ошибки состояли якобы в том, что Енукидзе преувеличивал собственную роль в большевистском движении Закавказья. Статья Енукидзе появилась в тот самый день, когда был вынесен приговор Зиновьеву и остальным — словно чтобы подчеркнуть связь между этими двумя событиями. Статья в «Правде» была началом быстрого падения Енукидзе.

Следующим сильным ударом по умеренным была смерть Куйбышева 26 января. Большинство подчиненных Куйбышеву по Госплану, включая его заместителя профессора Осадчего, были сняты с занимаемых постов за то, что возражали против плохо подготовленных ускоренных планов индустриализации в самом начале 30-х годов. Смерть Куйбышева была вначале подана как естественная, однако позже было заявлено, что он погиб в результате заведомо неправильного лечения по приказу Ягоды.

О смерти Куйбышева до сих пор трудно сказать что-либо определенное. Здравый смысл здесь не помогает. С точки зрения здравого смысла здесь возможны две версии. Согласно первой, смерть Куйбышева следует принять за естественную, поскольку нет абсолютно ясных свидетельств обратного. Ведь если Куйбышева лечили, то до этого он должен был хотя бы заболеть; в конце концов, люди смертны, и не следует обязательно пытаться подогнать каждую смерть под какой-то заранее подготовленный шаблон. Однако, по другой логической версии, Куйбышев был одним из трех членов Политбюро (другие двое были Орджоникидзе и Киров), открыто возражавших Сталину; один из них, Киров, был убит незадолго до смерти Куйбышева, а другому предстояла недалекая смерть якобы от сердечного приступа. «Медицинское убийство» в условиях того времени не было таким уж невероятным событием; и, кроме того, как раз в момент смерти Куйбышева Сталин ополчился на двух других сторонников умеренного течения — Горького и Енукидзе. Что же мог предпринять Сталин против члена Политбюро, наиболее для него опасного и наименее уязвимого? Была ли в распоряжении Сталина какая-либо мера против Куйбышева, кроме той, какую он так успешно применил к Кирову?

Читатель может подумать, что подозрения заводят нас слишком далеко. Однако подозрения в определенной степени оправданы, если принять во внимание следующее. В с е остальные девять членов Политбюро (и десять бывших членов Политбюро), умерших в период с 1934 по 1940 год, были жертвами Сталина; в с е его сторонники, возражавшие ему по вопросу террора, исчезли; и, что самое важное, остальные соратники Сталина по Политбюро, умершие до 1938 года, были тоже им убиты, но такими методами, что приписать убийство Сталину было нелегко.

Последняя фотография Куйбышева — на заседании Совета народных комиссаров — была сделана 23 января. 26 января было объявлено о его смерти от сердечной болезни. Среди подписавших медицинский бюллетень были Каминский, Ходоровский и Левин; подписи всех троих появились позднее под медицинским заключением о столь же внезапной смерти Орджоникидзе якобы по той же причине — что, как теперь ясно, было фальшивкой.

У Куйбышева, насколько известно, было слабое сердце, и он лечился, начиная, по крайней мере, с августа 1934 года. Его еще более ослабили острая ангина и последующая операция. Но в январе 1935 года он был в неплохом состоянии и еще работал за час или два до смерти.

Картина его смерти, данная на процессе Бухарина, была следующей. Куйбышев якобы страдал приступами стенокардии. Один из приступов случился с ним в кабинете, и ему позволили идти из Совнаркома домой без сопровождения, после чего он поднялся в свою квартиру на третий этаж. В квартире оказалась домработница, которая позвонила его секретарю и дежурному врачу, но когда они прибыли, Куйбышев был уже мертв.

На процессе говорилось, что смерть Куйбышева наступила от заведомо неправильного лечения, и что врачи во всяком случае должны были настаивать на постельном режиме. Врачей (и секретаря Куйбышева Максимова) позднее обвинили в том, что они действовали по приказам Ягоды. В этом нет ничего невозможного: ведь совсем незадолго до того высокопоставленный офицер НКВД помог в убийстве Кирова, а Левин как-никак был врачом НКВД. Но одинаково возможно и то, что если Куйбышев не умер естественной смертью, то был убит не таким способом, который был объявлен на процессе; возможно, другой член Совета народных комиссаров вышел из соседнего кабинета со стаканом отнюдь не лекарства. Если так, то вероятно, что истинные факты были известны только очень немногим, ныне покойным, и добраться до них не могут теперь даже следователи в СССР.

Среди тех, кто активно возражал против преследований членов оппозиции на протяжении всего периода, наиболее сильной фигурой был Максим Горький. Больше того, главной целью Горького было содействовать примирению партии с интеллигенцией — чтобы наставить советский режим, с которым вначале он был не согласен, на путь социалистического гуманизма. Горький верил, что советский режим и социалистический гуманизм совместимы. Во имя этой цели Горький скомпрометировал себя возвращением из Италии в 1928 году и защитой режима против внешних критиков.

Есть свидетельства, что Горький лично пытался помирить Сталина с Каменевым и даже, казалось, преуспел в этом в начале 1934 года, организовав их личную дружескую встречу. Каменеву предоставили работу в издательстве «Академия».

Говорят, что сразу после убийства Кирова Горький был сильно возмущен, причем его гнев был направлен против «антипартийных убийц». Но вскоре он вернулся в вопросах общей политики на свои «либеральные» позиции. Негодование Сталина по поводу оппозиции Горького выразилось в том, что тут же появились, впервые после возвращения Горького в страну, резко критические статьи о нем. Тем не менее, Горький продолжал свои усилия по примирению Сталина с оппозиционерами. То же делала и Крупская, главная союзница Каменева и Зиновьева в 1924 году.

В определенных пределах Крупская представляла моральную угрозу планам Сталина. Но, в отличие от Горького, она была членом партии и подчинялась той самой партийной дисциплине, которая заставила ее согласиться на сокрытие завещания мужа. Симпатии Крупской к зиновьевской оппозиции были общеизвестны в партии на протяжении нескольких лет. В результате к моменту, о котором идет рассказ, она потеряла большую часть престижа, которым пользовалась в высоких кругах, хотя имя ее было все еще популярно в партийных массах. Неизвестно точно, какими методами Сталин привел Крупскую к молчанию. Известно лишь, что однажды Сталин обронил, что если Крупская не перестанет его критиковать, то партия объявит, что не она, а старая большевичка Елена Стасова была женой Ленина. «Да-да,— добавил Сталин строго,— партия все может» [4)].

Во всяком случае, Крупская могла сделать лишь очень немногое. Было нетрудно изолировать ее от контактов с иностранцами, окружить сотрудниками НКВД и в то же время призвать к повиновению партийным приказам — опять-таки в отличие от Горького. Есть сведения, что на протяжении последних лет Крупская находилась под постоянным страхом убийства. Но Сталин — по его меркам, разумеется,— относился к Крупской сравнительно хорошо, он не выдвинул против нее ложных обвинений и (насколько известно) не отравил ее.

1 февраля 1935 года пленум ЦК избрал Микояна и Чубаря на посты в Политбюро, освободившиеся со смертью Кирова и Куйбышева. Жданов и Эйхе были избраны кандидатами в Политбюро. В той степени, в какой Микоян поддерживал экстремистскую линию Сталина в период террора (и в какой Жданов поддерживал ее среди кандидатов), эти выборы были победой Сталина. И все же он еще не был полностью готов опрокинуть «умеренных» в руководящих политических органах.

Что касается ключевых организационных постов в партии и в террористической машине, дело выглядело иначе. Секретарем ЦК стал испытанный и безжалостный исполнитель Николай Ежов, а 28 февраля он был дополнительно назначен на важный пост председателя Центральной Контрольной Комиссии. Несколькими днями позже другой видный молодой сталинец, ставленник Кагановича, Никита Хрущев был сделан первым секретарем московского обкома партии. К июню Андрей Вышинский стал генеральным прокурором, а к 8 августа 1935 года пост заместителя Ежова по отделу кадров ЦК занимал Георгий Маленков.

Таким образом, к середине 1935 года Сталин лично подобрал людей, которые вскоре показали себя подлинными энтузиастами террора. Под контролем этих людей находились Ленинград и Москва. Сталин мог быть спокоен и насчет Закавказья, где правил Берия. Такие же люди работали в Центральной Контрольной Комиссии, в важнейших отделах секретариата ЦК и в генеральной прокуратуре; а руководство НКВД, если и оказалось в дальнейшем неудовлетворительным для Сталина, то было, во всяком случае, полностью под его контролем.

Но в формальных органах партийной власти — в ЦК и Политбюро — Сталин еще не достиг такой же самой мертвой хватки. Во главе многих областных комитетов партии стояли люди, подчинявшиеся с неохотой. А руководство на Украине было того же типа, от которого Сталину пришлось отделаться в Ленинграде с по-

мощью пули убийцы. Однако для атаки на эти старые кадры уже был установлен хороший трамплин.

В течение того же внешне спокойного периода шел медленный, но верный прогресс в контроле над мыслями и в чистке партии. Циркуляром от 7 марта 1935 года предписывалось изъятие из всех библиотек сочинений Троцкого, Зиновьева и Каменева. Еще один циркуляр, датированный 21 июня, дополнил этот список Преображенским и другими.

19 мая 1935 года Центральный Комитет разослал на места закрытое письмо, призывавшее выявлять «врагов партии и рабочего класса», еще остававшихся в рядах самой партии. Особая резолюция ЦК от 27 июня (по-видимому, типичная) определяет взыскания членам комиссии по партийной чистке одной из западных областей за недостаточную бдительность.

Закрытым письмом от 13 мая 1935 года назначена еще одна «проверка». В результате из проверенных 4100 членов партии тогдашнего Смоленского района Западной области было исключено 455 членов — после 712 устных выступлений на партийных собраниях и 200 письменных доносов. На одного партийца донесли, будто он признавал, что имеет у себя «платформу троцкистов». Другой член партии, профессор, дал в свое время хорошую характеристику троцкисту, а потом «не выражал своего отношения к контрреволюционному троцкизму». Группа рабочих-коммунистов написала донос на свое местное партийное руководство за то, что оно... не прислушивалось к доносам. На партийных собраниях типичными репликами были, например, такие: «Есть сведения, что Смолов женат на дочери купца Ковалева, и что парторг второй группы в институте — сын человека, которому был объявлен строгий выговор». К 1 августа, как отмечено в докладе, подписанном Ежовым и Маленковым, в весьма представительном районе Западной области 23 % всех партийных билетов было либо отнято, либо удерживалось партийными органами на период расследования.

Еще более поразительны были некоторые изменения в советских законах. Законом от 30 марта ношение холодного оружия — попросту ножа — было объявлено преступлением, влекущим лишение свободы до 5 лет. Закон от 20 июля 1934, позднее включенный в Уголовный кодекс (статья 58, пункты 1 а, 1 б, 1 в и 1 г), был еще более потрясающим поворотом, полностью показывающим стиль сталинской эпохи. Этим законом устанавливалась смертная казнь за бегство за границу как военного, так и гражданского лица; в случае бегства военнослужащего члены его семьи, знавшие о намерениях беглеца, подлежали заключению сроком до 10 лет; а «остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения преступления» — подлежали «ссылке в отдаленные районы Сибири на 5 лет». То была поистине новинка!

В «Курсе советского уголовного права», изданном в 1955 году, эти меры все еще оправдываются. Авторы с одобрением говорят о «применении специальных мер к совершеннолетним членам семьи военнослужащего-изменника при перелете или побеге его за границу, в тех случаях, когда совершеннолетний член семьи ничем не способствовал готовящейся или совершенной измене и даже не знал о ней». Авторы книги оправдывают это следующим образом: «...Политический смысл (этого закона) заключается в усилении общепревентивного действия уголовного закона для предупреждения такого тягчайшего злодеяния, как совершение военнослужащим перехода или перелета за границу, в результате которого сам виновный не может быть подвергнут наказанию».

Фактически перед нами грубое и открытое введение системы заложников — показатель того, в каком направлении шли мысли Сталина и в других случаях [1].

Еще более чудовищным, но столь же важным для общих планов Сталина было постановление от 7 апреля 1935 года, распространившее все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с 12-летнего возраста.

Это постановление было замечено на Западе, что дало повод пропаганде, чрезвычайно неблагоприятной Советскому Союзу. Многие удивлялись, как это Сталин публично объявил подобный закон. Даже если он действительно намеревался расстрелять детей, то это можно было бы сделать без огласки. Так, например, один старый сотрудник НКВД рассказывает, как за два-три года до того количество беспризорных было снижено путем повальных расстрелов [2].

Как выяснилось впоследствии, Сталин имел особые причины для объявления такого закона. С его изданием он мог грозить участникам оппозиции, что их дети будут уничтожены на вполне «законном» основании, как соучастники, если арестованные оппозиционеры не выполнят того, чего он от них требовал. Сам факт, что Сталин, публикуя закон, пошел на ухудшение репутации страны во всем

[1] Во время войны это было распространено шире и введены наказания «по страшной статье, каравшей родственников тех, кто сдался в плен» (С. Аллилуева. Двадцать писем к другу, с. 173 — письмо 17-е).

[2] A. Orlov, p. 53.

мире, придавал этому шагу зловещую серьезность.

Трудно сказать, почему начальный возраст был установлен в 12 лет. Вероятно, члены оппозиции имели детей соответствующего возраста. Могло сыграть роль и то, что у Сталина был приблизительный прецедент, против которого оппозиция в свое время не возражала. Это — казнь тринадцатилетнего цесаревича Алексея, уничтоженного вместе со своей царской семьей в екатеринбургском подвале 16 июля 1918 года.

А что касается момента издания закона, то, хотя Сталин и обладал великолепным предвидением в подобных маневрах, похоже, что в данном случае мы должны связать этот закон с событием, которое происходило как раз тогда.

Об этом событии почти ничего не опубликовано. Речь идет о попытке связать оппозицию с заговором, направленным на убийство Сталина. В истории об этом заговоре есть, по-видимому, какое-то зерно правды. Имеется несколько свидетельств о якобы покушении на Сталина в библиотеке Центрального Исполнительного Комитета — покушении, исполнительницей которого называют молодую графиню Орлову-Павлову. «До суда она не дожила — ее расстреляли немедленно после ареста, чуть ли не по личному приказу Сталина» [1]. Около 40 человек было арестовано весной 1935 года. В их числе — кремлевские охранники и сотрудники НКВД, которые якобы служили связными в заговоре убийц. В последующий период вокруг этого дела шла глухая борьба.

Сталин снова намеревался привлечь к делу оппозицию. У Каменева был брат — художник Розенфельд, чья жена работала кремлевским врачом. По этой ничтожной родственной связи имя Каменева начало фигурировать в деле. Ежов, как представитель Центральной Контрольной Комиссии, требовал для него смертной казни. Но это требование встретило сопротивление. Особенно энергично протестовал Горький.

Другого ведущего сторонника умеренной линии уже удалось заставить замолчать. Секретарь ЦИК Енукидзе отвечал, как уже сказано, за всю администрацию Кремля. И было легко обвинить его в халатности — или даже соучастии — по поводу любого заговора внутри кремлевских стен. Более того, Енукидзе долгое время оказывал определенную протекцию некоторым скромным и не участвовавшим в политике уцелевшим представителям дореволюционных классов, конечно с ведома Сталина. Теперь и эта защита обернулась против него. Наиболее вероятно, что он был снят со своих постов еще в марте — с обещанием ответственной должности на Кавказе. Это обещание не было выполнено.

Вместе с Енукидзе был снят его доверенный человек — комендант Кремля латыш Р. А. Петерсон. В свое время Петерсон командовал поездом Троцкого — знаменитой подвижной ставкой верховного главнокомандующего в годы гражданской войны. Убрав Петерсона из Кремля, его не сразу арестовали, а перевели на должность помощника командующего войсками Киевского военного округа, которую он занимал до 1937 года и в том же 1937 году был ликвидирован. Позже (в 1938 году) его имя фигурировало в списке военных заговорщиков, которые якобы готовили переворот в Кремле; причем говорилось, что Петерсон был подобран для этой цели самим Енукидзе.

Авель Енукидзе был не единственным старым партийцем, выражавшим сомнения по поводу жестокости нападок на оппозицию. Во время дела ленинградского комитета партии отдельные заслуженные члены партии, Общество старых большевиков и столь же почетное Всесоюзное Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев занимались сбором подписей во влиятельных кругах под петицией в Политбюро против казни участников оппозиции. Даже Сталин внес предложение не принимать этой меры в данном процессе. Теперь это рассматривалось как фракционная деятельность. 25 мая Центральный Комитет партии распустил Общество старых большевиков, а для его ликвидации назначил комиссию, в которую входил Шкирятов и которая состояла главным образом из молодых сталинцев, в том числе Маленкова.

Общество старых большевиков имело собственное издательство, которое публиковало мемуары членов Общества и некоторые теоретические книги. Было почти немыслимо, чтобы новый режим не счел многое в этой литературе, особенно в мемуарах, «неподходящим». Как обычно, Сталин совместил политический ход с утолением своей личной мести.

В конце июля «Правда» начала публиковать отрывки из работы Берии «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Это сочинение было просто прославлением Сталина и публиковалось теперь как пример того, каким отныне должен быть правильный подход к прошлому партии. Было сказано, что до того Енукидзе и Орахелашвили извращали исторические факты с враждебными намерениями. Говорилось, будто историки эти не оценивали должным образом заслуг Сталина — хотя в свое время их работы выглядели подборкой фактов в его

[1] «Социалистический вестник», 1962, № 5—6 (Нью-Йорк), с.63—66 (статья Б. Николаевского).

пользу. Но уровень необходимой лести был теперь резко поднят.

19 мая 1962 года «Правда» писала о том, что падение Енукидзе было связано с желанием Сталина возвеличить свою собственную роль в истории кавказского революционного движения и что ответственным за это был «известный фальсификатор истории нашей партии, провокатор и авантюрист Берия». Между тем, и Берия, и весь вопрос об этих мемуарах могли играть лишь второстепенную роль; подобное истолкование дела Енукидзе представляет собой слишком поверхностный взгляд на истинные мотивы Сталина. Тем не менее, желание скрывать и извращать прошлое определенно имело значение.

Публикация мемуаров старых большевиков теперь прекратилась. Косиору, например, который считал, что «следует помочь ветеранам», Петровский рассказал, как Сталин заявил однажды на Политбюро: «Пусть этим займутся будущие историки».

К началу июня Енукидзе был политически объявлен вне закона. Одним из главных пунктов повестки дня пленума ЦК, проведенного 5—7 июня, были обвинения Енукидзе в «политическом и бытовом разложении». Доклад по этому вопросу сделал Ежов, и бывший секретарь Центрального Исполнительного Комитета был исключен из ЦК и из партии. (На место Енукидзе был назначен Акулов, до того времени занимавший пост генерального прокурора. Именно в тот момент генеральным прокурором стал Вышинский.) Вскоре газеты опубликовали резкие нападки на Енукидзе от имени двух молодых сталинских секретарей ленинградской и московской партийных организаций — Жданова и Хрущева. Енукидзе обвиняли в том, что он «предстал адвокатом злейших врагов рабочего класса» (Хрущев) и «обнаружил себя гнилым обывателем, зарвавшимся, ожиревшим, потерявшим лицо коммуниста, меньшевиствующим вельможей» (Жданов).

Говоря о «злейших врагах рабочего класса», обвинители Енукидзе, вероятно, имели в виду пожилую женщину дворянского происхождения, служившую хранителем кремлевских антикварных ценностей и возведенную в ранг агента классового врага. Есть также свидетельства, как сказано выше, что девушка, якобы пытавшаяся убить Сталина, была графиней. Во всяком случае, связь между этими странными обвинениями по адресу Енукидзе и предполагавшимся кремлевским покушением неоспорима. В то время Енукидзе не судили, официально его, по-видимому, обвиняли только в халатности. Но уже в начале 1937 года он был под арестом.

Следующий удар был нанесен по Обществу бывших политкаторжан, которое было распущено 25 июня тем же способом, что и Общество старых большевиков. И опять ликвидацией дел Общества занялась комиссия, на сей раз во главе с Ежовым. Многие члены Общества политкаторжан — те, кто участвовал в кампании за милосердие,— были либо сразу, либо по прошествии некоторого времени арестованы. Ветеран партии Лобов, особенно активный в протестах против внутрипартийного террора, умер, как передают, от сердечного припадка во время следствия.

Хотя старые революционеры и оказывали некоторое сопротивление Сталину, главный отход от сталинской линии и от него самого наблюдался в самом младшем молодом поколении коммунистов. Как уже говорилось, сотрудники НКВД в ходе расследований по убийству Кирова обнаружили, что среди руководителей молодежи раздавались бунтарские высказывания. Еще более угрожающим было то, что убийство Кирова вдохновило различные группы молодежи на разговоры о возможности убийства Сталина и даже на составление планов убийства. Правда, все эти разговоры и планы носили любительский характер, и силы заговорщиков не могли сравниться с полицейскими силами нового режима. Так или иначе, подобные группы молодежи неуклонно арестовывались и расстреливались. Но комсомол в целом тоже нуждался в основательной чистке. В конце июня была объявлена реорганизация комсомола с целью устранения из него врагов партии.

В целом шаги Сталина, предпринятые им на протяжении последних шести месяцев, очевидно усилили его позицию. И тем не менее, все политические ходы не смогли, например, сломить сопротивление смертному приговору в отношении Каменева. Было ясно, что это могло быть достигнуто только сплошным террором, направленным против более умеренных сталинистов. А почва для этого еще не была как следует подготовлена. И Сталин на время отложил этот план.

Поэтому 27 июля Каменев был приговорен секретным судом к 10 годам заключения по статье 58-8 уголовного кодекса. Статья означала террористические действия против советских официальных лиц. Брат Каменева Розенфельд выступил тогда свидетелем обвинения. Фигурировали на этом процессе другие члены оппозиции или нет — сказать сейчас невозможно.

Точно так же неизвестно, судили ли в то время других предполагаемых кремлевских заговорщиков или только их, так сказать, старшего соучастника. Судили их вместе с Каменевым или расправа последовала еще раньше? Опять трудный вопрос. Но известен один результат: всего было вынесено 42 приговора, из них два смертных.

Сильное давление, оказанное Сталиным в летние месяцы, до известной степени продвинуло планы будущего террора. Роспуск обществ, объединявших старых большевиков, кампания против «гнилого либерализма» Енукидзе, новый приговор Каменеву — все это для Сталина было продвижением к цели. Тем не менее, это было трудное продвижение, и еще невозможно было устроить открытый процесс над Каменевым или даже приговорить его закрытым судом к смерти. Очевидно, необходимы были более тщательные приготовления. Последующие месяцы прошли в консолидации достигнутого и в подготовке образца, по которому НКВД мог в дальнейшем расправляться с оппозицией.

ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

С точки зрения террора период с июля 1935 по август 1936 года был по своим внешним проявлениям чем-то вроде идиллического антракта. Говорят, что народы, вообще не имеющие истории,— самые счастливые. Если так, то указанный период был действительно хорошим. Ни одной смерти члена Политбюро, никаких судов над важными участниками оппозиции, не смещена ни одна ведущая политическая фигура. Да и урожаи зерна в стране были в это время неплохими.

В декабре 1935 года пленум ЦК принял длинную резолюцию о проверке партийных документов. Позднее эта резолюция послужила организационной основой террора. Но сама по себе она выглядела безобидной. Более того, она объявляла, что чистка партии, начатая в 1933 году, теперь окончена.

А тем временем Бухарин и Радек были заняты проектом новой конституции. Они были активными членами комиссии по составлению этого проекта, созданной в феврале 1935 года. Проект был готов к июню 1936, и Бухарин, в частности, полагал, что с изданием этого документа будет уже невозможно пренебрегать мнениями и нуждами народа.

Это и правда был образцовый документ, предоставляющий, например, гарантии против произвольного ареста (статья 127), неприкосновенность жилища и тайну переписки (статья 128), да и вообще свободу слова, печати, собраний и демонстраций (статья 125). Тот факт, что Бухарин, один из авторов проекта, всерьез думал о возможности применения новой конституции, показывает, что даже он воображал, будто наступило настоящее послабление.

Мнение Бухарина о коммунистах было в то время следующее: они все хорошие люди, готовые к любым жертвам. Если они действуют предосудительно, то не потому, что они плохие, а потому, что плоха ситуация. Им следует понять, что страна не против них, и им нужно только изменить политику.

Бухарин вплотную подошел к той точке зрения, что большевизм нуждается в гуманизации, и он с надеждой смотрел на интеллектуалов — в особенности на академика Павлова и Горького,— ища у них поддержки. Павлов, великий физиолог, был резким противником коммунистов. Когда в середине 20-х годов имя Бухарина появилось в списке кандидатов в Академию наук, Павлов возражал против его кандидатуры, говоря, что этот человек «по колени в крови». Постепенно, однако, они стали друзьями. Передают даже, что Бухарин хотел ввести в проект новой конституции пункт о том, чтобы интеллигенция могла выдвигать своих кандидатов, будучи чем-то вроде «второй партии» — не для сопротивления режиму, а для конструктивной критики. Вот уж, действительно, туманный утопизм!

На деле Сталин просто изменил тактику. За спокойным фасадом шла неистовая деятельность. Были готовы все элементы, которые предстояло лишь собрать воедино, чтобы запустить большой террор. Прежде всего Сталин обеспечил себе прямой контроль над тайной полицией и насадил другие органы, ответственные только перед ним и способные, при умелом тактическом руководстве, обходить официальную иерархию партии и государства. Затем была уже установлена традиция подтасованных судов в политических целях; эта традиция не встречала в партии сильных возражений, поскольку обычай применять явную неправду для достижения определенных политических целей укрепился еще гораздо раньше. В-третьих, бывшие участники оппозиции смирились с тем, что под давлением особых обстоятельств, существующих в жизни коммунистов, они должны признавать ошибки, которых никогда не делали, если, по их мнению, это было в интересах партии. И, наконец, оперативники НКВД уже были приучены применять пытки, шантаж и фальсификацию — пусть пока, главным образом, к беспартийным.

Но если техническая сторона террора была подготовлена полностью, то этого нельзя было еще сказать о политической подготовке. Все еще было очень возможно, что если бы Сталин вновь поставил проблему террора, как он пытался ставить ее раньше, то натолкнулся бы на мощное сопротивление. И он выбрал другой метод. Дело должно было теперь готовиться в полной тайне — что не было трудно, поскольку обреченные зиновьевцы и троцкисты были уже под арестом. Секретное следствие должно было идти во время

летних отпусков и, в частности, в отсутствие самого Сталина. О смертных приговорах не должно идти речи до тех пор, пока они не будут вынесены; и даже тогда следует намекнуть на то, что приговоры могут быть смягчены. Но на самом деле смертные приговоры должны быть приведены в исполнение безо всякого обсуждения.

В тот самый момент, летом 1935 года, когда Сталин уступил в вопросе о смертном приговоре Каменеву, он сделал первые шаги к достижению того же результата своим «новым методом». В числе многих арестованных в то время была группа студентов-комсомольцев из города Горького, которая обвинялась в попытке покушения на Сталина. Фактически эти молодые люди не шли дальше разговоров, но уже одно это предопределило их смертную казнь. Обычная судебная процедура должна была состояться в конце лета, но внезапно дело было приостановлено для «доследования» по распоряжению Секретариата ЦК.

НКВД выбрал именно эту группу потому, что имел способ связать их с Троцким, а следовательно и построить на этом большой политический заговор. Связь с Троцким НКВД намеревался установить с помощью одного из своих людей — Валентина Ольберга.

Ольберг в прошлом был агентом иностранного отдела НКВД и работал в Берлине среди троцкистов как секретный информатор. В 1930 году он даже попытался получить пост секретаря Троцкого — это было одной из первых попыток НКВД проникнуть в ближайшее окружение изгнанного вождя. (Успех, как мы теперь знаем, был достигнут лишь в 1940 году.) С 1935 года Ольберг работал для секретного политического отдела НКВД, разоблачая троцкистские тенденции в Горьковском педагогическом институте, где и обучались члены вышеназванной группы. Назначение Ольберга в институт встретило сопротивление местных партийных работников — в частности, заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Елина. По мнению Елина, у Ольберга не было достаточной квалификации; кроме того, он был иностранец — латыш. Возражения Елина, направленные в ЦК партии, содержали, кроме того, верную догадку, что документы Ольберга были поддельными. Однако Ежов лично заставил принять Ольберга.

К началу 1936 года НКВД стал успешно расширять рамки этого комсомольского заговора. Был арестован ряд профессоров и преподавателей института. А Ольбергу приказали в порядке партийной и полицейской дисциплины признаться в том, что он служил связным между этой группой и Троцким. Ольбергу объяснили, что это было просто требованием НКВД и что независимо от приговора суда он будет освобожден и направлен на ответственный пост на Дальнем Востоке. И агент подписывал все, что от него требовали. Коротко говоря, Ольберг «признался», что был послан Троцким для организации убийства Сталина; что с этой целью завербовал преподавателей и студентов института, которые должны были организовать покушение на Сталина во время своей поездки в Москву на первомайский парад 1936 года.

Работа над делом Ольберга шла не прямо и потребовала времени. Например, Елина, который знал слишком много, казнили без суда, хотя имя его пришлось несколько раз упомянуть во время открытого процесса. В деле фигурировал брат Ольберга, П. Ольберг, и его показания оглашались на суде, хотя сам он не появлялся. Среди других обвиняемых был директор педагогического института Федотов. Он в чем-то «признался», однако был сочтен, видимо, недостаточно надежным, чтобы давать показания на публике, и до суда так и не дошел. Преподаватель химии Нелидов, который очень нужен был в этом деле как гипотетический изготовитель бомб, не был членом партии. Несмотря на дикое давление одного из наиболее страшных следователей, Кедрова-младшего, его не удалось сломить.

Тем не менее, к концу февраля 1936 года версия Ольберга была доработана до приемлемого вида, и НКВД определенно выбрал эту версию как базу для всего заговора оппозиции. Однако связи Ольберга были ведь только с Троцким. Необходимо было отыскать «троцкистско-зиновьевский центр» с какими-нибудь ниточками к Зиновьеву. Начальник секретного политического отдела НКВД Г. А. Молчанов собрал около сорока ведущих сотрудников наркомата на совещание. Он объявил, что раскрыт широкий заговор и что все они будут освобождены от текущих обязанностей, чтобы заняться расследованием по этому делу. Политбюро,— продолжал Молчанов,— считает свидетельства о заговоре абсолютно достоверными, и задача, таким образом, сводится к тому, чтобы выяснить детали. Не могло быть и речи о том, что кто-либо из арестованных невиновен.

Сидевшие на совещании высшие сотрудники НКВД немедленно поняли, что все дело — не более, чем инсценировка, поскольку они ведь годы подряд занимались надзором над оппозиционерами и никакой такой деятельности не замечали. Более того, если бы подобный заговор действительно выплыл наружу, а они о нем не подозревали бы, то им по меньшей мере грозили бы строгие выговоры. Сам факт переключения ведущих сотрудников НКВД на расследование этого так называемого заговора показывает, насколько мало сам Сталин верил в существование какой бы то ни было конспирации. Иначе как мог бы он снять большинство опытных сотрудников с расследования других дел, считавшихся тоже реальными? А он просто переключил этих людей с работы над их обычными повседневными судебными фарсами, потому что ему нужен был огромный, самый главный судебно-следственный фарс.

В лице НКВД Сталин имел теперь мощное и проверенное орудие. Во главе НКВД стоял Ягода. Заместителем наркома по вопросам безопасности был закадычный друг Сталина Агранов. Этот человек окончил свои «особые поручения» в Ленинграде и передал город в руки ужасающего Заковского. Как говорили, Заковский хвастал, что если бы ему пришлось допрашивать Карла Маркса, то он быстренько добыл бы признание, что Карл Маркс был агентом Бисмарка.

Центральным ядром полицейской машины НКВД было Главное управление государственной безопасности. Оно состояло из ряда хорошо организованных отделов, разделенных по, так сказать, профессиям, и специализировалось во всех видах следствия, допросов и фальсификации. Почти все ведущие сотрудники управления работали в нем около десяти лет и имели дело со всеми крупными процессами конца 20-х и начала 30-х годов. (Помимо этого механизма тайной полиции, НКВД управлял также милицией, пограничной охраной, своими собственными внутренними войсками, пожарной охраной и исправительно-трудовыми лагерями; Главное управление лагерей, ГУЛАГ, руководимое Матвеем Берманом, уже успело принять огромное количество жертв террора.)

Ягода, Агранов и Ежов, как представитель Центрального Комитета, играли главную роль в организации будущего процесса, а все основные совещания по этому вопросу вел лично Сталин. Первые трое осуществляли общее руководство, а технически ответственным за всю операцию был так называемый секретный политический отдел Главного управления государственной безопасности. Этому отделу были приданы сотрудники других отделов Главного управления, в том числе даже руководители отделов.

Секретный политический отдел, который берет начало еще со времен ЧК и всегда был ее ядром, оставался ключевым центром тайных полицейских операций. Этот отдел осуществлял руководство соответствующими местными органами по всей стране, отвечал за их работу и вел политическую борьбу против всех враждебных элементов. Как уже сказано, отделом руководил Г. А. Молчанов, совершенно беспринципный карьерист; его заместителем был некто Г. Люшков.

Ответственным за безопасность во всей промышленности был экономический отдел. Этот отдел занимался также и сельским хозяйством — но не транспортом, поскольку транспортный отдел существовал самостоятельно.

В советских условиях этот отдел имел такой же вес, как и секретный политический отдел. Именно экономический отдел провел такие судебные процессы, как, например, шахтинский, который хотя и не был политическим, основывался все же на так называемых экономических преступлениях. Руководитель экономического отдела Л. Г. Миронов обладал совершенно исключительной памятью, что очень ему пригодилось при фабрикации и обработке деталей первых двух процессов. Руководя своим обширным отделом, Миронов в то же время действовал как помощник Ягоды по всем вопросам государственной безопасности. Люди, знавшие Миронова, говорят о нем как о добросовестном партийце, который был подавлен преследованиями старых большевиков. Предыдущие дела, которые он организовывал и которые, по-видимому, не оказывали на него подавляющего действия, включали «промпартию» и дело инженеров фирмы Метрополитен-Виккерс; что ж, при всей политической значительности этих дел их все же можно было рассматривать как «экономические». Предстоявший процесс над Зиновьевым не имел отношения к экономике. Тем не менее Миронову была поручена в подготовке процесса важная роль.

Охраной руководителей партии и важных объектов, а также расследованием «террористических актов» занимался оперативный отдел. Главной задачей отдела считалась в то время защита лично Сталина. Начальник отдела К. В. Паукер или его заместитель Волович почти не отходили от Сталина, кроме тех моментов, когда он был в своем хорошо охраняемом кабинете; третье по старшинству лицо в отделе, некто Черток, занимался организацией охраны Сталина во всех возможных его передвижениях и местах пребывания.

Паукер был чем-то вроде злобного фигляра. В свое время он работал парикмахером и служителем оперных артистов в Будапеште и имел склонность к комическому актерству. Попав в русский плен в 1916 году, он вскоре стал членом коммунистической группы, которая возникла среди пленных. Человек невежественный и необразованный, без всяких политических убеждений, он был завербован в ЧК (подобно многим другим иностранцам в те дни) и стал проводить обыски и аресты. Он опять стал затем личным служителем, только уже Менжинского, который ему

доверял и в конце концов назначил его начальником кремлевской охраны и руководителем оперативного отдела. Паукер был в хороших отношениях и со Сталиным, который даже разрешал ему брить себя.

Административно-учетные функции во всей сети тайной полиции выполнял спецотдел. Сюда, в спецотдел, сходилась также вся информация относительно различных «антисоветских элементов». Во главе спецотдела стоял М. И. Гай.

Шпионажем и террором за границей ведал иностранный отдел. Начальник отдела, А. А. Слуцкий, лицемерный интриган, играл важную роль в допросах главных действующих лиц. Его заместителями были Борис Берман и некто Шпигельгляс.

Транспортный отдел во главе с А. М. Шениным был единственным, не принимавшим активного участия в подготовке процесса. У транспортного отдела и так были полны руки всевозможными обвинительными делами, которые Каганович непрерывно возбуждал против железнодорожников.

Весь этот аппарат работал, впрочем, достаточно гибко. Между отделами существовала постоянная связь. В обычае была также передача менее важных материалов из одного отдела в другой в порядке реорганизации.

Таков был боевой порядок штурмовых колонн террора, которые Сталин бросал теперь в атаку на беззащитных арестантов Лубянской тюрьмы.

Силы НКВД поддерживала еще одна организация — прокуратура. До 1933 года прокуратура еще не была централизована во всесоюзном масштабе — зато потом она стала одной из наиболее централизованных организаций СССР. Все местные прокуратуры полностью и одинаково подчинялись генеральному прокурору в Москве, пост которого к тому времени уже занимал Вышинский. В 1936 году Вышинский выпустил книгу под названием «Судоустройство СССР». В этой книге он открыто изложил принцип своей деятельности, а именно полное подчинение закона так называемым революционным требованиям. Согласно Вышинскому, любые расхождения между буквой закона и партийной политикой должны решаться только подчинением формальных указаний закона политике партии. Ближайшим помощником Вышинского был Рогинский — фанатик, который был способен оправдывать массовые ликвидации даже после того, как сам угодил в лагерь.

В готовящийся процесс был вовлечен председатель хлопкового синдиката Исаак Рейнгольд. Он был другом Сокольникова и имел связи с Каменевым. Сильный 38-летний человек, Исаак Рейнгольд оказался крепким орешком для следователей. Один из худших представителей НКВД, Черток, допрашивал Рейнгольда три недели подряд, часто по 48 часов непрерывно, без сна и пищи. В присутствии Рейнгольда был подписан ордер на арест его семьи. В конце концов ему вручили смертный приговор и сказали, что этот приговор будет приведен в исполнение автоматически и немедленно, если он не даст показаний. Рейнгольд и после этого отказался, но сказал, что подпишет что угодно, если получит прямые указания партии. Ягода не принял этого условия, и допросы продолжались. А затем вмешался Ежов. Он лично приказал Рейнгольду от имени Центрального Комитета партии дать требуемые показания. И к началу лета от Рейнгольда были получены необходимые свидетельства против группы Зиновьева.

НКВД арестовал также Ричарда Пикеля, писателя и драматурга, участника гражданской войны. К моменту ареста он работал в Камерном театре в Москве и совершенно не занимался политикой. Но в свое время он возглавлял секретариат Зиновьева.

Пикель был личным другом многих высокопоставленных сотрудников НКВД. Некоторое время он сопротивлялся на следствии, но потом его друзья обещали Пикелю жизнь. Это подтвердил Пикелю и лично Ягода. Тогда писатель согласился дать показания, но только против Зиновьева и самого себя. Что касается других, то Пикель сформулировал следующее правило: он будет показывать только против тех, против кого уже есть показания других лиц или кто оговорил самого себя.

Как видим, признания арестованных, за исключением Ольберга, добывались с известными трудностями. Есть сообщения, что Сталину пришлось привезти около 300 бывших участников оппозиции из тюрем и изоляторов, чтобы НКВД мог испытывать их как будущих участников открытого процесса. К маю было добыто около 15 подходящих признаний, и число их продолжало увеличиваться.

Не было необходимости использовать полученные свидетельства во всех деталях (фактически круг обвиняемых на процессе был ограничен восемью политическими фигурами плюс еще восемь мелких «соучастников», в основном провокаторов). Главной целью этой предварительной работы было предъявить добытые показания главным обвиняемым, которых пока не трогали, с целью оказать на них решающее давление.

В середине мая Сталин провел совещание с участием многих ведущих сотрудников НКВД и приказал им добыть больше связей с Троцким. К вящему неудовольствию иностранного отдела, Молчанов назвал еще двух агентов НКВД, которые работали в германской компартии и в Коминтерне,— Фриц-Давида и Бермана-Юрина. Оба были арестованы в конце мая, и не имели другого выбора, кроме как подчиниться данным им служебным инструкциям. Они подписали заявление, что в свое время были приняты Троцким и получили от него приказ убить Сталина.

Еще двое — ученый Моисей Лурье и хирург Натан Лурье — своим поведением на суде возбудили подозрение даже у западных журналистов, что они были провокаторами. Есть свидетельства заключенных, сидевших вместе с ними, но осужденных по другим делам, что оба Лурье не особенно даже и скрывали это. Они фигурировали на процессе как троцкистские террористы. Их показания были солидной добавкой к массе материала, накопленной теперь против участников оппозиции.

ИТАК, «ЦЕНТР»

К июню 1936 года все было в порядке, сценарий полностью подготовлен. Не было лишь показаний главных обвиняемых.

Отбор главных жертв представлял определенные трудности. Зиновьевская сторона была более или менее ясна. Зиновьев, Каменев и Евдокимов были признанными руководителями фракции, и вместе с Бакаевым, олицетворявшим якобы главную связь с убийством Кирова, они образовали вполне удовлетворительную группу. Более того, они все прошли уже длинный ряд допросов, дали какие-то показания, привыкли к тому, что шел постоянный торг насчет показаний на протяжении ряда лет, так что можно было считать, что эти люди наполовину сдались. Однако распространить заговор на троцкистов, как желал Сталин, оказалось не так-то просто.

Сам Троцкий, находясь за границей, был недосягаем, и большинство из его бывших сторонников, отрекшись от прежних взглядов, теперь работали на ответственных постах. Никто из них в последние несколько лет не был объектом серьезной критики. Сам по себе троцкизм, конечно, подвергался постоянным злобным нападкам, и различные мелкие троцкисты были арестованы или высланы после убийства Кирова. Но обвинительных кампаний против видных фигур троцкизма — таких кампаний, какая велась против Зиновьева и его сторонников в течение 18 месяцев,— не было.

Как было указано позже, сфабрикованный «центр» не включал «ни одного из старых политических руководителей» троцкистского направления. Трое отобранных для процесса ведущих троцкистов политически были совсем не на том уровне, что их зиновьевские коллеги. Тем не менее, И. Н. Смирнов, Мрачковский и Тер-Ваганян были люди с известной партийной репутацией. (Генеральный инспектор армии при Троцком — гигант и герой Муралов — был арестован 17 апреля, и, без сомнения, предполагалось вывести на суд и его; но он держался до декабря, и его появление на суде пришлось отложить.)

Только Смирнов был членом Центрального Комитета, но зато солидным: он считался одним из наиболее прославленных старых большевиков. По партийному стажу и положению он пользовался огромным авторитетом среди коммунистов. С 17-летнего возраста, рабочим парнем, Смирнов начал принимать активное участие в революционном движении и много раз арестовывался. Он провел долгие годы в царских тюрьмах и северной ссылке. Он сражался на баррикадах 1905 года, а во время гражданской войны вел Пятую Красную Армию на разгром Колчака. Несколько лет после революции Смирнов фактически управлял Сибирью и даже был там известен как «сибирский Ленин».

В 1922 году Смирнова прочили на пост ведущего секретаря ЦК, но этот пост получил Сталин. После высылки в 1927 году вместе с другими троцкистами Смирнов официально раскаялся, однако во время дела Рютина с одобрением отзывался о предложениях снять Сталина с поста и потому с тех пор так и не выходил из тюрьмы. Понятно, что Сталин питал к Смирнову особую личную неприязнь.

Может быть, именно эта неприязнь натолкнула Сталина на мысль включить Смирнова в «центр», хотя Смирнов физически не мог участвовать ни в чем подобном. Поскольку Смирнов находился в тюрьме в течение всего периода так называемого заговора, то даже Агранов, как говорили, пытался возражать, доказывая, что будет трудно придать обвинению против Смирнова какую-то видимость правдоподобия. Выслушав доводы Агранова, Сталин бросил на него угрюмый взгляд и сказал: «А вы не бойтесь, вот и все».

Обвиняемый Мрачковский тоже в прошлом воевал в Сибири. Позже, в 1927 году, он руководил подпольной троцкистской типографией и был арестован первым среди участников оппозиции. В обвинении он просто именовался «боевиком». Интеллигентный армянин Тер-Ваганян, по всем отзывам честный и скромный, достойно прошел революцию и гражданскую войну, а затем стал работать в области идеологии и журналистики. С 1933 года он тоже пребывал в сибирской ссылке.

Для подкрепления троцкистской стороны «центра» в дело был вовлечен еще Дрейцер — в прошлом командир личной охраны Троцкого и ведущая фигура в

троцкистских демонстрациях 1927 года. Обвинялся он не в том, что был членом «центра», а в организации террористических групп для убийств.

Первый опрос ведущих обвиняемых закончился полным провалом. 20 мая Смирнов коротко ответил: «Я это отрицаю; еще раз — я это отрицаю; я отрицаю» *. Допрос Мрачковского, по имеющимся свидетельствам, длился 90 часов без результата, хотя Сталин время от времени звонил и справлялся, как идут дела. Мрачковского водили к Молотову, который сделал ему какое-то компромиссное предложение. Но Мрачковский попросту плюнул ему в лицо.

Зиновьев тоже, как впоследствии было сказано в суде, «ожесточенно отрицал» * свою причастность к делу. Бакаев, согласно тому же источнику, «настойчиво отрицал» *. В общем, все настоящие участники оппозиции отказались в чем-либо признаваться. Они указывали, что бóльшую часть соответствующего периода провели либо в тюрьмах, либо в ссылке в отдаленных районах страны, а остальную часть периода — под строгим наблюдением НКВД. Тогда Молчанов дал понять следователям, что прежние указания относительно воздержания от незаконных методов следствия не следует принимать слишком серьезно. И есть сведения, что Евдокимов, который держался наиболее стойко и называл руководителей режима лицемерами и убийцами, подвергся особенно изощренным жестокостям.

Допрос Зиновьева и Каменева был поручен самым высокопоставленным сотрудникам — Агранову, Молчанову и Миронову. В это время у Зиновьева обострилась болезнь печени, и текущие допросы были отложены. Зиновьев еще раз написал в Политбюро, туманно принимая на себя «ответственность» за убийство Кирова. Это неопределенное признание было возвращено; от Зиновьева требовали «полного раскаяния, искреннего признания, что он руководил террористическим центром».

В отношении Каменева была сделана попытка добыть признание обычными методами следствия. Допросы вел Миронов. Но Каменев сопротивлялся, несмотря на все усилия, разоблачил Рейнгольда на «очной ставке» и вообще держался твердо.

Миронов доложил Сталину, что Каменев отказывается давать показания. Позже Миронов рассказывал своему близкому другу, какой между ним и Сталиным произошел разговор:

— Так вы думаете, Каменев не признается? — спросил Сталин, хитро прищурившись.

— Не знаю,— ответил Миронов.— Он не поддается уговорам.

— Вы не знаете? — спросил Сталин, с подчеркнутым удивлением глядя на Миронова.— А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие посмотрели на Сталина с удивлением.

— Подумайте и ответьте мне,— требовал Сталин. Миронов улыбнулся, думая, что Сталин готовит какую-то шутку. Но Сталин шутить не собирался. Он смотрел на Миронова вполне серьезно.

— Я вас спрашиваю, сколько все весит? — настаивал он.

Миронов смешался. Он ждал, все еще надеясь, что Сталин превратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор в ожидании ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенным голосом: «Никто не может это знать, Иосиф Виссарионович. Это в области астрономических цифр».

— Хорошо, а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? — спросил Сталин серьезно.

— Нет,— ответил Миронов.

— Ну так вот, не говорите мне больше, что Каменев или тот или иной заключенный способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом,— сказал Сталин Миронову,— до тех пор, пока у вас в портфеле не будет признания Каменева.

Каменев был после этого передан в руки некоего Чертока, человека самого низкопробного, грубого и злого. Но и он не добился от Каменева результатов, хотя постоянная бессонница, полуголодный рацион и постоянные угрозы, видимо, начали изматывать обвиняемого.[1]

СМЕРТЬ ГОРЬКОГО

Сталин планировал казнь участников оппозиции независимо от возможной реакции в рядах партии. Ибо он уже подготовился к тому, чтобы справиться с этой реакцией своим обычным сочетанием твердости и маневра. Единственной фигурой, на которую эти методы могли не оказать действия и которую при жизни трудно было привести к молчанию, был Максим Горький. Согласно компетентному свидетельству, Горький «был до конца единственным, с кем Сталин хотя бы в известных пределах продолжал считаться. Возможно, будь он жив, августовский процесс все же не имел бы такого конца». Возможно. Но 31 мая Горький заболел, а 18 июня 1936 года умер.

Когда Горький выступал против октябрьской революции в 1917 году, Сталин нападал на него более злобно, чем любой другой большевик. По поводу статьи Горького «Не могу молчать» Сталин заявил даже, совершенно необоснованно, что Горький и подобные ему типы молчали, когда помещики и капиталисты притесняли крестьян и пролетариат, что такие люди способны обвинять лишь революцию, но не контрреволюцию. Фактически, конечно, все сочинения Горького представляют собой сплошное обвинение правящих классов, и он с самого начала был связан с социал-демократами. Сталин писал тогда же, что революция готова отбросить любые «великие имена», включая имя Горького, если будет необходимо.

Взгляды самого Горького были отнюдь не лишены воинственности. Он раньше Сталина объявил, что «если враг не сдается, его уничтожают». Тем не менее, он защищал и Пильняка и Замятина во время кампании против этих писателей в 1930 году. Одно это должно было сильно обозлить Сталина, особенно в случае Пильняка. А после 1930 года, что для нас сейчас еще более важно, Горький энергично вмешался в политику, ващищая линию на умиротворение, и был открытым противником всех предыдущих попыток уничтожить Каменева и Зиновьева.

Само существование Горького было фактором, подкреплявшим моральный дух Каменева и других. Они чувствовали некую поддержку в выпавших им на долю испытаниях. Эти люди могли быть уверены, что Горький поднимет голос против новых преследований, как только о преследованиях объявят публично. В какой-то степени такая уверенность, вероятно, должна была усиливать их сопротивление. Именно поэтому смерть Горького в этот самый момент имела значение морального удара и облегчала задачу Сталина.

Как и в случае Куйбышева, мы видим, что смерть наступила в момент, очень для Сталина удобный. Большинство смертей, наступавших в удобное для Сталина время, «случались», по очевидным причинам, именно когда было надо — ни раньше, ни позже.

Врачи, лечившие Горького, впоследствии были обвинены в том, что намеренно убили писателя по приказу Ягоды. Когда мы подойдем к процессу Бухарина 1938 года, на котором эти обвинения были выдвинуты, мы рассмотрим свидетельства против врачей. А пока следует заметить, что процесс, о подготовке которого идет сейчас речь, состоялся немедленно после того, как были получены необходимые признания; более того, похоже, что суд назначен по времени так, чтобы совпасть с отпусками некоторых членов Политбюро. Если бы Горький прожил еще несколько месяцев, он определенно представлял бы собой помеху сталинским планам. Бесконечные оттяжки с процессом были бы по меньшей мере опасны и могли дать время для сколачивания сопротивления процессу в Центральном Комитете. Провести суд и не казнить оппозиционеров — было для Сталина самым худшим решением: это противоречило всему грандиозному плану. А довести дело до конца независимо ни от чего, при живом Горьком — тоже риск. Мощный голос поддерживал и укреплял бы и без того беспокойные элементы в руководстве; и, хотя можно было, конечно, заставить писателя замолчать, это было бы отнюдь не легким делом [5].

Все эти соображения — чисто логического порядка и потому ничего не доказывают. Но Сталин был по-своему логичным человеком. Он отнюдь не питал отвращения к человекоубийству, а его уважение к литературе не было настолько велико, чтобы предотвратить расправу со многими знаменитыми писателями. Как мы увидим в дальнейшем, все свидетельства показывают, что Горький умер неестественной смертью [6].

ПЕРВАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ

Теперь Сталин уже мог предпринимать прямую попытку сломить Зиновьева и Каменева политическими средствами. Ежов передал им инструкции якобы от имени Политбюро: «разоружиться так, чтобы исключить любую возможность в дальнейшем еще раз поднять голову против партии». В случае несогласия грозил военный суд при закрытых дверях и казнь не только их, но всей оппозиции, включая тысячи человек в лагерях.

Зиновьев ответил отказом. Попытка нажать на Каменева также закончилась неудачей, хотя на этот раз Ежов прямо погрозил, что если Каменев не сдастся, то будет расстрелян его сын.

После этого началась серия более жестоких допросов Зиновьева и Каменева. Ягода велел включить отопление в их камерах, хотя стояла жаркая погода. Физическое состояние Зиновьева было очень скверным, да и Каменев начал ослабевать под угрозами в отношении его сына, ордер на арест которого был подписан в его присутствии. В июле Зиновьев после допроса, длившегося всю ночь, попросил свидания с Каменевым. Совместно обсудив ситуацию, они согласились выйти на суд при условии, что Сталин подтвердит свое обещание не казнить ни их, ни их сторонников — в присутствии всего состава Политбюро.

Это условие было принято. Однако когда их привезли на так называемое заседание Политбюро, там присутствовали только Сталин, Ворошилов и Ежов. Сталин объяснил, что они трое образовали «комиссию», выделенную Политбюро для разбора дела.

Обращение Зиновьева и Каменева к По-

[1] A. Orlov, p. 129—130, 124.

литбюро и трюк Сталина с воображаемой «комиссией» дают повод для некоторых интересных выводов. И обращение к Политбюро, и увертка Сталина свидетельствуют о том, что в Политбюро все еще были люди, на которых можно было положиться в выполнении данных гарантий. Любопытно, что даже позже, в период казни Рудзутака в 1938 году, не исключались попытки подобного обращения. В 1956 году мы услышали от Хрущева по поводу Рудзутака, что «его даже не вызвали на заседание Политбюро, потому что Сталин не хотел говорить с ним».

Потрясенные отсутствием остальных членов Политбюро, Зиновьев и Каменев, после некоторых споров, в конце концов приняли условия Сталина, гарантировавшие им жизнь, обещавшие жизнь их сторонникам и свободу семьям. (Есть свидетельство члена семьи Зиновьева, что причиной капитуляции было желание «спасти семьи», что, очевидно, верно и в отношении Каменева, ибо высказано им в последнем слове на процессе.)

После капитуляции Зиновьева и Каменева Сталин мог считать игру выигранной. Суд мог состояться. С политическими фигурами меньшего калибра можно было в крайнем случае расправиться, и, кроме того, для них не могло быть более сильного довода, чем согласие их бывших руководителей выйти на суд и принять сталинские обещания.

Оставалось связать воедино все нити и повести политическую подготовку к процессу полным ходом. 14 января 1936 года состоялось решение Центрального Комитета об обмене партийных документов, в ходе которого надлежало выявлять людей, недостойных носить звание члена партии. Теперь, 29 июля 1936 года, на места было разослано совершенно секретное письмо ЦК о том, что часть ныне арестованных сумела, несмотря на все предыдущие меры, сохранить партийные билеты. Все границы были теперь стерты между «шпионами, провокаторами, белогвардейцами, кулаками» и «троцкистами и зиноаьевцами». Письмо призывало к усилению «революционной бдительности» и, цитируя слова Сталина на пленуме ЦК ВКП(б), жестко формулировало главную обязанность члена партии на предстоящий период: «Неотъемлемое качество каждого большевика в настоящих условиях — умение распознать врага, как бы хорошо он ни маскировался».

По получении циркуляра на местах партийные власти начали новый тур лихорадочных доносов. Например, первый секретарь козельского райкома партии писал в обком, донося не только на многих местных жителей, но также на тех людей, которых он встречал на предыдущих постах и теперь находил подозрительными. В каждом случае секретарь добавлял: «Возможно, что он до сих пор не разоблачен».

Это все было политической подготовкой партийных организаций по всей стране к предстоящей в связи с процессом Зиновьева кампании против врагов генерального секретаря. Одним из результатов этой подготовки было то, что списки антисоветских элементов резко возросли, и массовая чистка готова была начаться.

20 июля было проведено небольшое, но важное организационное изменение: основан Народный Комиссариат юстиции СССР.

Тем временем за тюремными стенами ломали волю оппозиционеров меньшего калибра, обреченных капитуляцией Зиновьева и Каменева. Сам Каменев начал давать показания 13 июля. Признания Мрачковского шли до 20 июля, а 21-го он получил очную ставку со Смирновым. Об этом имеются два немного разноречивых свидетельства Орлова и Кривицкого. Свидетельство Орлова, очевидно, основанное на официальной записи разговора, выглядит так, что два старых друга рассорились, ибо Смирнов считал капитуляцию Мрачковского слабостью. Свидетельство Кривицкого говорит, напротив, что они обнимались и плакали, и до конца очной ставки оставались друзьями. Во всяком случае, Мрачковский сделал несколько замечаний вроде следующего: «Иван Никитич, давай напишем, что они хотят от нас. Нужно». Смирнов не соглашался, говоря, что ему не в чем признаваться, т. к. он никогда не боролся ни против партии, ни против советской власти. На суде же он твердо назвал возведенные против него обвинения «вымыслом и клеветой» *. Давление на Смирнова было усилено арестом его бывшей жены Сафоновой, ныне привлеченной к делу в качестве соучастницы. Она подписала свидетельство против самой себя и против Смирнова под тем условием, что это был единственный путь сохранить им обоим жизнь. Затем, в августе, в кабинете чекиста Гая была устроена очная ставка между Смирновым и Сафоновой, где она плакала и просила его выйти на суд. Поскольку, дескать, Каменев и Зиновьев уже признались, ему лучше всего выйти вместе с ними на открытый суд и в этом случае не может быть и речи об их расстреле.

Есть сведения, что Смирнову также давалась очная ставка с Зиновьевым, который сказал, что подписывает признание, и уговаривал Смирнова сделать то же самое. Зиновьев сказал, что был уверен: его признания откроют ему путь к возвращению в партию. Сталин — которого он называл его старой партийной кличкой Коба — является, дескать, в данный момент центром партийной воли и пойдет на компромисс с оппозицией, поскольку практически не может действовать в дальней перспективе без «ленинской гвардии». Смирнов отвечал, что, напротив, Политбюро вполне очевидно хочет физического уничтожения оппозиции, иначе не было бы смысла во всем этом деле.

Следователь сказал Смирнову, что сопротивляться бесполезно, так как против него есть много свидетельств. Более того, страдать придется не только Смирнову, но и его семье — как пострадала семья убийцы Кирова, Николаева. Смирнов ничего не знал об аресте своей семьи и принял это просто как отвратительную угрозу со стороны следователя. Но вскоре, по дороге на допрос, он увидел свою дочь в другом конце коридора, причем ее держали двое охранников. Что случилось с дочерью Смирнова, так и не известно. Ее мать содержалась в женской командировке Кочмас-Воркутского лагеря, где она узнала от родственников, что ее дочь все еще в тюрьме. Впоследствии жену Смирнова отправили на кирпичный завод Воркуты, где в марте-апреле 1938 года она была расстреляна в числе других 1300 «нежелательных».

Под таким давлением Смирнов уступил, однако согласился дать лишь частичные показания. Такого частичного признания не принимали ни у кого, но времени оставалось мало, а Сталин хотел любой ценой вывести Смирнова на суд. Смирнов даже сумел отвести Сафонову из числа обвиняемых, и она фигурировала только как «свидетельница» — что, конечно, еще не давало гарантии от гибели. Подобные уступки, сделанные Смирнову, не давали покоя Сталину, и Ягода и Молчанов были позднее обвинены в том, что они прикрывали Смирнова.

К 5 августа Смирнов дал уже свои основные показания. 10 августа начал признания и Евдокимов. На следующий день, 11-го, Центральный Исполнительный Комитет дал распоряжение о проведении процесса. Обвинительное заключение было составлено 14-го августа. В тот же самый день Тер-Ваганян, который туманно признал существование троцкистско-зиновьевского «центра» еще 16 июля, сделал полное признание.

Получение последних признаний было облегчено, а предыдущие признания были подкреплены опубликованием 11 августа постановления, которое (отменяя в какой-то степени постановление от 1 декабря 1934 года) восстановило практику открытых процессов, вновь разрешило участие адвокатов в суде и установило, что осужденные в течение трех дней после приговора могут подавать просьбы о помиловании, и цель постановления была совершенно ясна: укрепить надежды обвиняемых на возможность помилования; одновременно оно внушало эту же мысль партийцам, настроенным против процесса. А в числе таких партийцев были даже некоторые следователи. Есть основания полагать, например, что следователь Тер-Ваганяна Борис Берман поверил тому, что смертных приговоров не будет, и потому искренне посоветовал Тер-Ваганяну капитулировать, ибо, по мнению Бермана, это был самый верный курс.

Наконец, нужно было принять меры к тому, чтобы с публикацией обвинительного заключения 15 августа представить все дело самой партии в наиболее выгодном свете. Ведь подготовительная работа шла в глубокой тайне. На Политбюро не было никакого предварительного обсуждения. «Процесс явился полным сюрпризом не только для рядовых партийных работников, но и для членов ЦК и, во всяком случае, для части членов Политбюро».

Если кто в руководстве и возражал против процесса, у Сталина был наготове простой ответ: дело находится в руках прокуратуры и суда. Это ведь органы, занимающиеся соблюдением законности. И пусть действует юстиция. Декрет от 11 августа прекрасно подкреплял такую точку зрения.

Поскольку показания уже имелись, было очень трудно организовать какое-либо сопротивление процессу. Но Сталин все-таки сыграл наверняка, обрушив новость на страну, на партию и на само Политбюро в тот момент, когда он сам был в отпуске и многие другие члены высшего руководства разъехались по стране. Говорят, например, что Молотов и Калинин уехали в отпуск, не подозревая о предстоявшей бойне.

Сомнительно, чтобы это было верно по отношению к Молотову. Правда, его вражда с Мрачковским сама по себе не указывает на соучастие Молотова в планировании убийства всех обвиняемых. Оно, конечно, могло быть и так, но теперь мы имеем поразительное свидетельство того, что как раз в то время Сталин был недоволен Молотовым.

Когда было опубликовано обвинительное заключение, оно вызвало сенсацию в Москве из-за того, что в списке намеченных жертв заговора не было одного из высших советских вождей — Молотова. Были названы Сталин, Орджоникидзе, Ворошилов, Каганович, Косиор, Постышев и Жданов (трое последних — в качестве будущих жертв местных террористических организаций на Украине и в Ленинграде), а вот председателя Совнаркома убивать, видимо, не собирались. В ходе процесса признания обвиняемых касались того же самого списка, и упомянутые имена были названы в обвинительной речи Вышинского. В советских условиях это могло означать — и без всякого сомнения означало,— что Молотов был не в фаворе. Высокопоставленный сотрудник НКВД

Александр Орлов, позже перешедший на Запад, рассказал, что Сталин собственноручно вычеркнул имя Молотова из текста предварительных показаний обвиняемых (куда, конечно, имя Молотова было включено), и тут же Ягода приказал следователям не упоминать Молотова в качестве жертвы.

Это свидетельство правдоподобно. Без особого личного указания Сталина имя Молотова не было бы пропущено таким очевидным образом.

Есть некоторые основания полагать, что Молотов не хотел быть замешанным в уничтожении старых большевиков. И этот эпизод делает более правдоподобными прежние сведения о том, что при обсуждении судьбы Рютина в 1932 году Молотов не полностью поддерживал Сталина в его попытке применить крайние меры.

Нужно также отметить, что во всех неофициальных свидетельствах о том периоде Ворошилов часто появляется как член ЦК, участвовавший вместе со Сталиным в переговорах с будущими обвиняемыми, в то время как Молотов почти совсем не упоминается.

Таким образом, с мая 1936 года и до конца процесса в августе Молотов находился под страхом ликвидации. Есть сведения, что он уехал в отпуск под неусыпным надзором НКВД.

Однако через несколько недель после зиновьевского процесса Молотов, по-видимому, сумел вернуть себе расположение Сталина. Его имя было включено в список жертв якобы намечавшегося террора на процессах 1937—38 годов — хотя это даже выглядело странным: ведь последующие группы заговорщиков якобы состояли издавна в сговоре с Зиновьевым и Каменевым, планировали свой террор с ними, а Зиновьев и Каменев необъяснимым образом пропускали в своих показаниях имя Молотова.

Следует думать, что давление Сталина привело Молотова к полному повиновению. С тех пор нет никаких сведений о чем-либо другом с его стороны, кроме безоговорочного соучастия в терроре. Почему Сталин сохранил Молотова — можно только гадать. Возможно, потому, что Молотов был (или стал после удаления Орджоникидзе) единственным старым большевиком с известной репутацией во всей сталинской правящей группе.

Как бы то ни было, ни Молотов, ни кто-либо другой уже не мог вмешаться в ход процесса, хотя они могли надеяться, что суд закончится лишь приговорами к тюремному заключению.

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Продолжение следует

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

1) Журнальный вариант. В публикации опущены Предисловие автора к русскому изданию (1971 г.), авторское Вступление и документальные Приложения. Редакция также сочла возможным во многих случаях опустить авторские библиографические ссылки на цитируемую и использованную литературу. Печатается с соблюдением особенностей орфографии оригинала. Авторские примечания даны со сносками в виде арабских цифр. Примечания редакции вынесены в конец текста со сносками в виде арабских цифр с закрывающей круглой скобкой. Знаком * отмечены цитаты из русскоязычных первоисточников, публикуемые в обратном переводе.

2) В настоящее время повесть А. Кестлера опубликована под названием «Слепящая тьма» в журнале «Нева» (1988, № 7, 8) и дважды отдельной книгой.

3) Leon Trotsky. Staline. Paris, 1948, с. 498. Авторизованный французский перевод. Русскоязычного издания этой работы на 1971 г. не было.

4) Alexander Orlov. The Secret History of Stalin's Crimes. London, 1954, p. 216. Р. Конквест оценивает этот источник (в Приложениях) следующим образом: «...крупный работник НКВД, Александр Орлов (был)... одним из ближайших помощников Ягоды по подготовке процесса Зиновьева. Его книга... представляется нам достойным большого доверия источником, во всяком случае, примерно до конца 1937 года... свидетельство Орлова отлично выдерживает проверку».

5) Вопрос о предполагаемом отношении Горького к событиям 1937-39 гг. вызывает споры. Так, Г. Гералинг разделяет мнение Р. Конквеста. А. Солженицын придерживается противоположного мнения: характеризуя Горького как одного из авторов «позорной книги о Беломорканале, впервые в русской литературе восславившей рабский труд» («Архипелаг ГУЛаг», вступит. часть), описывая поведение Горького во время его поездок в Соловецкий лагерь и на канал им. Сталина (часть III), он делает вывод, что «Горький воспел бы и 37-й год». Существует третья точка зрения, апологеты которой, считая, в частности, вполне вероятным, что многие оправдывающие террор статьи Горького сфальсифицированы, либо априорно оценивают гипотетическую роль Горького в событиях 37-38 гг. положительно, либо (реже) призывают воздерживаться от оценок до опубликования соответствующих документов.

6) Различные версии смерти Горького — см. «ЛГ», № 28, 12.07.89, с. 5; «АиФ», 6—12.01.89.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

Н. ВЛАДОВА
Н. РАБКИНА

ВОЗМОЖНА ЛИ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА?

Будущим историкам резкий поворот в экономических воззрениях наших современников покажется удивительным даже в контексте глобальных перемен 80-х годов. Только тщательный анализ происходивших в обществе процессов позволит понять до конца причины дружного поворота экономистов к идее свободного рынка, за которую они ухватились как за якорь спасения. Сейчас уже становится ясно, что это движение умов явилось ответом на слабость традиционной ортодоксальной концепции, исчерпавшей свои возможности и оказавшейся совершенно беспомощной перед лицом сегодняшних проблем и трудностей, достигших критической остроты. Развитие экономической мысли остановилось на постулатах, сформулированных много десятилетий назад и надолго определивших главные черты экономической политики. К ним относятся:

опора преимущественно на централизованные методы управления, чрезмерное сужение рамок самостоятельности предприятий;

«натурализация» экономики, курс на свертывание товарно-денежных отношений, чисто затратный метод ценообразования, недооценка фактора «полезности»;

одностороннее представление о социальной справедливости, тенденция к уравнительному распределению;

отказ от признания каких-либо общих, универсальных экономических законов и утверждение только различий между общественными системами, в конечном счете идеализация социализма как системы, свободной от внутренних противоречий.

Являясь безоговорочным отрицанием ортодоксальной концепции, рыночное направление есть по сути ее зеркальное отражение и может быть описано симметрично по каждому пункту теми же самыми характеристиками, только взятыми с обратным знаком. В своем крайнем проявлении оно полностью игнорирует различия между общественными системами и провозглашает рынок в качестве основного регулятора производства на все времена. Более умеренные его последователи, отводя определенное место централизации в управлении экономикой, именно в этом чисто количественном соотношении планового и рыночного начал видят главный признак экономической системы.

Вынужденные провести четкую грань между понятием товарно-денежных отношений и собственно рынком — порождением частной собственности и общественного разделения труда,— мы апеллируем не только к теории, но и к тому, о чем свидетельствует новейший опыт. Сразу же уточним, что рынок рассматривается в данном случае не просто как активное связующее звено, обслуживающее процесс воспроизводства, а как институт, который занимает господствующее положение в хозяйстве и обществе и по существу управляет производственными отношениями. Нетрудно увидеть демаркационную линию, разделяющую эти понятия, продолжить ее на плоскости, где протекают основные экономические процессы от оплаты труда до ценообразования, и обнаружить, что эта линия напрочь отсекает такие мощные рычаги хозяйственного саморегулирования, как безработица и банкротство, право сильного, ставка только на прибыль. Отнимем у рынка указанные признаки — получим товарно-денежные отношения, примем хотя бы один — безнадежно увязнем в эклектике. Ибо в рамках одной системы невозможно обеспечить равноправное существование генетически разных начал, нет и пути назад — в какой-то момент своего развития процессы приобретают необратимый характер.

Практика показала, что все инструменты, присущие рынку, от него неотделимы. Нельзя взять одно и отбросить другое — здесь немедленно образуется узел противоречий. Приходится идти дальше и дальше, залезать глубже и глубже, и последним камнем преткновения все равно остается собственность, ее исторически обусловленная форма. Надежда обойти это препятствие утопична: не может одна сущность перевоплотиться в другую, взяв на вооружение ее внешние атрибуты. Важно кто распоряжается производительными силами общества и как участвует в присвоении результатов труда.

Ни традиционный подход, ни тот, что составляет его прямое отрицание, не способны объяснить явлений современной экономической действительности и всей сложности создавшейся ситуации. С их помощью нельзя и выправить положение — построить более совершенную модель функционирования экономики. Нужно найти новую область решений.

Необходим синтез, и он, видимо, существует.

Не пытаясь охватить все аспекты проблемы, выскажем ряд положений, которые, на наш взгляд, могут стать основой для разработки такой концепции синтеза. Возможно, для кого-то они прозвучат неким компромиссом, цеплянием за старое, тогда как другие, наоборот, найдут эти положения слишком необычными, странными. Однако, преодолев первое неприятие, вдруг обнаруживаешь, что рынок с его действительными и мнимыми достоинствами — еще не венец экономической мысли и что в нелегком выборе, перед которым мы оказались, следует подняться выше оценочных суждений и вкусовщины. Но для этого нужно заново осмыслить многие из устоявшихся взглядов, расстаться с некоторыми иллюзиями, иначе выйти из заколдованного круга не удастся.

Итак, что это за положения? Рассмотрим их в порядке и честной логической последовательности, но не значимости, так как среди них нет главных и второстепенных; они тесно между собой связаны, являются как бы логическим продолжением друг друга, и за всем этим стоит определенное ви́дение исторического процесса, где особое место занимает временной фактор.

1. От мифов к реальности. В научный лексикон прочно вошел оборот: «модели социализма». Он отражает дух нового времени — стремление к плюрализму, отказ от сковывающей мысль догматической ограниченности. Но настораживает интонация, в которой легко угадывается знакомый «конструктивистский» подход к явлениям экономической жизни, как если бы ту или иную общественную систему можно было строить по заданному проекту, ориентируясь только на наши желания и вкусы. Дескать, захотим и выберем себе эту модель, а захотим — другую. Об условиях, в которых зарождалась и развивалась данная система, речь уже не ведется. И не только условия — само понятие социализма расплывается, тает в тумане. Некоторые экономисты без обиняков цитируют народную поговорку: «Хоть горшком назови, только в печь не сажай». Ну, а если оказывается, что реально существующая экономическая система не отвечает воображаемому идеалу, она просто объявляется не состоявшейся. Социализм — это прекрасно по определению; то, что мы имеем, не прекрасно, эрго — это не социализм. На таких немудрящих силлогизмах строится порой экономическое мышление.

Кто хозяин основной массы средств производства, становится вопросом второстепенным, определяющий признак системы теряет четкие очертания, переносится в сферу абстрактных оценок (хорошо или плохо). Это примерно то же самое, что, убедившись в несовершенстве человеческой натуры, причислить людей к низшим животным, беря за основу горьковский тезис: «Человек — это звучит гордо».

Совершенное общество, совершенный человек, совершенный хозяйственный механизм. Не слишком ли много зла мы делаем своими руками во имя иллюзорного совершенства сначала в одном направлении, потом, словно подчиняясь некой таинственной синусоиде,— в диаметрально противоположном. Теперь на повестке дня опять «самые совершенные формы» — свободный рынок и конкуренция, без настоящей увязки с категорией собственности. Как будто все, что произошло с человечеством в нашу эпоху, привиделось во сне и мы вдруг проснулись в зачарованном царстве. Но сегодня легенда о всеисцеляющей способности рынка долго продержаться не может. При первых же практических шагах в этом направлении она начинает трещать по швам и вынуждает заговорить о... «модели хозяина». Не тут ли скрывается тайна рынка? Горячо, горячо, еще немного, и станет ясной вся механика его волшебства.

Однако дело ограничивается лишь еще одной «моделью». Не будет нескромностью спросить: на модель какого хозяина держат курс поборники рыночной стихии — частного, группового или опять на «народ»? И каким способом они собираются внедрять свою модель? Похоже, все тем же, командно-силовым, иначе не ставили бы себе таких ударных сроков. Но этим способом можно только успешно разрушать, а не создавать что-то новое.

Вспомним еще раз историю того, как были подорваны экономические связи в хозяйстве едва возникшего социалистического государства. Известно, что главную роль здесь сыграл отказ от постепенности перехода крестьянских хозяйств к новым принципам коллективного труда. Ведь крестьянам так и не дали достаточно времени, чтобы «подумать на своем клочке» о преимуществах кооперирования,— отчуждение от земли, от труда произошло еще до того, как эти преимущества могли проявиться. Таким же ускоренным темпом, с жертвами и невосполнимыми потерями, шло обобществление кустарной промышленности, семейных ремесел, частной торговли. Не успели на обломках поверженной экономической системы построить новые формы производственных отношений, как тут же принялись их разрушать — на сей раз форсированным маршем к коммунизму, то есть новой попыткой перескочить через непройденные ступени зрелости общества, а конкретно — жесткой зацентрализованностью, однобоким развитием производства и, что страшнее всего, уравниловкой, которая для данной системы — смертельный яд.

Выходит, разрушались не только храмы, но и самый, что называется, базис. Задумаемся ли мы когда-нибудь всерьез над этой историей разрушений, с тем чтобы больше к ним не возвращаться?

То, что мы имеем сейчас,— в значительной мере результат экстремизма в экономической политике. Когда же экономика захромала на обе ноги, верные себе и своему прежнему опыту «лекари» решили ампутировать ей голову, чтобы избавить от хромоты. Усилия направляются на то, чтобы уничтожить все, что еще уцелело: тарифную систему, управление, финансовый контроль, цены — окончательно пустить на самотек эти процессы. Теперь, оказавшись перед лицом инфляции, кое-кто удивленно разводит руками: причины этого явления, мол, еще недостаточно изучены.

Между тем они не так уж глубоко скрыты, нужно только освободить сознание от очередной цепкой догмы. Допустите на миг такую возможность (хотя бы для доказательства от противного): то, что представляется вечной и естественной формой существования — свободный рынок, конкуренция, частная инициатива,— в действительности лишь исторически преходящие формы. Тогда понятно, как будет сопротивляться все еще живая система, отторгая от себя чужеродные элементы, ведь отношения уже сложились, вошли в плоть и кровь общественного организма. Нет смертельной борьбы за выживание, нет стихийной игры рыночных сил, нет нависшего над головой кнута безработицы... А вот сам процесс утраты названными категориями своего доминантного положения может происходить по-разному, определяя этим индивидуальные черты новой формации, ее конкретных воплощений. Так, медленное прохождение ею всех этапов развития, постепенное, но полное вызревание отдельных признаков существенно отличаются от внезапного разрыва старой системы в «наиболее слабом звене» (отягощенном к тому же остатками реликтовых форм, унаследованных от прошлых укладов), а также от смены господствующего строя в результате мировой или локальных войн.

Предопределенности, однозначности, конечно, нет и не может быть в том массовом многофакторном процессе, который представляет из себя развитие общества. Но так же неверно было бы считать, что историей правит слепой случай или — что эквивалентно этому — произвол отдельных лиц. Альтернативные варианты всегда существуют со своим шансом на реализацию. Все дело в том, что разные варианты имеют разную степень вероятности — от самой большой до ничтожно малой.

Именно в таком непростом союзе находится «логика истории» (или историческая необходимость) со случайностью, а также свободным выбором и пресловутой ролью личности, которая тоже значит немало, но одна не решает все. В этом суть научного (не фаталистического) детерминизма, отвергаемого обыденным сознанием, для которого необходимость и вариантность взаимно исключают друг друга. Соединить оба полюса оказалось настолько трудным, что к этой теме возвращаются постоянно, хотя вопрос, в принципе, давно получил фундаментальное философское решение, находящееся в согласии с законами вероятностей.

С таким же трудом дается понимание двойственной сущности рынка, и его попеременно то предают анафеме (как символ жестокого общества, в котором продается и покупается все́), то поднимают на щит как незаменимое спасительное средство. А фактически это две стороны одной и той же медали. Но забывают додумать до конца, что к рынку нужен еще и собственник, обладающий настоящим собственническим инстинктом и настоящими правами собственника,— не «модель хозяина», а сам собственник как таковой.

Объявить землю и недра, фабрики и заводы народным достоянием, как видно, еще недостаточно, чтобы заставить работника почувствовать себя хозяином. Такого превращения нельзя добиться росчерком пера на циркулярах и громогласными заявлениями на съездах. Быть может, это было главной задачей великого переустройства общества, предпосылкой выполнения всех остальных задач. Но развитие приняло направление, не способствовавшее формированию такого хозяйственного субъекта, и, наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня мы находимся дальше от решения этой задачи, чем в первые годы после революции.

Естественно возникает вопрос: могут ли люди, народ той или иной страны серьезно изменить к лучшему конкретные формы своей экономической и политической организации, сложившиеся под воздействием многочисленных объективных, субъективных, внутренних и внешних причин? Из сказанного выше следует принципиальное да. Точно так же, как неправильными действиями можно вызвать тяжелую болезнь всего общественного организма вплоть до его загнивания и безвременной гибели. Но остановить далеко зашедший патологический процесс, конечно, во много раз труднее — предел допустимых ошибок сильно сужается. К сожалению, по традиции (заставляющей вспомнить о славянофилах

и западниках) мы либо отбрасываем с порога, либо слепо копируем чужой опыт, не задумываясь об особенностях места и времени. Так было, например, с опытом Венгрии, в котором сначала не увидели ничего ценного, а потом вдруг заговорили о «венгерской модели» и долго держали ее за образец, хотя время уже сработало против. Какой-то период у наших экономистов пользовалась успехом «югославская модель», предусматривающая привязку рыночных отношений к групповой собственности: трудовой коллектив становился как бы полноправным собственником своего предприятия. Но и это не позволило решить поставленную задачу.

Известные экономисты стран социалистического содружества в своих работах приводят обширную информацию, рисующую неприукрашенную картину их сегодняшнего тяжелого положения. В большей части стран Восточной Европы, реформы которых имеют четкую рыночную ориентацию, рост производительности труда замедлился и даже сменился кое-где абсолютным сокращением; накапливается внешняя задолженность, вынуждая прибегать все к новым и новым займам, увеличивается дефицит, инфляция набирает темпы.

Так неужели же надо все проверять на себе и всем переболеть, несмотря на эти живые уроки? Что касается инфляции, то здесь многие наши экономисты до самого последнего времени сохраняли философское спокойствие, граничащее с беззаботностью, успокаивая «паникеров» откуда-то взявшимся афоризмом: «от инфляции не умирают» (с кивком на Запад). Это, пожалуй, один из самых ярких примеров любви к подражательству пополам с легкомыслием и полной невосприимчивостью к специфике хозяйственных систем и ситуаций.

К тому же рассмотрение разных моделей хозяйственного механизма ведется обычно в отрыве от процессов, имевших место в последние десятилетия и вызвавших глубокие изменения не только экономического, но и нравственно-психологического порядка (в социальном климате, системе ценностей, жизненных установках нового поколения, в отношении людей к труду, к своему будущему и так далее). Никогда еще изменения не происходили так стремительно. В результате то, что раньше имело притягательную силу и серьезный шанс на успех, спустя каких-нибудь 20 лет успело утратить и то, и другое. Так, условия 60-х годов, когда в нашей стране была сделана первая попытка вырваться из застоя, и условия, которые мы имеем сейчас, в конце 80-х годов, существенно различны, а о сравнении с более ранним периодом вообще говорить не приходится. Поэтому крайне наивной выглядит проводимая часто параллель с нэпом, отправные точки которого и ситуация того времени абсолютно не воспроизводимы.

Из всего сказанного напрашивается следующий вывод: нужно отбросить неверное, точнее, не соответствующее достигнутому человечеством уровню зрелости представление, будто в рамках мыслимого времени возможна некая идеальная экономическая система, и задача заключается единственно в том, чтобы ее найти и к ней устремиться [1]. Допустимое и даже в каком-то отношении полезное на ранних этапах развития, подобное представление может превратиться в огромную разрушительную силу (так иной безвредный идеалист превращается в воинствующего и опасного фанатика).

Ничего не даст и замена «идеальной системы» на «оптимальную», поскольку нет для нее единого критерия оптимальности. В одном случае это будут условия, всемерно благоприятствующие развитию, в другом — сохранение гомеостазиса, или, проще говоря, выживание. Абсолютным критерием можно признать только соответствие данной системы требованиям времени. Стало быть, не в идеале дело, а в своевременности перехода к новому состоянию, к новой исторически необходимой фазе. И наступает она отнюдь не потому, что во всех отношениях «лучше» предыдущей, ведь каждый раз что-то приобретается, а от чего-то приходится отказываться, чем-то платить. Именно это люди называют прогрессом. Известно, что прогресс требует жертв (не отсюда ли ностальгия по прошлому?), но редко принимают в расчет, что развитие не всегда идет по восходящей, имея свои взлеты, падения, пики.

С этим связан один из привычных парадоксов мышления. Сравнивая между собой общественные системы, мы обыкновенно говорим о преимуществах одной и пороках другой, молча предполагая тем самым возможность совершенной организации, лишенной недостатков. Столкновение этого мифа с действительностью приводит к понятному движению, а иногда и к драматическим коллизиям. Настало время порвать с заблуждением о достижимости совершенства, рассматривать достоинства и недостатки каждой общественной системы, возникновение которой является закономерным результатом исторического процесса, а не тупиковой ветвью эволюции общества (как, например, фашистская диктатура). Тем самым будет преодолен опасный максимализм, лозунг которого «все или ничего». Главная же цель общества, поставившего себя на службу людям, не превратится в фикцию, если будет исходить из реальных возможностей и особенностей данной системы, из понимания присущих ей противоречий.

Отказ от односторонней оценки различных общественных систем, принятие того, что и они имеют диалектическую природу, позволяют по-новому взглянуть на то, в каком направлении может идти развитие, а именно: *максимальная реализация преимуществ системы и сведение к минимуму ее недостатков*.

Быть может, сейчас наступил такой период, когда, не порвав окончательно с утопиями прошлого, нельзя будет двигаться дальше и даже существовать,— период полной демифологизации истории.

2. Феномен стимула. Одной из особенностей социализма, уходящей корнями в природу его собственности, является изменение способов материального стимулирования участников производства, состоящее в том, что функция стимулирования в основе своей перешла от рыночных отношений к распределительным. Специфичный для капитализма рынок труда, с преимущественным перевесом предложения над спросом и вытекающим отсюда принципом формирования заработной платы, уступил место распределению по труду (или по результатам, так как более полного измерителя у труда нет), при гарантированном праве на труд всем в соответствии со способностями.

Рассматривая под этим углом зрения опыт стран СЭВ, приходится признать наличие известных ограничителей, которые объективно заложены в способ присвоения продукта и касаются также функции прибыли как критерия экономической эффективности производства. Речь идет о месте, которое занимают заработная плата и прибыль в системе материального стимулирования при данных производственных отношениях, и здесь фактически пролегает водораздел между компетенцией центра и самостоятельностью отдельных производственных коллективов. Изучение имеющегося опыта показывает, что при самом широком благоприятствовании со стороны государства развитию кооперативных и индивидуальных форм (представленных большим разнообразием в Венгрии, ГДР, ЧССР и других странах) господствующая роль в несельскохозяйственных отраслях сохраняется за государственной собственностью. Только этим можно объяснить, почему после 20 лет энергичного поиска самой сложной проблемой в развитии хозрасчетного стимулирования остается соотношение двух частей вновь созданной стоимости — заработной платы и прибыли.

Следует подчеркнуть, что в концепции наших экономических преобразований нет практически ни одной идеи, которая не прошла бы опытную проверку в той или иной из братских социалистических стран. Это относится и к Закону о государственном предприятии (объединении), где представлены две модели формирования средств на оплату труда, и к ряду новых предложений в печати, вплоть до требований полного демонтажа тарифной системы, с которыми выступают наиболее рьяные из приверженцев свободного рынка.

По сути все модификации хозяйственных механизмов в странах СЭВ (за исключением ГДР) были направлены на усиление роли прибыли как главного оценочного и фондообразующего показателя. С этим связывалась надежда преодолеть отчужденность труда от «ничейной» собственности, возродить в каждом работнике атрофированное чувство хозяина, повысить его личную заинтересованность и ответственность за конечные результаты производства. Некоторые из опробованных систем были построены по остаточному принципу, когда средства на оплату труда формируются из остатка после расчетов предприятия с госбюджетом и прочих обязательных платежей. По идее это должно было создать прямой стимул к резкому улучшению качества работы, ведь весь дополнительный доход идет в пользу предприятия и его работников. Но ничего подобного не произошло. Напротив, в ответ складывалась своя стереотипная модель поведения — повышение прибыли любыми средствами, а самым простым и легким всегда оказывалось повышение цен на продукцию. Так в хозяйство вошла и пустила корни инфляция. Она явилась одновременно и причиной и следствием повышения заработной платы, столь же мало подкрепленного реальными результатами труда, как повышение цен — качеством производимой продукции.

Мощное давление снизу вынуждает руководство предприятий повышать заработную плату независимо от успехов хозяйственной деятельности, причем конкурс становится в таком случае дополнительным рычагом давления на избираемых. Как считают сегодня многие в ВНР, это сводит на нет самые демократические процедуры проведения конкурсов. И снова идет уравниловка вследствие общего повышения стоимости жизни, закрепляя намертво паралич заинтересованности в поиске новых резервов роста эффективности труда. А завтрашние интересы тем более приносятся в жертву сиюминутной необходимости.

Предприятия, получив свободу распоряжаться финансовыми ресурсами, повышают заработную плату в ущерб активной

---

[1] Асимптотическое приближение к идеалу равнозначно по смыслу (или практически равнозначно) возможности его достижения, так как расстояние до него в конце концов должно стать исчезающе малым.

технической политике, несмотря на целенаправленную систему налогов. Многие из них, по свидетельству венгерской прессы, проедают не только средства, предназначенные для технического развития, но и свои амортизационные отчисления. Реакцией на это было ужесточение налоговой шкалы. Но при продолжающейся ориентации на текущую прибыль положение с оплатой труда сохраняется тем же, а с ним и неразлучное «трио»: недостаточная эффективность, инфляция, дефицит.

Если бурное, лавинообразное развитие инфляционного процесса, сопровождающее экономические реформы, кажется кому-то таинственным и необъяснимым явлением, то да будет ему известно, что начало этому процессу положило узаконивание остаточного принципа распределения, многократно усилило расширение зоны свободных цен, а безграничная вера в магическую силу прибыли и рынка делает положение и вовсе отчаянным. А виной всему соблазн легких решений и та своеобразная незрячесть, которая порой заманивает специалиста в ловушки видимости, внешнего подобия, а в экономике их немало.

Действительно, в условиях, где царствует конкуренция, где борьба всех против всех в любой момент может привести процветающее предприятие на край пропасти, прибыль — могучий стимул. Ею создается постоянный импульс к экономии затрат, обновлению ассортимента, внедрению ресурсосберегающих технологий и прочее. Иначе этот импульс сразу обращается на цены. Высокорентабельные предприятия утрачивают интерес к дальнейшему хозяйственному риску и снижают свои показатели, а отстающие начинают отставать еще больше, ведь эффект от внедрения новой техники и технологии не проявляется быстро и не оценивается в рамках текущей рентабельности.

Парадоксы стимулирования этим не ограничиваются. Существует упрощенное представление, что трудовую активность работников всегда можно поднять, резко повысив заработную плату: чем она выше, тем, соответственно, сильнее и побудительный мотив. Экономист, исходящий из этой посылки, будет весьма удивлен, узнав, что столь самоочевидное правило далеко не всегда действует, а за некоторой предельной чертой превращается в свою противоположность — в антистимул. Подобный феномен сейчас можно наблюдать воочию: крупные, до нескольких тысяч рублей в месяц, заработки некоторых категорий работников (совместители, кооператоры и другие) расшатывают дисциплину, отвлекают на посторонние дела, дезорганизуют весь рабочий процесс. Механизм этого явления, по-видимому, идентичен с тем, который описывает «кривая стимулирования» А. Гольденберга [1]: при повышении расценок сдельщикам выработка сначала растет, а затем падает (достигнув определенного вознаграждения, работник предпочитает ослабить дальнейшие усилия).

Работа без напряжения, свободное время имеют немаловажную ценность и конкурируют с оплатой, как только появляется выбор (тем более, что безграничных возможностей для реализации доходов у населения нет). В подобных условиях работник быстро нащупывает выгодный для себя оптимум между нагрузкой и заработной платой, причем так, чтобы часть рабочего времени заниматься своими делами. А дел у людей сейчас очень много, одни очереди чего стоят.

А вот сведения из многочисленных неофициальных источников (впрочем, их может проверить любой желающий): в проектных институтах, переведенных на хозрасчет, целыми днями идет яростный дележ новых прибавок и премий, бо́льшая часть сотрудников отсутствует по неизвестным «заданиям», начальства не видно вообще, а заключаемые хоздоговора носят по преимуществу фиктивный характер. Легкие деньги отнимают волю к труду. Распространение кооперации тоже не улучшает пока положения в госсекторе: баснословные, по нашим понятиям, заработки вчерашних товарищей побуждают не столько к соревновательности, сколько к пренебрежению своими обязанностями по работе.

Таковы гримасы экономической действительности, в которой нарушены основные законы стимулирования, составляющего сердцевину хозяйственного механизма. Фиктивность экономики — угроза нешуточная. Не нужно владеть высшей алгеброй, чтобы в один прекрасный день увидеть себя в окружении «мнимых величин» (результатов труда), а также «иррациональных чисел» (заработной платы и цен).

Логически модель остаточного распределения в рамках данной системы может оказаться целесообразной только там, где и хозяйственный риск, и материальная ответственность за конечные результаты лежат непосредственно на собственниках средств производства (арендаторах), но и тогда нельзя обойтись без определенной регламентации цен и тщательно отработанной системы налогов.

Особого внимания в этом смысле требует опыт организации и управления хозяйственной деятельностью в ГДР. В настоящее время это единственная из стран СЭВ, где систематический рост производительности труда сопровождается сокра-

---

[1] См. сб. «Трудовые ресурсы и здоровье населения». М.: «Наука», 1986, с. 231—234.

щением материалоемкости продукции, имеются заметные успехи и в социальной сфере, и в области научно-технического прогресса. В ГДР тоже много занимаются усовершенствованием форм хозрасчета в направлении большей полноты и последовательности, но при этом сохранен достаточно строгий контроль за ценами и в оплате труда опираются на четко сформулированные характеристики и требования к труду, допускающие лишь однозначную интерпретацию. Оценка результатов труда производится не на основе субъективного мнения руководителей, а исходя из качества выполнения конкретных требований, предъявляемых к работе. Большое место уделяется условиям и содержательности труда, и эти же факторы заложены в социальные нормативы новой техники. Продуманная в деталях премиальная система исключает возможность необоснованных выплат работникам, что является одним из важных моментов противодействия разгулу инфляции. Все системы хозяйственного механизма имеют ярко выраженную социальную направленность, буквально ею проникнуты.

В последние годы практика и других стран СЭВ обратилась к поиску компромисса между потребностью в более гибкой системе оплаты труда и необходимостью оградить работников от произвола администрации, да и самого трудового коллектива. Экономисты прямо говорят о том, что если пагубные последствия уравниловки стали очевидны для всех, то опасности субъективного распределения заработков, попыток урвать лишний кусок за счет товарищей и так далее не придается того значения, которое она заслуживает. Таков один из уроков двадцатилетнего опыта экономических реформ, но настоящие выводы из него могут быть сделаны лишь тогда, когда вся организация оплаты труда будет поставлена на прочную теоретическую основу.

Так, должен быть теоретически осмыслен факт переноса центра тяжести экономического механизма в сферу распределения. А он означает, что сфера обращения, имеющая свои законы, не вправе довлеть над распределением, вступать в противоречие с его принципами. Рентабельность и финансовое положение предприятия, стоимость и общественная полезность продукции могут влиять на заработную плату отдельного работника только в том случае, когда они действительно зависят от его труда, и только в той мере, в какой эта зависимость может быть точно количественно определена [1].

Заметим, что в рамках распределения по труду так или иначе решаются основные проблемы, связанные с поощрением высоких результатов труда и деловых качеств работников. Не все возможности данного принципа пока еще реализованы. До войны он находился в стадии становления, потом — восстановления, а позднее в состоянии непрерывной ломки. Теперь он нуждается во втором рождении.

3. Концепция рационально-сбалансированного распределения. В представлении многих людей (даже экономистов) принцип оплаты по труду выражает что-то неопределенное и расплывчатое, вроде лозунга, или сводится к банальному правилу: кто больше работает, тот больше зарабатывает. Но на самом деле он определяет количественную меру этого «больше», дает ее точную формулу. Это — прямая пропорциональная зависимость от результатов труда данного работника. Доказано, что отклонение от нее в любую сторону оставляет до конца не использованным потенциал стимулирования, которым обладает данная экономическая система (и недостаточная, и слишком высокая дифференциация заработной платы ведет к снижению трудовой активности). Следовательно, в этой формуле «коэффициент пропорциональности» не может быть произвольным: сложившиеся в каждый данный момент различия в труде обусловливают соответствующие им различия в заработной плате, а также измеряемый специальными показателями средний уровень ее дифференциации для всех занятых в народном хозяйстве.

Это обстоятельство имеет важнейшее методологическое значение для формирования основных пропорций совокупного общественного продукта на макроуровне. В основе соответствующих расчетов лежит статистический ряд распределения работников по величине заработной платы, имеющий определенную форму и свойства, которые поддаются точному описанию, изучению и измерению с помощью известных методов математической статистики.

Гарантируемый обществом минимум заработной платы (один из социальных нормативов) задает распределению масштаб. Другой показатель (его можно назвать обобщенным показателем дифференциации) находится в результате прогностических расчетов. Этого оказывается

---

[1] Здесь имеет смысл упомянуть о реакции трудящихся Польши иа неодинаковые условия оплаты труда в государственном и частном секторе, о чем сообщалось в польской прессе. Правило равной платы за равный труд не обязательно при продаже товара — рабочая сила. Но трудящиеся всегда боролись за него, а не только за повышение заработной платы. Именно это — обещание справедливого распределения благ — составляет особо притягательную силу идеи социализма, неистребимость которой вопреки всему говорит столь о многом.

достаточно, чтобы, используя соотношения указанного статистического ряда, определить однозначно величину средней заработной платы в народном хозяйстве. Но между величиной заработной платы и другими видами доходов населения существует тесная связь, так же как и между конкретными потребностями людей, формами и степенью их удовлетворения. Замечено, что потребности населения (в товарах, услугах) представляют целостный комплекс, который всегда можно с известной точностью оценить, выделив главное его звено. Таким образом, дополняя статистические методы данными социального планирования, можно перейти от фонда заработной платы к другим частям фонда потребления и вычислить его общий объем. При таком подходе фонд накопления всегда является величиной производной, равной разнице между вновь созданной стоимостью и ее потребляемой частью, то есть формирование необходимого продукта предшествует и определяет формирование прибавочного — в соответствии с законом, общим для всех способов производства.

Такая последовательность расчетов дает ориентир для принятия не волевых, а экономически обоснованных решений о дальнейшем использовании продукта, в частности, о допустимых пределах расширения производства и выделения средств на так называемые целевые нужды. При заданном минимуме заработной платы указанная выше простая математическая интерпретация принципа распределения по труду объективирует количественные характеристики всех частей созданного продукта, начиная от общего фонда заработной платы — его основной составляющей. А правильность этой интерпретации подтверждается тем, что при всякой иной — связь между результатами труда и его вознаграждением не будет достаточно тесной, то есть главный стимулирующий фактор не будет использован в полную силу.

В этой модели необходимый продукт становится в подлинном смысле **необходимым**, а прибавочный — **избытком** над ним. Пока же остаточный принцип господствует и на макроуровне: сначала «оброк», а что останется — работникам. А у этого «оброка» нет никакого предела, он имеет свойство иррационально расти, поглощая все больше средств. Пропорциональность оплаты в этих условиях, естественно, соблюдаться не может.

Трудно перечислить все зло, которое несет с собой такая уродливая система. И безудержный рост капиталовложений (руки развязаны, так как рамок нет), и раздувание всех непроизводительных расходов (по той же причине отсутствия твердых ограничителей), и, наконец, прямой удар по материальным стимулам. Как нерачительный хозяин выжимает из земли все, не задумываясь о том, что будет завтра, так извращение законов формирования важнейших народнохозяйственных пропорций подрывает корни эффективности. В защиту такого порядка распределения общественного продукта нередко приводят довод: «на все не хватает». Но за этим скрывается обычная недальновидность, неумение выстроить цели, приоритеты. Ведь подорвав основы хозяйства, разорившись, ни одной серьезной, тем более долговременной цели достигнуть невозможно.

Поэтому одной из главных мер по экономической перестройке должно быть, на наш взгляд, коренное изменение распределительных отношений на всех уровнях. Оно включает и переход к описанной выше в общих чертах макроэкономической модели, в которой строго увязаны между собой все слагаемые совокупного общественного продукта и определен порядок их нахождения в соответствии с экономическим содержанием каждой части. По существу, в этой модели закладываются предпосылки экономической эффективности, которую может обеспечить, в условиях нормального функционирования, данная общественная система. Четкий алгоритм расчета элементов фонда потребления опрокидывает распространенное среди экономистов мнение об изначальной неопределенности соотношения между необходимым и прибавочным продуктом. Принципиальные подходы к решению этой задачи разработаны, изложены в литературе и ждут лишь практической реализации. Неоднократно проводились и расчеты, подтвердившие возможность обоснованного планирования отправных экономических параметров для составления всех социальных программ, выбора направлений инвестиционной политики и тому подобное.[1]

А если поставить вопрос шире, то речь идет о переходе к научным методам управления основными экономическими процессами, хотя экономисты с некоторых пор смотрят на это как на хлам из старого бабушкиного сундука. Уповая на рынок, возложив на него все, что не хотим или не умеем делать сами, мы безнадежно запутываемся в противоречиях и дилеммах и ничего более остроумного, чем «золотая середина», для их решения предложить не можем. А ведь на примере последовательности расчета частей общественного продукта видно, что существуют решения и получше.

Неверно думать, что вне игры слепых рыночных сил не может быть выявлена

[1] Подробнее об этом см. сб. «Система экономико-статистических моделей для анализа и прогноза уровня жизни». М.: «Наука», 1986.

количественная мера вещей. Наука ушла вперед со времен пресловутой «вдовицы Куикли» из знаменитого Марксова сравнения. За это время родилась теория оптимального планирования, отнюдь не исчерпавшая себя в прикладной экономике, получили развитие эффективные методы математической статистики, в частности — факторный анализ, появился и ряд несложных, но удобных для практики методов оценки труда по множеству признаков. Вооруженная современной вычислительной техникой и достойным доверия математическим обеспечением, опираясь на большую, но не догматизированную теорию, экономическая наука в состоянии сегодня постичь глубинные законы ценообразования, овладеть расчетами не только стоимости, но и, что гораздо труднее, полезности, без чего она обречена на вечное метание между потолочным директивным планированием и рыночным идолопоклонством.

4. Социальная справедливость или экономическая эффективность? Довольно избитая альтернатива. Существует ли она вообще и как ее понимать, ведь оба понятия относительны. Если, например, нужно поступиться частью экономической эффективности, то по сравнению с чем — эффективностью иной системы или своим собственным потенциалом? Эти вопросы требуют ответа.

Говоря об особенностях различных общественных систем, нельзя обойти молчанием разную силу воздействия их экономических механизмов на рост эффективности производства — разную степень их стимуляционной активности. Капиталистическая система нацелена на максимальную экономическую эффективность и соответственно отлажена программа ее хозяйственного механизма, в первую очередь за счет того, что главное отношение в нем (капитал — рабочая сила) имеет рыночную основу. Эта система, с тех пор как ее подверг теоретическому анализу К. Маркс, прошла длинный путь развития от ранних, обнаженных форм эксплуатации до современных, где отношения между классами до крайности усложнились последствиями научно-технического прогресса в сфере производства и потребления. Однако природа важнейших категорий, даже потеряв четкие очертания по сравнению с классической схемой, принципиально осталась той же — та же товарная сущность рабочей силы, а с ней и мотивации поведения основных агентов производства.

Это означает, что только доминирующая роль в обществе частной собственности ведет к утверждению рыночной экономики и ее вершины — капитализма, образуя их устойчивый фундамент. Капитализм — действительно вершина того, что создала стихийная эволюция общества в плане собственно экономической эффективности. Борьба за существование служит столь же могучим, сколь и жестоким стимулом, определяя отбор наиболее приспособленных на всех ступенях общественной иерархии. Здесь действует механизм двойного стимулирования: страх потерять работу (капитал, имущество) и надежда подняться по общественной лестнице, перейти в качественно иную градацию. Причем особую роль тут играет наличие постоянного источника пополнения рабочей силы, цена которой, как правило, не превышает ее стоимости.[1]

Указанный механизм из двух рычагов, в просторечье именуемый «кнутом и пряником», не может существовать, не имея под собой соответствующего фундамента в виде собственности. В системе социалистических производственных отношений он не действует по определению, и его искусственное культивирование не просто обречено на неудачу, а вызовет дезорганизацию и конфликты с самыми непредсказуемыми последствиями. Расхожий и потому утративший свой изначально глубинный смысл тезис о том, что рабочая сила перестала быть товаром, означает всего лишь, что постоянного резерва, откуда можно черпать этот производственный фактор, нет; произвольно манипулировать заработной платой работников по соображениям, не имеющим отношения к трудовым показателям, нельзя, как нельзя возлагать на персонал ответственность за недостатки общего управления, нехватку или излишек отдельных профессий, меняющуюся интенсивность спроса на выпускаемые изделия, выгодность местонахождения предприятия и тому подобное. В этих условиях стимулировать работников заработной платой, не снижая их трудовой активности, можно только через долевое участие, соразмерное трудовому вкладу. С товарным обменом этот принцип не имеет ничего общего. В частности, он обязан максимально учитывать так называемые объективные факторы, ибо многие элементы производственного процесса неподконтрольны работнику или его влияние на них ограничено. В теории управле-

[1] В реальной практике современного капитализма этот феномен проявляется в сложной, противоречивой форме, испытывая на себе влияние многих внеэкономических факторов. Оценки разных категорий труда зависят от соотношения классовых сил, миграционной политики и прочее. Однако общий резерв рабочей силы остается постоянно воспроизводимым элементом этой системы, существующим независимо от ограниченности всех ресурсов, без него капитализм был бы немыслим. Регулирование резерва является частью внутренней политики государства.

ния это называется «соотношением полномочий и ответственности».

Функции возмещения затрат рабочей силы лежит на нижней границе заработной платы — гарантированном минимуме. Все остальное должно определяться только результатами труда. Если сущность и этос основных производственных отношений капитализма — в равенстве продавцов и покупателей рабочей силы перед законами рынка, то для социализма они состоят в принципе пропорциональной оплаты, вытекающем из равного положения работников относительно средств производства. Ни качественного, ни количественного тождества между этими принципами нет: труд измеряется совсем иначе, чем расход рабочей силы. Это не купля и продажа, а своего рода общественный договор. Такой способ распределения входит в понятие справедливости, адекватное данной общественной системе; он совпадает и с требованием эффективности, определяя ее границы. Отсюда следует вывод, достаточно не традиционный, но логичный, о том, что сами производственные отношения социализма накладывают свои ограничители на экономическую эффективность (понимаемую узко, без социального компонента). Но в конце концов именно эта мысль содержится в известном высказывании В. И. Ленина: «Привлечение к труду — важнейшая и труднейшая проблема социализма» (см. Полн. собр. соч., т. 43, с. 285). И в самом деле, совсем не просто создать эффективную систему материального стимулирования при отсутствии противостояния труда и капитала, а сложные проблемы всегда являются наиболее важными.

А как же быть тогда с постулатом о том, что только перегнав капитализм по уровню производительности труда можно добиться над ним победы? Этот постулат, обычно приписываемый В. И. Ленину, в действительности есть вольное истолкование некоторых его высказываний, сделанных в первые годы советской власти совсем по иному поводу. Если рассматривать их в контексте, напрашивается вывод, что в рамках текущего момента они означали акцентирование важности проблемы роста производительности труда для окончательного поражения капитала внутри страны после его экспроприации, и ничего больше. Такая трактовка правомерна еще и потому, что на решение этой задачи отводилось всего несколько лет и даже такой срок представлялся весьма затянутым (Полн. собр. соч., т. 36, ст. 187—188). Что же касается расширительного понимания указанного текста, то оно слишком выходит за рамки обозримого периода и состояния, чтобы формулировать его в виде столь жестокого императива.

Это отнюдь не единственный пример закономерной трансформации представлений. Уже на наших глазах стал обесцениваться критерий темпов роста, безграничное наращивание которых оказалось, с одной стороны, недостаточным, а с другой — вредным для благополучия людей и окружающей природы. Вообще, новые факторы и реальности жизни, касающиеся здоровья и среды обитания, ставят под сомнение целесообразность соперничества с капитализмом на экономическом поприще. И сама экономическая эффективность утрачивает роль главного критерия: из элемента системы целей она становится лишь средством овладения людьми более полным набором материальных, духовных и социальных ценностей.

Таким образом, по причинам, коренящимся в генотипе разных общественных систем, в господствующем строе отношений и формах собственности, каждая из них, имея свои механизмы стимулирования, обладает различным избирательным потенциалом экономической и социальной эффективности. Выпав из сферы товарного обращения, рабочая сила перестала быть объектом массированного экономического давления. В итоге — выигрыш в социальном плане, в устойчивом положении работников, но взамен приходится поступиться частью накоплений и темпами. А раз так, то вместо того, чтобы на износ соревноваться с капитализмом в объемах производимой продукции, гораздо разумнее, используя полностью свой экономический потенциал, направить усилия в ту область, которая может составить преимущество нашей системы,— в область социальной эффективности. Сейчас уже признано во всем мире, что именно она является наиболее верным индикатором правильности выбранного пути и самым надежным критерием успешности продвижения по нему.

Любой человек, даже самого рационального склада, знает, что есть что-то более высокое и ценное, чем накоплять и быть обеспеченным материально. Это относится и к обществу. Его богатство и могущество не могут замыкаться на себе, а предполагают некую сверхзадачу, и под какими бы именами она ни выступала, содержание ее всегда одно: статус человека в обществе, его положение в самом широком смысле. Еще А. Н. Радищев говорил, что человек нуждается не в одной лишь пище телесной, ему нужны спокойствие, уверенность, поддержка и уважение со стороны «подобных ему сочеловеков», а без этого «человеческое благосостояние и совершенствование не может быть». Как современно, несмотря на старую стилистику, звучат слова, сказанные 200 лет назад!

Для обеспечения социальной защищенности членов общества нужна, естественно, материальная база, поэтому никто не собирается сдавать экономическую эффективность в архив. Но она не должна становиться самоцелью, крен в эту сторону режет слух, и так хочется воскликнуть вместе с В. Д. Дудинцевым: долой жадность!

Ранее отмечалось, что самим устройством своего механизма капиталистическая система запрограммирована на высокую экономическую эффективность. Но решаются ли этим многочисленные проблемы общества? Пока мы здесь увлекаемся «экономизмом», на Западе все чаще раздаются голоса о противоречиях между материальным благополучием и бездуховностью, о том, что богатство порабощает всех, в том числе и его обладателей. Может быть, такое встречное движение необходимо для стирания граней между системами?

За ответом на этот вопрос стоит обратиться к природе, махнув рукой на кое-какие старые табу. Ведь при всем отличии между процессами, протекающими в природе и обществе, реако противопоставлять их законы нельзя, не входя в противоречие с диалектикой. Сравнение общества с живым организмом используется давно исследователями самых различных направлений и жанров. Среди них О. Бальзак, Н. Винер, Л. Гумилев и другие. Мы тоже воспользовались этой аналогией, вводя понятие «возраста» применительно к отдельным этапам развития общества, и хотим также обратить внимание на такое явление в природе, как симбиоз. Он выражает содружество особого рода — не подчинение, не слияние, не поглощение одним организмом другого, а такое сочетание, при котором каждый из них, полностью сохраняя свою внутреннюю структуру и характерные черты, оказывается полезным и необходимым для другого.

Еще не так давно ученые считали, что эволюция чуть ли не синоним беспощадной борьбы между отдельными особями и видами, однако новые научные данные заставили пересмотреть это суждение. Обнаружилась тесная зависимость разных форм жизни, которая является еще одним фактором эволюции, и, возможно, со временем между этими факторами происходит известное перераспределение ролей. То есть взаимопомощь становится важней и нужней состязания, которое несет с собой разрушение и гибель для всех.

Такова аналогия с природой. Так ли уж она неуместна? Не возникла ли для общества та предельная ситуация, где каждая из систем оказывается заинтересованной в существовании и судьбе своего «антипода», в его благополучии и, может быть, даже процветании? Конечно, подобный взгляд на вещи трудно уложить в рамки сегодняшних представлений, хотя шаг к этому уже сделан. Чтобы сделать следующий, достаточно вообразить мир разделенным на враждующие лагери в пределах одной экономической системы, с борьбой за гегемонию, сферы влияния, жизненное пространство. Например, мир капитализма, задыхающийся от избытка своей экономической эффективности и невозможности поделиться ее плодами, раздираемый социальными бурями, ведь мечты о более совершенном обществе не заглушить никаким потребительским раем. Однако и противоположный вариант предстает в другом свете, если отказаться от аксиомы об абсолютном превосходстве одной из систем над другими. К тому же исторический опыт не отвергает возможности разногласий и между странами, избравшими социалистический путь, хотя они и придерживаются одной идеологии, строя свою экономику на сходных началах.

В резком противопоставлении социально-экономических систем есть известное преувеличение, поэтому слово антипод мы вынуждены были взять в кавычки. Уже в силу исторической преемственности формаций они должны иметь общие черты. В прошлом эти моменты часто игнорировались, а различия, напротив, выпячивались, что делало соперничество и антагонизм постоянным лейтмотивом отношений. Сейчас такие перекосы исправляются, и вот здесь-то особенно необходима точность в расстановке акцентов. Только отчетливое понимание природы обеих систем, их особенностей, позволит найти путь к устойчивому союзу — к той форме сотрудничества, которую мы называем «симбиозом».

В союзе такого рода различия сохраняются, ибо стирание граней не в интересах партнеров. Разнообразие — залог устойчивости, противоядие от деструктивных процессов, защита от энтропии — так говорят универсальные законы мироздания. Извлекая пользу из самих различий, каждая сторона следует собственной программе развития; никто не стремится взять верх, навязать свою волю, ограничить свободу друг друга.

Бесспорно, рамки предложенной аналогии слишком тесны и условны, чтобы вместить в себя тот новый фактор общественного бытия, который ныне звучит во всех призывах к политике примирения, где бы они ни раздавались. Этот фактор — дамоклов меч нависших над человечеством угроз, что и помимо ядерной войны не сегодня-завтра поставит перед ним уже только одну проблему — сохранение рода. Парадокс состоит в том, что все слова о содружестве и сотрудничестве давно стали разменной монетой, а действия зачастую преследуют все ту же цель — односторонний выигрыш. Смысл симбиоза как формы сосуществования — именно

в профилактике такого рода действий, построенных на нечестной игре; он раскрывает идиотизм подобной тактики с той обнаженной простотой, как это делает известная притча со скорпионом и черепахой.

Вот почему идея симбиоза в своей конкретной жизнеутверждающей реальности представляется столь плодотворной. Ведь здесь свидетельствует большая наука, наука о живом, которая и сама не стояла на месте, непрерывно пополняя багаж накопленных знаний. Вопрос в том: услышим ли мы подсказку?

5. Не рынком единым... Теперь понятен тот фон, на котором мыслится оздоровление экономики и новое, не имеющее аналогов в прошлом развитие социальной сферы как основная и долговременная тенденция. Обнаруживается неразрывное единство экономической и социальной сторон политики, органическая связь ее внутренних и внешних аспектов. Ясно, например, что никакая достаточно полная программа социальных мероприятий не могла бы быть осуществлена хотя бы из-за отсутствия средств при продолжении изнурительного противостояния систем, поглощающего, словно бездонная бочка, человеческие и материальные ресурсы общества. И мы уже знаем, что выгоднее для всех: нивелировка или взаимное дополнение систем.

Когда речь идет о преимуществах в социальной области, имеется в виду нечто большее, чем закрепленный юридически комплекс социальных гарантий. А именно то, что все социальные гарантии, включая право на труд, как бы встроены в экономический механизм, являются его составным элементом. Это наша специфика. Если указанным элементом пренебрегают, то весь механизм разлаживается и рамки экономической эффективности сужаются. Так, нарушение принципа социальной справедливости при распределении обрекает хозяйство на экстенсивное развитие, недостаточный уровень обеспечения нетрудоспособных, увеличивая нагрузку на семью, ослабляет стимулирующую функцию заработной платы и так далее. Тем самым центральная дилемма снимается: социальная справедливость выступает не как антитеза, а как одно из условий полного использования имеющегося потенциала экономической эффективности.

В то же время это означает, что уровень экономической эффективности ограничен определенными пределами, не считаться с которыми безнаказанно нельзя. Потеря ориентиров в этом вопросе не будет способствовать улучшению дел, а приведет к обратному результату — сделает экономику предельно неэффективной. Поэтому главным направлением хозяйственной перестройки, на наш взгляд, должно быть приведение в действие основных экономических институтов, присущих данной системе, практически их реанимация.

Следует вдуматься в это слово, ибо аналогия здесь очень точна. Она отражает и радикальность, и серьезность, и всеохватывающий характер лечебных мер, призванных восстановить утраченное организмом здоровье, и еще — особую осторожность в обращении с этим организмом. Ведь если у больного, нуждающегося в реанимации, соберется совет врачей и назначит ему, ничтоже сумняшеся, усиленное питание, аэробику с сауной и бег трусцой, то мы назовем это «консилиумом шарлатанов». Подобные назначения исходят порой от некоторых ученых-экономистов, невольно вызывая в памяти уроки прошлого. Концепция перестройки у них молниеносно приобретает законченный характер, понятие «совершенствование» напрочь отбрасывается, уважением пользуется только слово «ломать».

Между тем оздоровление экономики включает немало «мирных» работ. Нужно вернуть изначальный смысл понятию распределения по труду, превратившемуся в стертый штамп, тогда как по меньшей мере это главная ось, на которой вертится механизм социалистической системы; привести в норму формирование основных частей вновь созданного продукта, перевернутое с ног на голову и фактически осуществляемое по оброчному методу; восстановить истинную суть кооперативного движения, которое создавалось вовсе не ради вульгарного барышничества и личного обогащения немногих. Мы разделяем мнение тех, кто настаивает на постепенном, шаг за шагом, выводе экономики из нынешнего тупикового состояния, в обязательной увязке с нравственным оздоровлением общества. Здесь ничего нельзя добиться хирургическими мерами, нужна осторожная, хотя и интенсивная, терапия.

В сложном процессе оздоровления нашей экономики отчетливо видятся два этапа с весьма различными задачами, которые не должны пересекаться и мешать друг другу. Главные задачи первого этапа — ликвидация дефицита и осуществление широкой антиинфляционной программы с временным замораживанием заработной платы и цен. Тотальный дефицит (товаров, услуг, предметов производственного назначения, трудовых ресурсов) возник из-за длительных искривлений в экономической политике — неправильного природопользования, однобокого развития производства, перекосов в системе оплаты труда, структуре капиталовложений и прочее. Многие негативные явления при дефиците принимают особенно острый характер. Нельзя, например, ставить знак равенства между инфляцией, происходящей на фоне перепроизводства товаров, и инфляцией, сопровождаемой товарным голодом. Именно вторая из них может обернуться жестоким бедствием для страны. А значит, все проводимые мероприятия должны рассматриваться под углом зрения того, будут ли они служить заслоном или, наоборот, способствовать развитию этого процесса.

Отметим, что проблема ценообразования в условиях обобществленной экономики не решается так легко, как это выглядит в свете сегодняшних благих пожеланий,— установлением равновесных цен, свободно следующих за спросом. Цены — тончайшая ткань экономического механизма, небрежное прикосновение к которой даже в хорошие времена чревато спонтанной инфляцией и расползающимся дефицитом, а грубое вмешательство можно сравнить разве что с операцией на глазе, совершаемой слепым и безответственным хирургом.

Как думают теперь многие из видных ученых стран СЭВ, самым большим промахом, допущенным в ходе реформ, был преждевременный пересмотр цен, который считался тогда предпосылкой дальнейших преобразований. Так, в Югославии подобным началом первая экономическая реформа была сорвана и страна ввергнута в состояние общего тяжелого кризиса, в котором находится до сих пор. После того как розничные цены на товары и услуги были подняты одномоментно на 25 и 35 %, произошла такая резкая ломка семейных бюджетов и всей структуры потребления, что это дезорганизовало всю экономическую и политическую жизнь страны. В Венгрии, которая тщательно подготовилась к этому мероприятию, закупив за рубежом и выбросив в нужный момент на рынок значительную массу товаров, тоже не удалось смягчить последовавший взрыв инфляции: вынужденный рост заработной платы сопровождался новым подорожанием всех продуктов, хотя сама реформа касалась только оптовых цен.

Можно сказать, сама действительность отвергла такой путь оздоровления экономики, который с самого начала дает толчок новому развитию болезни. Тем не менее значительная группа авторитетных советских экономистов буквально одержима идеей немедленного пересмотра всех цен («пропасть нельзя одолеть в два прыжка» — их излюбленный афоризм, неотразимо действующий на окружающих). Это сродни какому-то массовому гипнозу, и он очень опасен, ведь экономика не феникс, который может вечно восставать из пепла. Как и природа, она не имеет неисчерпаемых резервов, и удары, обрушивающиеся на нее, могут стоить ей жизни.

Вот почему стратегия «одного прыжка» представляется самоубийственной, в отличие от последовательной, динамичной и целеустремленной работы, поскольку прыжок с помощью реформы розничных цен (при том, что задумано их увеличить не на 25 %, а в среднем в 2,5 раза) и будет прыжком в пропасть. Не вслушиваться в тревожные волны идущих отовсюду сигналов — значит нанести удар в спину демократическому процессу, межнациональным отношениям, демографической политике и экономической реформе в целом.

Нормализация цен, как единовременное мероприятие, может быть лишь завершающим этапом экономической реформы, а не ее первым шагом. Сначала надо остановить инфляцию и ликвидировать дефицит — здесь и только здесь гордиев узел проблемы. Сделав это, мы разорвем порочный круг и создадим противозатратный механизм, при котором динамика цен будет следовать своим естественным законам.

Затем встанет проблема разработки системы целей: на что ориентировать производство, коль скоро мы признаем бессмысленным неограниченный рост его объемных показателей?

В данной связи представляет интерес то направление развития, которое складывается в последнее время в скандинавских странах, где впервые наблюдается явный отход от традиционных производственных структур, а также свертывание бесконечного «потребительского марафона» с его бесцельной расточительностью и деградирующим воздействием на общество. Взамен — повышенное внимание к духовной сфере, к экологии, к различным просветительским и социальным программам. Есть сведения, что это положительно повлияло и на состояние экономики этих стран.

Синхронное проведение экономических и демократических преобразований исключительно важно — здесь почти все едины. Но отсюда вовсе не следует, что только свободный рынок открывает путь к демократии, а отказ от классической рыночной концепции равнозначен свертыванию гласности и наступлению на гражданские свободы. А это, кажется, грозит стать одной из новейших догм.

Отсутствие ощущения неповторимости времени, его связи с конкретной эпохой характерно и для некоторых историков, готовых не только проводить параллель между нынешней перестройкой и нэпом, но и искать аналогии с реформой в России

---

[1] Авторы просят прощения за обилие медицинских ассоциаций, но полагают, что они более безобидны, чем советы некоторых медиков экономистам.

60-х годов прошлого века. Они видят только одну составляющую реформ — поворот к рынку, полагая с прямолинейностью формальной логики, что в ответ на нас прольется щедрый дождь разнообразных, высококачественных и дешевых товаров. По их мнению, рынок — это единственное, что может предложить история людям на всем своем протяжении от первого человека до наших дней. Это лучшая из возможных обратных связей в обществе, а раз лучшая, то, стало быть, и бессмертная. А то, что она возникает лишь при достижении человечеством определенного «возраста», а значит, когда-нибудь может исчезнуть или выступить в другой ипостаси, как-то на ум не приходит. В их стационарной вселенной все решительно повторяется: время застоя сменяет время реформ, и все возвращается на круги своя.

Поиски абсолюта, «естественной» для всех времен формы ведения хозяйства, идеализация либо отождествление разных экономических систем, с отвращением отбрасывающие надоевшие «измы»,— звенья одной цепи, идущие от утраты того, что можно назвать историческим чувством. При этом желаемый хозяйственный уклад рассматривается в качестве универсальной модели, приверженность которой принимает форму чуть ли не религиозной веры. А многочисленность последователей этой веры ошибочно принимается за критерий ее истинности. Так появляется новая разновидность конформизма — максималистски настроенных интеллектуалов, решивших вырваться из плена прежних заблуждений, но совершивших лишь движение по кругу. Остается надеяться, что бой между наступающим отрядом «купцов» и поредевшим строем «кавалеристов» не будет выигран ни той, ни другой стороной, и если что-нибудь останется после этого боя, восторжествует Его величество синтез.

Кратким резюме к сказанному должен быть, видимо, прямой ответ на вопрос: можно ли на что-то надеяться, если и такое могучее средство, как рынок, не может помочь в отладке надежного хозяйственного механизма? Ответ будет следующим. Да, для такого рынка, который служил бы «центральным пультом управления», увы, нет места при данном экономическом фундаменте общества. Зато есть по-особому устроенный механизм распределительных отношений, действующий не в обход и не в ущерб товарно-денежным отношениям и, конечно, ничего не имеющий общего с «распределенчеством», то есть прямым продуктообменом. Но чтобы этот механизм действительно заработал, и заработал активно, нужно решить проблему комплексно, начав с макроуровня, опираясь на определенную систему приоритетов. Теперь для этого есть и необходимые материальные предпосылки, ибо новое политическое мышление и вытекающая из него внутренняя и внешняя ориентация государства позволят отказаться от значительной части непроизводительных расходов, направив их, под контролем трудящихся, на решение основных социальных целей, стоящих перед обществом.

В. ПОПОВ

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ

Отдадим должное нашим оппонентам: свою точку зрения они защищают умело, аргументированно и последовательно. Уважение вызывает также и то, что Н. Владова и Н. Рабкина выступают *против* господствующего теперь «настроения умов», против того, что вроде бы считается уже общим местом, против всех экономистов-рыночников, уверенность которых в своей правоте возрастает вместе с их числом, как пишут сами авторы в другом месте [1]. Мнения, отличные от официального или преобладающего, в силу известных исторических причин еще и сейчас, а возможно, именно сейчас, когда мы делаем первые робкие шаги по пути плюрализма, обладают особой притягательностью — это тоже заставляет выделить статью из многих других на подобные темы.

Лейтмотив статьи — рынок отнюдь не венец творения, не вершина развития экономической науки; есть кое-что получше, чем слепые рыночные силы, для того, чтобы выявить количественную меру вещей и организовать общественное производство; для полноценного рынка, то есть для такого, который служил бы «центральным пунктом управления», у нас, увы, нет места при данном экономическом фундаменте общества.

Автор этих строк придерживается иной точки зрения, полагая, в частности, что именно рынок, разумеется, не абсолютно свободный, но регулируемый государством,— это последнее слово как экономической мысли, так и хозяйственной практики, что ничего лучшего человечество до сих пор не придумало, что полностью изжить рыночные механизмы из экономических систем, основанных на разделении труда, еще нигде никогда и никому не удавалось, что, наконец, сейчас следует вести речь не о «более широком использовании товарно-денежных отношений» в плановой экономике, но о разумном, ограниченном, строго дозированном применении плановых методов в рыночном хозяйстве.

Как и у всякой другой экономической системы, у рынка есть свои плюсы и минусы, выгоды и издержки. Важно, однако, понимать, что идеала нет и в обозримой перспективе не будет, что способы хозяйствования, не сопряженные вообще ни с какими потерями, человечеству до сих пор не известны. Так что нам ничего не остается как только выбирать между тем или иным «балансом прибылей и убытков». И с этой точки зрения — с точки зрения соотношения выгод и издержек в самом широком смысле этого слова, ***регулируемый рынок***, что называется, вне конкуренции.

Чем хорош рынок?

Кратко говоря, преимущества рынка состоят в том, что недостатков у него хоть и много, но все-таки сплошь и рядом меньше, чем у других форм регулирования хозяйства.

Чем можно заменить рынок, рыночную самонастройку, пусть не всегда и не во всем, но все-таки обеспечивающую автоматическое поддержание многообразных пропорций воспроизводства без всякого сознательного вмешательства в экономические процессы? Очевидно, только планом, плановым сознательным регулированием из центра. Теоретически мыслимы две принципиально различные системы планирования — директивное и индикативное. Первое — это прямое доведение до производителей сверху точных адресных заданий по производству продукции в натуре с одновременным выделением необходимых ресурсов (сырья, материалов, рабочей силы, производственных мощностей) под план. Второе предполагает, что сверху устанавливаются только цены на ресурсы и продукцию (а также нормативы, процент за кредит и тому подобное), но не задания по объему производства в натуре.

В экономической теории разработаны математические модели, позволяющие в принципе рассчитать не просто сбалансированный, но также и оптимальный, то есть наилучший из всех возможных вариантов, директивный и индикативный план. Зная ограничения по ресурсам и так называемые технологические коэффициенты (затраты каждого из ресурсов на производство каждого из продуктов), можно точно определить, какие продукты, с помощью какой технологии, где и в каком количестве следует производить, чтобы получить максимально возможный объем потребительских благ. Можно также определить, какие цены следует установить на разные продукты и ресурсы, чтобы производители, стремясь только к максимизации своей прибыли, выбирали такую структуру выпуска и такие технологические способы производства, которые в точности соответствуют оптимальному плану. Алгоритмы подобных расчетов были разработаны еще в 30—40-е годы замечательным советским ученым, экономистом-математиком Л. В. Канторовичем, удостоенным в 1975 году Нобелевской премии.

Реальность, однако, состоит в том, что ни сейчас, ни в обозримом будущем практически рассчитать такой оптимальный план, будь то директивный (объемы производства в натуре) или индикативный (цены на ресурсы и продукцию), мы не способны, ибо размерность задачи и объем требуемой исходной информации, мало сказать, огромны, но просто далеко выходят за пределы нынешних технических возможностей. Современные ЭВМ в состоянии решать подобные задачи, если число уравнений и неизвестных исчисляется сотнями, а фактически у нас сейчас производится более 20 млн. наименований изделий. Но даже если и нужные ЭВМ когда-то появятся, все равно расходы на сбор необходимой информации о коэффициентах прямых затрат (каждого из ресурсов на каждый из продуктов) безусловно перевешивают все мыслимые выгоды.

На практике мы сейчас не можем составить не то что оптимальный, но даже и мало-мальски сбалансированный и обеспеченный ресурсами план, физически не можем рассчитать, сколько гаек и каким болтам надо производить. Утверждаемый к исполнению план, как заранее известно, вовсе не является сбалансированным и никогда не может быть в точности выполнен по всем своим натуральным позициям. Поэтому хронические дефициты всего и вся, большие и маленькие хозяйственные диспропорции — это отнюдь не случайные, но строго закономерные, естественные, логические и неискоренимые следствия всеобъемлющего планирования, неизбежное порождение системы, в которой плановики стараются объять необъятное, зарегулировать сложнейший экономический организм, втис-

[1] «Вопросы экономики», 1988, № 10, с. 84. Далее ссылки на эту статью будут сопровождаться только указанием страницы.

нуть его в прокрустово ложе жестких плановых предписаний.

«Тотальный дефицит возник из-за длительных искривлений в экономической политике — неправильного природопользования, однобокого развития производства, перекосов в системе оплаты труда, структуре капиталовложений и прочее»,— пишут Н. Владова и Н. Рабкина. Для оздоровления нашей экономики, продолжают они, перво-наперво надо устранить дефицит, а затем можно и подумать, в каком направлении развиваться, «на что ориентировать производство», какую систему приоритетов выбрать.

Как же знакомы подобные рассуждения! Шесть десятилетий мы все собирались не сегодня-завтра, в крайнем случае — с понедельника, ликвидировать дефицит и начать затем новую жизнь. Но все никак не получалось, текучка заедала, все силы уходили на то, чтобы закрывать постоянно возникающие прорывы. Мы все паковали и перепаковывали чемоданы на станции «Плановая», стараясь не забыть ни одного, ни другого, ни третьего, а поезда между тем уходили один за другим в страну рыночного изобилия...

Неужели же и сейчас кто-то может еще надеяться, что устранить дефицит можно в рамках планово-административной системы, без перехода к рынку, что плановики вообще в принципе в состоянии обеспечить правильное природопользование, сбалансированное развитие производства, справедливую оплату труда, рациональную структуру капиталовложений и прочее? Кто, когда и где видел административно-плановую систему без дефицитов, дисбалансов, неувязок и прорывов? Кому известен тот волшебник-чародей, который может в уме, на бумаге, в кабинете обсчитать миллионы и миллиарды пропорций, соблюдение которых необходимо в любом общественном хозяйстве?

Ответ на все эти вопросы уже дан и экономической наукой и хозяйственной практикой: путь к ликвидации дефицита лежит через рынок, все остальные рекомендации — утопия, экономический романтизм, ибо методы, которые используются сейчас для разработки планов, крайне примитивны в сравнении со сложностью самого объекта регулирования. Сегодняшняя техника планирования производства, если воспользоваться сравнением одного нашего известного экономиста-рыночника, практически мало чем отличается от регулирования часового механизма с помощью кувалды.

Реальный опыт всеохватывающего директивного и индикативного планирования в данном случае, возможно, красноречивее любых теоретических рассуждений. Вот уже более полувека мы планируем все, что можно и что нельзя, устанавливая сверху практически все многообразные натуральные и ценовые пропорции. Более полувека мы пытаемся избавиться во что бы то ни стало от диспропорций и шероховатостей рынка, ликвидировать все мелкие и мельчайшие дисбалансы, заменить неразумную рыночную самонастройку разумным и рациональным централизованным регулированием. Общий итог, однако, оказывается таким, что, подбирая копейки, мы теряем рубли, что мы либо вообще не достигаем преимуществ в сравнении с рынком, либо получаем их такой ценой, что они вряд ли могут даже называться преимуществами.

Известные потери, конечно, неизбежны в любом хозяйстве, будь то плановое или рыночное, национальное, заводское или домашнее. Но упрямые факты свидетельствуют, что в нашей плановой экономике относительная величина потерь в несколько раз больше, чем в любой рыночной.

Речь не о том, что эффективность производства у нас много ниже, чем на Западе, а именно о потерях в рамках действующей системы, о том, что мы потребляем гораздо меньше, чем производим. Ориентировочные оценки показывают, что фонд накопления (вложения в расширение производственных и непроизводственных фондов, а также в запасы и резервы) «съедает» у нас до трети национального дохода (если исчислять его по западной методике), военные расходы — порядка 20 %, и на потребление (личное и общественное) в итоге остается меньше половины того, что произведено. В США на накопление уходит 6—7 % национального дохода, столько же — на оборону, а более 85 % направляется на потребление.

Расходы на военные нужды — особый вопрос, но вот что касается затрат на накопление, то здесь никаких «оправданий» нет и быть не может. В сравнении с рыночной административно-плановая система подобна горе, рождающей мышь: вовлекаемые ею в производственный процесс огромные ресурсы исчезают затем в «черных дырах» хозяйственного круговорота, «выпадая в осадок» в виде избыточных запасов и незавершенного строительства, бездействующих основных фондов, прямых потерь при транспортировке, хранении и так далее. Вся система фактически больше работает сама на себя, чем на потребителя, коэффициент ее полезного действия крайне низок, она ориентирована не на конечный результат, но на сам процесс, в общем — «паровоз для машиниста».

Простые подсчеты показывают, что если только нам удастся сократить долю фонда накопления до уровня среднеразвитой рыночной экономики, мы сможем получить на тех же ресурсах, которые имеем сейчас, то есть на нынешнем отсталом техническом базисе, с нынешним уровнем подготовки рабочей силы, без увеличения затрат на науку, образование и вообще на что бы то ни было—только за счет лучшей организации дела,—в полтора раза больший фонд потребления.

Да, конечно, экономическая эффективность и уровень потребления — это хоть и важнейшие, но далеко не единственные параметры, по которым следует сравнивать различные системы регулирования производства. Экология, социальная справедливость, духовные ценности — все эти и многие другие несводимые к общему знаменателю реальные приоритеты нашей жизни тоже, разумеется, нельзя не принимать в расчет.

Наши уважаемые оппоненты, кстати, даже и не пытаются спорить насчет экономической эффективности, признавая, что здесь плановая система соперничать с рынком не может. Более того, они полагают, что это и не нужно, что наша сила совсем в другом — в обеспечении социально справедливого и экологически сбалансированного развития. В этой сфере мы обладаем преимуществами по определению, и потому здесь, если только не гоняться попусту за синей птицей экономической эффективности, наш плановый конь сможет в два счета обскакать рыночный паровоз. Будем бедными, но равными — не новая в общем идея, имеющая, впрочем, и сейчас миллионы приверженцев.

В какой мере следует жертвовать экономической эффективностью во имя высших идеалов социальной справедливости, нравственного совершенства, духовной и экологической гармонии — вечный философский вопрос, обсуждение которого может увести нас слишком далеко. Но для нашего спора о сравнительных преимуществах плана и рынка ответ, строго говоря, и не нужен, ибо нет никаких убедительных доказательств, ни теоретических, ни практических, что административное планирование — лучшее и более эффективное средство реализации наших неэкономических приоритетов, чем регулируемая рыночная самонастройка. А вот доказательств противного более чем достаточно: даже если совсем махнуть рукой на экономическую эффективность и полностью сосредоточиться только на социальной справедливости и экологии, у нас нет никаких реальных шансов превзойти в этой области рыночное хозяйство.

В самом деле, как теперь уже доподлинно известно, реальное воздействие всей обширной плановой деятельности разнообразных директивных органов на фактическое хозяйственное и социальное развитие крайне ограничено. Нет ничего более далекого от утверждения, что наша экономика развивается в соответствии с планом. Проведенные в последние годы исследования дали корректное статистическое подтверждение тому, что раньше было ясно на чисто интуитивном уровне: из многих факторов, воздействующих на экономическое развитие, план отнюдь не является самым важным. Было обнаружено, в частности, что очень простые прогнозы будущего развития отраслей и предприятий, прогнозы, составленные всего по трем точкам — по данным за три предшествующих года,— лучше соответствуют будущим фактическим значениям показателей, чем ориентиры, намеченные планом. То же относится и к годовым и пятилетним планам развития всего народного хозяйства — эти планы систематически не выполняются, причем величина плановых ошибок такова, что даже с самой большой натяжкой нельзя сказать, что план управляет нашей экономической жизнью.

Плановая система, вопреки распространенному убеждению, никогда не обеспечивала и не обеспечивает сейчас равномерности и устойчивости хозяйственного развития. Это видно даже невооруженным глазом при сопоставлении динамики темпов прироста национального дохода, скажем, в СССР и США — надо обладать немалым воображением, чтобы усмотреть бóльшую равномерность изменения этого показателя у нас. Об этом же свидетельствуют и специальные статистические расчеты: нестабильность советского показателя (степень отклонения от тренда) примерна та же, что и американского.

При этом надо иметь в виду, что данные официальной статистики сильно завышают реальные темпы роста советского национального дохода из-за недооценки фактического повышения цен. Поэтому-то темпы прироста нашего национального дохода в отличие от американского в последние годы хоть и были низки, но все же никогда не падали ниже нуля. На самом деле натуральные измерители дают иную картину: скажем, в 1979—1982 гг. физический объем производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве у нас не возрастал, то есть фактически в этот период мы пережили самый настоящий кризис, по своей продолжительности превосходящий, между прочим, все послевоенные кризисы на Западе. Отрицательными были, вероятнее всего, и темпы прироста реального национального дохода в 1987 году, когда официальная статистика зарегистрировала самый низкий за всю нашу мирную историю прирост показателя в урожайном году (2,3 %).

Получается, что в целом неравномерность развития в плановой экономике вполне сопоставима с экономической нестабильностью, существующей в рыноч-

ном хозяйстве. Действительная, а не умозрительная разница при этом состоит разве что в том, что в плановом хозяйстве неравномерность роста не имеет формы цикла, присущего движению капиталистической экономики.

Существуют, между прочим, некоторые основания предполагать, что в нашем плановом хозяйстве фактически действуют закономерности неразвитого, деформированного и плохо сбалансированного рынка. Ведь, если воспроизводственные пропорции формируются не плановыми органами, которые просто физически не способны объять необъятное, то, значит, они складываются стихийно, по соглашению, по договоренности между производителем и потребителем, продавцом и покупателем, рабочим и работодателем. Множество таких соглашений — и есть рынок, пусть допотопный, архаичный, зарегулированный и труднобалансируемый, но все-таки рынок с присущими ему, хоть и не всегда и не полностью срабатывающими, регуляторами роста. Проще говоря, если не план, то рынок, ибо третьего нет и быть не может.

Сказанное всецело относится и к экологическому, и к социальному развитию — уповая на всеобъемлющий план, здесь можно получить только диспропорции, неувязки и рассогласования, то есть в конечном счете — анархию и стихию, невыгодно отличающуюся от рыночной тем, что механизмы автоматической настройки подавляются и не действуют. Вынужденные заниматься «мелочевкой», всеми мелкими и мельчайшими пропорциями, плановики и здесь неизбежно упускают из вида главное, основное — перспективные направления развития и долгосрочные национальные приоритеты.

Очень неприятно, но надо признать — плановая система не дала миру примеров эффективного решения экологических проблем. Когда во главе угла стояли натуральные показатели, когда надо было во что бы то ни стало выполнить план по валу сегодня, сейчас, в крайнем случае через год или до конца пятилетки, завтрашний день неизменно приносился в жертву сегодняшнему, текущие выгоды покупались ценой разбазаривания того, что могло и должно было сохраняться и приумножаться для последующего развития, будущих поколений.

Запустив первыми спутник, мы отстали затем от ведущих стран на ключевых направлениях научно-технического прогресса, «упустив» электронику и биотехнологию, композиционные материалы и технологические лазеры. Состояние национального здравоохранения и образовании оказалось ниже всяких рациональных пределов даже с чисто экономической точки зрения. Разве не у нас, в плановой экономике, загрязнялись воздух, реки и водоемы, разрушались почвы, сводились без восстановления леса? Озабоченные планированием типоразмеров и сортаментов, плановики «не заметили», как началось высыхание не речки и не озера, а целого моря — Аральского, которое, если бы все осталось как есть, через пару десятков лет вообще исчезло бы. Именно во имя плана мы снимали с чайных плантаций в 2—3 раза больше чая, чем возможно, так что их биологические ресурсы теперь совсем истощились. Подобных примеров — множество, и все они свидетельствуют об одном и том же: при всеохватывающем планировании в сфере природопользования диспропорции оказываются по крайней мере не меньше, чем в рыночной экономике.

Полагать, что все экологические диспропорции созданы не планом вообще, а только старой обюрократившейся плановой системой, что в новых условиях все природопользование, будучи поставленным под демократический контроль населения, станет намного более рациональным,— значит обманывать самих себя. Хотя бы потому, что наши ресурсы ограничены и нам постоянно приходится выбирать между чистым воздухом и хлебом насущным.

Пока ученые спорят, каким должно быть оптимальное соотношение экономических и экологических приоритетов, на практике такой выбор делается ежедневно и ежечасно: нам все время приходится определять с точностью до копейки, какую часть национального дохода направить на увеличение производства продовольствия (или его закупки за рубежом), какую — на спасение Арала, и какую — на переустройство роддомов и детских больниц, не имеющих канализации и водопровода, в той же Средней Азии, например. Отказываясь от рыночных стандартов экономической эффективности, мы неизбежно резко сужаем возможности такого выбора.

С социальной справедливостью дела обстоят еще хуже. «Козырная карта» плановой системы — гарантированное право на труд и связанная с этим социальная стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Спору нет, полная занятость — это наше историческое социальное завоевание, безусловное преимущество социализма. Но и здесь опять-таки надо смотреть на вещи реально. Если отказаться от двойных стандартов в подходе к одной и той же проблеме и пользоваться определением безработицы, принятым на Западе, следует признать, что она у нас есть. Во-первых, есть так называемая фрикционная безработица, в каждый данный момент известное количество рабочих находится в процессе смены работы, переходит с одного предприятия на другое и потому нигде не работает. В 1985—1986 гг. текучесть рабочей силы, то есть число лиц, уволившихся только по так называемым «отрицательным» причинам (исключая уход с работы на пенсию, учебу, в армию, по болезни, из-за сокращения штатов и перевода на другой участок), в процентах к среднесписочному числу рабочих, составила в промышленности 12—13 %. Несложно подсчитать, что, если каждый из уволившихся оставался без работы хотя бы месяц, фрикционная безработица, порожденная только этими «отрицательными» причинами, находилась на уровне 1 %.

Во-вторых, в некоторых районах, в основном южных, на Кавказе и в Средней Азии, сложился сейчас избыток рабочей силы, здесь множество лиц трудоспособного возраста, желающих работать, но не работающих, ибо предлагаемая работа их не устраивает. В Армении, например, не работает 18 % трудоспособного населения, в Дагестане «сидят без работы» или заняты в домашнем и подсобном (а не в общественном) хозяйстве 170 тысяч трудоспособных граждан, в Чечено-Ингушетии — 121 тысяча, то есть примерно $^1/_5$ часть трудоспособного населения. Большинство неработающих (60—70 %) — женщины, в основном с детьми, которые не прочь подработать в своем селе, но в соседнее уже не поедут. Не имеющие постоянной работы мужчины, как правило, часть времени подрабатывают на стороне — в «шабашных» строительных бригадах, разъезжающих по всей стране (которые только сейчас переводятся на «легальное» положение), а другую часть времени отдают личному хозяйству.

Наконец, в-третьих, существует целая армия бродяг, «бичей» и «бомжей», как их называют. В большинстве своем это морально деградировавшие люди, не имеющие ни постоянной работы, ни постоянного места жительства, часто ранее судимые ($^2/_3$ случаев, по данным одного обследования). Много бичей на Дальнем Востоке, в Сибири, в крупных городах.

В совокупности эти неработающие лица составляют, вероятно, 2,5—3 % от численности рабочей силы. Это мало, действительно очень мало, но все-таки не исключительно мало. Это значительно меньше, чем в главных странах Западной Европы или в США, где в 80-е годы уровень безработицы колебался в пределах 5—12 %, но примерно столько же, сколько в Японии и Швеции. По американским стандартам, такой низкий уровень безработицы расценивается как ситуация полной занятости.

Есть, однако, и обратная сторона медали: цена, которую нам приходится платить за полную занятость, очень высока. Трудоустройство всех и каждого в плановом порядке сплошь и рядом производится за счет снижения эффективности производства, за счет принятия на работу фактически лишнего, избыточного персонала. При наличии огромных бездействующих фондов, миллионов пустующих рабочих мест (до $^1/_3$ фондов в целом по народному хозяйству не обеспечено рабочей силой), при низком коэффициенте сменности мы вместе с тем имеем множество избыточных, лишних рабочих почти на каждом предприятии. По оценкам академика Т. Заславской, от 5 до 15 % работников на большинстве предприятий практически являются лишними, их держат «на всякий случай». В Средней Азии, где имеется избыток рабочей силы, в последние 10 лет производительность труда даже по официальным данным вообще не растет, хотя его оплата увеличилась за это время на 30—40 %. Это реальные парадоксы планового трудоустройства, влекущие за собой потери таких средств, которых, вероятно, с лихвой хватило бы для того, чтобы комфортно трудоустроить не только наших, но и всех западных безработных вместе взятых.

В сфере распределения не всегда оправданную дифференциацию доходов в рыночном хозяйстве плановая система заменила отнюдь не оплатой по труду, а повсеместным уравнительным распределением. Тарифная система — единообразный для многомиллионной страны «табель о рангах», приравнивающий друг к другу разные конкретные виды труда, осуществляемого к тому же в неодинаковых условиях и с разной интенсивностью,— даже теоретически никак не может быть абсолютно совершенной. На практике же все стремления, возможно, и самые благонамеренные, ввести во что бы то ни стало сверху, в декретном порядке такой «табель о рангах» неизбежно выливаются в уравниловку, устранение всякой дифференциации в оплате труда.

В нарушении всей системы стимулирования, в экономически неграмотных пересмотрах тарифной системы с необоснованным сокращением межразрядных коэффициентов и неоправданной унификацией тарифных сеток и ставок в 60—70-е годы Н. Владова и Н. Рабкина видят основную причину постигшей экономику болезни застоя (с. 84—86). Выход из положения они видят в том, чтобы, отталкиваясь от одного из социальных нормативов — устанавливаемой обществом минимальной зарплаты, рассчитать затем тарифы и оклады для каждого конкретного вида трудовой деятельности, получить таким путем величину фонда заработной платы и затем — фонда потребления, а фонд накопления определять как остаток (созданный национальный доход за вычетом рассчитанного фонда потребления). Такая последовательность расчетов, по их мнению, даст ориентир для экономически обоснованных решений, в частности, для

установления допустимых пределов расширения производства и выделения средств на целевые нужды.

Отметим, между прочим, что основанное на таком подходе планирование не позволит обеспечить полную занятость: ведь преобладающая часть фонда накопления идет именно на капиталовложения, то есть на создание новых рабочих мест для тех, кто вступает в трудоспособный возраст, и если фонд накопления определять как остаток, инвестиций для создания потребного количества новых рабочих мест может и не хватить. Но это только к слову.

Главное же состоит в том, что установить грамотные, оправданные и обоснованные тарифы, разряды, надбавки и коэффициенты, регламентирующие оплату труда, так же невозможно, как невозможно рассчитать сбалансированный план производства в натуре или рациональные цены. Госкомтруд на деле регулирует, да и то не всегда, только оплату труда работников, находящихся на окладе. Для сдельщиков же и повременщиков заработная плата «выводится» через манипулирование нормами выработки, надбавками и доплатами, фиктивным совмещением профессий, урочными и сверхурочными часами. Реальное регулирование оплаты труда осуществляется не через тарифную систему, а при распределении по предприятиям фонда зарплаты. Этим занимаются министерства через установление специальных нормативов, добиваясь на практике только более или менее одинакового уровня оплаты труда на подведомственных заводах. На большее и рассчитывать не приходится, ибо самая подробная, детально и тщательно разработанная тарифная сетка Госкомтруда «обречена» отличаться от многообразия конкретных условий не меньше, чем скелет от живого организма.

Жизнь, как всегда, идет своим чередом, а плановики, думающие, что они что-то регулируют, на самом деле только успевают оформлять, и то с некоторым опозданием, реальные изменения. Почему, скажем, один и тот же главный бухгалтер в угольной промышленности получает (включая премии) 480 рублей, а в пищевой за ту же работу — только 250 рублей? Почему в торговле, легкой и пищевой промышленности зарплата вообще заметно ниже, чем в машиностроении? Почему официанты «сидят» на окладе 80—90 рублей? Ответ слишком хорошо известен: в торговле и других сферах, где водится ходовой товар, есть фактически «освященные» Госкомтрудом возможности получения нелегальных доходов. И если это плановое ведомство отказывается признавать существующие реальности, жизнь все равно чаще всего берет свое обходным путем: при заниженных тарифных ставках директора предприятий получают от своих министерств больший фонд зарплаты и негласную санкцию на «выведение» более высоких заработков, чтобы «люди не разбежались».

Надежда на то, что нам удастся сверху, в плановом порядке определить справедливые тарифные ставки лучше, чем это делает рынок, столь же эфемерна и призрачна, как и надежда рассчитать с помощью последних достижений экономической теории обоснованные ценовые пропорции. По существу такая надежда опирается не на научное знание, но на слепую веру; это своего рода «нетерпение ума», попытка перепрыгнуть через необходимые ступеньки прогресса.

«Вооруженная современной вычислительной техникой и достойным доверия математическим обеспечением, опираясь на большую, но не догматизированную теорию, экономическая наука в состоянии сегодня постичь глубинные законы ценообразования, овладеть расчетами не только стоимости, но и, что гораздо труднее, полезности...» — пишут Н. Владова и Н. Рабкина. Звучит крайне заманчиво, но не убеждает. Более убедительным аргументом был бы точный прогноз динамики цены хотя одного-единственного товара на мировом рынке, прогноз, подтвержденный затем фактическим изменением цен. Но экономисты, предлагающие алгоритмы конструирования цен, такими прогнозами не занимаются, а другие экономисты, занимающиеся прогнозными расчетами и знающие, насколько трудно «попасть в точку», насколько сложным и труднопредсказуемым общественным отношением является цена, никаких рецептов для конструирования цен не предлагают.

Наш опыт планового ценообразования свидетельствует, что и здесь директивные органы фактически плывут по течению, идут на поводу у событий, реальные законы развития которых до сих пор очень слабо изучены. Инфляции, как известно, нам избежать не удалось. ЦСУ — Госкомстат смогли частично скрыть рост цен в статистических публикациях, но, разумеется, не в реальной жизни. Даже если судить по официальным данным, цены на потребительские товары (составляющие розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли) выросли с 1928 года почти в 10 раз (в США за этот же период — в 6 раз). Но эти официальные данные вне всякого сомнения существенно занижают реальный рост цен: используемые здесь примитивные методы счета приводят, например, к заключению, что в последние 25 лет цены на обувь вообще не повысились и даже несколько снизились.

Альтернативные оценки показывают, что фактический прирост цен составляет в последние годы 3—5 %, а потенциальный (с учетом роста «дефицитности», то есть дисбаланса, между денежным спросом и товарной массой) перешагнул уже, вероятно, десятипроцентную отметку.

Еще неприятнее, что повышение цен идет неравномерно в разных отраслях, вследствие чего возникает множество ценовых диспропорций. Госкомцен здесь, к худшему или к лучшему, ничего не контролирует, ибо это просто не в его силах: ценовых пропорций миллионы, а обоснованно рассчитать цену хотя бы одного товара экономисты до сих пор не в состоянии. В тех отраслях, где номенклатура продукции обновляется быстро (машиностроение, строительство, легкая и пищевая промышленность), производители легко «накручивают» цены, ибо проверить обоснованность составляемых ими калькуляций практически невозможно. Труднее производителям тех отраслей, в которых номенклатура продукции невелика и относительно стабильна (сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс),— здесь Госкомцен может осуществлять контроль довольно эффективно.

В конечном итоге на «ценовой арене» из пятилетки в пятилетку повторяется одно и то же «представление»: цены на готовые изделия и услуги убегают вперед, а цены на сырье отстают, вследствие чего сырьевые отрасли периодически превращаются в низкорентабельные или даже убыточные, и в них приходится проводить единоразовые крупные повышения цен.

Помимо крупных ценовых диспропорций, которые у всех на виду (цены мясомолочных продуктов субсидируются из казны, уголь — вдвое дешевле, чем на мировом рынке, и так далее), существует еще и масса не столь заметных, но в совокупности не менее вредных мелких ценовых неувязок. Производство всех изделий имеет разную рентабельность, есть выгодная или невыгодная продукция, причем на практике оказывается невозможным определить, в какой мере, скажем, высокая рентабельность связана с тем, что цена завышена, а в какой — с ударной работой коллектива. Приходится поэтому изымать у предприятий всю «лишнюю» прибыль через устанавливаемые для каждого из них индивидуальные нормативы — и все самофинансирование опять-таки сводится к уравниловке, ибо отчисляют в бюджет и министерству больше те предприятия, у которых рентабельность выше.

В целом наш богатый опыт планирования цен и зарплаты — от первых лет нэпа до сегодняшнего дня — заставляет по крайней мере усомниться в возможности эффективно использовать рычаги индикативного планирования для регулирования производства и практического обеспечения социальной справедливости. Дилеммы «быть богатыми и неравными или бедными, по равными» на самом деле не существует, если под равенством разуметь не уравниловку, но вознаграждение сообразно количеству и качеству затраченного труда. Добиваясь социальной справедливости с помощью планирования цен и зарплаты, мы можем только увеличивать как бедность, так и неравенство одновременно.

Какой рынок нам нужен?

Истина всегда конкретна. Утверждение, что всегда и везде рынок лучше плана, столь же неверно, как и противоположное. Вопрос, конечно, состоит в том, в каких пропорциях и каким образом следует соединить эти системы регулирования. Как это часто бывает, здесь легче идти от противного, то есть сказать, чего не надо делать.

Экономически рациональный и оправданный баланс между централизованным и автоматическим регулированием, между планом и рынком, баланс, соблюдение которого необходимо в любой экономике, основанной на разделении труда, у нас, в административной системе, оказался сильно смещенным в сторону централизма, директивного планирования. И результат не замедлил сказаться: практически по всем позициям потери в плановой экономике оказались намного выше, чем в рыночной. Для лечения недугов рынка было фактически использовано слишком сильное лекарство и к тому же в чрезмерных дозах. Здоровье экономики от такой неумеренной «плановой терапии» только ухудшилось. Всеохватывающий план лег на экономику тяжким бременем, подавив ее потенциальные способности к росту и саморазвитию.

Сейчас, наверное, остается все меньше и меньше экономистов, питающих какие-то иллюзии в отношении чудотворных способностей плана. История вынесла суровый приговор всеобъемлющему директивному планированию. Мы убедились на собственном опыте: попытки устранить все, абсолютно все мелкие и мельчайшие дефекты рынка во что бы то ни стало, невзирая на затраты, в известном смысле схожи с безумным намерением поджечь дом, чтобы приготовить яичницу.

Вполне вероятно, что в будущем по мере возрастания наших знаний об экономических законах и наших способностей предсказывать хозяйственное развитие плановые методы смогут давать все лучшие и лучшие результаты, и их использование поэтому можно будет расширить. Но сейчас пропасть между всем многообразием хозяйственных пропорций и теми немногими из них, которые действительно можно более или менее обосно-

ванно спланировать, настолько велика, что просто не хватает воображения представить, что когда-либо в обозримой перспективе, пусть даже через 50—100 лет, мы окажемся в состоянии эффективно планировать хотя бы важнейшие взаимосвязи процесса воспроизводства.

И сейчас, и в обозримой перспективе, другими словами, наиболее разумным принципом организации любого сложного общественного хозяйства, будь то капиталистическое или социалистическое, может быть только рынок, рыночная самонастройка, дающая лучший баланс выгод и издержек в сравнении со всеми другими известными способами регулирования.

Думается, что в перспективе именно на рыночные механизмы должно лечь основное бремя поддержания многообразных пропорций в нашей экономике. И совсем не потому, что рынок идеален, или даже просто лучше других систем регулирования — в отдельных сферах он явно не лучше, а хуже. Смысл состоит в том, чтобы, имея рыночные автоматические регуляторы, корректировать их затем с помощью методов индикативного и директивного планирования. Общий принцип при этом, очевидно, должен быть следующим: замена рыночной самонастройки плановыми рычагами может осуществляться только тогда, когда есть твердая научная уверенность и высокая степень общественного согласия, что рынок в данном конкретном случае будет менее эффективен. До сих пор мы поступали как раз наоборот: опираясь на всеохватывающий план в натуре и всеобъемлющее регулирование цен и зарплаты, допускали рыночные связи лишь при полной невозможности что-то спланировать сверху. Такой подход переворачивал все с ног на голову: умерщвляя сначала единый живой организм, плохо ли, хорошо, но все-таки саморегулирующийся, мы затем пытались заставить функционировать его отдельные органы. Сейчас же замысел заключается в том, чтобы вновь вдохнуть жизнь в этот хозяйственный организм, помочь ему встать на ноги и врачевать далее его болезни, исправлять недостатки, приближая его по мере возможности к совершенству.

Здесь, наконец, мы подошли к решающему пункту — к разговору о том, какой именно рынок нам необходим и как конкретно следует его регулировать. Некоторые соображения, высказываемые Н. Владовой и Н. Рабкиной в этой связи, очень ценны и носят в полном смысле этого слова конструктивный характер, хотя по форме сводится только к критике купцов-рыночников. Им удалось нащупать самые слабые места рыночной концепции, которая у нас пока находится в стадии становления и которой всякая умная критика, естественно, только на пользу.

Наши оппоненты упрекают рыночников в пристрастии к хирургическим мерам там, где нужна осторожная терапия, в том, что они напрочь отбрасывают понятие «совершенствование» и уважают только слово «ломать». «История,— пишут они в другом месте,— еще не знает прецедентов, чтобы экономический застой был преодолен с помощью экономического хаоса» (с. 82), и с этим последним утверждением, конечно, трудно не согласиться.

Справедливости ради следует сказать, что без ломки старых административных структур мы вообще никуда не продвинемся, ибо нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Коренной вопрос перестройки — это вопрос о власти, о ее перераспределении между бюрократией, с одной стороны, и трудовыми коллективами населения — с другой, в пользу последних. Без ломки старого бюрократического аппарата здесь не обойтись.

Но ведь ломать — не строить, это тоже правда, тем более, что до сих пор конструктивная, созидательная программа управления рыночным хозяйством вырисовывается у экономистов рыночного направления, как представляется, не слишком четко. У нас до сих пор нет ни концепции, ни аппарата регулирования складывающегося социалистического рынка, а без этого отправляться на поиски счастья в страну рыночной стихии действительно крайне опасно. О чем конкретно идет речь? Здесь представляется возможным только кратко остановиться на самых ключевых моментах.

1. Проблемой всех проблем становится сейчас восстановление устойчивости денежной системы, разваливающейся буквально на глазах.

По западным подсчетам дефицит государственного бюджета СССР, составляющий в 1980—1985 гг. в среднем менее 3 % ВНП (валого национального продукта), возрос в 1988 году до 14 % ВНП. Эти подсчеты примерно совпадают с советскими неофициальными оценками и с недавно обнародованными официальными данными о плановом бюджетном дефиците на 1989 год — более 100 млрд. руб., то есть порядка 12 % ВНП [1]. Напомним, что в США, которые все так критиковали за «непомерный» дефицит федерального бюджета, он достиг максимума в 1983 году (3,8 % ВНП), а затем снизился и составляет сейчас менее 3 % ВНП. В среднем по странам ОЭСР дефицит госбюджета в 80-е годы составлял 3—4 % ВНП; только в трех странах ОЭСР — в Италии, Греции и Бельгии — дефицит доходил в нынешнем десятилетии до отметки 10—12 % ВНП.

[1] В дефицит бюджета включается не только сумма денежной эмиссии (36,3 млрд. руб., о которых говорил Б. И. Гостев на октябрьской сессии Верховного Совета), но и «займы из общегосударственного ссудного фонда» (63,6 млрд. руб.), которые, кстати, только с большой натяжкой можно назвать займами, и прямые займы государства у населения через продажу государственных облигаций (1—2 млрд. руб. в последние годы). Кроме этого, есть еще и дефициты бюджетов союзных республик (6,4 млрд. руб. только в РСФСР в 1989 году, например), которые планируется сократить в нынешнем году на 11 млрд. руб.

Дело, конечно, не в том, что мы не слишком хорошо смотримся в международных сопоставлениях. Реальная опасность увеличения дефицита состоит в том, что в обращение постоянно накачивается избыточная, не обеспеченная товарами денежная масса и, соответственно, растет разрыв между денежным спросом и товарным предложением. Цены у нас пока в основном назначаются сверху, и, следовательно, расширение денежной массы выразится в обострении повсеместного дефицита, в полном исчезновении из продажи все новых и новых товаров, в удлинении очередей, в ускорении роста цен на кооперативном и «черном рынке», а в недалекой перспективе — и в государственной торговле.

Из экономической теории и мирового опыта известно, что развитие инфляционного процесса проходит две стадии. Вначале, на первом этапе, рост массы денег в обороте не отражается полностью в повышении цен: поступающие в обращение новые деньги сразу не тратятся, то есть скорость обращения всех денег замедляется, что сдерживает повышение цен. Но затем, по мере поступления новых денег в оборот и повышения темпов инфляции (примерно до 10—15 %), наступает второй этап: люди, обеспокоенные обесценением денег, стараются избавиться от них, обменять их на реальные ценности, начинается «бегство от денег» в вещественные активы, ускорение оборачиваемости денег становится дополнительным фактором, питающим инфляцию.

На первом этапе государство явно выигрывает, получая дополнительные доходы от денежной эмиссии при относительно небольшом усилении инфляции (или — при устанавливаемых сверху ценах — дефицитности). Но бесплатных завтраков не бывает, за все в этом мире раньше или позже приходится платить, и на втором этапе инфляции рост цен уже обгоняет увеличение денежной эмиссии. Весь процесс здесь зацикливается, приобретает куммулятивный, лавинообразно развертывающийся характер: усиление инфляции — «бегство от денег» — ускорение оборачиваемости денег — еще большее усиление инфляции и так далее. На этой стадии денежное обращение страны приходит в расстройство, рост цен выходит из-под контроля и становится непредсказуемым, и даже полная остановка печатного станка не ведет к стабилизации цен — инфляция продолжается за счет роста скорости оборота обесценивающихся денежных средств.

Многочисленные факты свидетельствуют, что мы сейчас вступаем в этот, второй, крайне опасный этап развертывания инфляционного процесса.

Согласно официальной статистике, индекс розничных цен увеличивается у нас ежегодно менее чем на 1 %, индекс оптовых цен вообще не растет, но эти цифры — фикция, создаваемая порочной практикой статистического учета. Неофициальные оценки показывают, что инфляция составляет у нас 3—5 %, что в общем тоже немного. Обесценение денег, однако, уже сейчас идет у нас гораздо более высоким темпом, ибо выражается не только в умеренном повышении контролируемых сверху цен, но и в быстром росте дефицитности на всех рынках, в углублении разрыва между спросом и предложением.

Всего за четыре года (1985—1988 гг.) вклады населения в сберкассы увеличились почти на 100 млрд. руб., то есть почти наполовину! При сохранении таких темпов роста сумма вкладов через каких-нибудь три—пять лет превысит объем всего розничного товарооборота и всех денежных доходов. А между тем уже и теперь, по ориентировочным оценкам, от четверти до половины вкладов в сберкассы (70—140 млрд. руб.) образуют собой не добровольные, но фактически принудительные сбережения, постоянно давящий на потребительский рынок отложенный потребительский спрос, который будет немедленно «отоварен», как только в магазинах появится дефицит.

Уже сейчас степень несбалансированности потребительского рынка подошла, вероятно, к критическому рубежу: исчезают из продажи не только товары повседневного спроса (мыло, стиральные порошки), но и потребительские товары длительного пользования (холодильники, мебель, стиральные машины), и типично накопительские товары (драгоценности, антиквариат, хрусталь). Люди явно встревожены перспективами ценовой реформы, ассоциирующейся со всеобщим повышением цен, и стремятся вложить свои сбережения в реальные ценности. Те же диспропорции и на рынке средств производства — все увеличивающиеся денежные средства на банковских счетах предприятий нечем отоваривать.

Иначе говоря, всеобщий товарный голод уже становится реальностью. Еще несколько лет такой бешеной гонки, и доверие населения и предприятий к рублю совсем будет подорвано, денежная система окончательно придет в расстройство, процесс выйдет из-под контроля и станет

необратимым. Рубль совсем обесценится, разовьется бартерная экономика (обмен товара на товар без посредства денег), как это было во времена «военного коммунизма», во время войны и в первые послевоенные годы. Тогда уже не будет пути назад, придется проводить всеобъемлющую денежную реформу, наподобие тех, которые проводились у нас в 1922—1924 гг. и в 1947 году. Нужно ли говорить, что эта болезненная мера, неизбежно сопряженная с конфискацией накоплений населения (иначе денежная реформа не будет эффективной), надолго подорвет всякую веру в перестройку?

При всей кажущейся простоте этого вопроса сегодня, сейчас и в краткосрочной перспективе для нас, пожалуй, нет ничего важнее, чем восстановление финансового равновесия и обеспечение устойчивости рубля. Если мы не сумеем существенно сократить бюджетный дефицит в самое ближайшее время, страна может оказаться на грани финансового краха. Если не остановить немедленно печатный станок, хозяйственная жизнь будет парализована обесценением денег, центр просто потеряет контроль над экономическим положением и никакие реформы не окажутся возможными.

Стабильное денежное обращение нужно любой системе, будь то командно-административная или рыночная. Однако особенно необходим устойчивый рубль нам именно сейчас, когда мы отказываемся от директивных методов управления, делая ставку на экономические стимулы. Совершенно очевидно, что, как только мы перешагнем невидимый рубеж, отделяющий первый этап развития инфляции от второго, как только, другими словами, процесс обесценения денег приобретет саморазвертывающийся характер, все экономические методы регулирования, все известные инструменты и рычаги экономического воздействия на производство, такие, как цены, нормативы, налоги, кредит и тому подобное, окажутся недействительными, неэффективными, просто не будут работать. Нити экономического управления, связывающие хозяйственных агентов с центром, провиснут, их нельзя будет больше использовать в качестве приводного ремня в механизме централизованного регулирования. Собственно говоря, тогда останется только одна альтернатива неуправляемому хаотическому развитию хозяйства (что чревато дальнейшим усилением и без того глубоких диспропорций), и эта альтернатива известна — возврат к директивным методам управления.

Вспомним опыт западных стран: в 70-е годы, по мере раскручивания инфляционной спирали, там постоянно нарастала озабоченность все ускоряющимся ростом цен, и в конце концов, когда темпы их повышения стали подбираться к 10 % отметке, инфляция была объявлена врагом № 1, а борьба с ней — наивысшим приоритетом всей экономической политики правительства. И практически во всех западных странах такой курс (ограничение темпов роста денежной массы) с середины 70-х годов и еще решительнее — с конца 70-х годов последовательно проводился в жизнь, независимо от того, какие политические партии стояли у власти, и несмотря на то, что издержки в виде углубления циклических кризисов 1973—1975 гг. и 1979—1982 гг., роста безработицы, банкротства предприятий и так далее были отнюдь не символическими.

Зачем понадобились эти жертвы, если от инфляции в 10 %, как говорится, «еще никто не умирал», если заработная плата, пенсии, пособия и другие доходы в целом росли быстрее, чем цены, так что реальное благосостояние основных слоев населения, по крайней мере, существенно не снижалось? Ответ известен: инфляция, превышающая 10—15 %, опасна тем, что становится самопроизвольно развертывающимся и плохо предсказуемым процессом, что, следовательно, экономические рычаги регулирования теряют свою эффективность, что, наконец, это расстройство системы управления расценивалось как неизмеримо более серьезная опасность, чем издержки, связанные с проведением антиинфляционного курса.

Надо ли нам повторять ошибки социалистических стран, в разное время вступивших на путь перехода к рыночной экономике,— Югославии, где инфляция в 80-е годы составляла десятки процентов, а в 1987 году выразилась даже трехзначной цифрой, или Венгрии, Китая, Польши, где цены теперь растут более чем на 10 % в год? Ведь в этих странах именно инфляция парализует хозяйственную жизнь и является по существу главным барьером для дальнейшего развертывания экономических реформ.

Короче, срочное, безотлагательное оздоровление наших финансов и нашего денежного обращения — это хоть и далеко не самая сложная экономическая проблема, но абсолютно необходимое условие для проведения в жизнь всех намеченных и намечаемых преобразований. Самые умные, умело разработанные и тщательно скоординированные реформы окажутся бесполезными и нерезультативными, если только не будут приняты неотложные решительные меры по восстановлению финансового равновесия.

2. До сих пор мы были озабочены прежде всего и главным образом разрушением прочных оков административной системы — это было оправдано раньше и безусловно оправдано сейчас. До сих пор мы более всего страдали от бюрократического сопротивления перестройке, от того, что хорошие решения, принимавшиеся на самом верху, неизменно выхолащивались, спускаясь вниз по ступенькам бюрократической пирамиды,— и это продолжает оставаться самой серьезной преградой на пути к рыночной экономике.

Похоже, однако, что борьба с таким сопротивлением, далеко еще не сломленным, отодвинула на задний план задачи конструктивные, созидательные, задачи организации новой системы управления социалистическим рыночным хозяйством. А между тем без такой системы управления нам нечего рассчитывать, что освобожденная от административного корсета экономика станет сбалансированной и эффективной. Больше того, разрушив старую систему административного управления и не создав взамен новой, экономической, мы можем только подорвать устоявшиеся хозяйственные связи, добавить к нынешним, уже существующим диспропорциям новые и таким образом окончательно испортить все дело.

Оттолкнувшись от одного берега в лодке без руля и весел, мы рискуем так и не доплыть до противоположного берега. Или, как пишут наши оппоненты, мы можем оказаться подобны больному человеку, который, потеряв всякое терпение, решительно отбрасывает костыли, так и не научившись ходить; костыли очень плохие, неудобные, неэффективной конструкции, не позволяющие человеку нормально передвигаться, но все-таки худо-бедно поддерживающие его в вертикальном положении и не дающие упасть.

Это вовсе не абстрактно-теоретические варианты нашего перспективного развития. Это реальные альтернативы сегодняшнего дня; заниматься этими проблемами надо сегодня, сейчас, немедленно, ибо мы и так уже упустили время, и завтра может быть поздно.

Чтобы не быть голословными, обратимся к экономическим реалиям.

В нынешнем, 1989, году доля госзаказа в основных промышленных отраслях должна быть снижена до 25—59 %, то есть грубым счетом вдвое по сравнению с уровнем прошлого года. Это вплотную подводит нас к опасности повторения кризиса сбыта 1923 года. Ведь наша промышленность и теперь остается, вероятно, самой монополизированной в мире: если в американской промышленности действует около 1 млн. фирм, то у нас — только несколько десятков тысяч. Во многих отраслях конкретный продукт выпускается всего одним-двумя предприятиями-монополистами. Как показало обследование, проведенное недавно Госснабом в ряде отраслей, почти две тысячи продуктов производятся лишь на одном-единственном предприятии (швейные машинки например), а существуют еще, видимо, многие десятки, если не сотни тысяч изделий, каждое из которых выпускается всего лишь несколькими заводами по всей стране — двумя, тремя, пятью, десятью. Значит, формирующийся в промышленных отраслях по мере свертывания госзаказа рынок будет сильно монополизированным, а это, в свою очередь, чревато повышением цен за счет ограничения выпуска.

Кампания заключения договоров на 1989 год на поставки продукции проходила у нас, как известно, с большими трудностями. Многие предприятия уже заявили о своем намерении сократить производство в нынешнем году. Проведенный в Госснабе анализ заявок по 1000 видам продукции, которая проходит по контрольным цифрам, показал, что *каждое пятое* предприятие предполагает уменьшить выпуск такой продукции по сравнению с уровнем 1988 года на 15—30 %. Оказывается, что и при сокращении реального выпуска, только за счет повышения цен (даже при нынешнем строгом контроле над ними) эти предприятия вполне в состоянии выйти на такой объем производства в рублях, в текущих ценах, который необходим им для выплаты зарплаты.

Разве мы готовы к тому, чтобы противостоять этим монополистическим тенденциям?

Инструменты регулирования монополизированного рынка в принципе известны: во всех западных странах, в частности, существует специальное антимонополистическое законодательство, направленное на сохранение какого-то минимума конкуренции на отраслевых рынках. Для предотвращения чрезмерной монополизации рынков используется также и регулирование импорта. Но главное — это специальная финансовая и кредитно-денежная политика, имеющая целью обеспечить устойчивый безынфляционный рост при полной занятости в условиях негибких, жестких монопольных цен.

Концептуальные основы такой политики регулирования были заложены крупнейшим экономистом XX столетия Дж. Кейнсом и его последователями (неокейнсианцами) в 30-е годы и вскоре после второй мировой войны. В послевоенный период в западных странах такая политика стала стержнем всего государственного экономического регулирования и сегодня уже опирается на солидные и обширные теоретические разработки.

Проблема, однако, в том, что мы до сих пор довольно слабо знакомы с теорией и практикой такого регулирования, у нас недостаточно квалифицированных специалистов, полностью отсутствует аппарат для разработки и проведения соответствующей финансовой и кредитно-денежной политики.

Проблема заключается также и в том,

что закономерности функционирования социалистического рынка отличны от тех, которые действуют на капиталистическом рынке. Скажем, капиталистические фирмы ориентированы на накопление, на увеличение прибыли, на инвестирование этой прибыли с целью получения новой прибыли и так далее. Социалистические самоуправляющиеся трудовые коллективы и кооперативы ориентированы на потребление, на максимальное удовлетворение своих нужд. Поэтому, если в капиталистической экономике возникает опасность перенакопления (отсюда — периодические кризисы перепроизводства), то в социалистическом рыночном хозяйстве, напротив, имеется угроза «перепотребления». Об этом свидетельствует, в частности, опыт Китая и других социалистических стран, где трудовые коллективы, получив право распоряжаться собственной прибылью, тут же стали «проедать» ее, резко увеличивая фонд потребления.

Выход, видимо, состоит в регулировании из центра ключевой пропорции между потреблением и накоплением. Чтобы не ставить под угрозу национальные долгосрочные приоритеты и гарантии трудоустройства, объем накопления, обеспечивающий помимо реализации общенациональных программ также и создание определенного количества рабочих мест, должен быть задан заранее, а все, что останется, будет «самотеком» пущено на потребление (нормативы, регулирующие объем вложений предприятий в расширение производства — не меньше такой-то величины,— существовали у нас, кстати сказать, в период нэпа). До сих пор, однако, не видно, чтобы Госплан, Минфин или другие ведомства серьезно занимались этим вопросом.

Далее. Для того, чтобы свести к минимуму издержки рыночного хозяйства и в полной мере воспользоваться его выгодами, нам непременно нужна сильная социальная политика, равно как и всесоюзная система переквалификации рабочей силы. Ведь по мере свертывания системы государственных заказов многие предприятия станут сокращать производство и увольнять рабочих, другие, хронически убыточные, вообще придется закрывать, люди должны будут менять место работы. Рост цен — а он определенно усилится с переходом к рыночному ценообразованию — еще более подорвет материальное положение лиц с фиксированными доходами, в первую очередь пенсионеров. Все это требует создания механизмов социальной защиты, адекватных современным мировым стандартам и нашим социалистическим идеалам. Такие механизмы развиты у нас крайне слабо, здесь мы отстали от промышленно развитых стран, в особенности от западноевропейских, на многие десятилетия.

В общем, и в этой, социальной, области, так же как и в других сферах, нам срочно нужны специальные механизмы и институты, с помощью которых можно было бы отрегулировать нарождающуюся систему рыночного социалистического хозяйства, обеспечить ее нормальное, бескризисное функционирование. В отсутствие таких механизмов и институтов переходить на рыночные рельсы было бы по меньшей мере неосмотрительно. Выстраданная годами и десятилетиями идея рыночной экономики, едва-едва ставшая приобретать реальные очертания, может быть загублена в одночасье.

3. Надо отказаться от проведения реформы розничных цен — у нас вполне хватает реальных проблем, требующих неотложного решения, нам незачем самим создавать себе новые. Реформа розничных цен — это не приоритетная задача на ближайшие годы, это насквозь надуманная, искусственно раздутая проблема. Против ценовой реформы высказались уже практически все экономисты, и антирыночники, и рыночники, и В. Леонтьев, и Дж. Гэлбрэйт.

Рядовые потребители в массе своей настроены решительно против повышения цен, даже разговоры о возможной ценовой реформе вызывают у них все возрастающее раздражение, и для этого, несомненно, есть веские основания. Слишком часто рядового потребителя обманывали, попросту говоря, надували при проведении подобных реформ, чтобы он сейчас вдруг и сразу поверил, что повышение цен на основные продовольственные товары — в его же собственных интересах.

Многим памятны и денежная реформа 1947 года, сопровождавшаяся прямой конфискацией сбережений населения, и повышение цен на мясо-молочные продукты в начале 60-х годов, не компенсированное полностью ростом доходов и снижением цен на промтовары, и неоднократные последующие повышения цен и тарифов на самые разные товары и услуги, о которых порой даже не объявлялось. Недавнее правильное решение о закрытии «Березок» было проведено в жизнь с явным нарушением принципов финансовой порядочности — наряду с сотнями жуликов и спекулянтов пострадали сотни тысяч честных людей, трудовые сбережения которых государство фактически частично отказалось отоваривать.

Короче, у населения сложилось к настоящему времени очень твердое убеждение, что «государство себе на ноги топор не уронит», что, так или иначе, вопреки всем заверениям, ценовая реформа будет проведена в очередной раз за счет ущемления жизненных интересов потребителей. Даже если ценовая реформа будет проведена действительно честным образом, так, что государство вернет населению (через надбавки к зарплате, удешевление промтоваров и так далее) весь свой выигрыш от повышения цен на продовольствие, все равно этому мало кто поверит. Это, может быть, удивительно и даже неприятно, но это так, это — реальность нашей жизни, с которой нельзя не считаться.

Общественное сознание инерционно, и на финансовую репутацию правительства влияет сейчас в гораздо большей степени печальный опыт прошлых злоупотреблений, чем сегодняшние самые искренние намерения покончить с этими злоупотреблениями раз и навсегда. Доверие населения к финансовым акциям правительства может быть потеряно в один день, но завоевывается годами и даже десятилетиями. А в последние годы, к сожалению, не случилось ничего такого, что позволило бы говорить об успехе перестройки в экономике и повысило бы доверие к экономической стратегии правительства: очереди все так же длинны, прилавки по-прежнему пусты, уровень жизни не повышается.

При сложившемся сейчас положении, другими словами, у правительства нет никакой реальной возможности «выиграть ценовой раунд». Как бы тщательно ни готовилось повышение цен, какой бы разъяснительной работой оно ни сопровождалось, какую бы полную компенсацию ни получили потребители, большинство все равно окажется недовольным, популярность руководства резко упадет и кредит нового курса будет серьезно подорван. «Вот и свелась вся перестройка к повышению цен» — несложно предсказать, что такое мнение станет после ценовой реформы типичным и преобладающим.

С чисто экономической точки зрения реформа розничных цен ничего существенного не даст. При «честном варианте» государство ничего не выиграет и, следовательно, не сможет поправить свои бюджетные дела. Мяса от повышения цен больше не станет: рост сельскохозяйственного производства после 1953 года и 1965 года был вызван, среди прочего, повышением не розничных, а *оптовых* цен (кстати, при стабильных *розничных*), и потому ничего в данном случае не доказывает.

Что же касается субсидий, направляемых на поддержание заниженных розничных цен на мясо-молочные продукты, то в этом нет ничего страшного. Все промышленно развитые страны субсидируют сейчас свое сельское хозяйство, причем до $^{2}/_{3}$ субсидий направляется именно на поддержание продажных цен и фермерских доходов. В Японии субсидии достигают 15 млрд. долл., в ЕЭС — 26 млрд. долл. Даже рейгановская администрация, более других приверженная принципам свободного нерегулируемого рынка, вынуждена была увеличить за время своего пребывания у власти субсидии фермерам в несколько раз — сейчас они составляют 27 млрд. долл.

Разумнее всего поэтому просто отложить реформу розничных цен до тех пор, пока не произойдет осязаемого сдвига к лучшему на продовольственном рынке. И провести тогда постепенное дерегулирование розничных цен, а не заниматься никчемными «аппаратными играми» в повышение-понижение плановых цен.

Быть может, всего заметнее такая смена приоритетов в развитии нашей экономической мысли — потребность в конструктивных, прогнозно-аналитических разработках ощущается здесь все острее. «Этап кавалерийского наскока, хочется верить, уходит в прошлое. Наступает этап профессионализма, компетентности в разработке острых, еще не решенных проблем социально-экономического и политического развития нашего общества». Хорошо бы, чтоб эти слова академика С. Шаталина смогли стать своего рода эпиграфом к дальнейшим дискуссиям рыночников и нерыночников.

Рискнем высказать суждение, которое, возможно, кому-то покажется крамольным: профессионализм, компетентность сближают сегодня больше, чем идеология, и потому грамотные антитоварники стоят сейчас фактически, как это ни парадоксально, ближе к товарникам, чем к своим собственным «собратьям по доктрине».

Зрелость науки, как и зрелость всего общественного сознания, обнаруживается, между прочим, и в том, насколько близки друг к другу различные позиции, насколько высока степень согласия, насколько широк консенсус по основным, кардинальным проблемам политики. И, похоже, такой консенсус постепенно вырабатывается у экономистов разных «идеологических» направлений в ходе дискуссий последних лет. Сближение позиций экономистов по таким вопросам, как планируемая реформа розничных цен, бюджетный дефицит, монополизм производителей, механизмы социальной защиты, достоверность статистики и другое, является в этом смысле характерным и обнадеживающим признаком.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом... время разрушать и время строить... время разбрасывать камни, и время собирать камни»,— сказано в Екклезиасте. Нам более всего нужны сейчас именно грамотные, компетентные и деловые дискуссии, ибо только в таких спорах рождается истина. Если еще не в хозяйственной практике, то в нашей экономической теории камни уже разбросаны. Настала пора собирать их.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

ПОРТРЕТ ДВУМЯ ПЕРЬЯМИ

Дмитрий
БЛАГОВ

РЯДОМ С НАМИ

Вильям Козлов — писатель, не обласканный критикой, хотя книги его не залеживаются в магазинах и библиотеках. Мало того, у некоторых приверженцев, поклонниц писателя — в первую очередь молодежи — интерес к его произведениям подчас «выходит из берегов». Растет цена его книг на «черном рынке», издательства получают пачки восторженных писем. Встречаются среди них и такие: «Дорогая редакция! Сообщите, пожалуйста, в каком городе похоронен известный писатель Вильям Козлов. Мы очень любим его книги...».

Итак, вырисовываются контуры проблемы, достаточно распространенной в нашей литературе: писатель увлеченно и плодотворно работает, читатели заинтересованно следят за его творчеством, а критика — не замечает. Впрочем, иногда замечает. Н. М. Федь в своей книге «Формула созидания» (М., 1977) и в статье, опубликованной в журнале «Москва» (1985, № 2), подверг В. Козлова разносу. «Жанр» этот в критике характеризуется, как правило, двумя особенностями: дефицит аргументации (ее заменяют «ощущения», «чувства», подобранные и скомпонованные в нужном ключе цитаты) и благородный пафос негодования.

Наверное, в чем-то Н. Федь и прав. Пожалуй, мнение его по отдельным цитатам трудно оспорить. Но ведь чрезмерный натурализм иных сцен — действительно «отдельный» недостаток произведений В. Козлова. Не во всех романах есть такие сцены и нигде они не составляют опору повествования.

Субъективистской критике свойственна та самая «малая правда», которая является не частью правды большой, настоящей — истины, а вырванным из нее, омертвленным куском, не имеющим жизненной силы. Суженная система эстетических, нравственных координат, где точкой отсчета становится «я» критика, его личные и групповые пристрастия, деформирует очевидное, отвлекает и рассеивает читательское внимание, низводит явление искусства до уровня вещи, товара, подлежащего ощупыванию и скептической, из меркантильных соображений, оценке. Таковая может выражаться и в высокомерном молчании, третировании, и в огульном охаивании.

Главный изъян разносной критики, родной сестры критики комплиментарной, в том, что она не выявляет целостной художественной концепции писателя, не учитывает его эволюции, не обращает и не хочет обращать внимания на творческую индивидуальность, личность. Отсюда — монологичность, эстетическая глухота, безапелляционный учительный тон. Все это есть и у Н. Федя. Факт тем более удивительный, что статья его в отношении других писателей привлекает интересным анализом, правда, с тенденцией к завышению оценок. Может быть, мы здесь сталкиваемся с тем случаем, когда традиционный процент «дегтя» в критической работе пришелся на беднягу В. Козлова, а свободой «разносить» одного бронируется свобода раздавать комплименты другим?

В. Козлов начинал как детский писатель. Значительной его удачей стала повесть «Президент Каменного острова», неоднократно переиздававшаяся у нас в стране и за рубежом. Однако эволюция писателя — не от «детского» ко «взрослому». Одно другому не мешает, как не мешало и многим его предшественникам. Главное в том, что творческий путь В. Козлова соотносим с историей нашего общества — с конца пятидесятых годов и до сегодняшних дней. Без крикливости и самовыпячивания, без заседания во всевозможных президиумах и комиссиях, без перекосов и аберраций, вызванных «групповым» мышлением, писатель стремился сказать свое слово о непростом времени. И, наверное, именно свобода от больших и маленьких догм, некорысто- и непрестижелюбие не в последнюю очередь помогли ему обрести своего преданного читателя. Ну и, конечно, то, что составляет вообще понятие таланта в литературе: внимательность, зоркость взгляда, умение видеть необычное в обычном и передать это свое видение другим людям.

Противоречивость положения В. Козлова в литературном мире — неприятие его критикой и горячее одобрение большинством читателей — могут быть объяснены по-разному. Не исключено, что виновата критика: за ней в застойные годы накопилось порядком и куда более тяжких грехов. А может, «читательская аудитория» подкачала? Не демонстрирует, так сказать, должной подготовленности, требовательности к автору? Позволяет завлечь себя, увести со столбовой литературной дороги, обозначенной пышными лозунгами и премудрыми, годящимися для всех времен и народов сентенциями, а впрочем, допускающей на свою широкую гладь рядом с номенклатурными орденоносолауреатами (а может, правильнее — лауреатоорденоносами, простите, если ошибся) и носителей умеренно поношенных, с элегантными заплатами импортных платьев? Не доросли еще пока, так сказать, отдельные наши читатели до настоящей культуры... В. Козлова и В. Пикуля предпочитают... Чему? А всему остальному. Кстати, вы заметили, как часто в последнее время мелькает у нас в печати что-то вроде такого: одним нужен В. Пикуль, другим — А, Б, В и так далее, любой из «наших». Вариант известного «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» — «этот писатель плохой, потому что он не может быть хорошим (философски мыслящим, оригинальным, обладать хорошим вкусом, быть тонким психологом, остроумным, изящным и тому подобное)». Однако слышу над ухом шелест выпущенного из критической пращи камня. Пожалуй, пора перейти к обороне, укреплению позиций, их обоснованию и объяснению.

Помнится, в одном из наших литературных изданий лет тридцать назад была помещена карикатура, перепечатанная из западноевропейской газеты. На ней изображен распластанный у порога литературного кафе бородач-поэт, горестно жалующийся случайному прохожему: меня выгнали за то, что я писал в рифму. Сюжет этот как бы поясняет суждение, высказанное на писательской конференции в 1960 году английским литератором: «Когда экспериментальное искусство становится официальным искусством, традиция оказывается новаторством». Но, как видно, проблемы «загнивающего» Запада тридцатилетней давности весьма характерны ныне для нас. Чего-чего, а экспериментаторства во всех сферах жизни нам не занимать! Немало в нем, конечно, и дельного, назревшего, но сколько и досужего ерничества под девизом: если экспериментальные новации противоречат здравому смыслу — тем хуже для здравого смысла!

В сфере духовной культуры последнее особенно заметно. По престижным литературным бульварам чинно и уверенно разгуливают голые короли со свитами подобным же образом «одетых» критиков-придворных. Злосчастные мальчики из народа, способные сие явление прилюдно обозначить, сюда не допускаются. Впрочем, как и весь народ, перед которым поставлены другие важные задачи: стоять в очередях и выполнять пятилетки, а для развлечения обсуждать в очередях и перекурах вопросы ценообразования и спорта. Литература же — дело тонкое, требующее основательной подготовки, природного дара — пока остается в ведении литературных генералов и полковников разных цветов. В крайнем случае, их сынков, племянников, жен, любовниц, соседей по даче и гаражу, приятелей по

собаковыгулам и банным загулам, буфетчиц домов творчества и еще рабочих — героев соцтруда. Но не всяких там инженеров, врачей, учителей, тем паче «гегемонов» и «селян», которых, как известно, миллионы, а толку от них — никакого.

Но именно для таких и про таких людей пишет В. Козлов. Вот уж кому, так это ему нельзя адресовать упрек, брошенный нашей современной литературе доктором философских наук В. Толстых (ЛГ, 2.10.85, с. 3): «Литературу заполонили ныне выдающиеся писатели, кинорежиссеры, актрисы, модельеры, дизайнеры, а в самое последнее время — эстрадные певцы и дельтапланеристы». Для героя В. Козлова характерна «узнаваемость». Он — действительно «один из нас», «нерепрезентативен» (выражение А. Латыниной), может быть и писателем («Дай лапу, дружище»), и художником («Нежданное наследство»), и директором завода («Приходи в воскресенье»), и «простым» рабочим («Президент не уходит в отставку»). Ощущения неправдоподобной исключительности ни в одном случае не возникает. Директор или журналист на страницах книг В. Козлова ближе, доступнее, понятнее читателям, чем «среднестатистический» директор, журналист современной литературы (кино, театра). За это их и любят читатели. Критику же обыденность героя В. Козлова как бы отталкивает. Не потому ли, что сушит, сушит ее тайный голод по пресловутому «дельтапланеристу»: если рабочий — то непременно металлург, если ученый — то автор эпохальных открытий, если военный — то генерал, маршал. Здесь все понятия (не будем путать их с деяниями!) — исключительны и занимательны, увлекательны, легки и доступны сами по себе и тем самым допускают поверхностную обрисовку, «разбавленный» психологизм.

В. Козлов остается верен счастливо найденной однажды стилевой доминанте, которую лучше всего обозначить словом «простота». Простота как выдержанность формы, акцент на характере, проблеме, а не на способах их выражения. Простота как синоним достоверности, правды. Нужно ли сейчас доказывать, что глубина осмысления действительности может быть свойственна произведениям, написанным в самой неброской манере? А ведь частенько еще психологизм литературы ассоциируется в читательской среде и даже в критике с анализом переживаний — как правило, в сфере сугубо личных отношений. Глубина души приравнивается к амплитуде душевных метаний, способность чувствовать — к неспособности сдерживать внешние проявления эмоций. Происходит как бы отрицание сложности внутренней жизни человека сильного, последовательного, душевно открытого. Не

потому ли, что показать ее нелегко? Что нацеленный лишь на эксперимент, на разрушение традиций литературный этикет навязывает свой схоластический, оторванный от реальной жизни канон?

Мы отвыкли от аналитичного разговора о «традиционной» литературе. Произведения ее, за исключением, и то в какой-то мере, нескольких имен, выключаются из литературного процесса, живут, бедствуют и процветают по своим автономным законам. И привычка к микроскопическому разглядыванию литературы «генеральской» уже давно соседствует с атрофией приемов исследования, выработанных русской эстетической критикой. В традициях которой было, в частности, смотреть на художественное произведение и его автора в системе достаточно широких координат.

Структура произведений В. Козлова (за слово «структура», если хотите, готовы просить прощения) достаточно сложна — если, конечно, не понимать под сложностью единственно вычурность и сумбур. В романах его как бы два сюжета. Один — внешний: человек подрастает, взрослеет, мужает. Например, в романах «Я спешу за счастьем», «Ветер над домом твоим». Или — герой приезжает куда-то, сталкивается с некими проблемами, решает или пытается решать их (романы «Приходи в воскресенье», «Три версты с гаком»). В последнем из них художник Артем поселяется в поселке Смехово в доме недавно умершего деда. Приехал вроде бы ненадолго, а «завяз» прочно, видимо, навсегда. И не только потому, что встретил здесь «свою, единственную», а потому, что обнаружил тут такое кипение жизни, какого не хватало ему в своей мастерской. Писатель интересуется не столько событийной канвой — приехал, полюбил, поссорились, помирились,— сколько, действительно, «историей души» героя, изменением его психологии. Одна из составляющих этого «внутреннего», главного сюжета у В. Козлова — борьба человека с посредственностью, серостью в себе самом. С посредственностью как с одной из ипостасей и предпосылок эгоизма, себялюбия, запасенного оправдания для будущего возможного предательства по отношению к другу.

Такой «внутренний» сюжет, достаточно разветвленный, с тонкой психологической нюансировкой, есть во всех романах и даже некоторых детских рассказах В. Козлова. И, наверное, здесь поле исследования для критики, так любящей слово «психологизм», было бы достаточно обширным. Разумеется, если признать, что у всех этих козловских недельтапланеристов есть душа и психология, а не только стремление новаторскими или устаревшими приемами выполнить производственный план.

В. Козлов, как правило, интересен для чтения, хотя, конечно, «интересность» — далеко не синоним художественности. Но — одна из ее составляющих! Между тем занимательность у нас, бывает, уже воспринимается как дурной тон, что-то упрощенно-хрестоматийное...

«Осенью 1946 года я ехал на крыше пассажирского вагона. Ехал в город Великие Луки. Впереди, на соседнем вагоне, спина к спине сидели два черномазых парня. Как пить дать, железнодорожные воришки. У одного на голове немецкая каска с рожками». Так начинается роман «Я спешу за счастьем». На читателя сразу пахнуло дымным воздухом первых послевоенных лет — времени всеобщей радости Победы, всеобщего движения и неустроенности.

Мастерство художника, писателя, музыканта заключается, в частности, и в умении «схватить» приметы уходящего времени и пронизать ими образ (разумеется, не забывая о выстраивании концепции). В. Козлов «поймать» дух, атмосферу эпохи умеет. Ему удается выявить характерные психологические типы, ситуации тех или иных лет, делая это ненавязчиво, как бы между прочим, попутно с рассказом об основных событиях.

Максим Бобцов в романе «Я спешу за счастьем» проходит трудный путь духовного возмужания. Волею судеб он, юноша, почти подросток, оказывается брошенным в самый круговорот кипящей послевоенной жизни. Не удается ему найти «духовного пастыря», который рассказал бы и показал, «что такое хорошо и что такое плохо». Наоборот, попадаются ему люди с искривленной душой, как, например, дядя Корней. Однако Максим, обыкновенный парень, один из многих, во всех трудных ситуациях умеет принять верное — в нравственном смысле — решение. Но как же он не похож при этом на плакатно-правильного и плакатно-безжизненного всезнайку! Трудно ему бывает. И с поезда Максима чуть не сбрасывают на полном ходу те двое черноголовых — а разве не бывало такого в 1946 году? Дядю Корнея он побаивается — а как такого не бояться, если он чуть не убил Максима гаечным ключом? Побаивается, но вступает с ним в борьбу и побеждает.

В романе «Я спешу за счастьем» нет широких социальных обобщений, но есть обобщения психологические. Дана реальная картина времени в реальных человеческих характерах. Именно поэтому роман так нравится молодежи. Близость Максима Бобцова и его друзей ко всем нам, понятность его исканий, стремление к красоте и добру, искренность — разве это не «идея» романа? Не декларативная, умозрительная, а воплощенная в живом человеке?

И все же сам писатель с некоторого времени, видимо, стал ощущать художественную неполноту романа-«судьбы», повествования об одном герое, его становлении как личности. В последних его произведениях рисуется более широкая картина жизни, показано столкновение различных характеров, ставятся острые социально-нравственные проблемы современности. Таковы «Президент не уходит в отставку» (1979), «Приходи в воскресенье» (1979), «Маленький стрелок из лука» (1981), «Волосы Вероники» (1984). Особняком стоит роман «Ветер над домом твоим» (1983), во многом автобиографический.

Герой В. Козлова, с юности непримиримый ко всякой фальши, сейчас достиг зрелого возраста, но сохранил прежний задор, боевитость. Ему приходится очень нелегко — не только потому, что зло стало изворотливее, умело драпируется под правду, но и потому, что к честному человеку жизнь предъявляет гораздо больше требований, чем прежде.

В романе «Услышать тебя» (1977) конфликт разворачивается между молодым журналистом Сергеем и его тестем, символизирующим бездуховность, культ приобретательства. Сергей не одержал победы в этом поединке: с женой они расстались, она не сумела оценить ни его любви, ни преданности творческой работе. Но свои нравственные позиции герой сохранил. И все же роман посеял сомнения: а может ли, мог ли тогда найти точку приложения сил граждански активный персонаж? Этот вопрос, думается, стал одним из главных для всех следующих произведений писателя.

Со всей остротой поставлен он в «Маленьком стрелке из лука». Сразу же оговоримся: нам этот роман представляется не очень удавшимся. Кажется, здесь произошел хорошо известный историкам литературы случай: намерения автора разошлись с объективным результатом его сочинения. Суть романа — в разоблачении примитивного мещанского взгляда на мир. Главные герои — научный работник Кирилл и его друзья. Им противостоят Том — продавец отдела культтоваров в комиссионном магазине с дружками, фигуры, литературой недавнего времени как бы не замеченные. Между «лагерями» Кирилла и Тома мечется Ева Кругликова, студентка университета, которая, по В. Козлову, вроде бы «презирает деньги», но очень любит посидеть в ресторане, покататься на машине и одеться по последнему крику моды. Пределом ее мечтаний является работа в «Интуристе» — и явно не для того, чтобы помочь гостям нашей страны познакомиться с ее достопримечательностями... Любовь к Еве идеального сокурсника Альберта Блудова (не пьет, не курит, интересуется философией и искусством, днюет и ночует в библиотеке) заставляет сомневаться в его умственных (не путать с запоминательными) способностях. Свадьба Альберта и Евы в финале романа — отнюдь не походит на хэппи энд, будущая их совместная жизнь таит в себе немало вопросов.

В романе рисуется поистине мрачная картина торжества и безнаказанности Тома-комиссионщика. То, что махинации он совершает довольно крупные, занимается спекуляцией постоянно и в пределах романного действия остается практически не потревоженным «соответствующими органами» — полдела. Увы, и это не было преувеличением, а скорее горькой правдой: лишь в похожих один на другой детективах, телесериалах рубежа 70—80-х годов — вспомним хотя бы пресловутых «знатоков» — преступление и преступники непременно изобличались и наказывались. Беда в другом.

То, что самодовлеющее приобретательство — занятие недостойное, В. Козлов демонстрирует весьма наглядно. Однако после чтения главенствует другое ощущение: жулье всемогуще. Писатель не нашел никакой силы, способной или хотя бы пытающейся ему противостоять. Кирилл и его друзья пассивны, больше того, сами не могут обойтись без Тома с его связями, без Евы с ее новомодным гардеробом. Коньяк и шампанское (непременно коньяк и шампанское), стереоаппаратура с последними кассетными новинками, автострасти и для них — обязательные атрибуты жизни. Вспоминаешь старую притчу о человеке, который надел на себя маску и не заметил, как она стала его лицом...

Сила романа — в обличении зла путем сгущения красок, гиперболизации. Не только с пресловутой бюрократией, «номенклатурой» объединяются, коррумпируются проходимцы, а и со всеми нами, как раковая опухоль, врастают в организм, а тот не видит в них чужеродного тела, врага — погибают же они вместе. Но в этом и слабость авторской позиции: он, как врач, точно определил болезнь, поставил диагноз, больше того, предсказал больному близкий конец, не назначив никакого лечения...

Думается, не стоит определять допустимую меру или, хуже того, «процент» быта, коллизий, обстоятельств сугубо личной жизни в том или ином произведении. Может быть, настоящего романа о любви нам сейчас как раз и не хватает, как недостает вызывающего доверие, сочувствие деятельного героя, а ныне — хоть какой-то цельности взгляда на мир, на все, что с нами происходит. Пафос произведения, авторская позиция решают, в конечном счете, все, а они не равнозначны арифметическому соотношению «плохого» и «хорошего». И вовсе не обязательно противопоставле-

ние правдолюбца лицемеру. Саморазоблачение порочного персонажа подчас оказывается убедительнее указующего писательского перста. А ирония (как ее не хватает в «Маленьком стрелке из лука»!) может в корне изменить восприятие описания бездуховной жизни, непроходимой обывательщины. Она ведь тоже — выражение позиции писателя.

Понятие позиции неразрывно связано с понятием поступка. Позиция — потенциальная энергия личности. Она может быть не очень заметна в повседневной жизни, но неизбежно даст о себе знать в острой ситуации, в момент выбора. И отрадно, что ощущение позиции героя, да и автора, господствует при чтении большинства последних романов В. Козлова.

«Приходи в воскресенье» — типичный производственный роман, конфликт в нем более чем традиционен — борьба новаторства и рутинерства, новых методов хозяйствования и привычных, но безнадежно устаревающих его форм. Однако угол зрения, ракурс, избранный автором, глубина исследования проблемы содержат элемент новизны. Писателю удалось предвосхитить, предугадать необходимость обращения к тем социально-экономическим проблемам, которые мы взялись так активно обсуждать в последнее время. Среди них — непримиримая борьба со всем в нашей хозяйственной и духовной жизни, не отвечающим запросам времени, внимание к человеку как решающему звену и цели производственного процесса, поощрение инициативы, творческого отношения к делу, умения видеть за сегодняшним днем более дальние цели и задачи, разоблачение всякого приспособленчества, имитации работы, игры высокими словами.

Канва романа такова. В город Великие Луки приезжает Максим Бобцов (достигший зрелости герой из «Я спешу за счастьем»). Его назначают директором завода строительных конструкций. Максим обнаруживает, что дома для сельской местности, сооружаемые его заводом, крайне неудобны для жилья, олицетворяют вчерашний день и чисто техническим исполнением, и, что самое главное, воплощенным в них отношением к жителю села, которому, вроде, «и этого за глаза хватит».

Но дома эти все-таки покупают окрестные совхозы и колхозы (других нет, и этих-то мало), на них «спущен план», а перестройка производства повлечет неизбежный срыв ранее заключенных договоров. И в то же время когда-то разрывать этот заколдованный круг все равно надо! Это отчетливо осознает Максим и начинает действовать.

Выразительными штрихами обрисовывает В. Козлов всех, причастных к этой истории,— и сторонников, и противников нововведений. Пожалуй, лишь образ инженера Любомудрова получился несколько идеализированным. Зато не вызывает сомнения у читателей облик первого секретаря горкома Николая Бутафорова — инициативного, сознающего меру своей ответственности, взвешивающего каждое свое слово и решение партийного работника. Колоритна фигура Ивана Семеновича Васина, хитроватого председателя колхоза, первым согласившегося строить у себя новые дома. И сам Максим показан в становлении: его взгляды формируются постепенно — в соответствии с тем, что он видит вокруг себя, но на базе, фундаменте давно сложившейся нравственной позиции.

И в этом романе как бы два сюжета, два итога. Внешний — поражение Максима и его единомышленников (хотя автор глухо намекает на возможность восстановления его в прежней должности). Другой — внутренний, более глубокий — преодоление инерции былого отношения к делу, людям, самому себе. Поэтому финал романа, безусловно, оптимистичен.

В. Козлов стремится не сглаживать углов. Враги Максима используют в борьбе против него все средства, нелепый трагический случай с одним из строителей происходит в самый неподходящий момент. Высокой оказывается и цена пассивности, созерцательной позиции инженера Архипова, некоторых членов комиссии — по сути дела они поддерживают, охраняют ту же рутину и, больше того, сам принцип бездеятельного существования.

Сила романа в его соответствии текущей действительности. В. Козлов исследовал генезис сложной социально-нравственной ситуации. Точно расставил акценты: где правда и где полуправда, где дело и где только слово, где любовь и где ханжеская ее интерпретация. Роман дает не только пищу для раздумий, но и пример. Не каждому дано быть директором завода и решать крупные хозяйственные задачи, но каждый может совершить поступок. Один-единственный раз поднять или не поднять руку при голосовании в определенный момент может оказаться сложнее для человека и важнее для судеб других людей, чем годы повседневной работы. «Кто-то должен» — название повести Д. Гранина, наверное, могло бы послужить удачным эпиграфом ко многим произведениям нашей литературы, в том числе к роману «Приходи в воскресенье». Кто-то должен первым сказать слово, принять назревшее решение, назвать подлеца подлецом и талант талантом.

Когда читаешь роман сейчас, его символическое значение, кажется, приобретает еще более высокий уровень. Легко видны аналогии с тем, что переживает сейчас вся

наша страна. И перестройка всего хозяйства, всей государственной жизни была необходима как воздух, но для этого пришлось пойти и на временные жертвы, преодолевать жестокое сопротивление, свои собственные ошибки. У В. Козлова рутинеры победили. Какая судьба ждет нас?

В детстве Максим Бобцов и его друзья были очень похожи друг на друга — еще в романе «Я спешу за счастьем». Но прошло время — и одни из них оказываются способны на поступок, другие подчиняются течению жизни и лишь случай руководит их решениями в трудный момент, третьи все меряют нехитрой формулой, где постоянным и главным сомножителем является пресловутое «я». Как, почему это происходит — над этим размышляет В. Козлов в романе «Ветер над домом твоим».

К нему может быть отнесено многое из того, что сказано выше, но написан он гораздо более зрелым мастером. Проявляется это прежде всего в точности психологического письма, умении передать характерные приметы минувшего времени в соотнесении с тем, что волнует нас сейчас. Роман «Ветер над домом твоим» — прежде всего роман характеров, их становления и разрушения, формирования и деградации личности. Характеры Ратмира Денисова, Кати и Павла Тарасовых, Вадима Садовского социально детерминированы, но многообразие действительной жизни создает отличные друг от друга условия их развития.

Сейчас создалась ситуация, когда писать об «обычных» людях считается иными критиками дурным тоном. Так и был оценен роман «Ветер над домом твоим». Произведение это не свободно от недостатков. Есть длинноты в заключительных главах, не прослежены до конца некоторые конфликты характеров, судеб. Но все же роман производит сильное впечатление, и сила его — воспитующая (не воспитательная, что звучит уже несколько дидактично). В. Козлов углубляется в психологию героев в самых необычных — на традиционно-литературный взгляд — ситуациях, ищет и находит интересное в обыденном, на первый взгляд, течение жизни.

Чего только не было с Ратмиром Денисовым в годы войны! Жизнь беспризорника диктовала жесткие «законы». Добывать пропитание приходилось не всегда честным путем. Но Ратмир сохранил веру в человека и веру в себя, стремление к добру и красоте, деятельной, творческой жизни. Бандитская удаль не стала заманчивым примером для подражания. После войны юноша увлекся историей, окончил университет, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Это ли не судьба, сделанная своими руками? Но почему-то подобные «обычные» судьбы не очень обычны в нашей литературе!

Роман В. Козлова, несмотря на традиционность формы, оказался необычным именно для современной прозы. Он насыщен уроками (не прописями) «повседневной этики» и хорошего вкуса к жизни. Дело тут не в хорошо известном: думай о других больше, чем о собственном «я». Писатель и здесь учит нас борьбе с посредственностью, серостью в самих себе. Не каждому дано быть талантом, но каждый должен сделать все в меру отведенных ему способностей. И как же современен пример Вадима Садовского, из которого не получился большой писатель, но который постарался стать хорошим журналистом! Привлекательна и фигура Павла Тарасова, отважного разведчика в годы войны, не мыслящего себе жизни без армии и вынужденного до срока демобилизоваться по болезни. Он нашел себя в должности лесничего, и это было не бегством от жизни, а приобщением к ней. С симпатией описана в романе жизнь периферийной интеллигенции (тут вспоминается и «Картина» Д. Гранина) — артиста и учителя, журналиста и преподавателя вуза. В последнее время мы заговорили о трудном положении нестоличной интеллигенции, сожалеем о разрушении прежних провинциальных культурных гнезд. У В. Козлова же эта проблема была намечена давно, и рецепции чеховского, бунинского миросозерцания заметны в его творчестве рядом с фолкнеровскими.

Писатель на протяжении не просто ряда лет, а именно этапов развития нашего общества проследил эволюцию определенных социально-нравственных типов, показав их перспективность или обреченность, стойкость или изменчивость.

Новая книга В. Козлова «Волосы Вероники» включила одноименный роман и повесть «Дай лапу, дружище». Оба произведения, внешне разноплановые, объединяет мысль об ответственности человека за его поступки, действия или бездеятельность.

Герой романа Георгий Шувалов вроде бы неплохо устроился в жизни. Он заведует отделом переводов в институте, занимающемся проблемами охраны окружающей среды, по долгу службы бывает за границей, встречается с интересными людьми. Но на первых же страницах он предстает перед нами на пороге серьезного духовного кризиса.

От Георгия ушла жена, забрав с собой дочь. Ее новый супруг, торговый работник Чеботаренко, «умеет делать деньги». Немалых усилий стоит Шувалову сохранить веру в себя, отстоять свою жизненную позицию. Сделать это тем более нелегко, что Вера сначала предпочла сытую и однообразную обеспеченность рядом с

матерью более богатой духовно жизни с отцом.

Как раз в это время институт, в котором трудится Шувалов, остается без директора. В ожидании назначения нового руководителя сотрудники почти поголовно оказываются втянутыми в борьбу за то, чтобы «протолкнуть» или «отвести» удобного или неудобного кандидата. При этом деловые качества, научная компетентность претендентов отступает на задний план, а во главу угла ставятся личные, как правило, весьма субъективные симпатии и антипатии. Стечением обстоятельств Шувалов оказывается в центре событий. Его принципиальное выступление на партийном собрании открыло глаза людям на истинный смысл их действий. А предсказанная «доброжелателями» месть со стороны тех, кто подвергся критике, уже не имела действенной силы. В. Козлов заостряет внимание на том, что последовательность нравственной позиции неизбежно принесет свои плоды. А приспособленчество ведет к деградации личности.

«Волосы Вероники» — роман многоплановый. Оптимист по натуре, В. Козлов стремится в каждом человеке, даже запутавшемся в жизненных неурядицах, найти следы если не духовности, то стремления быть просто добрым. При чтении постоянно думаешь: как это необходимо, чтобы был рядом с нами человек — стойкий, думающий, порядочный! Такими в романе оказываются Георгий Шувалов, отчасти — Вероника. Отчасти, потому что этому образу недостает цельности, завершенности. Так нравящаяся Шувалову непредсказуемость ее поведения читателем вряд ли будет оценена однозначно.

Не для того, чтобы «погасить» этот упрек, а для объективности картины скажем: В. Козлову вновь удалось создать выразительные, узнаваемые образы. Это и интриганка Грымзина, и Скобцов, хороший организатор науки, но не ее творец. Это Леня Боровиков, «прогуливающий» молодость и здоровье, и Оля Журавлева, стремящаяся успеть всюду и теряющая главное — ощущение цели. Многоликая жизнь города предстает как переплетение прежде всего человеческих судеб, человеческих драм. Здесь нет счастливых людей, но нет и безнадежно несчастных, большие и маленькие, истинные и ложные цели определяют движение людей, которым — и нам вместе с ними — так не хватает умения, а порой и времени, взглянуть на себя со стороны, нелицеприятно.

В. Козлов не схематизирует жизнь, а рисует ее со всеми противоречиями. Не на все вопросы он ответил, да не на все и можно ответить однозначно. Но роман учит читателя отстаивать свои взгляды, не подчиняться «стечению обстоятельств».

У В. Козлова есть свой идеал героя. Это — натура ищущая, динамичная, человек действия, активного освоения жизни, а не приспособления к ней. Испытания и преграды закаляют его, но не ожесточают, не приучают к неразборчивости в средствах. Ему свойствен «традиционализм», следование определенной нравственной доминанте, гибкость без конъюнктурщины и холуйства перед сильными мира сего или модой. Писатель верит в его способность быть хозяином жизни — следуя логике самой жизни.

Последняя большая работа В. Козлова — трилогия «Андреевский кавалер», «Когда боги глухи», «Время любить». Произведение это настолько масштабно по временны́м и событийным рамкам, кругу рассматриваемых проблем, что сказать о нем в двух словах — невозможно. Есть в нем и что оспорить и что поддержать. Хотелось бы лишь предостеречь будущего придирчивого критика, уже приготовившего свое блистательное перо,— и здесь В. Козлов не принял глубокомысленную мину, о серьезных вопросах он, вопреки установившимся правилам, не вещает с погребальной торжественностью и смертельной же однозначностью. Кредо его раскрывается лишь в соотнесении разных и подчас далеко отстоящих друг от друга мизансцен, сопоположении поступков, характеров, судеб. Трилогия целостна и неделима, так ее и следует рассматриаать.

Как видим, даже беглый взгляд на творчество В. Козлова позволяет увидеть, сколь содержателеп и многообразен его художественный мир. К счастью, наш многострадальный читатель обнаружил это довольно давно и мнения своего не меняет, в отличие от хранящих важное спокойствие «толстых» журналов.

В русской литературе издавна были писатели первого, второго и, допустим, третьего ряда. Перемещение из одного в другой было делом обычным и не связанным с всенародным чествованием или оплевыванием. Сейчас же сформировались когорты писателей ряда первого (журнального) и... сразу, эдак, пятого (остальные). А кто же в эти самые ряды записывает, спросит дотошный читатель? И как в них попасть-то — в первые? Неважно, скажем мы. А важно, что без рядов второго-третьего нет настоящего литературного процесса, настоящей литературной жизни с рождением и умиранием литературных направлений, здоровой полемикой и творческим соперничеством. Нет, пока нет, критики. Не пора ли начать вспоминать, изучать, просто называть забытых, затерявшихся, замалчиваемых.

А В. Козлов все-таки писатель первого ряда.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЛАКАТ

Выставка на Охте



Браво! Художники А. В. ФАЛДИН и С. Я. ФАЛДИН



Не могу поступаться. Художник А. М. ГУСАРОВ



«Брежние» времена.
Художник Д. Г. ОБОЗНЕНКО



Воды! Художник Г. Я. ТЕРЕШОНОК



СПИД. Художник Ю. И. ЧИГИРЕВ



...И ОПЯТЬ СТОИМ

И опять стоим.

Художник Л. Д. КАМИНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ...



Полное собрание сочинений.

Художник Б. А. РОДИОНОВ

Игорь
СУХИХ

КАК В КИНО...

Если верить писателю Вадиму Казакову, самые зловредные люди на свете — критики. Подлецы, приспособленцы, лизоблюды, в литературе ничего не понимают, читают и пишут лишь о сильных мира сего (литературного) и беспощадно громят или в упор не замечают просто хороших писателей. «Называете себя критиком и не читали Казакова? — ставит на место одного из таких зарвавшихся, Николая Евгеньевича Лукова, симпатичная девушка-филологиня из провинции (ей-то Казаков очень нравится, «мой любимый писатель», она даже посвящает ему целый раздел своей диссертации).— Да у нас в институте очередь в библиотеке за его книгами. Их даже на „черном рынке" не достать». «Ты, Никколо Макиавелли, читаешь в журналах только высокое начальство и лауреатов»,— окончательно срывает маску с Лукова его приятель Виктор Викторович Маляров. Когда же этот Макиавелли от критики (даже в детстве он, оказывается, «с шестого этажа брызгал на прохожих тушью» — готовился, видно, к очернению) все же прочел Казакова, дело обернулось еще более печально.

«В январском номере московского журнала появилась большая статья Николая Лукова, в которой он, делая обзор современной литературы, гневно обрушился на творчество Вадима Казакова...» После нее товарищ Казакова (тоже, кстати, критик) Николай Петрович Ушков намекает на решительные меры («вообще-то статья подлая, за такие публикации бьют по морде»), а сам обесчещенный Казаков сокрушенно размышляет «о судьбе писателя в наше время»: «двадцать пять лет он работает в литературе, издал двадцать оригинальных книг, и вот нашелся злобный хорек, который взял и публично заявил, что ты не писатель. Ладно, ему не нравятся книги Казакова, но ведь кто-то предоставил ему место в журнале, значит, кто-то согласен с ним в оценке писателя?» Да и как не страдать, если критика влияет не только на настроение, но и на семейную жизнь. Жена писателя, Ирина Тихоновна Головина (тоже, кстати, человек искусства, художница), уходя от него, так объясняет причины разрыва: «я знаю, что твои книги нравятся людям, за ними гоняются — наверное, тебе это льстит,— но ведь о тебе не пишут в газетах-журналах, у нас дома не было ни одного критика-литературоведа, кроме Ушкова... О тех, кто начинал вместе с тобой, уже книги написаны, лауреатами стали, а вокруг тебя заговор молчания».

Поневоле подумаешь о каком-то цензе доступа к этому опасному делу, экзамене, что ли, как на право вождения автомобиля. Иначе куда это годится: «судить и рядить о современной литературе может всякий». Одно утешает. Еще один знакомый Казакова, беззастенчивый подражатель Шишкова Вячеслав Ильич Шубин, о котором Лукин сочиняет панегирическую книгу, с циничной прямотой заявляет Макиавелли: «если писателя ругают, значит, хороший, острый! Вас, критиков, теперь никто и в грош не ставит. Да и кто сейчас хорошо пишет о современной прозе? Назови мне фамилии! А-а, то-то и оно...»

Так что вопрос поставлен жестко и прямо, как в военные времена: либо ты считаешь все двадцать написанных Вадимом Казаковым книг талантливыми, либо автоматически оказываешься соратником бандита с большой литературной дороги Лукова (черты его морального облика смотри выше).

Что же в такой безвыходной ситуации может утешить критика? Надежда на то (теоретически она возможна), что авторская позиция не всегда совпадает с взглядами героя (в истории литературы такое бывает). Я ведь собираюсь говорить главным образом не о писателе Вадиме Федоровиче Казакове (хотя к его взглядам и книгам еще придется вернуться), а о его создателе Вильяме Федоровиче Козлове, авторе «более двадцати разных книг, из которых около половины — для детей» (Д. Благов, здесь и далее цитируется послесловие к трилогии В. Козлова).

С взрослой прозой В. Козлова (детская «половина» — предмет особый) я столкнулся лет десять назад, сочиняя статью о ленинградском романе (которая так и не была опубликована по не зависящим от автора обстоятельствам). Новинками тех лет (они, кстати, печатались в «Неве») были «производственные» «Семейное дело» Е. Воеводина, «Решать тебе» И. Миксона и — в том же ряду — «Услышать тебя» В. Козлова (Л.: 1977).

Сергей Волков, фотокорреспондент областной газеты, влюблялся в той книге в Лялю Земельскую, которая оказывалась недалекой мещанкой, слишком земной (фамилия ее не случайна), слишком похожей на своего папашу, преуспевающего врача, «новоявленного Корейко». Мучительные и долгие (роман был толстый) их отношения кончались разводом, и к Сергею приходила другая любовь, Лена Звездочкина (фамилия тоже играющая). Но потом талантливый физик Владислав уво-

зил Лену в новосибирский Академгородок (поближе к звездам, вероятно), а Сергей находил счастье совсем рядом, с безответно влюбленной в него местной девчонкой Наташей. Основной сюжет сопровождался в той книге многочисленными ответвлениями, красивыми стихотворными эпиграфами, глубокомысленными рассуждениями такого, к примеру, типа: «наверное, нельзя с одинаковой силой любить одну за другой несколько женщин. Ты бы и рад, а внутри тебя чего-то не хватает. Ушла любовь и унесла частицу твоего чувства. Ты готов любить, как и прежде, многие, наверное, так и думают, а на самом деле ты уже никогда не сможешь любить так, как в первый раз!»

Были в этом романе и живо написанные «фоновые» персонажи, но они как-то терялись в калейдоскопе любовей и ревностей Сергея Волкова.

Через три года, перелистывая новый сборник В. Козлова «Нежданное наследство» (М.: 1980), вдруг увидел мелькнувшую на первой же странице повести «Ястреб над озером» знакомую фамилию Волкова. Продолжение романа, «встреча с полюбившимся героем», как любит писать доброжелательная критика? Оказалось, все интереснее и загадочнее. Ничего нового о приключениях героя романа В. Козлов не рассказал. Автор просто вынул из большого шестисотстраничного текста одну часть и опубликовал ее отдельно.

Правда, изменения в повести все-таки были. В соответствии с локализованной темой (борьба за охрану природы) изменилась ее завязка. В одной из сцен романа герой, защищая девушку, сталкивался с хулиганами и, получив удар ножом, оказывался в больнице, спасенный своей верной собакой (конечно же, ее звали Дружок). В повести тот же Сергей Волков защищал уже рыбные богатства и сражался с браконьерами на берегу лесного озера, но подробности сцены, в общем, не менялись, и спасала героя все та же верная собака Дружок. В конце романа браконьеры, которых ловил герой, лишь чем-то напоминали ему прежних хулиганов — в повести они (композиционное кольцо) теми самыми злодеями и оказывались.

В романе к Волкову, бывшему журналисту, «в пятницу после обеда нагрянули из редакции Михаил Султанов и Сева Блохин с какой-то незнакомой девушкой». В повести же после обеда в пятницу к тому же Волкову «нагрянули из редакции Михаил Хомутов и Всеволод Николаев». Девушка, как видите, отсутствует. А приятели, хотя и под другими фамилиями, говорили те же «романные» слова и совершали те же поступки.

Эта хирургическая операция вычленения повести из романа не всюду проводилась безукоризненно. Те, кто знакомился с Сергеем Волковым по короткому тексту, рискну предположить, так и не разобрались в тонкостях отношений героя с женой, потому что от сотен страниц, посвященных этому в романе, в повести остались какие-то неясные обрывки. Местами новый текст стал более плотным, компактным (может быть, по «вине» редактора) и, кажется, только выиграл от этого. Было в «Услышать тебя», скажем, растянувшееся на целую страницу пение дрозда под окнами больницы. В повести этот дрозд пел всего в одном абзаце. Но и такие сюжетные и стилистические изменения в «Ястребе над озером» были немногочисленны. В большинстве случаев соответствующие страницы совпадали «один к одному».

Так что перед заинтересованными читателями и критиками (таких в восьмидесятом году, кажется, не нашлось) вставала проблема: как обозначить соотношение указанных текстов? Конспект романа? Разные редакции? Творческое переписывание собственного текста? Автоплагиат? Известны, конечно, случаи перерастания повести в роман, циклизации повестей, но вот чтобы уже опубликованный роман рассыпался на отдельные кубики-повести — такое припомнить трудно. Не знаю, не проверял, может быть, в других сборниках В. Козлова есть и повести «Соловей на рассвете», «Рай в шалаше» и так далее, тоже бывшие части романа «Услышать тебя».

Чтобы не сбиться на перечисление, подробно остановлюсь на последнем и самом объемном сочинении В. Козлова — трилогии «Андреевский кавалер», «Когда боги глухи», «Время любить», выпущенной Лениздатом в 1986—1988 годах. (Затравленный критикой, но любимый публикой писатель Вадим Казаков — один из ее главных героев.)

«Составляющие трилогию романы „Андреевский кавалер“, „Когда боги глухи“ и „Время любить“ следует отнести к жанровой разновидности „роман из истории советского общества“»,— несколько витиевато пишет Д. Благов. И затем выстраивается ряд, к которому, по мнению Благова, «примыкает» трилогия: «Ястребовы» М. Обухова, «Повитель» А. Иванова и его же «Тени исчезают в полдень», «Вишневый омут» М. Алексеева, «Истоки» Г. Коновалова, «Сотворение мира» В. Закруткина, «Вечный зов» все того же А. Иванова, «Судьба» и «Имя твое» П. Проскурина, «После бури» С. Залыгина, тетралогия Ф. Абрамова. Что ж, традиция почтенная, хотя в моем сознании «Ястребовы» Обухова (кто их помнит сейчас?), «Истоки» Коновалова и абрамовские «Братья и сестры» никак не выстраиваются в одну линию.

Масштаб, охват событий в трилогии Козлова действительно грандиозный, с

начала века до наших дней (1987 год указан точно). Итак, Андрей Иванович Абросимов (он и есть андреевский кавалер) поставил на опушке леса недалеко от Петербурга дом, потом тут прошла железная дорога, станцию назвали его именем — и закипела романная жизнь. Было у Абросимова три дочери и старший сын. После революции сын, секретарь комсомольской ячейки Дмитрий женился на «простой» Шуре Волоховой, потом уехал учиться в Ленинград и женился еще раз, на «образованной» Раисе Михайловне Шевелевой, а дочка Варвара, тоже комсомолка, выходит замуж за сына нэпмана Сеню Супроновича, а дочка Тоня — за сотрудника ГПУ Ивана Васильевича Кузнецова, который пропадает на войне, и ее берет замуж Федор Федорович Казаков, а дочка Алена — за майора Григория Елисеевича Дерюгина... Да, а оставленная Шура Волохова тоже потом выходит замуж, теперь за некоего Григория Борисовича Шмелева (он же Карнаков), бывшего полицейского агента, будущего немецкого прислужника и американского шпиона. Жизнеописание этой большой семьи, многочисленных чад и домочадцев, их схождений и расхождений на фоне «истории советского общества» занимает почти все пространство трилогии. Где-то с середины второго тома действие все отчетливее и чаще перемещается из Абросимова в Ленинград, на первый план выдвигается (Абросимов-старший гибнет на войне) внук андреевского кавалера Вадим Федорович Казаков, с которым мы уже знакомы, сначала журналист, потом писатель, и его дети Андрей (не менее талантливый писатель) и Оля (будущая актриса). И еще с одной семейкой мы познакомимся, читая трилогию: тайный агент Карнаков-Шмелев злобно и безнадежно борется с Советской властью на протяжении двух томов, потом, надорвавшись, кончает с собой, но эстафету подхватывают его сын Игорь Найденов, который бежит на Запад, учится в шпионской школе и гибнет в Афганистане, и его немецкий сын Бруно, который вербует Найденова в тайные агенты (правда, другой немецкий сын Карнакова Гельмут после войны живет — для равновесия — в ГДР и является членом социалистической партии). Даже по краткому пересказу (думаю, всего героев в трилогии не меньше, чем в «Войне и мире») видно, что большинство персонажей В. Козлова — «типичные представители», прочно обосновавшиеся в «романе из истории советского общества» с тридцатых годов. Они — части той схемы, историческое становление которой недавно хорошо проследила М. Чудакова («Без гнева и пристрастия»): «Роман, став просто-напросто высшей степенью грамотности, позволяющей бесстрастно воспроизводить схему, со страстью впечатанную в „Разгром“, вышел за пределы искусства». Хотя для нынешней ситуации невольным ориентиром оказывается уже не «Разгром», а некоторые его «изводы» во втором или третьем поколении (А. Иванов или П. Проскурин, о которых упоминает Д. Благов).

Проблема «психологии» — одна из самых острых и больных в трилогии В. Козлова. «В. Козлов стремится создавать образы запоминающиеся, масштабные,— увлеченно живописует авторский замысел Д. Благов.— Особенно впечатляет фигура главного героя Андрея Ивановича Абросимова. Это настоящий русский богатырь, сильный духом и телом, со своим взглядом на мир... По-своему впечатляет и Шмелев-Карнаков, дворянин по происхождению. В. Козлов хорошо показывает, как человек, не сумевший понять революцию, понять свой народ, постепенно приходит к сотрудничеству с врагами этого народа». Но невольные обмолвки-повторы («особенно впечатляет» — «по-своему впечатляет») — знак того, что с «запоминающимися образами» в трилогии дело обстоит непросто. Для меня, например, многие герои В. Козлова сливаются в какую-то аморфную массу. Они заботливо поименованы и охарактеризованы, но вот *написаны ли* (если иметь в виду чисто художественную пластику)?

Наивны попытки речевой «раскраски» персонажа (постоянное «греб твою шлеп» старшего Абросимова). На редкость однообразны портреты, особенно женские. «Рослая, темноглазая, с высокой грудью Варя...»; «была она широкой в кости, светловолосая. В ее некрасивом, диковатом лице было что-то привлекательное. Большая грудь распирала цветастую кофточку, на округлых плечах — пушистый оренбургский платок. Шерстяная юбка обтягивала широкие бедра»; «Гельмут снова вспомнил Крысю... Какие у нее горячие губы, яркие глаза, белая грудь!»; «рослая голубоглазая блондинка Галя в синем спортивном костюме, обтягивающем грудь...»; «в девятнадцать лет девушке с ее стройной фигурой и маленькой твердой грудью не нужно надевать на себя ничего лишнего...»; «когда она одета, то кажется тоненькой, даже худощавой, но на пляже Виолетта другая — статная, с длинными полными ногами, крепкой грудью... Виолетта ходила прямо, высоко держа голову, чуть покачивая бедрами» — и тому подобное, можно цитировать довольно долго. Попробуй, догадайся, где тут двадцатые годы, где семидесятые, где Абросимово, где Ленинград, где русские, где польки, где взгляд писателя, где немецкого летчика... Грудь и бедра крупным планом — вот и весь арсенал изобразительных средств.

«Характер — это, пожалуй, единствен-

ный недискуссионный критерий художественности литературного произведения»,— мелькнуло точное определение в недавно опубликованной внутренней рецензии В. Семина. Где характеры в многостраничной и многофигурной трилогии? Большинство ее персонажей — бесплотные «знаки», они сложены из не раз бывших в употреблении блоков, порождены не противоречивой реальностью, а закостенелой традицией того самого романа из истории (мифологической) советского общества. Кряжистый, трудолюбивый «человек из народа»; шпион, ненавидящий Советскую власть, в прошлом которого, конечно же, полицейская служба; неподкупный героический чекист; жуликоватый нэпман-кабатчик; честный писатель «от земли» и его оторвавшиеся от корней завистливые и бездарные собратья; рафинированная мещанка-художница; очаровательная стюардесса (и зовут ее, конечно, не Варвара какая-нибудь, а Виолетта) и так далее и тому подобное — каждый легко может продолжить этот ряд. Такие герои — «описания с описаний», как выразился однажды Л. Толстой.

Причем автор, кажется, и сам не очень твердо различающий своих персонажей, не надеется, что их легко запомнит читатель. Иначе зачем множество раз на протяжении романа он повторяет при очередном появлении персонажа его «святцы» (или лучше — его служебную характеристику, официальную «объективку» с указанием ФИО)? «И вот он уже не Карнаков, не Шмелев, а Макар Иванович Семченков, пятидесяти шести лет отроду...»; «так январским днем, после почти пятнадцатилетнего перерыва, встретились в поселке Новины Ростислав Евгеньевич Карнаков, ныне Иван Сергеевич Грибов, с Леонидом Яковлевичем Супроновичем, который теперь звался Ельцовым Виталием Макаровичем... Налили в зеленый стаканчик и хозяйке, Евдокии Федоровне Никитиной»; «Игорь Найденов в третью встречу подробно рассказал Родиону Яковлевичу Изотову про ЗИЛ, про своих знакомых, выделяя среди них Алексея Листунова, с которым уже много лет поддерживал дружеские отношения. С Семеном Линдиным они почти не разговаривали — тот-таки не простил Игорю, что он увел Катю Волкову»; «Григорий Елисеевич Дерюгин во все сует свой нос, иногда дело доходит до ругани. Федор Федорович Казаков всячески спешит примирить их... Не имел никакой собственности и его родной отец — Иван Васильевич Кузнецов. Случалось, что Казаков уезжал пожить на озеро Белое, где так и прижилась Василиса Степановна Красавина». И мы должны верить, что это — внутренний монолог писателя Казакова, что так он называет знакомых с детства родственников? Да что там, даже жену (мысленно!) Вадим Федорович именует официально — Ириной Тихоновной...

В развитии сюжета книги, которые пишет герой В. Козлова (мы узнаем об их тематике), и трилогия, которую читаем мы сами — как бы сливаются. Автор настаивает на автопсихологичности центрального персонажа двух последних частей, Вадим Казаков временами воспринимается как его «второе я». В таком контексте двусмысленно и странно начинают звучать постоянные заверения его друзей и знакомых (кроме злодеев-критиков) в талантливости писателя на фоне бездарности большинства его коллег. Дело ведь в том, что действие «Времени любить» происходит не в вымышленном Энске, а в реальном Ленинграде в точно обозначенное время. И писательский дом на улице Воинова у нас один. Если какой-нибудь простодушный читатель примет «Время любить» за чистую монету, окажется, что в Ленинграде в середине восьмидесятых годов среди засилья интриганов и бездарностей был один приличный писатель — Вадим Казаков: «ты теперь знаменит, Вадим, за твоими книгами охотятся, в библиотеках очереди...»; «я прочла очень много разных книг, а вот написать захотелось только вам. Большое вам спасибо за ваши романы...»; «очень хороший писатель... Жаль, для кино Вадим Федорович ничего не сделал. Любой его роман — многосерийная эпопея». Нет, еще В. Пикуль, которого Казаков достает своей подруге-стюардессе: «Валентин Пикуль действительно пользовался огромным спросом у читателей. „Фаворита“ Казаков прочел, и книга ему понравилась. Каждый роман этого писателя вызывал настоящий бум. Значит, сумел Пикуль дойти до сердца читателя. Пожалуй, не за одним захваленным прессой писателем так не гоняются повсюду, как за Пикулем. И Вадим Федорович испытывал искреннее уважение к романисту, который пользовался такой стойкой симпатией читателей, хотя нельзя сказать, чтобы о Валентине Пикуле критики много писали» (понятно, почему: о подлинном лице критиков много говорится в романе — смотри начало нашей статьи). И сам герой — писатель, что самое любопытное, благосклонно принимает это обожание, он тоже уверен в своей исключительности. Из своего Абросимова, как Л. Н. Толстой из Ясной Поляны, наблюдает он за кишеньем и мельтешеньем литературной мафии и (не могу молчать!) предъявляет ей строгий счет: «Кто сейчас больше всех трубит о перестройке, переменах? Как раз те, кто их не хочет. И еще я одно заметил: стали выталкивать в первые ряды не тех писателей, которых годами незаслуженно замалчивали и преследовали, а тех, кто и раньше плавал на поверхности, но не купался в лучах славы. Теперь и они толпой ринулись в „гениев“! Посмотрите, какие имена стали появляться в журналах. Имена — ладно, а какая литература! Чистой воды графомания, которая снова выдается за откровение...» В общем, ситуация, как в старой пародии В. Лифшица:

> Мои друзья — загадка для меня:
> мы сверстники, погодки,— почему же
> я лучше становлюсь день ото дня,
> а вот друзья — день ото дня все хуже.
> ...Собачки, дачки, карты — их удел.
> Мои друзья — плохие. Я — хороший.

Не хочется в эпоху бесконечного «выяснения отношений» останавливаться на памфлетной стороне романа В. Козлова. Интереснее другое: насколько его герой отвечает обозначенным претензиям. «„Вы тоже подражаете Фолкнеру?“ — усмехнулся Луков. „Я никому не подражаю,— ответил Вадим Федорович.— И не терплю эпигонов“». Золотые слова, если бы автору время от времени не приходилось пусть не цитировать своего любимого и близкого героя (на это он благоразумно не идет), но все же пересказывать его замыслы, произведения, суждения о жизни и литературе.

Свою карьеру он начинает с фельетона о стилягах и разоблачения беспорядков на станции автотехобслуживания (после чего отрицательный герой мстительно пытается соблазнить его дочь — такой сюжетный ход). Герой быстро идет вверх и вот уже сочиняет очерки для АПН о нашем и «ихнем» образе жизни. Он летит за репортажем на Байконур и, как и положено мастеру слова, остро реагирует на банальную болтовню соседа по самолету: «„Янки“,— усмехнулся про себя Вадим.— „Прославленные хоккеисты“, „пальма первенства“! Этот дядечка явно тяготеет к красивым напыщенным фразам». Но через четыре страницы описываются его собственные впечатления: «Три блокнота исписал Казаков на Байконуре, ему здорово повезло; он познакомился с будущими героями космоса перед стартом, узнал много интересного. Не так уж давно он зачитывался Жюлем Верном, но даже фантазия знаменитого писателя не смогла нарисовать ту величественную картину, которую оставляет стартующая в космос ракета». Убейте, не пойму — чем клише типа «героев космоса», «величественной картины» (причем непонятно, как это ракета может ее оставить) или следующих дальше «сияющих глаз» лучше вызывающих иронию Казакова «прославленных хоккеистов».

«От газетной статьи — к очерку, от очерка — к повести для подростков, от повести — к роману...»,— изображает неуклонный подъем героя его приятель Ушков. Но взгляд и стиль уже не журналиста, а писателя Казакова при этом не очень изменяется. «В своей повести о мальчишках войны Вадим вывел образ немецкого выкормыша, придав ему черты Игоря Шмелева...» «Вывел образ... придав черты» — наверное, и казаковский недоброжелатель Луков не мог бы выразиться хуже. А вот изображение творческого процесса в конце романа, когда писатель Казаков достигает своего зенита: «В какой-то момент Вадим Федорович вдруг подумал, что в этих встречах есть нечто, стирающее грань между обыденной жизнью и волшебством художественного вымысла. Читая роман, каждый читатель по-своему представляет себе автора, если вообще думает о нем. Писатель создает в своей книге особенный мир, окрашенный только ему присущим мироощущением, вылепливает образы героев, пропуская их сквозь себя, но вот с писателем встречаются читатели, иные задают ему самые обычные вопросы: женаты ли вы?..» Не могу понять, почему читатели и особенно читательницы (романные) при встрече с Казаковым млеют от восторга — его суждения о жизни и литературе банальны и невразумительны.

К сожалению, герой и «вылепивший его образ» автор часто оказываются близки не только психологически, но и стилистически. «Андреевский кавалер», «Когда боги глухи» и «Время любить» написаны на какой-то странной смеси газетно-канцелярского жаргона, беллетристических «красивостей» и неловких попыток воспроизвести «чужое слово».

«Во всех газетах писали об успешном завершении первой пятилетки, заложившей прочный экономический фундамент социалистического общества в городе и деревне. Во второй пятилетке предполагалось завершить в стране построение социализма. Рассказывая односельчанам об успехах Советской власти, Шмелев удивлялся самому себе: как он может вслух, даже с неким пафосом, произносить противные всей его сущности слова? Вот она, полицейская школа! А наедине с собой он смаковал другие известия: о расправе кулаков Поволжья над работником райкома партии Цветковым, об убийстве „двадцатипятитысячников“, командированных партией в деревню, о диверсиях на фабриках и заводах». В таком духе «тассовок» и газетных передовиц выдержаны многие «исторические» фрагменты романа: и в авторской речи, и во внутренних монологах персонажей, и даже в их прямом слове, в спорах и беседах между собой. Излишне говорить о содержательной стороне таких представлений о нашей довоенной истории: они развалились на наших глазах. Конечно, шпион Шмелев не обязан, наверное, знать и думать об истинной цене наших «успехов» в первой и следующих пятилетках. Но какого-то иного взгляда (в частности, авторского)

на страницах «Андреевского кавалера» нигде не чувствуется: все довоенные времена изображены тут в духе «неуклонных успехов» и «происков затаившихся врагов». Чуть раньше автор дарит Шмелеву-Карнакову и такой внутренний монолог: «Он читал в газетах про разоблачения врагов Советской власти, его удивляло: как могли себя на суде так по-слюнтяйски вести арестанты? Они топили друг друга, все признавались, каялись... Нет, с такими борцами за Россию ему не по пути!.. Поражало его другое: в стране нищета, люди бедно одеты, работают до седьмого пота на заводах, на колоссальных стройках, пашут-сеют — все это не для себя, а жизнью довольны. Они и впрямь считают себя хозяевами этой новой жизни!» Ну прямо «Трактористы» или «Время, вперед!» И публикуется этот текст не в конце тридцатых и не в пятьдесят четвертом, а в восемьдесят шестом году. И Д. Благов советует рассматривать трилогию в одном ряду с абрамовскими романами, книгами, где показана подлинная цена «успехов» и дана настоящая картина деревенской жизни, а не та, про которую Шмелев читал в газетах.

Разнообразятся исторические сюжеты картинами иного порядка, заставляющими вспомнить традиции более ранние (и, может быть, вечные?): «Он властно обхватил ее за талию и стал жадно целовать, ее губы пахли лилиями. „Ты меня любишь?" — шептала она. Щеки ее вдруг побледнели, круглый подбородок задрожал. „Люблю! Да, да!" — отрывисто, задыхаясь, отвечал он, и верно, сейчас, тут, на диком берегу небольшого озера, он любил ее, как никогда. Ничего в мире не существовало, кроме нее. Катя что-то говорила, но он не слышал...»

Шпион, сын шпиона, Найденов (именно с ним связана предыдущая сцена) потом бежит на Запад и испытывает совсем другую любовь: «Два раза в месяц возил его Генрих в Бонн, в крошечный отель с романтическим названием „Тюльпан", там Игоря принимала рослая немка с выкрашенными в бронзовый цвет волосами и толстыми чувственными губами. Дело свое она знала в совершенстве, но была очень неразговорчивой. А Игорю как раз хотелось с ней по-немецки покалякать». В этом «где-то по-своему» замечательном «покалякать по-немецки» мне видится стилистическая формула романа, его основной тон.

Не только герои, но и язык трилогии В. Козлова напоминает «описания с описаний», автор постоянно отсылает к стереотипам массовой культуры — в литературе, в кино, на телевидении. «Во всех газетах», «читал в газетах» — не проходные детали, а принцип, определяющий сознание многих героев, в том числе и ненавидящего эпигонство писателя Казакова, и его талантливого сына, и самого автора. «Все было для Листунова настолько нереальным, что на ум пришел запомнившийся эпизод из детективного кинофильма...»; «сбывается его самвя заветная мечта — увидеть Америку! Не по телевизору в программе „Время", а на самом деле...» (при всем том, что западные страницы трилогии написаны как раз в духе разоблачительных телевизионных картинок). «Драки, как в кино, не будет, дорогая...» (это заявляет сам Вадим Казаков, застав жену с любовником — даже бородатый анекдот здесь сгодился; действительно, вместо драки он гордо покидает дом, взяв с собой лишь икону Николая Чудотворца, завернутую в свитер счастливого соперника); «...парень терялся в ее присутствии, краснел и бледнел, как тот самый капитан из известной песенки...»; «я где-то вычитал...»

Вот именно, «свои» и «чужие», положительные или отрицательные персонажи В. Козлова словно заглядывают в телевизор или вычитывают в книжке, прежде чем доложить о своих чувствах.

Виталий Семин, критик в общем спокойный и сдержанный, аналитического склада, закончил одну из внутренних рецензий на поступившую в «Новый мир» повесть о самовлюбленном журналисте-фельетонисте, напоминавшем козловского героя на первых этапах его писательской карьеры, непривычно резко: «Любопытную историю попытался нам рассказать Н. Д. Беда о том, что таким языком ничего рассказать невозможно. Начинающему автору было бы непросто объяснить, что штампы — это не просто стершиеся от частого употребления слова. Это целая система слов, связанных с иллюзорным содержанием. Как ни тасуй штампы — колода та же. В любых вариантах штампы пригодны лишь для бесконечного воспроизводства одного и того же иллюзорного содержания. Повторяю, начинающему автору это не просто было бы понять. Но Н. Д. — член Союза писателей. Он прекрасно знает, что так писать нельзя». Увы, пишут... И часто такой стиль даже перестает замечаться, больше толкуют об актуальности содержания.

Вопреки авторскому замыслу в трилогии В. Козлова поневоле начинаешь сочувствовать обличаемым и презираемым критикам. А вдруг, пусть иногда, они дело говорят? Но автор и герой пресекают такие мысли, применяя тактику «упреждающего удара». Возможные упреки и сомнения введены прямо в текст романа — разобраны, отвергнуты и осмеяны.

«Кстати, Лев Николаевич Толстой говорил: „Можно придумать все — нельзя выдумать лишь человеческой психологии",— продолжал Ушков, на лице его промелькнула самодовольная улыбка.— Все уже было, и ничего нового никто не изобретет!» (Ловит злодей-критик беднягу-писателя! — *И. С.*) — «Литературу, Коля, ты знаешь,— усмехнулся Вадим.— Но, по-моему, не любишь».— «Я ведь критик,— рассмеялся Ушков.— А какой критик любит литературу? Критик любит себя в литературе. Я, конечно, шучу...» — «Не хотел бы я, чтобы ты когда-нибудь написал обо мне,— заметил Вадим».

Казаков дает понять, что в его романах с психологией все в порядке. Но ведь в «Андреевском кавалере», «Глухих богах» и «Времени любить» психология довольно часто выдумывается либо по канонам (шаблонам) историко-революционного романа или военной прозы, либо по принципу «обратного общего места» («Человек встретил тигра. Что он сделает? Покраснеет и бросится бежать — это общее место,— пояснял в свое время Тургенев.— А если он побледнеет и останется на месте — это будет обратное общее место»). Обманутый муж, гордо уходящий из дома с иконой, завернутой в свитер соперника,— обратное общее место. И опереточный шпион, до пенсии борющийся с Советской властью и перед самоубийством читающий ликбезовскую лекцию о крахе своего дела — тоже пародия, хотя подается автором с чрезвычайной серьезностью. Есть, есть резон и в словах «отрицательного» редактора киностудии о военной повести Казакова (если считать ее аналогом соответствующие страницы «Глухих богов»): «Мне нравятся сцены боевых действий в тылу фашистов, засады на дорогах, диверсии... Но пока я не вижу людей, не ощущаю их характеров. Почему-то все они кажутся на одно лицо. И разговаривают одинаково». И в наблюдении главного казаковского недоброжелателя Лукова о «пошлости» откровенных описаний любовных приключений (хотя «откровенность» эта по нынешним временам весьма робкая). И в другом его замечании о том, что «повествования Казакова нельзя назвать романами, это, скорее, растянутые повести...»

Особенно печально, когда в сюжетную мясорубку попадает не многострадальная история (там эти схемы настолько «автоматизировались», что распознаются с первого взгляда), а живая, еще не воссозданная и не опознанная современность. Казаков-фис, взявший себе фамилию Абросимов, начинает карьеру писателя во втором поколении с повести об Афганистане. Отсталый главный редактор журнала, которому она предложена, советует молодому автору: «„Ваша повесть и так растянута, зачем вам еще понадобился американский шпион? Этакий Джеймс Бонд? (Ну никуда в этом романе без литературы! — *И. С.*) Пусть ваш герой честно сражается с душманами, а в детектив не стоит лезть... Детективщиков у нас и так хватает. Если вы выкинете линию со шпионом, сократите любовную коллизию, уберете описания природы..." — „А что же останется?" — не совсем вежливо перебил Андрей». Он отказывается «портить повесть», «кастрировать» ее и покидает начальственный кабинет, сопровождаемый угрозой литературного мафиози припомнить его гордое поведение при будущем вступлении в Союз писателей.

Поскольку повесть названа автобиографической, ее аналогом, видимо, могут служить «афганские страницы» «Времени любить». Итак, Андрей едет в Афганистан шофером-добровольцем «защищать народную революцию в братской стране», там его берет в плен группа под руководством американского шпиона и шпионского сына — друга детства Игоря Найденова («не может быть такого совпадения, чтобы здесь, на границе Пакистана и Афганистана, встретились бывшие земляки!» — опять превентивный удар «под дых» возможному критику, готовому воскликнуть «не может быть»: а вот бывает!); подвергается герой допросам и пыткам, «перевербовывает» Найденова рассказами о родном селе, удирает вместе с ним на джипе к своим («и опять пришли на ум эпизоды из кинофильма, где героям всегда все удавалось...» — уже знакомый изобразительный прием), захватывая важные документы, а Найденова, конечно, убивают преследующие беглецов душманы (его не жалко). И эту детективную «линию со шпионом» грудью защищает Казаков-сын, считая ее правдой об афганской войне? По мне, так абсолютно прав редактор, хоть он и отрицательный. Но можно понять и писателя: коль выкинуть эту линию, что же тогда останется?

Нельзя, стыдно сегодня, когда уже появляются документальные рассказы «афганцев», когда возникает новая «окопная проза» «о той войне незнаменитой» (прочтите в «Знамени» рассказы Олега Ермакова), писать детективные «киношные» страсти и счастливые совпадения, превращать трагедию в «литературу». Но такая уж это проза...

Даже перестройка, кажется, началась для того, чтобы В. Козлов мог закончить свой роман эффектной точкой. Автор, ничуть не смущаясь, пристраивает к шпионским мотивам, «проискам ЦРУ», которые были главной причиной наших бед в двух первых книгах, рассуждения о гласности, демократии, теплом апрельском ветре и так далее. «Помните, я вам рассказывал про свою жизнь, вернее, свое падение на дно, приводил какие-то аргументы, дескать, то виновато, другое... А на самом деле собака, как говорится, была зарыта в другом: тяжко и тоскливо мне было жить на белом свете, Оля, когда кругом такое творилось!.. Ну как бы мне вам это объяснить? Беспросветность была вокруг,

большая скука, как метко выразился один болгарский писатель. (!) ... Ложь, искажение истории, неподвластные народному осуждению деятели, игра в демократию, доведенная до абсурда всесильная бюрократия, нищенский быт, безудержное хамство даже у нас в Ленинграде — городе, славящемся своими высококультурными традициями... Газеты читать не хотелось — одно и то же вранье, мол, у нас все отлично, а „там“ — отвратительно. А чего же, спрашивается, „туда“ едут евреи?» А еще утверждал Лев Николаевич, нельзя придумать психологию! Вон какой монолог о перестройке закатил «завязавший» пьяница Родион Вячеславович Рикошетов. (Кстати, что он сказал бы, прочитав «Когда боги глухи», где неподкупный писатель Вадим Казаков клеймит «уехавших из СССР литераторов и музыкантов» «подонками» и предрекает им едва ли не смерть под забором: «уж как-нибудь я поездил по миру и знаю, как живут перебежчики и подавшиеся на Запад диссиденты. Чужие они для всех! Никому не нужны, и рано или поздно почти каждый плохо кончает»?)

Если эта плохо выправленная стенограмма радикально-официозной речи (достаточно распространенное сегодня сочетание) — художественная проза, то, выходит, границы последней что-то уж очень широки. Если это выношенные автором романа убеждения, то что тогда называть конъюнктурой? Вопросы, впрочем, риторические. Изобразив еще тяжелые капли, которые черные липы с мокрой листвой роняют на золотистые волосы девушки Оли, и тяжелые крупные слезы, которые срываются с длинных ресниц, будто дождевые капли с листьев,— автор ставит слово «конец».

Закончу и я. Конечно, есть в трилогии и живые персонажи (главным образом — второстепенные), хорошо написанные сцены (коротенькая главка в начале первого тома — Абросимов-старший и дед Тимаш на кладбище — сделана будто другой рукой, психологически достоверно), но не они, к сожалению, определяют ее основную тональность.

Неудачи бывают разные. В последних романах В. Козлова мне видится не срыв художника, рискующего, берущего на себя трудную ношу, работающего на пределе возможностей, а издержки «конвейерного производства» холодного профессионала, делающего «литературу» из всего, но главным образом — из самой литературы.

В своей борьбе с критиками писатель Вадим Казаков постоянно апеллирует к читателям, к рынку: если за книгой «гоняются», значит, она хороша. А люди, которые осмеливаются думать по-иному,— глупцы или мерзавцы (смотри начало статьи). И Д. Благов в оценке трилогии В. Козлова дает нам то же противопоставление: сетует на отсутствие «взвешенной критической оценки» и в то же время говорит о популярности его имени у «рядовых читателей». Готов согласиться: книги В. Козлова читаются, на полках магазинов книгообмена (нынешний аналог «черного рынка») они стоят рядом с изданиями Булгакова и Платонова. Факт, достойный внимания социолога.

Но значит ли это, что, как утверждает писатель Казаков, «есть только один истинный критик — это читатель», который «никогда не ошибается, всегда плохую книгу отличит от талантливой»? На рынке, к которому, как к единственному критерию, взывает герой В. Козлова, сосуществуют Платонов и Семенов, «Лолита» и Библия. Пусть «Фаворит» сегодня вызывает «настоящий бум», но вряд ли найдется такая отчаянная голова, которая возьмется утверждать на этом основании, что книга лучше «захваленной прессой» «Войны и мира», та вроде бы читается меньше. Смешно ломиться в открытую дверь и доказывать то, что было ясно, скажем, Некрасову:

Эх! Эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Критик ведь — тоже читатель, который имеет право на собственное мнение. Вряд ли он должен покорно обосновывать любой «успех у читателя». Его задача — понять и цену успеха, показать, «что книга книге розь».

«Он вообще считал, что неуемное восхваление писателя приносит тому лишь вред»,— передает Казаков-младший задушевные мысли отца. И тут я с ним совершенно согласен.

* * *

Не стану обвинять своего уважаемого оппонента И. Сухих в дефиците хорошего вкуса или утрате эстетического чутья. Наличие того и другого легко обнаружить во множестве его работ, относящихся к русской литературе XIX века. То же, что В. Козлов ему не нравится — его суверенное право. Здесь вряд ли стоит вдаваться в причины этой неприязни. Ну, не люб и не люб, что тут поделаешь?! Наверное, именно это отношение к писателю, где-то, как нам кажется, перешедшее в состояние души, и определило характер, уровень аргументации.

Выборочное, с саркастическим комментированием цитирование, язвительный, с продуманной переакцентировкой пересказ — приемы куда как не новые и сами по себе, увы, многократно осмеянные: сколько уже раз демонстрировалось на всевозможных «16-х страницах», как таким образом можно принизить, низвести до требуемого уровня и «Евгения Онегина», и «Преступление и наказание», и вообще что угодно.

Когда манера, взгляды писателя не нравятся, все критерии, сама терминология меняются: выдержанность формы превращается в однообразие; простота кажется простоватостью, а сложность вычурностью; следование традиции — эпигонством, а новаторство — оригинальничаньем. Увлекательность, сюжетная заостренность представляются детективщиной. Естественное стремление героя к успеху кажется карьеризмом, скромность, привычка довольствоваться малым — ограниченностью и примитивизмом.

Но кажется, что в разговоре о спорном, сложном литературном явлении важнее выяснить другое: от чего отталкивается и к чему стремится писатель. Что составляет его эстетический и человеческий идеал. Что, по его мнению, есть добро и что есть зло. Противоречит ли он, изменяет ли самому себе. В. Козлова в этих координатах И. Сухих не анализировал.

Последняя трилогия — произведение очень своеобразного жанра, ориентированное на молодежную аудиторию, и этого нельзя не учитывать. Хотя, согласимся, элементы скорописи в ней все же есть. Но не это главное!

Как не заметить в романах В. Козлова 80-х годов попытки убедить, докричаться: общество наше — больно, мы забываем, что такое правда, честь, долг, стыдимся самих слов любовь, верность, самопожертвование. Мы отрекаемся от всего, что и для предков наших и еще совсем недавно было свято, и спешим горделиво продемонстрировать это отречение себе подобным!..

Может, писатель не во всем прав, может, он и нагнетает краски и где-то спешит, сбивается с ритма, но он искренен и честен, не страшится прямоты и определенности, не подлаживается, не боится быть самим собой. И многого ли стоит литература, где все точно взвешено и размерено, где потоки елея и грязи распределяются в строгом соответствии с конъюнктурой и групповым «этикетом»? Повторимся: «массовый» читатель эту искренность чувствует очень хорошо.

Д. БЛАГОВ

* * *

Говорят, что литературоведы, которые долго занимаются каким-то писателем, становятся похожими на своего героя. То же — и в критике. В своей статье, как и в послесловии к трилогии В. Козлова, Д. Благов, кажется, невольно усвоил методу писателя Казакова: та же апелляция к «черному рынку» и «пачкам восторженных писем», та же ирония по адресу тоскующих о герое-дельтапланеристе, то же «упреждающее» предостережение «будущего придирчивого критика» (в самом деле, кому захочется оказаться в одном ряду с разносами Н. Федя). Автор статьи «Рядом с нами» почти автоматически ставит жирный плюс едва ли не возле каждого отмеченного им признака романа В. Козлова.

Вообще подвести соответствующий «теоретический фундамент» можно при этом под любое здание. Вот актер и режиссер нового экспериментального театра «Детектив» объясняет сверхзадачу своей постановки: «И этот жанр — детектив — позволяет получить удовольствие, развлечься — что, поверьте, совершенно немаловажное занятие. У нас так мало, а может быть, и совсем нет никаких развлечений. Нашим женщинам даже некуда выйти в вечернем туалете... Надо, чтобы обязательно был хороший буфет... И не только пиво, но и шампанское. И я не хочу обманывать зрителя, вместо детектива подсовывать ему некую „политическую штучку“, псевдосоциальную глубину...» Но известно, что другая постановка того же театра — про Берию. Режиссер того спектакля, конечно, при случае заявит, что наш зритель по горло сыт развлечениями, что и в жанре детектива пора резать историческую правду-матку, чему нисколько не помешает шампанское.

Возможно, что правы оба. «Словами можно доказать все, что угодно»,— заявляет один циничный чеховский герой. Однако что́ мы увидим на сцене?

Но, как мы знаем от другого классика, «слова писателя суть дела его». Уверенно владея нашим цеховым жаргоном, подробно рассказывая и объясняя, про что пишет любимый им автор, Д. Благов почти не интересуется тем, *как* он это делает. «Целостная художественная концепция», «простота как стилевая доминанта», «два сюжета», «психологическая нюансировка», «символическое значение» — все замечательно, но где в довольно большой статье хоть одна цитата анализируемой прозы? Надо ведь еще показать, что она — *художественная.* Я не о «рядах» (с этим историки литературы когда-нибудь разберутся) — об *уровне.* Здесь уважаемый оппонент, «критик великодушный», меня мало в чем убедил. («Дефицит аргументации» не в меньшей степени может быть свойствен и жанру панегирическому.)

Так что у нас получился портрет не только «двумя перьями», но и «разными чернилами». Кто ближе к истине — решать читателю.

И. СУХИХ

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ПОЗИЦИЯ ИСТОРИКОВ И ЛУКАВОСТЬ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензия на новый труд всегда воспринимается читателем с большим внтересом. Ждут ее и авторы. Она, как правило, отмечает достигнутые положительные результаты исследования, анализирует недостатки книги, дает общую оценку проделанного труда. Однако рецензия Ю. Н. Беспятых «Крутые повороты историков» (История Северной войны 1700—1721 гг. М.: Наука, 1987), помещенная в журиале «Нева», поломала сложившиеся традиции [1]. При ее написании рецензент проявил новаторский подход. Не обращая внимания на цели и задачи рецензируемого труда, посвященного авализу вооруженной борьбы противоборствующих сторон в ходе Северной войны 1700—1721 гг. на суше и на море (а не отдельных кампаний, в отличие от работ предшественников), он упрекает авторов книги в недостаточно полном освещении историографии проблемы. Однако авторы монографии и не ставили перед собой задачи проанализировать всю многочисленную литературу, посвященную этой войне. Упрек в адрес авторского коллектива был бы справедлив только в том случае, если бы их работа представляла собой историографическое исследование. Тем не менее Ю. Н. Беспятых, полвостью игнорируя это обстоятельство, обвиняет авторов в увлечении критиканством, в «нелестных замечаниях в адрес исследователей» (имеются в виду зарубежные историки). При этом рецензент «лукаво» (по терминологии самого Ю. Н. Беспятых) избегает приводить доказательства подобной критики (рецензия написана без ссылок на страницы рассматриваемой работы) [2]. Ведь из более чем десятка разбираемых нами зарубежных трудов в число «жестоко раскритикованных» попали только две. О чем же в них говорится и почему авторы сочли необходимым остановиться именно на них? Английский историк Е. Малколм-Смит в своей монографии «Британская дипломатия в восемнадцатом веке. 1700—1789» утверждал, что дипломаты его Величества в конце Северной войны сумели создать «союз буферных государств» и остановить продвижение России на Запад. В результате устрашеняое русское правительство было вынуждено подписать мирвый договор со Швецией (см. с. 6 нашего труда). Из приведенного примера хорошо видно, что Е. Малколм-Смит был одним из предшествевников тех зарубежных историков, которые в 50—60 гг. пропагандировали концепцию превентивной войны «свободного Запада» против «варварской славявской расы» илв «азиатсной экспансии». Среди вих — Д. Фуллер, В. Джексон, Д. Зук, Р. Хаям, работы которых уже нашли должную оценку в советской историографии. Здесь названы только некоторые зарубежные военные историки, которые вели точку отсчета русской «экспансии» от событий Северной войны 1700—1721 гг. Этот список можно было бы продолжить работами других западных ученых.

Автор другой книги — «Жизнь Петра Великого» — филолог Алекс Джояг иалагает события русской встории с целью подтверждения своего теаиса о неразвитости самосознания русского народа. По его мнению, монголо-татарские захватчики, управлявшие страной 250 лет, оставилн России образец правления: всеобщую покорность и беспрекословное повиновение верховной власти (см. с. 8 нашего труда). Использовав эту характерную черту русского народа, Петр I со свойственной ему энергией в сочетании с «силой и жестокостью» смог направить Россию на путь западноевропейской цивилвзации — таково определевие петровских реформ, запечатлеиных пером А. Джовга. Так ли это? А. С. Пушкив говорил, что «дух времени», «дух варода» является «источником нужд и требовавий государственных». Каи видим, ве личность, а самосознание народа, то есть назревшая потребиость перемен вызывает к жизни энергию исторических деятелей.

Таким образом, не «простодушная голословность», по выражению Ю. Н. Беспятых, руководила авторами книги в оценке зарубежной историографии, а критическое (разумеется, в научиом смысле) отношение к трудам ваших западных коллег. Одвако рецензент продолжает развивать свою мысль и, передернув ровно 101 страницу труда [1], заявляет, что авторы безадресно критикуют зарубежных историков. Может быть, это действительно так? Откроем нашу книгу. На с. 6 и 157 отмечен конкретный исторический факт: изложен секретный приказ адмиралу Д. Норрису, командующему английской эскадрой, о соедвнении со шведским флотом с целью уничтожения русского флота на Балтике. Указываются и действующие лица.

Подобные обвинения рецензеята в адрес авторов труда создают впечатление, что он преследоиал цель дать не столько объективную его оценку, сколько вавязать читателю свое видевие событий Северной войны, ио не аргументированное ковкретными фактамв. Особенно ирко это пронвилось в трактовке им русско-шведских переговоров 1718—1719 гг. Автору рецензии ве понравилось освещение в нашей работе действий английских дипломатов. А разве дипломатические демарши Апглии, имевшей неоспоримое превосходство в торговом мореплавании, против России ве заслуживают тех оцевок, которые приведены в нашей книге (с. 150—151, 162, 171—172)? Горячее желание Ю. Н. Беспятых поменять акценты и признать порядочвость и правомочность интрвг британских дипломатов, стремившихся затянуть войну, вызывает удивление.

Далее рецензент призывает «остерегаться одностороннего освещения» способов ведения военных действий противоборствующими сторонами. На примере кампании в Финляндии (1712—1714 гг.) он хочет показать, что действня русской и шведской армий по отношению к населению Финляндии были одинаково жестоки. Похвальное стремление к объективности. Но авторы отнюдь не погрешили против истины (см. с. 124 нашего труда). Этому есть подтверждение даже в докладе, сделанном Ю. Н. Беспятых и И. П. Шаскольским на советско-финляндском симпозиуме в октябре 1981 г., где они говорили: «...ради продолжения яепосильной войны, ради того, чтобы любой цеяой сохранить шведское великодержавие, правительство Швеции и весь ее государственный аппарат шли на разорение и собственной страны, и особенно подвластных территорий...». И далее: «...Петр I и его командование с первых же шагов на финляндской земле принялн меры к тому, чтобы наладить отношения с местным населением. Были отданы распоряжения о том, что русскан армия не должна вести себя как в завоеваниой стране» [1]. Вот уж действительно где «расползаютси академнческие одежды», «обнаруживаются крутые повороты» и появляется незабвенная унтер-офицерская вдова... [2]

Лукаво сетует рецензент по поводу «неразрешимых трудностей» в оценке результатов Прутского похода 1711 г. Особенно его расстроил оптимистический вывод о том, что заключеяие Прутского мирного договора явилось «успехом русской дипломатии». Вместо того, чтобы преодолевать им самим создавные трудности, рецензенту следовало бы еще раз более внимательно прочитать тот абзац, из которого он выдернул лишь первую фразу. А далее там написано: «Была не только спасена армия, но и достигнута важная внешнеполитическая цель, ради достиженин которой Петр I и предпринял поход. Турция была выведена из войны. Россин теперь смогла вновь сосредоточить все сиои силы в ресурсы на продолжеции борьбы со Швецией». Именно это обстоятельство имел в виду Петр I, высказыванием которого завершается раздел о Прутском походе 1711 г. (см. с. 114—115 нашей книги).

Перед авторами труда встал закономерный вопрос: с какой целью писалась данная рецензия? Зачем понадобнлось Ю. Н. Беспятых предпрнинмать поистине титанические усилия по выдергиванию отдельных фраз из текста книги, созиательно выдвигая одни факты, игнорируя другие? А для того, чтобы доказать: разбираемая им книга написана с позиций ложного патриотизма. Упрек серьезный. Ответим: авторы книги о Северной войне действительно патриоты своей Родины без всякого ложного патриотизма. Нам ве чуждо славное прошлое своего народа, поскольку его достоинство есть и сознанве собственного достоинства. По нашему мнению, хранить и развивать славные боевые традиции наших преднов — в этом состоит главная задача исторической ваук и. А. С. Пушкин писал, что уважение к именам, освященным славою, есть первый признак ума просвещеяного. «Гордиться славою предков не только можно, но и должно» [1]. Героическое прошлое нашей Родины — это бесценное достоиние и советских людей. Такова позиция авторов книги «История Северной войны 1700—1721 гг.» В заключение хотелось бы обратить внимание уважаемого рецензента, что характер его замечаний нельзя считать корректпым. Недоброжелательность и неуважение к труду своих коллег еще никогда не являлись аргумевтом в иаучном споре.

Ю. СОКОЛОВ
В. АВДЕЕВ

---

[1] «Нева», 1989, № 2.

[2] Такие ссылки в массовой печати (в отличие от научной) не приняты. В данной подборке материалов делаем исключение.— *Прим. ред.*

[1] Количество конкретных примеров в рецензии Ю. Н. Беспятых мы вынуждены были сократить ради экономии места. Ниже восполняем этот пробел — *прим. ред.*

[1] Шаскольский И. П., Беспятых Ю. Н. Россия и Финляндия в годы Северной войны (1700—1721). Труды VIII советско-финляндского симпозиума историков. Петрозаводск, 21—23 октябри 1981 г.— Л.: Наука, 1985, с. 27—28.

[2] Жаль, что авторы письма ве отметили: сразу за вышеприведенной цитатой в докладе следует т е к с т этих распоряжений, свидетельствующий о в ы н у ж д е н н ы х причинах «гуманности» русского царя (см.: «Нева», 1989, № 2, с. 184—185).— *Прим. ред.*

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч.— М.: 1950, т. 5, с. 41.

ПАТРИОТИЗМУ ПРАВДА НЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА

Авторы книги «История Северной войны» высказывают недовольство тем, что рецензент, по их мнеиию, написал сной отзыв не так, как «положено»: вначале он, оказывается, не отметил положительных результатов, затем не проанализировал недостатки и, наконец, не дал общую оценку труду коллектива авторов. Ну что ж, попробуем оценить книгу по традиционной схеме.

Несомненно, издание такого труда заслуживает одобрения. Купив только что вышедшую книгу, я был несказанно рад, ибо знал, что история Северной войны, как и вся военная история XVIII века, деснтилетиями была падчерицей советской военноисторической науки. Воодушевляло и то, что книга написана специалистами Института военной истории МО СССР, что она хорошо оформлена, содержит грамотные карты, научный аппарат. Но чем больше н углублялся в чтение этого труда (кстати, хотелось бы знать, кто конкретно какую главу написал — указа-

ние ва то является этической нормой при создании коллективных работ и позволяет определить реальный вклад каждого автора), тем больше разочаровывался в прочитанном.

Самый существенный недостаток книги — авторы не сумели раскрыть тему исследования. История Северной войны, как и любого другого крупного исторического события,— это сгусток проблем, больших и малых, это — множество научных концепций, подчас запутанных историографических «узлов», вокруг оценки которых среди ученых до сих пор еще ведутся споры. Однако никаких следов этого в книге нет — она почти полностью лишена проблемности. Монография больше напоминает конспективный перечень событий Северной войны, и дальше констатации фактов авторы не идут. Но даже эта, казалось бы, простая и вполне допустимая научная задача осталась нерешенной, ибо и здесь авторы не заметили проблем, связанных с разноголосицей источников и литературы при установлении этих фактов, интерпретации их, выявлении причинно-следственных связей. Отвечая на замечание Ю. Беспятых о том, что вне поля зрения авторов осталась вся масса специальной зарубежной литературы, они несколько наивно пишут, что «и не ставили перед собой задачи проанализировать всю многочисленную литературу, посвященную этой войне. Упрек в адрес авторского коллектива был бы справедлив только в том случае, если бы их работа представляла собой историографическое исследование». Прямо скажем, опрометчивое утверждение, ибо для историков-профессионалов существует понятие «рабочая историография», то есть сравнительный анализ различных точек зрения по поводу конкретных сюжетов, документов, проблем, из чего, собственно, и складывается ткань научного исследования. Именно этого и нет в труде И. Ростунова и его соавторов. В подавляющем большинстве случаев для них существует лишь одна-единственная интерпретация событий, причем для ее изложения они берут крайне ограниченный круг источников, или — просто — один источник, наиболее соответствующий их версии. При этом они отнюдь не утруждают себя доказательствами высказанной ими точки зрения.

Приведу пример. На странице 42, касаясь обстоятельств начала Северной войны, авторы сообщают: 1) что стратегический план русских определял будущим театром военных действий Ингрию и Карелию, 2) что «объектом первого удара русских войск была выбрана Нарва». Оба факта хорошо известны, но внутренне не связаны: существует принципиальная разница между предполагаемым направлением действий на Ингрию и Карелию и осуществленным наступлением на Нарву — эстляндскую крепость. Дело в том, что в последний момент Петр изменил стратегический план наступления на Ингрию и Карелию и, идя навстречу просьбам своего союзника Августа II, осаждавшего в это время Ригу, двинулся в Эстляндию, чтобы осадой Нарвы оттянуть на себя шведские войска в Эстляндии, лишить Карла возможности перебросить их к Риге. Позже, вспоминая нарвскую осаду, Петр писал по этому поводу: «Мы склонились по неотступным побуждениям министра его (Августа) генерала Ланга осадить Нарву в неспособное время, в конце осени, в том единственном намерении, чтобы сделать диверсию и привлечь неприятельское оружие против нас». Именно это обстоятельство во многом и предопределило крайне неудачное начало войны и все последующие события. Авторам, приведшим два разрозненных факта и ничего не упомянувшим о спорах в историографии по поводу начала войны, все это как будто невдомек. Анализ завязки войны, таким образом, обидно опущен.

Возьмем описание Полтавской битвы. Сколько интереснейших проблем военно-исторического характера возникает при разборе этого выдающегося сражения! Побежденный Петром генерал Левенгаупт вспоминал, что после капитуляции шведов под Переволочной царь пригласил его на обед и подробно расспрашивал о действиях своего противника. «...Он спросил, почему мы с армией столь далеко углубились, не прикрыв тыла? Почему наш король не держал совета? С какой целью шел он под Полтаву? Почему мы атаковали русских в том месте, где наше положение было наиболее тяжелым? Почему мы не использовали пушек? Почему после первого натиска мы отступили влево и столь долго стояли на месте? И почему пехота и кавалерия не встретились на сходящих направлениях?» Только анализируя эти вопросы Петра — великого полководца, военные историки могли бы многое понять и, используя весь потенциал специальных знаний, проанализировать действия двух армий на страницах книги. Вспомним Пушкина: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Но нет! Три страницы предельно упрощенного, как в школьном учебнике, текста, процитированная с ошибками речь Петра накануне битвы — вот и все, что есть в книге о Полтаве — выдающейся битве, изменившей ход кампании, войны, истории.

Полностью несостоятельна и оценка результатов Прутского похода 1711 года, закончившегося безусловным военным и дипломатическим поражением России. Петр, в сущности, целиком повторил ошибку Карла XII: опьяненный успехом Полтавы, царь со своими войсками вторгся в глубину вражеской территории, не обеспечив ни тылов, ни разведки, к тому же понадеявшись на несостоятельного союзника — князя Кантемира. В итоге мир оказался тяжелым и даже позорным: Петр гарантировал не только территориальные уступки, отказ от сфер влияния России, но и безопасность проезда в Швецию через свою столицу Карла XII. Отвечая потрясенному условиями мира Ф. М. Апраксину, Петр писал: «... З слезами прошение ваше видел, о чем и больше вашего плакал». Нет сомнений — это не были слезы радости от «безусловно большого успеха», как называют прутский мир наши авторы.

В предисловии они горделиво сообщают, что пишут историю, «вводя в научный оборот новые документальные материалы» (с. 11). Но резонен вопрос: где же они — эти новые документальные материалы? Книга, в которой дается крайне пренебрежительная оценка блестящей русской дореволюционной школы военных историков, не содержит ни единой ссылки на архивы, хотя авторам должно быть из-

вестно, что по-прежнему, как и до революции, большая часть источников находится под спудом. То, что они во введении называют «плодотворной археографической работой» (с. 10), очевидно, имея в виду выход в свет за семьдесят лет лишь шести томов «Писем и бумаг Петра Великого»,— это позор нашей науки, ибо, если публикация документов пойдет и дальше такими темпами, весь корпус петровских автографов будет опубликован через 150 лет!

Прошедшее время показало, что детальные, фактологические, основанные на глубоких архивных изысканиях труды русских военных историков А. З. Мышлаевского, Д. Ф. Масловского, Н. П. Волынского, В. И. Баскакова и многих других, несмотря на их так называемую «классовую ограниченность» (с. 9), будут жить очень долго, чего не скажешь, к сожалению, о многих творениях советской военно-исторической науки, справедливая критика которых стала возможна лишь теперь, в эпоху гласности.

О многочисленных фактических ошибках, немыслимых для историков, подробно говорить не буду. Откроем лишь одну, ставшую в кругах специалистов знаменитой, 61-ю страницу рецензируемого сочинения. После цитаты из «Журнала...» Петра Великого об основании крепости на Заячьем острове, авторы пишут: «Так 16 (27) мая 1703 г. был основан город Петербург, ставший позднее столицей Российского государства. Одновременно с Петербургом заложили Петропавловскую крепость». Если из этого отрывка вытекает с очевидностью, что закладка крепости и города — это не одно и то же, то из следующей цитаты явствует, что Кроншлот — то же самое, что Кронштадт: «Весной 1703 года близ острова Котлин русские построили крепость, назвав ее Кроншлотом (Кронштадтом)». Наконец, на той же странице мы читаем, что «русские войска овладели крепостями Ям, Копорье, Мариенбург. Тем самым враг был изгнан с территории древней Ижорской земли». Никогда раньше и не думал, что Мариенбург (современный Алуксне Латвийской ССР) расположен на территории древней Ижорской земли, отделенной от Латвии Псковщиной и Эстляндией. Я уверен, что если бы Масловский или Мышлаевский допустили хоть бы одну из таких ошибок, они бы тотчас подали в отставку, а не требовали от журнала, напечатавшего «неправильную» рецензию, сатисфакции в виде обязательного опубликования рецензии на рецензию. Подробнее о других фактических ошибках, допущенных в книге «История Северной войны», можно прочесть в отзыве И. П. Шаскольского («Вопросы истории», 1988, № 8).

Не будем больше останавливаться на ошибках — от них, как известно, никто не гарантирован. Поговорим о более серьезных вещах — о методологии, классиках марксизма-ленинизма и патриотизме. Введение в исследование выдержано в традиционном ритуальном стиле эпохи застоя: с одной стороны, надлежит вкратце отметить методологическую несостоятельность буржуазных «фальсификаторов истории», которые так же «классово ограничены», как и дореволюционные предшественники наших авторов, а с другой стороны — подчеркнуть, что, «опираясь на труды классиков марксизма-ленинизма» (с. 11), необходимо продолжить изучение и т. д. В тексте введения приводится кочующая из одной книги в другую цитата из книги К. Маркса «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», где Маркс подчеркивает естественность стремления России и Петра к морю, что было «абсолютно необходимо для естественного развития его страны». На этом, как и во всех мне известных советских исследованиях, цитата обрывается, а зря... Ю. Соколов и В. Авдеев озаглавили свои возражения «Позиция историков и лукавость рецензента». Настало время поговорить о методологическом лукавстве (по-моему, так по-русски более правильно, чем «лукавость») наших авторов. Продолжить цитату необходимо, чтобы наверняка знать, на что опираешься и как используешь наследие марксизма. Маркс продолжал: «Исходя из этого, целью Петра Великого в войне со Швецией было возведение русского Ливерпуля и обеспечение его необходимой частью побережья. Но при этом пренебрегают одним важнейшим фактом — тем волевым решением, которым он перенес столицу империи из внутренней части страны к приморской оконечности, свойственную ему смелость, с которой он возвел новую столицу на первом же завоеванном клочке балтийского побережья, почти в пушечном выстреле от неприятеля, тем самым сознательно создав для своих владений эксцентрический центр. Перенести царский трон из Москвы в Петербург — означало поместить его в положение, где не могла быть обеспечена его безопасность (хотя бы от угрозы) до тех пор, пока весь берег от Либавы до Торнео не будет подчинен — это дело было завершено лишь в 1809 году с завоеванием Финляндии» [1].

Здесь Маркс, как и в других своих сочинениях, особо подчеркивает экспансионистский характер русской внешней политики XVIII и даже более ранних веков. Столь жесткие, бескомпромиссные оценки этой политики были обусловлены той ситуацией, в которой находилась Европа в 1848—1853 годах. В политике русского царизма, грубо подавившего в 1849 году революцию в Венгрии и исполнявшего роль «европейского жандарма», Маркс и Энгельс видели прямую угрозу пролетарской революции, идею которой они выпестовали. Анализируя внешнюю политику Николая I, Маркс искал истоки ее реакционности в прошлом, в той имперской системе, которую создал Петр, и даже в наследии татаро-монгольского ига. Одновременно он разоблачал предательскую политику английского, французского и прусского правительств, готовых пойти на сговор с реакционнейшим режимом Российской империи. Именно поэтому книга Маркса называется «Разоблачения...». Дипломатическая и военная история России XVIII века рассматривалась Марксом сквозь призму современных ему событий, но с учетом преемственности политических концепций.

Авторы коллективного тру-

---

[1] Этот труд Маркса в русском переводе впервые начал публиковать журнал «Вопросы истории» в текущем году. Но специалистам надлежало бы знать его и раньше — тем более, если на него ссылаешься!

да, делаи вид, что всего этого они не знают, лукаво выбирают из сочинения Маркса понравившиеся им отрывки.

Но как все же быть с Марисом (если, конечно, воспроизводить его высказывании без купюр)? Я думаю, что авторы вправе не согласиться с ним, сославшись на исторические условия написания книги, известную конъюнктурвость газетных статей, которые были опубликованы в английской печати и составили книгу «Разоблачения...». Мои предположения о возможном расхождении между Марксом и авторами «Истории Северной войны» кажутсн мне вполне допустимыми и реальными, ибо у последних не закрадывается даже мысли поставить под сомнение правомерность многих военно-политических акций Петра в Европе. Описывая военные действия русских войск в Германии, ови не касаются весьма актуальной и симптоматичной для будущей политики России темы активного вмешательства Петра в германские дела, создавшего «мекленбургский», затем — «голштинский» вопросы. Дав пазвание одной из глав «Освобождение Прибалтики и Финлнндии», они не сомневаютси в праве России на присоединение никогда не принадлежавших ей Эстляндии и Лифлнндив. Впрочем, так думать — это их право. Мпе же представляется, что во внешней политике Петра на Балтике отчетливо прослеживаются два основных аспекта: национальпый и имперский. Стремясь решить вековую для России национальную проблему выхода к морю, Петр не остановился на этом, придав внешней политике типично имперскую направленность, принципами которой были захват чужвх земель, раздел наследии ослабевшей Шаедской империи, стремление за счет других стран и народов расширить зону влияния Россни, защищая ее интересы далеко за пределами вациональной территории. Маркс справедливо усмотрел преемственность внешней политики Петра в политике его наследников, ибо в способах решения внешнеполитических проблем всеми российскими самодержцами от Петра Великого до Николая II прослеживается один почерк, одно — по сути — имперское стремление. Петр, заняв Эстляндию и Лифляндию, распространил свое влияние на Курляндию. При Екатерине II мы видим присоединение Курляндии и расчленение Речи Посполитой. Восточная Пруссия еще раньше, при Елизавете, некоторое время входила в состав Российской империи. Наконец, при Александре I в состав империи вошла Финляндия.

Важно при этом заметить, что, осуществляя аннексионистскую политику па Балтике, Каспийском и Черном морнх, в Средней Азии и на Дальнем Востоке, Россия стала на путь, по которому уже давно и вполне успешно двигались другие империи — Британская, Французскал, Испанская, Голландская, захватывая все новые и новые земли, проводя принципы политики «разделяй а властвуй». В этом прослеживается известная закономерность развития европейских государств в новое время. Изучать разнообразные проивлеиия национальной и ииперской политики применительно к каждой стране, ивиявляя общее и специфическое — важная задача ученых разных стран и специализации.

Да, авторы книги правы — нам «нужно хранить и развивать славные боеиые традиции наших предков». Но онв глубоко ошибаются, если тольио в этом видят «главную задачу исторической науки», сводя тем самым ее цель к обслуживанвю ложно понимаемого патриотизма, в системе которого вполне допустнмо огульвое охаивание исследований зарубежной и дореволюционной историографии, препарирование трудов классиков марксизма-ленинизма, писавие апологетических, лишенвых критвческого отношения к прошлому, приглаженных трудов, подобных «Истории Северной войны».

Думается, что в нашей истории есть немало истинных ценностей, нам действительно есть, чем гордитьси, и причем — не только совершеняым па поле бон. Но в пестром наследии прошлого сокрыто великое множество проблем, которые нужно всестороине, углубленно и правдиво изучать — ведь истинному патриотизму правда ве противопоказана. В нашей истории есть и немало того, о чем следует печалиться, чего нужно стыдиться, а от чего — и отказаться. В первую очередь я имею в виду апологетику имперского подхода к истории, отчетливо проявившуюся в работе авторского коллектива «Истории Северной войны».

АНИСИМОВ Е. В.,
доктор исторических наук



Воспоминания

С. АЛЬТЕРМАН

ДРУГ СВОИХ ДРУЗЕЙ

«Сколько вспыхивало споров, как только кто-нибудь упоминал о символистах. Ни один спор не обходился без Анны Регат, девушки с бледным удлиненным лицом и широко раскрытыми, „мистическими“ по тогдашней моде, глазами. Стихи ее отличались тонким вкусом».

Так упомянул о Елене Михайловне Тагер Вс. Ал. Рождественский в своей книге «Страницы жизни», вышедшей в 1962 году. Эти воспоминания относились к 15—16-м годам.

Я познакомилась с Еленой Михайловной в 30-х годах. Закончилось строительство квартир для писателей по каналу Грибоедова. Над длинным невысоким домом было надстроено два этажа. В этом «недоскребе» и мой муж получил квартиру.

Через несколько дней к нам зашла Елена Михайловна. Похвалила меня за быстро наведенный порядок, за «уют с незначительными средствами». Ясное лицо, живые глаза, доброжелательная улыбка и неизбывное чувство юмора. И мне сразу же захотелось видеть и слышать ее как можно чаще.

Не прошло и года, как в мой дом пришла беда: мой муж, Д. Остров, получил другую «квартиру» — сначала в Ленинграде, в «Крестах», а затем далеко — на Ангаре. Я, убитая горем, осталась одна. Нашего сына взяла к себе моя мама.

Зашла Елеиа Михайловна.

— Разделенное горе — половина горя,— сказала она и настояла, чтобы я, по возвращении с работы, приходила к ней.

Больше месяца жила я у Елены Михайловны. Сколько тепла, понимания, душевной чуткости дала она мне в эти тяжелые дни.

У Елены Михайловны была большая квартира, там жили ее мать, тетка и две дочери — Аруся и Маша.

В большой комнате над письменным столом висел портрет поэта Георгия Маслова, умершего в гражданскую войну. Значительным его произведением была поэма «Аврора». В память о ней их дочь названа Авророй.

На столе, на полочках, на подоконнике стояли цветы, зимние букетики, лежали разных окрасок сухие мхи, причудливые ветки. В квартире обитали еще сибирский кот, собака Пушок, ежик, черепаха и мои страшные враги — две белые крысы.

Позвонив в квартиру, я, сквозь полуоткрытую дверь, спрашивала:

— Я или крысы?

— Вы,— смеясь отвечала Елена Михайловна и уносила их в другую комнату. Обычно они сидели у нее на плече. Она любила людей, любила детей, любила животных и все, что создано природой.

Но личное счастье обошло ее стороной: обе дочери родились тогда, когда она была уже одна, второй брак оказался несчастливым.

Работать ей приходилось много — большая семья.

В этот период она готовила второе издание «Зимнего берега» и работала над книгой «Ревизоры». Рассказы эти были изданы в 1935 году.

Люди тянулись к ней, и было у нее множество друзей и знакомых. За ее большим круглым столом я видела Б. М. Эйхенбаума, Е. Л. Шварца, Мих. Козакова. Бывал у нее Ираклий Андроников, там изображал он Алексея Толстого, Маршака, Соллертинского.

Но горе стояло у порога. В 1937 году, в возрасте восемнадцати лет, от перитонита умерла Аруся. Мне не забыть трагический образ Елены Михайловны у гроба старшей, любимой, душевно близкой до-

чери, у гроба, покрытого бело-розовыми ветками цветущей яблони.

А в 1938 году начался ее долгий тернистый путь: арест, тюрьма, многолетняя ссылка...

Маша осталась одна. В годы блокады она похоронила бабушку и тетку. Вырвавшись из блокадного Ленинграда, закончила среднюю школу и ушла на фронт.

Долгое время Елена Михайловна ничего о ней не знала. А в августе 1946 года она обратилась к Любови Васильевне Шапориной с просьбой — помочь ей отыскать Машу.

Любовь Васильевна оказалась добрым, отзывчивым человеком, и так началась их переписка, которая длилась десять лет. Письма из Ленинграда шли в Магадан, в Барнаул, в Мамлютку, в Бийск. В своих письмах Елена Михайловна посылала Любови Васильевне свои стихи.

Я думала, старость — румяные внуки,
Семейная лампа, веселый уют.
А старость — чужие холодные руки
Небрежный кусок свысока подают.

Я думала, старость — пора урожая,
Итоги работы, трофеи борьбы,
А старость бездомна, как кошка чужая,
Бесплодна, как грудь истощенной рабы.

Она работала «на трассе» и «в тайге», в результате — «инвалид IV категории, без остаточной трудоспособности».

В одном из писем Еленв Михайловна приводит слова Эренбурга: «Высшей мерой наказания было бы бессмертие, а к нему приговорить нельзя».

Она работала на заводе.

«Осень принесла мне новые передряги: на заводе сокращена должность табельщицы, пришлось пойти в цех чернорабочей на покраску деталей. Детали железные, очень тяжелые, и ворочать их для меня прямо убийство. Старость пришла неожиданно, ну что ж, надо ее встретить „как в битве следует бойцу“».

Июнь 1948 года. Первая ночь «на материке». Ей пришлось ее провести под открытым небом.

Доверься крову теплой ночи,
Печаль и слабость затаи,
Пусть летний дождь любовно мочит
Седые волосы твои.

Спокойно вспомни все, что было,
Труды и дни, добро и зло.
И счастье,— то, что изменило,
И горе,— то, что не сломило,
И что прошло, прошло, прошло...

Мне снился вот этот задумчивый лес,
Хранимый щитом синеоких небес;

Три тысячи триста печальных ночей
Мне снился вот этот веселый ручей.

Я видела алые глазки грибов
В зеленых ресницах нетронутых мхов,
А тысячеустую птичью молву
Я, кажется, слышала и наяву:
Три тысячи триста и сколько-то дней
Я слышала голос Отчизны моей.

О значении для Елены Михайловны переписки с Любовью Васильевной: «В сущности, я нуждаюсь не в одежде, и даже не в хлебе насущном,— а в Ваших письмах. Этот голос, из недоступного далекого мира, возвращает меня к жизни, с которой я не раз всерьез готова была расстаться».

«Когда беспросветно плохо — я держусь когтями, как кошка на заборе. Стойкость у меня есть».

Поздним вечером, когда я возвращаюсь с завода и мне нужно около километра пройти по безлюдной степи, а над головой светят миллионы лазурных и аквамариновых звезд, светят неудержимо (они светили еще Цезарю и Клеопатре), а навстречу им летят голубые автогенные вспышки завода, и загораются то красными, то зелеными искрами сигналы автоблокировки, обозначая в темноте железную дорогу, и доносятся ритмические шумы поездов, смягченные ветром, тогда «смиряется души моей тревога», и я понимаю, что жизнь, великая жизнь прекрасна, что на земле неисчерпаемы запасы красоты и что наши скорби, наши муки в мировом круговороте весят не больше, чем опаленные крылья мошки, налетевшей на костер».

«Самое главное, что я еще настолько сильна, что могу работать. Труд — даже такой утомительный и трудный — спасение и отрада. Интересно видеть новых людей, знакомиться с производством».

И тут же мысли о смерти:

Железной жизни страшные вериги
Легко, как пепел, сбрасываю я...
Прощайте, ненаписанные книги,
Прощайте, незнакомые друзья.

«Новый год я встретила в Бийске, стены комнаты все блестели от инея — не было дров, не было даже достаточного куска черного хлеба. Денег — ни полкопейки, ни четверть копейки. Деньги, что прислала Маша, ушли на квартплату и на затычку долгов, и к Новому году ничего не осталось. И вдруг, за полчаса до Нового года, вошел соседский мальчишка, рыжий озорник и хулиган, мученье всего околотка,— вошел, вынул из кармана штанов страшный, перемятый пряник и сказал: „Нате, Елена Михайловна!“

И стало мне сразу и весело, и больно, и тепло, больше всего тепло. Еще раз дар опоздавшей феи!».

Чуть только отступали болезни, голод и холод, эта необыкновенная женщина снова начинает творить.

«Мои темы и образы теснят меня, берут за горло, хотят жить. К несчастью, большинство моих замыслов требуют связи с хорошим книгохранилищем.

У меня в воображении сидит со всей канвой, со всеми узорами повесть „Светлана“. Это племянница Жуковского, сестра его любви».

Все шестнадцать лет были наполнены борьбой за существование. Наконец, в ноябре 1954 года Елена Михайловна получила паспорт с небольшими ограничениями: исключались Москва и Ленинград.

И вскоре она уже в Саратове — у дочери. Помогала ей по хозяйству. Жадно слушала по радио все, что касалось литературы. Огорченная выступлением Федина, в своем докладе упоминавшего только Горького, Фадеева, Шолохова, Леонова, она писала Любови Васильевне: «А где же такая огромная творческвя сила, как Пильняк? Где проза Пастернака, где Булгаков, ранний Олеша? Неужели все это можно так просто смахнуть, как крошки со стола? Как выразился когда-то Пастернак: „О вопросах искусства я не могу говорить не последнев“.

Мне нужен хоть небольшой, но свой заработок. Не без труда уломала себя — написала Федину. Дело в том, что здешний Союз писателей мог бы помочь мне трудоустройством, если б была рекомендация от кого-нибудь из авторитетных товарищей, знавших меня по прежней работе. Но вот уже три недели Федин не отвечает. Мне больно, какой стыд и уныние я ощущаю».

«Мое последнее письмо к Вам было такое унылое. У меня месяца три тянулась беспросветная черная полоса, когда казалось, что жизнь непоправимо испорчена и нет надежды хотя бы дожить почеловечески.

Сейчас намечается некоторый переход к самостоятельности. Я дождалась ответа от Федина. Он прислал мне письмо к здешнему руководителю литорганизации. Письмо изобиловало похвалами и комплиментами моим литературным данным. После письма Федина мне стали давать рукописи на рецензию, пока штатной работы нет».

Очевидно, радости, как и беды, не приходят в одиночку: в эти же дни Елена Михайловна получила от К. И. и Н. К. Чуковских «по праву дружбы» тысячу рублей. После этих денег она получила еще три письма от Корнея Ивановича и два письма от Лидии Корнеевны. Они усиленно звали ее в Москву в связи с хлопотами по снятию судимости.

Корней Иванович несколько раз был
40 в прокуратуре. Дело отправлено в Ленинград «для перепроверки».

Елена Михайловна не очень верила в успех, но хотела видеть Чуковских, Москву и Дрезденскую галерею...

Так «20 лет спустя» восстановилась ее дружба с Корнеем Ивановичем.

Следующее письмо к Любови Васильевне было уже из Переделкина.

«По щучьему велению я очутилась под Москвой в гостях у Корнея Ивановича. Здесь хорошо, как в раю. Корней Иванович ежедневно звонит в Военную прокуратуру и бессчетно раз там был. Целый день я работаю, работаю на совесть, ведь Корней Иванович сам человек сугубо рабочий и от своих помощников требует четкости и основательности в работе. Он несколько раз в день предлагает мне сделать передышку, а вечером просто отбирает у меня книги и рукописи, но я сама увлекаюсь и тороплюсь, потому что после почти двадцатилетней паузы дорвалась до литературного дела, по которому я так изголодалась. Тороплюсь, потому что у меня нет особой уверенности, что я надолго здесь останусь».

Елена Михайловна появилась в доме Корнея Ивановича в тяжелое для его семьи время: прошло всего несколько месяцев после смерти Марии Борисовны, жены Корнея Ивановича. Она участвовала не только в подготовке нового издания сочинений Слепцова и новой книги воспоминаний о Репине (ей пришлось работать над подлинными письмами художника, которые были «совсем не в идеальном порядке»), но и, с присущей ей энергией, принимала участие в решении некоторых бытовых проблем.

Она писала Любови Васильевне: «Корней Иванович говорит, что я сделала большую работу и очень ему помогла. Я думаю, что еще больше помог он *мне* тем, что привлек меня к работе. Благодаря ему я вернулась в тот творческий мир, вне которого моя жизнь была бессмысленна, себе и людям в тягость.

В Переделкине хорошо, то есть тихо, зелено, основательно, но сколько подводных драм под этой тихой поверхностью!

Я очень поправилась, отдохнула. Месяц в Переделкине прошел, как светлый сон. На мой закат печальный блеснул луч такой прекрасной светлой дружбы. Сколько внимания, теплоты и заботы израсходовал на меня Корней Иванович. Здесь я надышалась таким творческим воздухом, насмотрелась на такую неутомимую художественную и исследовательскую работу, даже приняла в ней некоторое участие. Горько мне теперь возвращаться в Саратов к очередям и кастрюлям».

«Весьма возможно, что в январе — феврале у меня уже будет человеческий паспорт, а с ним и возможность прописаться под Москвой, получить надежную работу и зажить самостоятельно.

Вот оно и высказано — самое главное, самое нужное слово: „самостоятельность!“. Горек чужой хлеб и высоки сту-

пени чужого крыльца, даже если это крыльцо ведет в такой приятный, культурный, литературный дом, в котором я сейчас нахожусь. Вы знаете по жизненному опыту, что в каждом доме только снаружи все гладко, а если приподнять занавес... Поэтому лучше никуда не заглядывать, идти по поверхности. Но этого я не умею. Я — друг моих друзей. Если и люблю и жалею, то стараюсь помочь; если я вижу страдание, то подставляю свою голову, чтоб страдать, по крайней мере, вместе. Что из этого получается? — Клубок недоразумений...

Помимо счастья возвращения, помимо ласки и привета друзей, я привезла с собой блаженную иллюзию, что я нашла свое место в жизни, свой куток на земле. То есть *то*, чего мне не хватало всю жизнь, почти всю жизнь. С тех пор, как ушла из отцовского дома в 1916 году, я скитаюсь, скитаюсь, скитаюсь...

Первый месяц в Переделкине был как светлый сон. Но теперь ситуация изменилась. Восстала родня.

Я приняла решение уехать в Ленинград. Жизнь прошла. „А за что вы, черны вóроны, очи выклевали мне?!“».

В конце 1956 года Елена Михайловна вернулась в Ленинград. Она была восстановлена в Союзе писателей. Ей предоставили небольшую комнату на Гаванской улице Васильевского острова.

Постепенно, общими усилиями друзей, комната приняла жилой вид. На маленьком столике, который считался письменным, снова появились фотографии, книги, еловые ветки. Вызвали ее на улицу Воинова, выдали компенсацию за конфискованную квартиру и имущество наличными деньгами. Но положить деньги было не во что — не было сумочки — пришлось засунуть их в чулок.

Так пошла она на почту и сделала денежный перевод в Саратов Маше с просьбой купить *себе* черно-бурую лису, о которой дочь давно мечтала.

Весной 1957 года вышел из печати сборник рассказов «Зимний берег» (третье, дополненное издание), и я получила книгу с дарственной надписью: «В знак неувядаемой близости и любви».

Телефона в квартире не было, поэтому Елена Михайловна назначила «день открытых дверей» — вторник, для всех, кто захочет ее навестить. Собиралось несколько человек, среди них — милая молодая женщина Ада Павловна — Аля, школьная подруга покойной Аруси, которая через многие годы пронесла о ней память и нежную привязанность к Елене Михайловне.

Долгие годы страданий не озлобили Елену Михайловну. Она была уравновешенна, как и прежде доброжелательна и остроумна. «Вторники» стали маленькими литературными вечерами. Подвигалась давно задуманная повесть «Светлана». Читались готовые главы, стихи свои и чужие, любимый Блок, Тютчев, Ахматова.

Единственная вспышка раздражения — это стихотворение «Двадцать лет спустя», написанное по поводу отказа Литфонда в материальной помощи кому-то из реабилитированных. Говорили, что кто-то из писателей сказал: «Хватит с нас возни с реабилитированными».

Ну, правильно! Хватит с вас этой возни,
Да хватит и с нас, терпеливых,
И ваших плакатов фальшивой мазни,
И книжек типически лживых.

Не выручил случай, и бог нас не спас
От мук незаслуженной кары...
А вы безмятежно делили без нас
Квартиры, листаж, гонорары.

Мы слышали ваш благодушный смешок,
Амнистии мы не просили.
Мы павших товарищей клали в мешок
И молча под сопки носили.

Задача для вас оказалась легка,
Дождались условного знака —
Добить Мандельштама, предать Пильняка
И слопать живьем Пастернака.

Но вам, подписавшим кровавый контракт,
В веках не дано отразиться.
А мы уцелели. Мы живы. Мы — факт.
Вам с нами придется возиться.

Однажды, в один из вторников, я приехала к Елене Михайловне ранее условленного часа. Мне хотелось побыть с ней вдвоем.

Бледная, она лежала в постели.

— Что с вами? Вы заболели, нужно вызвать врача?

— Врача не надо. Было плохо с сердцем. Но уже лучше.

— Что-нибудь случилось?

— Да. Случилось, но не плохое, а хорошее. А сердце и на хорошее реагирует.

— Но что же?

— Сонечка, подойдите к моему столу. Увидите письмо, почерк вам знаком. Можете прочесть.

Я читала это письмо около тридцати лет тому назад, но помню его содержание. Это было хорошее дружеское письмо от Корнея Ивановича. Он писал, что только недавно понял причину, заставившую Елену Михайловну уехать.

Писал, что в итоге жизни вспоминает все хорошее, что ему довелось свершить, и все плохое и считает, что самым плохим его поступком было то, что он позволил ей так уйти из его дома.

Елена Михайловна поправилась и прислала мне рукопись с указанием что и как печатать. В письме был такой «веселый» P. S.:

«После наводнения меня еще морили удушливыми газами. (Сжигали какое-то едко-горючее вещество под самым моим окном и наполнили всю квартиру неслыханным чадом.) А теперь нахожусь в ежеминутном ожидании взрыва, т. к. под трансформаторную будку (в первом этаже) подводят какую-то траншею и в ней разводят костер. Если взорвусь — не поминайте лихом».

Вскоре был выстроен прекрасный дом для писателей на улице Ленина, Елена Михайловна получила там двухкомнатную квартиру и забрала к себе из Саратова свою внучку — школьницу Наташу. Быт ее несколько наладился, хотя забот прибавилось.

Тяжело пережила Елена Михайловна смерть Б. Л. Пастернака. Полубольная, она поехала в Москву на похороны. По приезде появилось стихотворение:

ПОХОРОНЫ

Ты значил все в моей судьбе,
Потом пришла война, разруха.
Б. П.

Вечерний луч, как добрый шеф,
Стоял бессменно над поэтом,
И, ангельски похорошев,
Светился лик нездешним светом.

И гроб, подъятый на руках,
Высóко плыл над головами,
Он был — как месяц в облаках
И как развернутое знамя.

Меж тысяч спин, меж тысяч плеч
Я не пробралась, не пробилась
И в чаянье посмертных встреч
К его руке не приложилась.

По пыльной, по крутой тропе
Я шла, едва переступая;
Я молча шла в немой толпе,
Цветы увядшие роняя.

Я не невеста, не вдова,
Я просто слушатель, читатель.
Я та, кого он вел и звал,
Кому доверился, мечтатель.

И в сумрак одиноких лет,
Труды в поиски несущий,
Беру с собой: нездешний свет
И алый луч, над гробом сущий.

«Вторники» продолжались, вскоре появился и телефон. Деньги таяли. Наступила зима, а Елена Михайловна по-прежнему ездила на Смоленское кладбище в осеннем пальто. Я привезла ей свое зимнее. Видимо, в знак признательности, я получила от нее чудесную фотографию с надписью: «Дорогой Сонечке — верному другу 30-х годов, милой подруге остатка жизни. Ел. Тагер. 1961 г.».

Последующие годы я виделась с Еленой Михайловной реже — на четыре месяца я уезжала с геологами в экспедицию.

29 апреля 1964 года я получила от нее открытку: «Солнышко, Сонечка! Примите мой первомайский привет, а о пожеланиях и говорить нечего — ясно без слов. Едете ли Вы в экспедицию и когда? Надо повидаться до отъезда. Возвращаюсь в Л-д 12/V и жду Вас начиная с 15/V и до бесконечности. Будьте здоровы, моя дорогая. Храните Ваш чудесный юмор,— он Вам поможет жить. Крепко целую. Ваша Ел. Тагер».

Не могу вспомнить, забегала ли я к Елене Михайловне до отъезда, а когда вернулась — ее уже не было... Она умерла 14 июля. Одна. Двери пришлось взламывать...

Наши общие друзья сохранили для меня текст полученной Союзом писателей телеграммы:

«Скорблю о преждевременной смерти Елены Михайловны Тагер. Живой укоризной встает перед нами обаятельный образ этой благородной и талантливой страдалицы.

Корней Чуковский».

Память

Валентин КУРБАТОВ

ЖИЗНЬ ЕДИНАЯ

«Чем у человека больше размах в жизни и работе, тем больше огорчений и потрясений, тяжелых моментов и переживаний, перенести которые могут люди только с крепкой психикой»,— так писал своей жене сорок лет назад замечательный архитектор, реставратор, художник и исследователь псковского строительного средневековья Юрий Павлович Спегальский. Сейчас из двух вышедших книг О. К. Аршакуни о покойном муже («Предчувствие» и «На-



Ю. П. Спегальский

родное зодчество Пскова») мы узнали, что он писал это только в середине всех выпавших на его долю «потрясений и переживаний».

Теперь в Пскове его именем названа улица, в квартире открыт музей, но сказать о благополучии судьбы художника — значит поощрить неправду. «Крепкая психика» нужна была ему до конца. Потом она стала необходима его жене, чтобы огромная и неоценимая работа исследователя, его напечатанное только в самой малой части наследие было сохранено, опубликовано и могло работать на пользу русской реставрационной науке.

Я не для синонимического разнообразия использую разные понятия — реставратор, художник, исследователь,— а только чтобы возможно полнее сказать об этом неисчерпаемом человеке, который был еще и хорошим каменщиком, керамистом, плотником, печником, живописцем. Судьба словно так и готовила его в реставраторы, где все эти умения сходятся для наиболее полного и живого применения. Тут было именно избрание судьбы, отмеченность, когда будущее занятие написано на роду. Мальчиком он уже собирал обломки изразцов, рисовал и берег их с такой привязанностью, что когда отчим в досаде и ожесточении разбил один из них, мальчик ушел из дому. Не по-детски, на полчаса, с перегорающей обидой ребенка, а твердо, как уходят призванные, и с тринадцати лет не принимал домашней материальной помощи. При этом историческое его знание было столь обстоятельно, что сохранившаяся в музее школьная справка без улыбки именует шестнадцатилетнего мальчика «крупным работником.., проявившим недюжинные архитектурные способности».

Он учился в Ленинграде, в Институте коммунального строительства (теперешнем ЛИСИ) с постоянной памятью о Пскове, торопя свое профессиональное возвращение, и каждые каникулы мчался туда, не уставая дивиться богатству родной земли. «Большой псковский рынок, деревянная или копная ярмарка — зрелище, которое для меня в тысячу раз сильнее лучшей картины Рериха... Расписная посуда, сундуки, кафтаны, попоны, рукавицы, пояски... целый ходячий музей!». Только, похоже, он видел это один. Загляните сейчас в псковский музей — ни сундуков, ни кафтанов — словно это было тысячелетие назад и вот не уберeглось в движении столетий. Дело не в военных — невосполнимых! — утратах. Тут другое. Нужно было его зоркое сердце и умение слышать необратимость времени, чтобы увидеть и оценить обычный тогда рыночный товар, как голос предания. В музее, куда он сдал с детства складываемую коллекцию печных изразцов XVII века, он мог с печалью видеть, что они выкинуты на свалку — культура еще выражалась для простодушных музейных кадров новой формации в вещах более нарядных, чем попоны и обломки изразцов.

Он предчувствовал наступающее беспамятство и торопился домой, где еще у любого старого псковского дома, «даже не копаясь, можно было чувствовать следы веков, прошедших здесь тихо и неторопливо, где каждая пылинка, оторвавшаяся от штукатурки, лежала никем не тронутая, не затоптанная». Он успел после института восстановить Гремячую башню, существенную часть Вторых меншиковских палат и закрепить многие аварийные памятники. Война застала его в Ленинграде, где он и пережил всю блокаду.

Воспоминания Аршакуни об этих днях мучительны и тяжелы, потому что и она перемогала беду здесь, изведав и до встречи с Юрием Павловичем и потом вместе с ним всю горькую непосильность блокадных месяцев. Он по необходимости стал верхолазом, сначала пряча, маскируя от врага, а потом исследуя и готовя к воскрешению Исаакий и Казанский собор, Смольный и Петропавловку. За этой сложной и опасной работой он, вероятно, не раз вспоминал, как мальчиком забирался на шпиль колокольни Снетогорского монастыря, чтобы наглядеться на прекрасный родной город, вошедший тогда в его сердце с неотменимой окончательностью. Это допущение тем естественнее, что в голод и холод блокадных дней художник сделал цикл цветных карандашных рисунков «По Пскову XVII века» (карандашных — потому что акварель в нетопленой квартире замерзала). Цикл уподобляли потом васнецовской московской серии. Только у Спегальского первенствовала не живопись, а предельно верное чутье архитектора, успевшего понять организм родных, навек утраченных построек не только умозрением, но памятью руки, трудом каменщика, делавшего теми же инструментами ту же работу на той же земле. Город жил в листах счастливо, мирно, покойно, в целости и богатстве своей обыденной жизни — бежали мальчишки, степенно встречались «мужи-псковичи», чудские ладьи шли в Рыбники при хороших парусах, девушки с гульбищ высматривали знакомых парней... В самом покое цикла была не кичащаяся собою сила и святая уверенность в победе родного народа. Тогда же, в 1943 году, была нарисована «Азбука, посвященная древней псковской архитектуре», где белели апсиды, высились башни, золотились яблоки крестов, словно и не было в этот час на родной земле врага и разора.

Он торопил освобождение Пскова и с первой возможностью выехал туда, чтобы обмерить, описать, оберечь то, что еще оставалось в городе живого после немецкого пленения. В воспоминаниях Аршакуни есть замечательный эпизод, когда художник день за днем ищет в прахе и пепле разбитой Пароменской церкви «золотого» голубя, сидевшего некогда на кресте этого храма (как сидит он на кресте новгородской Софии), словно от того, что он найдет этот символ святого духа, Псков скорее воскреснет в прежней полноте и силе. И ведь нашел! И как был счастлив, когда голубь засверкал в его руках, как ободрение и надежда!

Проектно-реставрационная мастерская тогда в сущности только звалась мастерской — рабочих в 1946 году было всего двое, но Спегальский работал без передышки, торопясь зафиксировать обнаженные войной памятники, вычитать план прежних застроек и предложить принципиально новый проект архитектурных заповедников с сохранением пространственно-планировочной структуры XVII века. Однако идеи, которые впоследствии восторжествовали в Праге и Варшаве, когда восстанавливалось все до камня и торжествовали благодарность и память, показались дики тогдашним вершителям архитектурных судеб города, и прозвучало страшное предложение уничтожить все руины старых памятников, оставив несколько «для колорита». Это тяжело сейчас читать: «Идея Ю. П. Спегальского не нашла поддержки: „Спегальский хочет вернуть Псков в семнадцатый век, а мы хотим сделать его социалистическим“».

Такое красноречие было небезобидным. Проект отклонили, даже по-настоящему не обсудив, просто убрали с глаз долой,



Ю. П. Спегальский. Дом Печенко. Реконструкция

и мне не кажется преувеличением предположение Аршакуни, что им пользовались потом только для того, «чтобы новые многоэтажные здания ставить как раз поперек тех улиц, которые были намечены проектом Спегальского к сохранению». Сейчас довольно поглядеть, в каком унижении находится одна из лучших псковских церквей, Сергия с Залужья, загнанная во двор огромного, просто отменившего ее дома, или как раскинулся жилой дом псковского руководства, поставленный несколько лет назад вопреки несчетным протестам реставраторов прямо в сердце средневекового города.

Спегальскому предстояло снова двадцать лет быть оторванным от желанного дела и дома, работая то в ленинградском филиале Академии архитектуры, то в отделении Института археологии, а по вечерам еще и каменщиком, чтобы рука не расслаблялась. Но в том-то и драматизм и величие предназначения, что вся лучшая, дорогая сердцу работа этих лет устремлена у него все туда же, к тому же Пскову — так стрелку компаса только изломать, но не заставить переменить направление. И опять каждый свободный час он обмеряет в Пскове Снетогорский и Крыпецкий монастыри, подвалы домов Ямского и Подзноевых. В эти годы он выпускает монографию «Псковские каменные жилые здания XVII века», вокруг которой споры не только не утихают по сей день, но по-настоящему еще предстоят. Гипотеза Спегальского о деревянных жилых этажах на зданиях, которые всегда полагались только каменными, существенна не для одного Пскова, но для всего средневекового русского зодчества. И хоть реставраторы настойчиво отрицают существование следов таких этажей, но все-таки и не решаются категорически отказаться от предположения ученого, потому что оно обосновано с такой убедительной глубиной и неотменимыми свидетельствами обмеров самого ученого, заставшего памятники в более живом виде,



Ю. П. Спегальский. Проект реставрации церкви Николы с Усохи

что все возражения слабее и оглядчивее доказательств первооткрывателя.

А был еще в эти годы путеводитель, который странно и называть так, настолько он был целен, настолько ясно излагал и обосновывал историю псковской архитектуры. Не зря историк, лауреат Ленинской премии Н. И. Воронин писал тогда Спегальскому: «Ваша книга — большое событие... Для меня она была подлинным открытаем Пскова». Воронин отмечал и драгоценность реконструкций, иллюстрирующих книгу. Сейчас можно убедиться в ценности этих реконструкций и всего прежде помянутого мной материала (блокадные рисунки, азбука, обоснование архитектурных заповедников) по книге Аршакуни «Народное зодчество Пскова». Там легко увидеть и как выговаривается тоска ученого по родному миру даже в простых бытовых предметах, окружающих его дома.

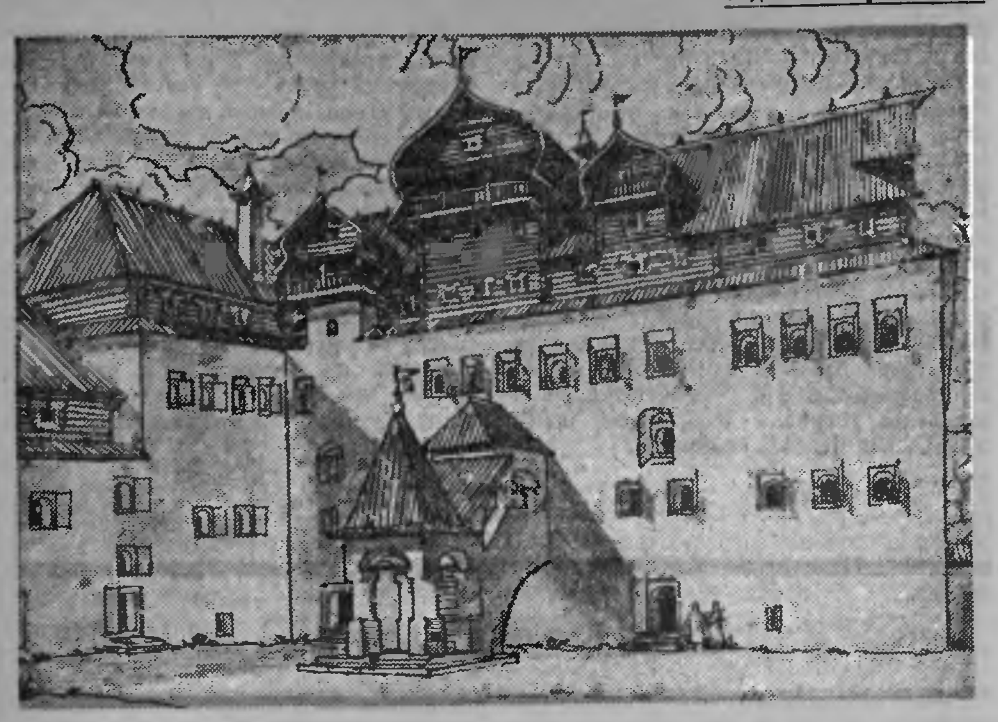
Он не только воспроизводит цветовые разработки изразцовых печей — он одну из них строит в своей ленинградской квартире, и она дивит гостей чудом рисунка и цвета. Он расписывает столешницу сюжетами русского древнего гостеприимства, узорочьем славянских текстов, славящих хозяйку, достаток и честь дома. Владея топором с мастерством самолучшего плотника, он вырубает и расписывает домашние «паникадила» — и гуляют в рисунках Милитрисы и Гвидоны, Анастасии Вахрамеевны и Еруcланы Лазаревичи, и бежит по дереву неизменно старое слово: «Паникадило телесное освещает едину храмину, а душевный светильник освещает дом весь и согревает во нощи и во дни живущих в нем и приходящих, аки солнце красно». Художник утоляет печаль, вырезая пряничные доски с веселыми псковичами, украшая росписями сундуки и шкапы, посуду и коробьи, а чаще всего расписывая большие занавеси на окна или в «опочивальню», чтобы и сны были о том же: «...а мне бы снилось приволье былое, земля родная Псковская, Пскова-река, по камешкам журчащая, старинный дом, тихий наш старый сад, снились бы старые друзья, каменщики псковские да каменная работа».

И в письмах «старым друзьям» в Псков он торопится удержать все до малости и напоминает былое как из дальней невозвратной дали: «Что сталось хотя бы с нашим обширным двором, таким чистым и зеленым, что в любом месте можно было пасть на землю и хоть целовать ее» и перечисляет, перечисляет всякий куст и всякий камень, чтобы потом с печалью свидетельствовать, что «этих чудесных мест нет — они заменены грязной, истоптанной ногами землей, будто тут все выжгли...».

Видел ли он в свои приезды, что город реставрируется? Конечно! И радовался каждому прибавлению, но он видел и гибельность частной (без памяти о целом) реставрации: «Стоит церковь с восстановленными в первоначальном виде формами крыш и проч. Тут бы и любоваться ею, но... это невозможно! Она торчит на каком-то островке, а вокруг ее окружают асфальтовые площади, многоэтажные дома. Вид у нее никчемный, нелепый. Все равно как если бы посадили в современном учреждении служащего, одев его в лапти, онучи, рубаху с ластовицами и валяную шляпу — гречовник. А вокруг — пишбарышни, машинки, телефоны... А мужик сидит с рукавицами и кнутом за поясом...».

Не это ли мучает нас сейчас в реставрации не одного Пскова, но Новгорода, Вологды, Ярославля, той же Москвы (вспомнить одну несчастную церковь Симеона Столпника на Калининском проспекте, лишенную крестов, смысла и последней памяти об умиравшем здесь Гоголе)?

Во всем: от письма (а письма его драгоценны речью, игровой культурой, умением видеть мир глазами человека XVII века) или домашнего рукоделия до обстоятельного исследования — он был сыном псковской земли, того родового, целостного, прапамятного чувствования, о котором мы теперь только догадываемся, но почти не встречаем в реальности. Школой тут не возьмешь — это живет во всем составе плоти и духа. Мы теперь часто клянемся в любви к Отечеству и много говорим о наследовании и памяти, но отчего-то в этом мерещится нередко оттенок интеллектуального самодовольства, и как-то очень видно, что мы любим



Ю. П. Спегальский. Поганкины палаты. Реконструкция

родное с беллетристической отвлеченностью, словно издалека. И узнавать сейчас в Спегальском такую фанатическую сродность, такую коренную неотделимость от родового места — великий урок и духовная поддержка. Я не могу вразумительно объяснить своего чувства, но мне видится в этом примере здоровая надежда на то, что дух единства еще вполне жив и в нас и с такими учителями окрепнет и мы еще способны будем вернуться к целостному пониманию мира.

Он и в себе как будто спешил досмотреть все возможности и что возможно воссоединить — в настоящем даре всегда острее других иссушающая тревога ответственности перед полнотой духа и мира: «Изразцы, печи, киоты, интерьеры псковских палат, книги о псковских каменщиках, о древнем русском жилище, виды древнего Пскова, картины его жизни — все это требует — сделай, сделай меня скорее, неужели ты так уйдешь, не породив нас, не дав нам жизни? И я чувствую: не сделать что-либо из этого — предательство с моей стороны по отношению к тому, что я любил. И сижу. Но такой темп исполнения моих замыслов!.. Чтобы сделать все — нужны десятилетия!..».

Этих десятилетий у него не было. И как он был рад, что наконец родной город пригласил его! В ожидании окончательного решения он делает еще одну роспись — Аршакуни справедливо зовет ее текст молитвой: «...Дай мне хоть единый раз, открыв окно, узрети за ним стародавний Псков и мужей пскович, и жен псковитянок, и избы, и полаты славного города...». Он увидел все это, но проработал в Пскове только сто пятьдесят дней. Изношенное, долго отлучаемое от единственного дела, к которому было призвано, сердце не выдержало, и 17 января 1969 года после первого производственного собрания в реставрационной мастерской Спегальский скончался.

Что же теперь? Боязно думать, что все ограничится музеем, благодарностью О. К. Аршакуни за подлинно подвижнический труд подготовки и издания основных работ исследователя, и жизнь ученого и архитектора отойдет в предание. Сохрани Бог! Даже если это предание будет очень почетным, оно будет только последним предательством по отношению к этому большому русскому человеку и художнику. Наш философ Н. Ф. Федоров замечательно верно писал, что музей разумен только тогда, когда его материалы становятся предметом исследования и когда в дальнейшем «исследование сделается совокупным самоисследованием и таким образом приведет к тому, что за смертью воскрешение будет следовать непосредственно».

В нашем случае воскрешение будет затруднено, потому что речь идет не о произведениях живописи или прикладного искусства, а о более синтетическом искусстве. Кстати будет вспомнить Поля Валери, верно считавшего, что «живопись и скульптура — брошенные дети. У них умерла мать — мать их Архитектура. Пока она жила, она указывала им место,

назначение, пределы. Пока она жила, они знали, чего хотят». Для Спегальского эта великая мать искусств была жива и естественно влекла за собой для него и живопись, и прикладное искусство, и прекрасно ощущаемое слово — как единое живое тело культуры. Сегодня есть достаточно частных специалистов, тонко понимающих какую-нибудь одну область знания, одну ветвь нашего наследия. И они прекрасно справляются с этими частностями, но Спегальский справедливо говорил об «утрате способности воспринимать красоту». Красота — понятие единое, многообъемлющее и перспективно-созидательное только в том случае, когда именно как целое и сознается.

Наследие художника драгоценно именно как прекрасный пример синтеза, как «открытый урок», где все на виду, где каждое слово, каждый предмет и каждая линия доверчиво явлены всякому, кто пожелает понять и услышать. Оно — все в будущем, и лучшим выражением нашего понимания ценности сделанного ученым будет живое усвоение его здоровых заветов любви, внимания, бережности к родимому дому и благодарное воплощение и спасение того, что еще можно спасти для русской истории, для нашей сыновней по отношению к прошлому жизни, для ищущей исцеления целостной, духовно непрерывной русской культуры.

Письма из прошлого

Д. ДОСТОЕВСКИЙ

«СОЛНЦЕ МОЕЙ ЖИЗНИ»

1988 год был годом семидесятилетия со дня смерти Анны Григорьевны Достоевской, жены, помощницы и друга писателя. Четырнадцать лет жизни рядом с Достоевским и тридцать семь — посвященных его памяти — таково неумолимое соотношение реальности времени для Анны Григорьевны. Я расскажу о том, что связано с этим вторым, бо́льшим периодом ее жизни, основываясь на некоторых материалах Пушкинского дома, в частности на ее письмах к взрослым детям.

Родившаяся в 1846 году, в год блистательного начала литературной карьеры Достоевского, она вошла в его жизнь в критический момент писательской деятельности, сразу сделавшись незаменимым помощником в работе, его «ангелом-хранителем». После смерти писателя Анна Григорьевна стала деятельнейшим популяризатором произведений своего мужа и свидетелем его растущей мировой известности. По точному определению Леонида Гроссмана, ее жизнь — «образец того трудного и редкого явлении, которое зовется деятельной любовью». В беседе с Гроссманом Анна Григорьевна рассказала о визите к ней молодого композитора Прокофьева за неделю до того. Часть записи, сделанной Анной Григорьевной в альбом композитора, я вынес в заголовок своего сообщения. Эта запись названа Гроссманом «глубокой жизненной правдой», и я бы хотел остановиться на истории этой записи подробнее.

Еще до окончания консерватории Прокофьев заставил говорить о себе. Уже первое его сочинение было новаторским, ломавшим каноны музыки, но настоящий взрыв эмоций вызвало исполнение в 1916 году «Скифской сюиты», особенно ее последней части — «Шествие Солнца». После исполнения сюиты Прокофьев завел альбом и с ним наносил визиты музыкантам, поддерживавшим его или сочувственно относившимся к его музыке. В это же время Прокофьевым сочинялась новая опера «Игрок». Композитор и здесь уходит от канонов, решив использовать оригинальный текст Достоевского, то есть не писать музыкальным квадратом на рифмованное четверостишие. В опере он занялся поисками «сильного языка». Поиски были настолько «сильные», что даже его мать однажды воскликнула: «Да отдаешь ли ты себе отчет, что́ выколачиваешь на своем рояле!». И два дня с ним не разговаривала. Опера была принята к постановке Мариинским театром. Вскоре солисты стали высказывать недовольство отсутствием напевности и длительными паузами. Репетиции шли тяжело. Затем отказался режиссер Боголюбов, и за дело взялся сторонник композитора Мейерхольд, но наступил февраль 1917 года, и опера была снята, а театр закрыт. В запарке или по молодости Прокофьев не обратился за разрешением к семье Достоевского, и она вынуждена была заявить протест. В архиве Пушкинского дома

имеется письмо-разрешение Ф. Ф. Достоевского, которому к этому времени Анна Григорьевна передала авторские права. Молодой композитор с честью вышел из щекотливого положения, нанеся визит Анне Григорьевне и передав ей партитуру оперы с дарственной надписью. Захватил он и альбом.

Дородная старушка в темном платье, по-старомодному в наколке на гладко причесанных седых, собранных в кичку волосах, подошла к столику, где лежал заранее открытый на чистой странице альбом, и опустилась в кресло. Предупрежденная Прокофьевым о том, что в альбом можно писать только на тему о солнце, Анна Григорьевна задумалась, затем, низко склонившись над альбомом, вывела своим все еще твердым разборчивым почерком: «Солнце моей жизни — Федор Достоевский» и написала дату: 6 января 1917 г. Поставив точку, она помедлила и, сняв пенсне, тяжело встала. Лицо ее преобразилось, на нем, вопреки неумолимым чертам старости, отразились гордость и торжественность, а совсем еще молодые глаза ее горели счастьем и энергией. Такой Анна Григорьевна снята за несколько недель до той встречи в московском Музее памяти Ф. М. Достоевского. Это же выражение отметил и Гроссман, беседуя с ней. Даже незнакомый попутчик, ехавший с Анной Григорьевной из Москвы и помогший ей внести два огромных чемодана в переполненный поезд, отмечает, как загорелись ее глаза и преобразилось лицо, когда в дорожной беседе он отгадал, кто она, и задал вопрос, задававшийся всеми, кто с ней встречался: «Какой человек был Достоевский?». И она отвечала и этому попутчику, и Прокофьеву, и Гроссману так же, как когда-то Толстому: «Это был самый добрый, самый нежный, самый умный и великодушный человек, каких я когда-либо знала».

Анна Григорьевна весьма внимательно следила за всеми публикациями произведений Достоевского и попытками постановок их на сцене. Еще при жизни писателя она могла убедиться, что популярность его произведений вызывает попытки дельцов издавать их или использовать его имя в обход авторских прав. Была одна исто́рия, о коей поведала Анна Григорьевна критику Эттингеру в 1906 году: «Однажды получила по почте брошюру, своим внешним видом совершенно напоминавшую „Дневник писателя“, оказалось, что это... подделка, издававшаяся в Одессе и находившая себе большой сбыт благодаря полному внешнему сходству. Аналогичный случай был и в Рязани». С самим Эттингером случился некоторый казус, когда он за шестнадцать лет до этого интервью обратился к сонаследнице — Любови Федоровне — за разрешением на переделку романа «Идиот» в комедию для сцены и получил устное разрешение, но от Анны Григорьевны, видимо, последовал решительный отказ, так как Любовь Федоровна в ответ на письмо матери по этому поводу пишет: «Твои подозрения мне очень обидны, и я проплакала всю ночь».

Анна Григорьевна очень надеялась, что дети будут помогать в ее деятельности. Она говорила: «Еще при жизни Достоевского я начала собирать все его рукописи, все газеты, где помещались его статьи или статьи о нем. Вначале я собирала исключительно для моих детей, мне хотелось, чтобы они имели все то, что связано с памятью об их отце», но вскоре ей пришлось убедиться, что у детей свои интересы. Федор Федорович увлекся лошадьми, а Любовь Федоровна сама начала писать и обратилась к матери за помощью в издании своих книг. Только после похорон матери Федор Федорович едет из Ялты в Москву в надежде заняться изданием книг и работой над рукописями, так как авторские права заканчивались в 1932 году, но вскоре сам умирает. Любовь Федоровна с 1913 года живет за границей и после смерти матери выпускает весьма тенденциозную книжку о своем отце. В этой книжке она пишет: «Моя мать всю жизнь говорила о своем муже как об идеальном человеке и, став вдовой, воспитывала своих детей в культе отца». Если этот культ давал возможность Анне Григорьевне всю жизнь неустанно и энергично пропагандировать произведения Достоевского, то в дочери он вызывал раздражение, а порой и надлом, приводивший ее к потере реальности жизни вплоть до попытки самоубийства.

Трепетное отношение Анны Григорьевны ко всему, что принадлежало ее мужу, иногда приводило и к печальным утратам: давний друг семьи священник из Старой Руссы отец Иоанн (И. И. Румянцев), бравший иногда строительные подряды, в своем письме мягко упрекает ее за то, что она не дает согласия ремонтировать венец на том основании, что к этим бревнам прикасался Федор Михайлович, и в конце концов дачка заваливается, так что приходится строить новый дом. Весной 1892 года Любовь Федоровна сообщает матери из Старой Руссы, что из-за половодья подмокли сундуки, стоявшие внизу, и она собственноручно выбросила превратившийся в труху чемодан с некоторыми вещами Федора Михайловича и часть писем. Но многие рукописи и письма Достоевского все-таки дошли до нас — благодаря Анне Григорьевне. Она не только старалась сохранить, но и собирала его письма по всей России; не только сохранила и собрала, но и создала рукотворный памятник к двадцатипятилетию со дня смерти писателя — уникаль-

ный «Библиографический справочник-указатель».

Тарле, получив в дар экземпляр указателя, пишет в ответ: «Это памятник не только великому человеку, но и любви, которой он был окружен с Вашей стороны». Любовь превратила молоденькую девушку с новеньким портфелем, впервые переступившую порог дома уже известного тогда писателя, в счастливую женщину, деятельного помощника в его работе и неутомимого борца за его благополучие. При этом Анна Григорьевна нисколько не подлаживалась к тяжелому характеру мужа, оставаясь сама собою. Эта независимость, правильно взятая ею с первого дня их встречи, была оценена Достоевским, и вскоре он уже не мог представить себя без «милой Анечки». «Она за ним, как нянюшка, как самая заботливая мать ходила,— вспоминает Стоюнина,— бывало, соберет его, перед уходом куда, Анна Григорьевна хлопочет это возле него, всё ему подаст, наконец, уйдет. Вдруг сильный звонок (драматический). Открывает: „Анна Григорьевна! Платок, носовой платок забыла дать!“. Все трагедия, все трагедия из всего у них. Ну, она мечется, пока все ему не сделает. Она была полной его противоположностью, веселая такая, чуть, бывало, на улицу выйдет — уж целый короб новостей и ворох смеху принесет. Хохотушкой она долго была». На все сложности взаимоотношений у нее было безотказное средство — обезоруживающий смех.

Всю жизнь непритязательная и скромная, Анна Григорьевна, однако, сознавала свое положение. Она пишет дочери из-за границы: «Хозяин гостиницы, узнав от своей литературной жены, что я вдова знаменитого литератора, называет меня „мадам Толстой“. Я не протестую. Хотел меня познакомить с каким-то английским литератором, но я не захотела знакомиться с подобными сошками, а с Шекспиром он познакомить меня не мог». Через десять лет на бестактный вопрос газетчика, почему она второй раз не вышла замуж, Анна Григорьевна со свойственным ей в таких случаях юмором ответила: «Да за кого можно идти после Достоевского? — разве за Толстого!». Первая ее встреча со Львом Николаевичем произошла в счастливые для нее дни 1889 года, когда было принято решение выделить ей помещение в Историческом музее для организации Музея памяти Ф. М. Достоевского (так она решила его назвать). Она пишет из Москвы сыну: «Благодарю тебя, мой милый Федичка, за твое письмо. Так и быть, утешу вас, возвращусь домой, хоть здесь мне и хорошо. Подумать, что вот уже пять дней как я ни разу не сердилась. У меня по ночам на столе мыши хозяйничали и грызли баранки, да и то не рассердили меня. Мне для коллекции отвели целую башню, и я теперь очень занята мыслью, как мне получше и художественнее расставить и разместить все собранное. В четверг была у Толстых, и граф Лев Николаевич, хоть и болен, а захотел меня видеть. Был ко мне донельзя добр и нежен, и совсем меня обворожил. Все эти дни я аккуратно ходила к обедне, вечерами к всенощной, а в промежутках бывала в Музее». Анна Григорьевна имела возможность и вторично увидеть Льва Толстого. Она пишет в 1901 году из Ялты: «Съездила в Дюльберг. Прелестное местечко. Была в ста саженях от дома Паниной, где живут Толстые, но к ним не зашла, и вот почему: г-жа Фортунато, узнав, что я знакома с Толстой, начала меня упрашивать, чтоб я ее взяла и представила им. Тогда я объявила, что совсем не поеду». Видимо, Анна Григорьевна взяла за принцип не делить ни с кем посещений знаменитых писателей (к ней с тем же обращалась ее сокурсница, когда она собиралась впервые к Достоевскому), но в этом же письме приводит и серьезную причину: «Мне передавали, что недавно Чехов ездил к Толстому и говорит, что тот очень бодр духом, но телом слаб и больше лежит». Видеть второй раз больного Толстого ей было, наверное, тяжело.

Почти каждый год Анна Григорьевна выезжала за границу на воды. К этому она добавляла и обязательное путешествие по новым для нее городам и странам Европы и всегда начинала свое знакомство с ними с посещения книжных магазинов, чтобы узнать, какие произведения Достоевского и кем были изданы. Возвращалась она в Россию с громадным багажом купленных книг, безделушек, до которых была большая охотница, и подарков для детей — «лошадиных» для Феди и аристократических для Любы. На обратном пути она неизменно наведывалась в Дрезден, где заходила в свою любимую галерею и предавалась воспоминаниям. «Если бы только ты знала,— пишет Анна Григорьевна дочери,— как я была счастлива. Я обошла все улицы и переулки, где когда-либо была с Федором Михайловичем, обедала на Брюлевой террасе над Эльбой и даже ела ту же голубую форель и пила пиво, которое мы здесь пили когда-то с папой. Воспоминания так и нахлынули на меня, и хоть мне было и грустно, но я была счастлива». И продолжает с горечью: «Но представь себе: на Брюлевой террасе вместо прежнего небольшого старинного дворца Брюля строится громадное здание неизвестного стиля, которое совсем задавило террасу. Так мне жаль стало прежнего столь характерного дворца и милой кофейни, где мы прежде с Федором Михайловичем приходили посидеть и выпить чашку кофе или съесть мороженое!..». Верная своей клятве, она и в Дрездене не дает себе полного отдыха: «Я могу тебе похвалиться работой: я прочла здесь 15 листов корректур, и один том совершенно готов. Принялась за другой. Только представь себе, какая обида: от вод ли или от усталости, но у меня глаза ослабели, и я читаю через лупу, иначе не могу». В этом же письме приписка на полях: «Хочу воспользоваться розовым настроением и купить себе шляпу; есть две удивительные шляпы: одна светло-голубая с зеленым пером, другая желтая с красным. Посоветуй, которую выбрать. Если можешь, даже телеграфируй, а то многие старушки моих лет на эти шляпы заглядываются и как раз у меня перебьют». «Старушке» Анне Григорьевне в ту пору исполнилось сорок пять. Тут уже другая Анна Григорьевна, не та, что отказалась когда-то от необходимого ей пальто, дабы купить мужу новую шляпу, когда Федор Михайлович не знал, на что и пенять в мучениях над статьей о Белинском. Тогда действительно дело оказалось в шляпе: Достоевский, покрасовавшись, как вспоминает Анна Григорьевна, три дня в новой шляпе перед зеркалом, за две недели дописал статью и отослал в Россию.

Подвижная и любознательная Анна Григорьевна объездила всю Европу. В то время в России продавались специальные туристические билеты, и по ним можно было побывать во многих странах, но по определенному маршруту и в определенный срок. Верная своей привычке экономить, Анна Григорьевна брала самый дешевый билет, так называемый «галопом по Европам», но всегда была недовольна тем, что по этому билету можно было задерживаться в каждом городе не более двух суток. Не довольствуясь обычными маршрутами, она старалась посетить и экзотические для русских туристов края. «Пишу тебе, чтобы доказать, что я побывала в Амстердаме, а то ты, пожалуй, и не поверишь,— пишет Анна Григорьевна дочери в Руссу,— наконец, я попала в Голландию, но увы! она красива и оригинальна лишь на картинках... Представь себе, что почти все папины произведения переведены на голландский язык, но все распроданы, хотя некоторые выдержали по два или три издания. Книги здесь очень дороги».

В своей издательской деятельности Анна Григорьевна прежде всего ставила задачу максимально популяризировать Достоевского во всех слоях населения России. Она одна из первых стала выпускать отдельные его произведения в виде дешевых десятикопеечных брошюр, чтобы всякий имел возможность покупать их. В ее рекламных листках, как она называла «циркулярах», рассылавшихся во все уголки страны, в первой строке было напечатано: «Желая сделать общедоступными издаваемые мною сочинения Ф. М. Достоевского, я решаюсь предложить...». С 1881-го по 1907 год Анна Григорьевна предприняла издание семи Полных собраний сочинений Достоевского, причем третье разошлось беспрецедентным по тому времени двенадцатитысячным тиражом. Всю подготовку Анна Григорьевна осуществляла единолично, сама держала и корректуру. Как-то на вопрос интервьюера, почему она работает одна, Анна Григорьевна ответила, что трудно найти помощника, отлично знающего материал: «Я, например, беру лист рукописи и с третьей строки вижу, что он принадлежит к такому-то месту романа „Бесы“». Благодаря все возрастающему интересу к Достоевскому и умелому ведению подписки все ее издания быстро и полностью расходились.

Только ухудшение здоровья и решение заняться своими воспоминаниями заставили Анну Григорьевну 1 сентября 1911 года продать свои издательские права. Как всякое частное предпринимательство, издание книг носило коммерческий характер и, естественно, было сопряжено с определенным риском, хотя и принесло ей прибыль свыше полумиллиона рублей. В газетах появились сообщения о «баснословном богатстве» вдовы писателя. Слухи, как говорится, оказались несколько преувеличенными. Во-первых, поступающий доход делился между тремя сонаследниками. Во-вторых, в кругленькую сумму (примерно сто пятьдесят тысяч) обошлись постройка, содержание, а затем и перестройка после пожара школы имени Достоевского в Старой Руссе. К этому надо добавить многочисленные крупные взносы на благотворительные цели (голодающим, пострадавшим в японской и 1-й мировой войнах). Анна Григорьевна почти ничего не тратила на себя, выполняя завещание Федора Михайловича обеспечить детей: ни тот, ни другой всю жизнь не имели гарантированного заработка. Покупки дач в Ялте и Адлере имели целью обеспечить ее собственную старость и дать отраду внукам.

Когда в 1913 году Любовь Федоровна обнаружила у себя опасную болезнь и прислала из Парижа письмо матери в Берлин с просьбой о ста марках для поездки в Петербург на операцию, Анна Григорьевна отвечала: «Ты меня привела в отчаяние своим требованием присылки еще денег. Это было у меня отложено на билет, т. к. я рассчитывала двинуться отсюда в Россию. Теперь посылаю тебе их письмом. Мне чрезвычайно неприятно и боязно совсем остаться без денег здесь». Тревога оказалась ложной, операция не состоялась, и Люба рвется обратно в Париж. Мать, сидящая все так же без денег в Берлине, умоляет ее подождать в Петербурге или хотя бы сообщить, когда та

будет проезжать Берлин, чтобы встретиться на перроне. Анну Григорьевну выручает племнник — Андрей Андреевич Достоевский, выславший ей сто рублей на дорогу. «Благодарю Вас за присылку 100 руб., которые я получила. Они избавили меня от большого беспокойства. Чудесный Вы человек и истинный наш друг!».

Об Андрее Андреевяче хочется сказать особо. Еще Федор Михайлович писал брату, что старшие дети Андрея Михайловича — пример для его собственных. Андрей Андреевич с молодости отличался большой порядочностью и был весьма рассудителен. Получив высшее образование, он примерно продвигался по службе в статистическом управлении и к 1913 году был уже действительным статским советником. Анна Григорьевна любила его и доверяла ему свои дела при отъездах за границу. Он отвечал взаимностью и с большим желанием помогал во всем: «Пожалуйста, глубокоуважаемая Анна Григорьевна, не думайте, что меня Ваши поручения затрудняют, и приказывайте, что Вам угодно, буду с удовольствием исполнять по мере способностей». Ему, холостяку, она поручает деликатное дело — присматривать и положительно влиять на Любовь Федоровну. Андрей Андреевич был душеприказчиком всех трех завещаний Анны Григорьевны. Очень печальное ее письмо в год окончательного разрыва с дочерью и резкого ухудшения здоровья было адресовано именно ему. Андрей Андреевич старается поддержать ее: «Не порадовали меня Ваши грустные строчки о Ваших годах. Дорогая Анна Григорьевна, Вы просто устали, переутомились, и н уверен, что спокойное пребывание в Сестрорецке с поездками изредка к внукам скоро восстановят Ваш бодрый дух, который так полезно-заразительно действует на всех Вас окружающих и на меня в том числе».

Анна Григорьевна пережила четырех царей, вступила в новый век, была современницей трех революций, в ее квартире появились электричество и телефон, она уже ездила в авто и на трамвае, а в Будапеште прокатилась на метро: «Сегодня я собралась под землю, т. е. хочу прокатиться по подземной железной дороге». Ее внуки, Федя и Андрей, которых она очень любила и по приезде из Сестрорецка посвящала им вечер сказок и разных историй, бегали в апреле 1917 года с няней ко дворцу Кшесинской смотреть Ленина. «Рассказчицей она была необыкновенной,— вспоминает Андрей Федорович,— рассказывала массу интересных историй и все в лицах и на разные голоса». Вот один из ее рассказов в письме к дочери из Италии: «Вчера пришлось в первый раз в жизни отказаться от собственной фамилии. Часов в 11 утра, когда я еще не была готова, слышу стук в дверь. Спрашиваю: кто? — „Вы пани Достоевская?" — Я, у вас телеграмма? — „Ничуть".— Так что же вам нужно? (Все это по-немецки.) В ответ слышу продолжительную польскую речь. Я отвечаю, что не понимаю по-польски и прошу говорить по-немецки. Незнакомец отвечает по-русски довольно скверным выговором: „Но ведь вы пани Достоевская — значит полька".— Ничуть, я русская.— „Но ведь Достоевский — польская фамилия?" — Нет, не польская, а русская.— „Нет, польская".— Говорю вам, русская! Вот был писатель Достоевский, так был он русский, а не поляк.— „А не знаете, не приехал кто-нибудь из соотечественников?" — Нет, не знаю.— „Так вы наверное говорите, что не полька?".— Наверное не полька. Ушел. Минут через 10 опять стук: — „А вы не родственница Достоевского-писателя?" — Нет.— „Но как же, вы назвали его имя!" — Очень просто — я русская и он русский писатель, вот я и назвала его.— „Но он не родственник вам?" — Нет,— однофамилец!.. Очевидно, это какой-нибудь полячок, разыскивающий соотечественников, чтобы попросить помощи».

Анна Григорьевна уехала с внуками и невесткой из голодного Петрограда весной 1918 года в Адлер, а затем одна переехала в знакомую ей Ялту. Поселиться в своем домике она не могла: накануне в нем произошло убийство, и кровь несчастных жертв попала на бюст Достоевского. Она одиноко живет в гостинице «Франция». По временам, когда нескончаемые приступы лихорадки оставляют ее, она пытается продолжать работать с картотекой. Начались немецкая оккупация Крыма и ночные бомбардировки города с моря. Невестка Екатерина Петровна с внуками рядом, в Симферополе, но не может к ней выехать. Летом 1918 года наступает голод. «Однажды,— вспоминает Екатерина Петровна,— Анне Григорьевне достали два фунта свежего хлеба, она съедает его сразу. Начался тяжелый приступ колита. За три дня до смерти она теряет сознание, и 21 июня 1918 года Анны Григорьевны Достоевской не стало».

«Я отдала себя Федору Михайловичу, когда мне было 20 лет. Теперь мне за 70, а все еще только ему принадлежу, каждою мыслью, каждым поступком, памяти его принадлежу, его работе, его детям, его внукам».

В конце 60-х годов Андрей Федорович, выполняя последнее желание бабушки, перевозит ее прах в Александро-Невскую лавру. Он сказал на ее могиле: «Ее жизнь — это подвиг во славу русской литературы».

Вернисаж «Седьмой тетради»

М. ПЛОТНИКОВА

«КИТОВЫЕ ЛЮДИ»

Ленинградский архитектор Александр Тиме и художник Петр Рейхет завяты оригинальной идеей устройства экологического памятника «Последний кит». Павильон в виде остова кита будет собран из конструкций определенного модуля, а внутри его чрева разместится выставка произведений на темы, связанные с защитой природы. Вариантов много. Кита можно поставить на понтон и пришвартовать в людном месте, сделать его разборным, передвижным. А вот летающий кит-дирижабль... Дух захватывает от подобных проектов.

Как же возникла эта затея? Предоставим слово авторам.

П. Рейхет. Сидели мы как-то за столом, и я, помнится, сказал, что много рисую китов, и хорошо бы сделать такую выставку, где бы зритель оказался, как библейский Иона, во чреве морского чудища. Шутя нарисовали эмблему будущей экспозиции. А назавтра Саша положил на стол первый готовый эскиз-проект. Дело пошло...

А. Тиме. Сначала сооружение мыслилось как простая палатка для выставки: надувная оболочка натягивается на разборный каркас. Дальше — больше. Сейчас существуют несколько вариантов эскизов. Собран макет в $^1/_5$ натуральной величины. Предполагаем сделать кита длиной 35 метров.

М. П. *Можно ли назвать ваше детище памятником? Это скорее аттракцион?*

А. Т. Конечно, наше произведение должно быть завлекательным зрелищем. Но можно рассматривать его и на ином уровне. Как попытку создать образ, некую духовную среду средствами синтеза различных искусств. Зрелище будет дополнено музыкальным сопровождением. При входе в павильон, то есть в пасть кита, имеется площадка для музыкантов. А архитектурные формы переводят элементы картин Петра Рейхета в трехмерное пространство. Остов гигантского и, увы, редкого морского животного — символ исчезающих чудес природы...

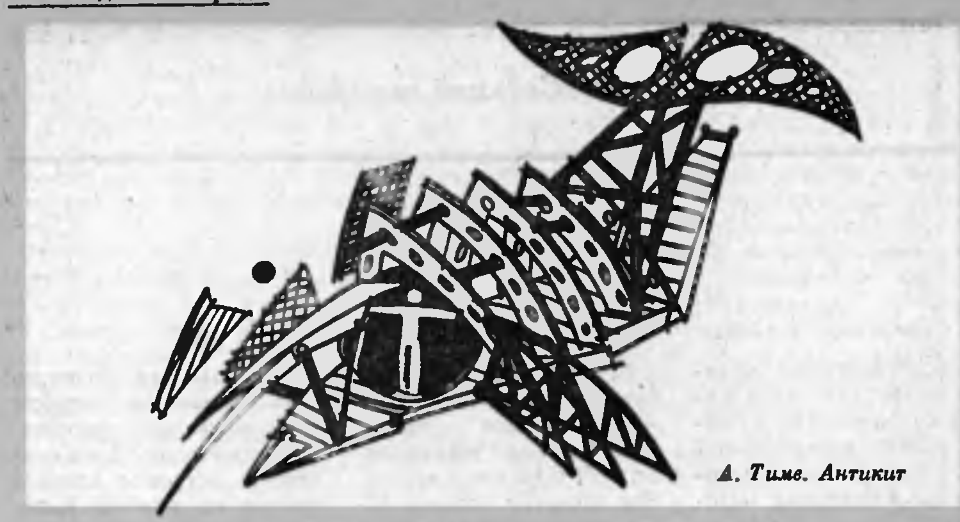
П. Р. И упрек предкам, оскудившим фауну Арктики, предостережение современникам. Это ведь очень древний образ. По давним представлениям Земля покоится на трех китах. В фольклоре многих народов кит — то орудие божьего промысла, то орудие дьявола, то чудо-юдо, глотающее корабли и извергающее раскаявшихся на сушу. Это и сказочный остров с дивным градом на хребте. Ныне же — все еще и объект безжалостного истребления.

М. П. *Было ли какое-то конкретное событие, которое стало толчком для обращения к этому традиционному образу?*

П. Р. Мне удалось несколько раз побывать в арктических широтах. На Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, Шпицбергене, Восточно-Сибирских островах. Видел места неземной красоты. Сильнейшее впечатление производят исполинские кости китов, усеявшие побережье. Вот этот китовый позвонок, похожий на обломок корабельного винта, я вывез лет двенадцать назад с острова Хейса. Видел и отношение человека к природе, захламленный берег, бессмысленную жесто-



А. Тиме. Пракит



А. Тимв. Антикит

кость. Помню, как пара подвыпивших работяг распевала популярную тогда песню «Я хочу, чтоб жили лебеди», а затем, утерев пьяные слезы, шли на берег и сажали из карабина пулю за пулей в нерпу на льдине посреди оттаявшей к августу бухты — просто так, добычу-то все равно было не достать. Я тогда писал этюды с натуры. Но потом возникли серии левкасов, акварелей, литографий, офортов и пастелей, посвященные освоению Арктики, исчезнувшим животным. Есть и серия «Памяти погибших китов».

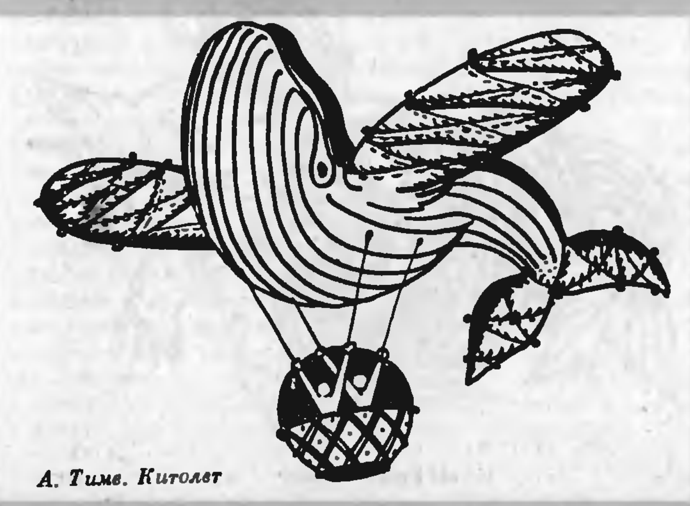
Работа с архитектором — новый шаг в этом направлении.

М. П. *Ваши работы, напоминающие в чем-то лубки и иконы северных писем, можно было видеть на ленинградских выставках. Надо думать, именно они и заполнят внутреннее пространство «чрева»?*

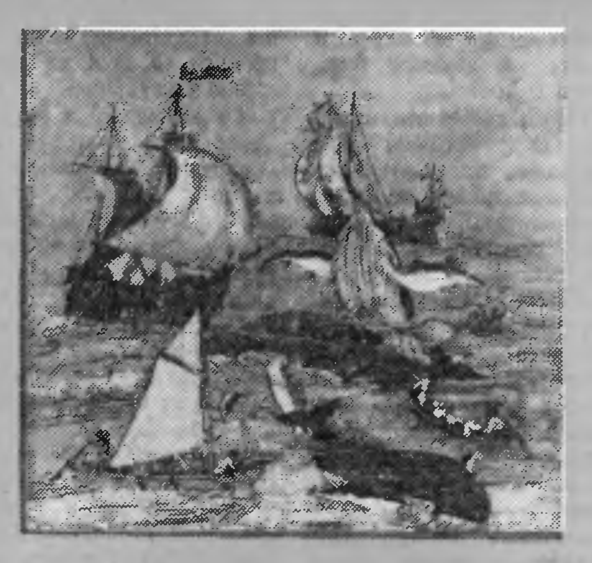
П. Р. Разумеется, тематика сохранится, но для нашего совместного предприятия я пишу холсты определенного модулем размера и формата — например, в форме круга, равностороннего треугольника. Все это определено средой интерьера.

М. П. *Судя по макету, собранному из подручных материалов, канцелярских принадлежностей, деталей «Конструктора», архитектура павильона несет в себе урбанистическое начало: резкие изломы ребер, четкие грани ячеистых плоскостей. Не противоречит ли техницизм идее утверждения творения природы как главной ценности?*

А. Т. Такое архитектурное решение связано с философией деструктивизма. Сейчас поясню, что это. В жизни нас окружает множество простых вещей, будь то ложка, вилка, лампочка, стул и так далее. К началу века революционный процесс очищения форм был прогрессивным. Но он привел к новому заблуждению, что предмет должен быть прежде всего функциональным, а если внешний вид совпадает с функцией, то это — красиво. Теперь изобилие псевдоправдивых предметов душит людей, а мы нуждаемся в вещах, которые заставляли бы задуматься. Как вырастить свой дизайн? Образы моего компаньона не навязаны свыше, они идут от души. Пространственные формы, уже найденные художником на плоскости,— это все же обманка, ловушка для глаза. А почему бы не воссоздать их, пользуясь техникой в реальном пространстве? Тело кита — галерея, имеющая вход и выход. Основное перекрытие — готическая арка. Как бы случайные формы становятся ячейками единого организма, да и сам кит — частица, клеточка, открывающая возможность создания новой среды. Многие элементы, кстати, имитируют органические формы. Конечно, трагическое противоречие между техницизмом и природой в нашем рукотворном ките тоже выражено. Кстати, и в преданиях образ чудища неоднозначен.



А. Тимв. Китолет



П. Рейхет. Памяти погибших китов

М. П. *Замысел ясен, но хватит ли у вас средств воплотить свою идею? Нашли ли вы спонсоров?*

П. Р. Проект заинтересовал международную организацию «Некст стоп». Университет датского города Орхуса, побратима Ленинграда, приглашает устроить выставку работ, средства от их продажи могли бы пойти на осуществление проекта. Мы надеемся.

М. П. *Знаете ли вы, что не одиноки в своих планах? Как сообщалось в «Советской культуре», американский бизнесмен и филантроп Тимоти Дагген из Лейк-Цюриха близ Чикаго заказал скульптору Джерри Фейберу скульптуру из трехсотлетнего вяза — памятник трем китам, спасенным советскими моряками у берегов Аляски...*

П. Р. Ко времени этой публикации наш проект был готов. Но сам факт совпадения намерений, образа мышления в двух частях света только подтверждает то, что мы не одиноки, находимся на правильном пути. Кстати, журнал «Нева» известен за рубежом, вдруг и мистер Дагген тоже услышит о нашем памятнике киту... Рады сотрудничать.

М. П. *Остается пожелать вашему киту дальнего плавания!*

П. Р. Спасибо. Мечтаем, чтобы он причалил однажды возле Эрмитажа!

Совсем недавно. Совсем давно

Г. ЛИХОТКИН

ЛЕТОМ ВОСЕМНАДЦАТОГО ГОДА

За семь послеоктябрьских месяцев, прошедших с октября 17-го года, события в новорожденном советском обществе происходили в поистине калейдоскопическом темпе. Приход лета 18-го года сопровождался констатацией Н. И. Бухарина: «республика есть военный лагерь». В самом деле, 9 марта английский десант высадился в Мурманске. 5 апреля Владивосток заполонили американские и японские войска. Это была военная интервенция, это была экономическая блокада извне, сопровождавшаяся к тому же вспыхнувшим пожаром гражданской войны.

Большевикам, находившимся у власти, пришлось пойти на крайние меры, известные под названием «военного коммунизма». Стремительно надвигавшаяся угроза голода вынудила к реквизиции зерна у крестьян, все наличные материальные ресурсы были поставлены под партийный и государственный контроль.

Питер, всегда-то живший за счет привозного продовольствия, в этот отчаянный период оказался в особо сложном положении. В таких условиях комиссариат продовольствия Петроградской трудовой коммуны предпринимал невероятные усилия в поисках выхода из создавшегося критического положения. Им, в частности, был создан научно-технический комитет, который в поисках заменителей традиционных продуктов питания обратился к ученым. На просьбу откликнулись ученые Главного ботанического сада, в сжатые сроки

создавшие ряд листовок-брошюр.

Мне известно, что в цикле выпущенных листовок было два выпуска «Съедобных дикорастущих растений северной полосы России», по одному выпуску «О домашних способах приготовления пищи из овса», «Малоизвестные съедобные грибы», «О замене китайского чая другими растениями».

Последняя из названных брошюр попала в руки моих деда и бабушки по отцовской линии, живших на тогдашней дальней окраине города — на Пороховых. Отпечатана была листовка-брошюра, состоящая всего из четырех страничек текста (включая титульный лист) малого формата, в типографии Л. Я. Ганзбурга, размещавшейся на Мытнинской улице, 11. Вышла она в июне 1918 года. Ее автором был Г. А. Надсон, впоследствии, судя по справочнику «Весь Ленинград» за 1929 год, заведующий библиотекой Главного ботанического сада АН СССР.

Отмечая, что «чая становится все меньше и меньше и трудно ждать значительного подвоза его в близком будущем», Г. А. Надсон писал: «Ни собственно китайский чай из Китая, ни ост-индийский или цейлонский, ни наш русский батумский чай не доходят теперь до нас...». Выход из положения Надсон видел в использовании суррогатов. Местные заменители, по его указанию, должны были удовлетворять трем требованиям: «1. Быть совершенно безвредными, не иметь противного запаха и вкуса и напоминать более или менее чай. 2. Расти у нас в значительном количестве, быть обыкновенными и легко узнаваемыми растениями. 3. Сбор и сушка их должны быть легки и просты».

Таким требованиям, говорится в листовке, у нас отвечают три категории растений по их вкусовым достоинствам. К первой категории относятся сушеные яблоки или груши, сушеные ягоды земляники, малины и им подобные. «С гигиенической точки зрения напиток из этих плодов даже предпочтительнее китайского чая». Сюда же Надсон относил и «липовый чай» из высушенных цветов липы — «душистый и приятный напиток, с давних пор у нас употребляемый, а в последнее время, во время войны уже, его особенно рекомендуют в Германии для всеобщего употребления».

Ко второй категории в листовке причислены «вообще чаи» из молодых или более нежных листьев следующих растений: брусники, черники, ежевики, мамуры, земляники, малины, черной смородины. Среди этих растений лишь мамура нуждается в особом пояснении. Это — известная всем северянам морошка, в разных местностях ее называют еще поленикой, куманикой, княжникой или княжницей, лапморошкой, хохлянкой.

Любопытна третья категория «чаев» из сушеных листьев. Здесь помимо розы и шиповника рекомендовались также листья ясеня, таволги, ивы, тимьяна или богородской травы. Последнее растение Надсон назвал также «немецким чаем». Иными словами, имелся в виду чабрец — многолетний полукустарничек, образующий мелкие дерновники.

Сведения о следующем растении этой категории «чаев» настолько интересны, что приведу их полностью: «К этой же категории причисляем и хорошо известный в народе „копорский чай“, или „иван-чай“ (он же — „копорка“, „кипрей“, „купрей“...). Это очень распространенное у нас высокое травянистое растение с узкими листьями, несколько напоминающими листья ивы и с крупными розовыми цветами, собранными кистью на верхушке стебля; сушеные листья его и есть „копорский чай“. Название свое он получил от села Копорья Петроградской губернии. Прежде оно было главным местом сбора листьев этой травы, которая в большом количестве шла для фальсификации китайского чая. Как продукт, которым фальсифицируют чай, „копорка“ была запрещена, и фальсификация ею строго преследовалась, но сам по себе „копорский чай“ безвреден и, хотя имеет не особенно приятный и несколько горьковатый вкус, его пьют как в чистом виде, так и в смеси с настоящим чаем во многих местах России, а также в Китае (откуда, по-видимому, и пошла фальсификация чая „копоркой“) и на дальнем востоке Азии („курильский чай“)».

Брошюру-листовку «О замене китайского чая другими растениями» я бережно храню как семейную реликвию. Обычно подобного рода летучие издания-агитки чрезвычайно редки, поскольку предназначались они изначально для сугубо утилитарных нужд в короткий отрезок времени. Вот и в далеком 1918 году, когда скоропостижно скончался мой дед, бабушке пришлось хлебнуть лиха. Рекомендациями листовки она, несомненно, воспользовалась.